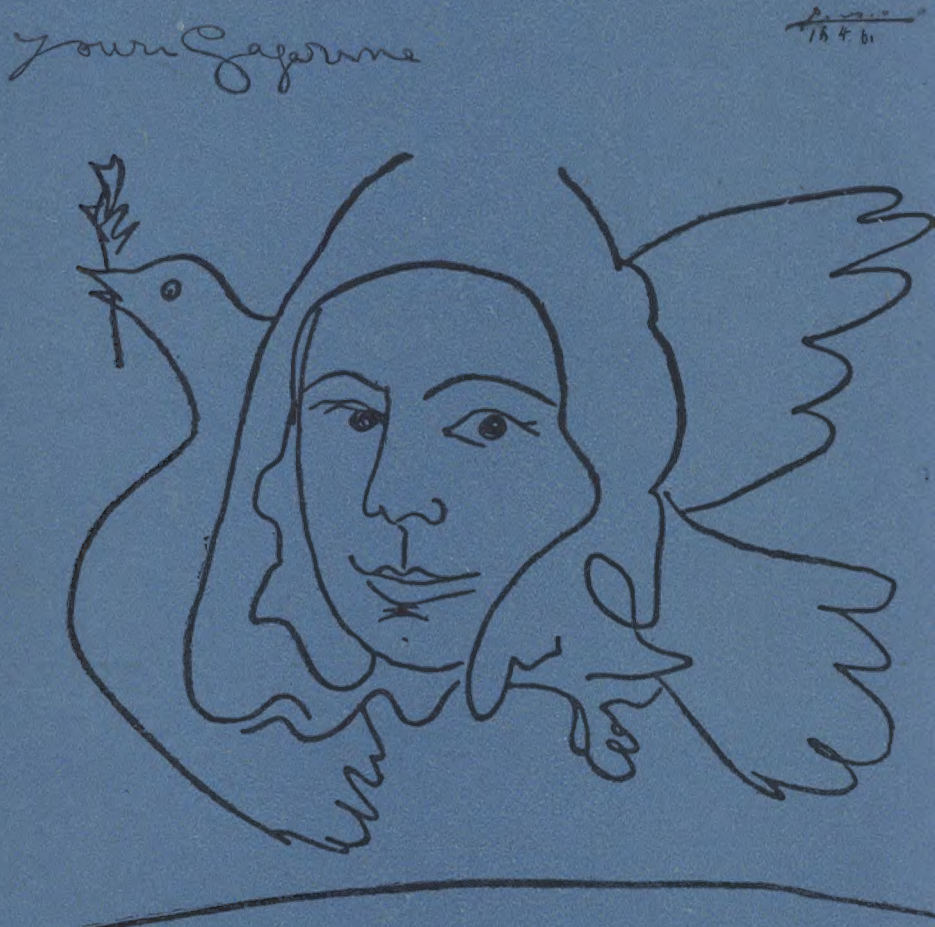
ИНОСТРАННАЯ литература

ИНОСТРАННАЯ литература

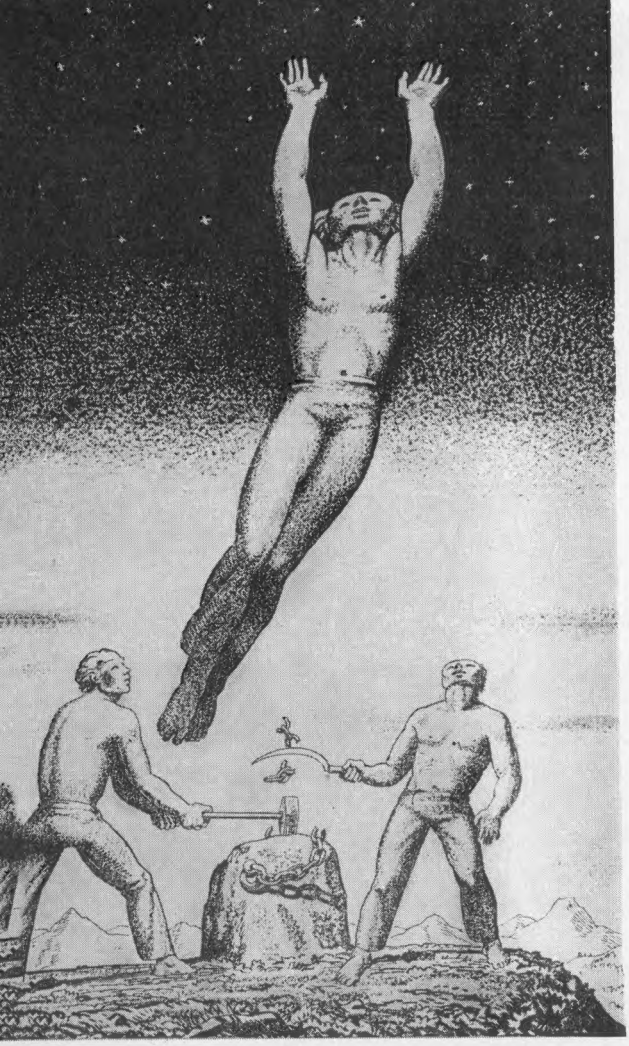


6
1961

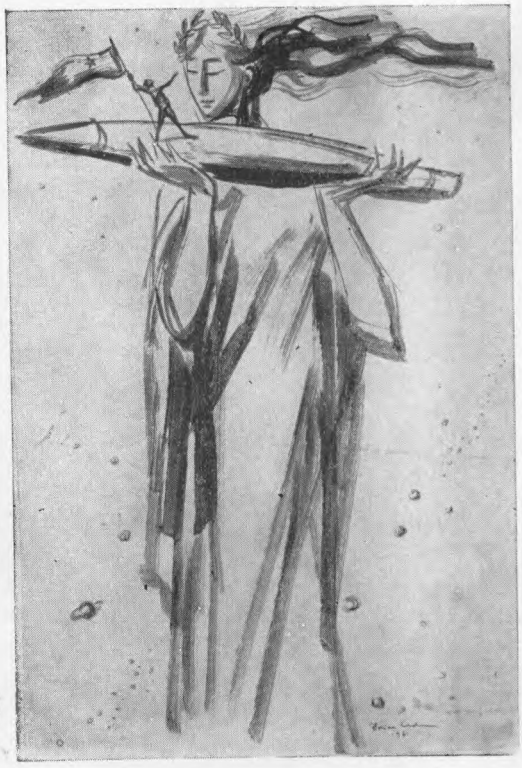
6
1961

Плакат польского художника Тадеуша Йодловского.

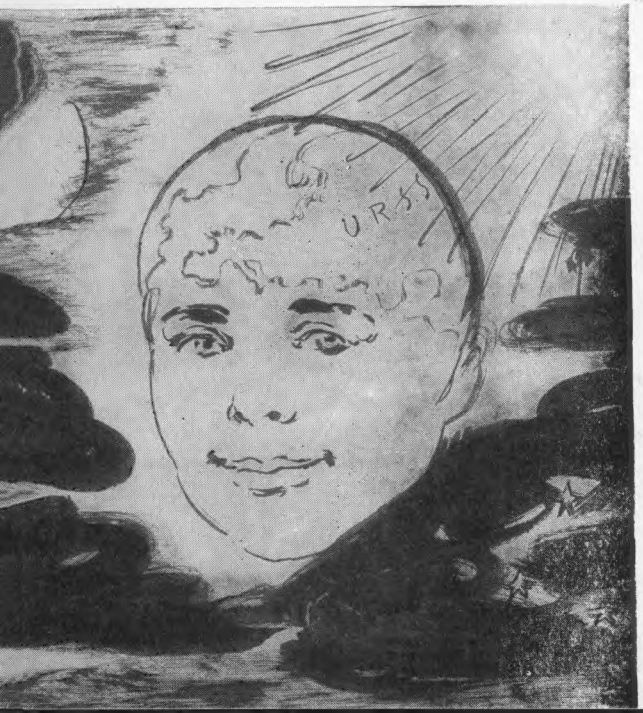
В этом номере нашего журнала мы помещаем присланные в редакцию рисунки зарубежных художников, вдохновленных всемирно-историческим событием — полетом советского космического корабля «Восток» с летчиком-космонавтом Ю. А. Гагариным.



«Прометей наконец раскован! К звездам!»
Рисунок американского художника Рокуэлла Кента.



«Мир: — Теперь, когда, облетев земной шар, ты вернулся, на орбиту выйду я».
Рисунок румынской художницы Флорики Кордеску.



«12 апреля 1961 года»
Рисунок французского художника Бориса Таслицкого.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

«Юрий Гагарин». Рисунок французского художника Пабло Пикассо, прислан автором в редакцию журнала «Иностранная литература» и воспроизводится с оригинала.

6

1961

ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИЗВЕСТИЯ"
МОСКВА

Содержание

Стихи

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — Дочерям Юрия Гагарина 3

СУХИЙН ДОРЖПАЛАМ — Русские — в космосе! 4

БОГУСЛАВ БРЖЕЗОВСКИЙ — Железный потолок (Роман. Продолжение) 5

Стихи, написанные кровью

ГО МО-ЖО, ЛИ ДА-ЧЖАО, СЯ МИН-ХАНЬ, ХЭ ЦЗИНЬ-ЦИ, ИНЬ ФУ, ДЭН ЧЖУН-СЯ, ЦЮЙ ЦЮ-БО, ЛЮ БО-ЦЗЯНЬ, ФАН ЧЖИ-МИНЬ, Е ТИН, ЧЭНЬ ЖАНЬ 50

ХУАН ГОЙТИСОЛО — Прибой (Роман) . . . 61

ЭЙВИН БОЛСТАД — Тень между ними. Без маски (Рассказы) 151

ФЕЛИКС ПИТА РОДРИГЕС — Винтовка № 5764 (Стихотворение) 163

ЧАРЛЬЗ ЧАПЛИН-МЛАДШИЙ — Мой отец Чарли Чаплин 164

КРИТИКА

АНДРЕ СТИЛЬ — Горький и авангард . . . 185

П. ТОПЕР — По ту сторону фронта (Заметки об антивоенной немецкой литературе) . 188

С. ШЕРЛАИМОВА — Живые, не забудьте! . 202

МАРЬЯН ЮРКОВИЧ — Поэт-партизан . . . 207

ДОКУМЕНТЫ

Литературная критика — действенное оружие идеологической борьбы 210

СОБЫТИЯ И ДАТЫ

Б. БОРИСОВ — Славный сын филиппинского народа (К 100-летию со дня рождения Хосе Рисаля) 219

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 222

ПОЛЕМИКА

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ — Политические причины и эстетические следствия 230

ПУБЛИЦИСТИКА

БЭЗИЛ ДЭВИДСОН — Африка пробудилась . 234

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

М. СИЛИЧ — Камни кричат 242

ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

Б. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ — В независимой Гвинее 246

КНИГИ О ВОЙНЕ, КНИГИ ПРОТИВ ВОЙНЫ

Юлия Друнина — Филиппины в огне. ◇ Леопольд Грюнвальд — Когда молчание нарушено. ◇ С. Борзенко — Они отстояли свободу. ◇ А. Русакова — Роман о немецком Сопротивлении. ◇ Александр Адамович — Их подвиг бессмертен. ◇ Борис Агапов — Грустные свидетельства. ◇ Б. Галанов — Это было в Праге. ◇ В. Скороденко — Прозревающие во тьме. ◇ Лев Кассиль — Жизнь, отданная детям... 253

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ . . . 268

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 270

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . 288

Стихи

Ярослав Ивашкевич

ДОЧЕРЯМ ЮРИЯ ГАГАРИНА

Авторизованный перевод с польского М. Замаховской

Елена, Галина, завидую вам:
Я к закату иду, вы еще в колыбели.
Те миры, что лишь звездами нам голубели,
По-иному откроются вашим глазам.
И когда, наблюдая планеты и луны,
Вы посмотрите ввысь, может быть, ваш отец
Улыбнется на миг дочерям своим юным —
Первый в космосе храбрый отчизны гонец!

Путь открыл он туда, где никто еще не был,
Щедрой матерью-родиной мудро взращен,
Устремился в огромное темное небо,
Облетел нашу землю — и нам возвращен!

Он родился, он рос,
Чтоб взлететь над землею.
Я видал на земле смерть и шествие зла...
С дрожью сердца всегда вспоминаю былое
И уверен — иная эпоха пришла.

Да, я верю, я верю, Галина, Елена,—
Вы войдете в серебряный светлый простор,
В новый мир необъятной открытой вселенной...
Там, над вами, уже различает мой взор
Столько ярких орбит, столько радостных радуг,
Что сплетают сердца... И я вижу во мгле
Бесконечность пространства без тайн и загадок,
Мир желанный на нашей чудесной земле!

. . . . . .

Это — вам, это — вашему поколенью...
Мой привет отцу и мое поздравленье!

Сухийн Доржпалам

РУССКИЕ — В КОСМОСЕ!

Авторизованный перевод с монгольского Геннадия Кречета

В явь превращая мечты вековые,
Славные люди советской России
Путь человечеству в космос впервые
Смело открыли.

Это они ведь в бывалые годы
В жарких сраженьях добыли свободу,
Равенство, братство племен и народов
Провозгласили.

Родина славного сына взрастила.
Подвиг твой сделался высшим мерилом
Мужества, воли, отваги и силы,
Юрий Гагарин.
Словно бы споря со скоростью света,
Вырвалась к звездам далеким ракета,
Путь твой вокруг восхищенной планеты
Был лучезарен!

К нам через степи, и реки, и долы
Весть прилетела, как праздник веселый.
О, как гордятся тобою монголы,
Смелый новатор!
Ты приземлился. Какая минута!..
Люди все разом вздохнули как будто,
И осветился огнями салюта
Весь Улан-Батор!

Люди поют, улыбаются, плачут...
Русские — в космосе! Это же значит —
Мирный поход во вселенную начат.
Слава им, слава!
Осуществилась мечта поколений.
Подвиг свершил человеческий гений.
Он величайшим из всех достижений
Назван по праву.

Богуслав Бржезовский

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОЛОК

РОМАН

Перевод с чешского И. Бернштейн и Л. Лерер

Глава четвертая

1

Утром Людвик проснулся с чувством отвращения и гадливости к себе и к людям. Какое-то время он лежал с открытыми глазами, потом в голове его стали рождаться планы, один прекраснее другого. В который раз! Мысли его пришли в порядок, он вспомнил все, что происходило накануне: Ванек, Гевр-ле, Янечек, Владимир, Ольга, Люция Маредова. Когда Людвик в третьем часу ночи возвращался к себе, около дома, где он жил, его остановил человек, такой же пьяный, как он сам, и заплетающимся языком спросил: «Ты за буржуазию или за пролетариат? Про-ле-та-ри-ат»,— повторил он по складам, чтобы точнее выговорить это слово.

«Да здравствует пролетариат!» — ответил Людвик.

«Ну ладно. А то набил бы тебе морду»,— ответил прохожий и, довольный, отошел, что-то напевая.

Теперь Людвику эта встреча с пьяным кажется даже символической, имеющей глубокий смысл. А что, если в действительности все так просто? Что, если можно все глубокомысленные размышления о демократии, свободе, социализме и путях к нему свести к этому простому вопросу? И когда ты ответишь на него, разве не станет для тебя все ясно?

Он поднялся с постели, исполненный желания и решимости избавиться от того отвратительного осадка, который ощущал не только во рту, но и в душе.

Он обещал себе, прежде всего, регулярно работать над начатой два года назад книгой. То, что он задумал написать, не было ни новеллой, ни романом; это были скорее размышления о людях, с которыми он жил два года в Катаринаберге. Он решил писать в день не менее двух страниц и подсчитал, что таким образом сумеет закончить работу к концу апреля.

Причиной того, что Людвику его сегодняшнее намерение казалось тверже, чем предыдущие, был его ночной разговор с Люцией Маредовой. Еще ночью он почувствовал в ней того человека, который ему так нужен, а в утренний час смутное чувство превратилось в уверенность. Людвика поразила ее трезвость, деловитость и — он мысленно употребил слово, которое, как ему казалось, точнее всего выражало то, что он в ней почувствовал,— *материальность*. Да, она представилась ему великолепно

Продолжение. Начало см. в № 5.

организованной материей. Когда он сравнивал Люцию с Ольгой, с ее жеманством и изломанностью, ему казалось, что он открыл вдруг подлинную жизнь без фальши и подделки. Словом, он пережил ночью что-то необыкновенно приятное, и сознание того, что вечером он снова увидит Люцию, подымало его настроение. Он вспомнил и о своем разговоре с ней после скандала с Владимиром.

Они сидели на Ольгиной тахте, тесно прижавшись друг к другу, и тут она, окинув взглядом комнату, сказала так, что ее мог слышать только один Людвик:

«Когда ты с этими людьми, чувствуешь, что катишься куда-то в бездну,— и она указала на Владимира, который сидел развалившись в кресле и спал или делал вид, что спит.— Соедини только свою судьбу с их судьбой — и тебе уже не спастись.— И затем, как бы собирая последние остатки воли, она сказала твердо: — Но я должна...»

И хотя Людвик хорошо понимал ее чувства в ту минуту, он ответил неопределенно, потому что ему хотелось узнать о ней как можно больше:

«Спастись! От чего и ради чего?»

Позднее, размышляя об этом, он пришел к убеждению, что уже тогда люди, собиравшиеся у Ольги, и не только они, а большинство мыслящих людей сознавали, что в ближайшие дни или даже часы что-то произойдет. Им трудно было представить, *что* именно и *как* произойдет, до какой степени это изменит их привычное существование, какие будет иметь для них последствия, как повлияет на их судьбу. Но что-то надвигалось! Чувствовалось, что нынешнее положение вещей не может быть долговечным, что впереди глубокие, поразительные перемены, что дело идет к перевороту, когда вопросы будут ставиться прямолинейно и когда нельзя будет отделываться уклончивыми, обтекаемыми ответами.

«Ради своей работы,— ответила без колебания Люция,— спастись от них!» При этом она выразительно оглядела присутствующих: трудно было представить себе более красноречивый взгляд. Он охватывал всех, кто были в этой комнате. И Людвик вдруг увидел собравшихся здесь людей другими глазами, ее глазами. В фарсе Владимира была известная доля правды. Все притворялись, изображая в этот момент спокойствие, довольство, хорошее настроение. Ольга дурачилась с Ержабеком, вернее, притворялась, что дурачится, Ержабек разыгрывал галантность, Кайда и Лина — супружеское согласие, и все вместе — дружеские отношения. Он вдруг увидел, что все это заплесневело, стерлось от стократного разыгрывания и повторения. Ему стало тошно, и его удержала от бегства только волнующая близость Люции. Он почувствовал в ней волю, уверенность, и ему показалось, что эта женщина и в самом деле может освободить его из плена вечного самоанализа, психических комплексов и, главное, от мучительного чувства к Ольге, что она может вернуть ему спокойствие, самое обычное спокойствие души и тела. И ему так захотелось, чтобы она подарила ему молчаливую, тихую, дружескую преданность, а может быть,— он не решался в ту минуту даже про себя произнести это слово — и любовь. Тогда, ночью, он затосковал о мирно текущих днях, наполненных регулярным трудом, о вечерах без шумных компаний, без искусственного возбуждения алкоголем, вечерах, которые он проводил бы с близким человеком, и ему вдруг представилось, что Люция и есть этот близкий человек.

«Почему же вы сюда ходите? — тихо спросил он.— Насколько я знаю, вы здесь не в первый раз?»

Она кивнула и, казалось, задумалась.

«Может быть, из любопытства. Я страшно любопытна. Но главную причину я не могу вам сейчас объяснить. Это довольно сложно. Когда-

нибудь в другой раз. А впрочем, и это — жизнь. А я ведь актриса по призванию. В этом я уверена!»

Людвик ей позавидовал. Главное ей ясно: «В этом я уверена!» Он всегда казался себе ничтожным и несчастным рядом с человеком, который в чем-то уверен. Даже рядом с теми, кто, как ему было известно, только притворялись, изображая уверенность. Но Люция не притворялась, она сказала это с такой естественностью! Людвик внушил себе за последние два года, что ему предназначено совершить нечто выдающееся, что на него возложена какая-то высокая миссия, хотя и не знал точно — какая. Он словно бы постоянно готовился к будущей деятельности, только ждал подходящего случая, чтобы во всеуслышание заявить о себе. Именно поэтому он небрежно относился к работе в редакции, выполнял свои обязанности, как говорится, левой ногой, а статьи писал с сознанием, что это еще далеко не *то*. Людвик был уверен, что время, когда он создаст нечто выдающееся,— впереди. Короче говоря, он пренебрегал мелочами, ничего толком не делал, а на что-нибудь серьезное у него не хватало сил, не хватало их даже для регулярного труда или хотя бы для подготовки к нему. Сколько раз за это время он садился за письменный стол, говоря себе: «Ну, хватит! С сегодняшнего дня я начну новую жизнь». Но через минуту обнаруживал, что сам не знает, чего хочет, голова его пуста и у него нет иных побуждений к работе, кроме стремления убедить самого себя, что у него есть еще хоть какая-то воля. И ничего не получалось. Тогда он убегал из дому, искал общества, развлечений и часто бывал не слишком требователен в выборе компании. Он удовлетворялся кем придется и чем придется. Такую жизнь он вел с тех пор, как вернулся из Катаринаберга, вплоть до сегодняшнего дня. Но сегодня этому конец. Он встретил настоящего человека. Люции не больше двадцати пяти лет, она молода, но уже может сказать: «Я актриса по призванию. В этом я уверена!» А что такое Людвик? Сам не знает! Он мечется, хватается за все и все упускает. Утешает себя только тем, что он не один такой, что существует много людей, которые ничему по-настоящему не научились и лишь делают вид, что все понимают, а на самом деле не понимают ничего, которые остались безнадежными дилетантами и разыгрывают из себя интеллектуалов. Людвик чувствовал, что возле Люции он сможет забыть об Ольге. И он попросил Люцию встретиться с ним сегодня вечером. Она согласилась. Он может ее подождать после спектакля у театра.

Нет, ему необходимо упорядочить свою жизнь, и мысль, что вечером он увидит Люцию, придавала ему бодрости. Он стал раздумывать, какие у него возможности начать новую жизнь сегодня же. Пересчитал деньги. Оказалось, три тысячи крон. Этого могло хватить до конца месяца, конечно, если жить экономно.

Деньги — его больное место. Ему хотелось бы иметь много денег, и ему их действительно нужно много. А перед Ольгой он всегда делал вид — пожалуй, ему приходилось делать вид,— что финансовые вопросы его нисколько не занимают. Иначе ей стало бы скучно. Ольга полагает, что Людвик может позволить себе то же, что и она.

Его хорошее настроение отравляло только то, о чем он вчера случайно узнал от Ольги. Оказывается, все, чего он добился,— должность, довольно приличный заработок и даже то, что он кое-что значит как журналист (правда, в последнем он не был вполне уверен),— все это досталось ему из милости, благодаря самой обыкновенной протекции и влиянию Фишара. А Фишар ходатайствовал за него перед Геврле вовсе не потому, что высоко ценил способности Людвика, а из желания сделать приятное Ольге, поскольку в глазах Фишара и Ольгиной матери

Людвик был, ну скажем, близким другом Ольги. Людвика это оскорбило, и весь его гнев и негодование обратились против Геврле, против этого бездарного болтуна и комедианта. Бессильный гнев. Ему хотелось как-нибудь оскорбить Геврле, отомстить. Если бы не Фишар, Геврле давно бы уже выставил Людвика. Так пусть он забудет о Фишаре. Геврле волен действовать, как ему заблагорассудится. Он, Людвик, избавит его от всех условностей и обязательств. Останется только один Янеба в чистом виде. Сделайте милость, господин шеф-редактор...

Людвик оделся и отправился в редакцию. Близился полдень, и он решил вместо обеда съесть в закусочной порцию сосисок. Выпил маленькую кружку пива. Он будет экономить.

В редакции Людвик не успел еще усесться за стол, как из приемной шефа позвонила секретарша Пихова и сказала, что Геврле хочет поговорить с Людвиком, он уже два раза о нем справлялся.

2

Утро было сырое, холодное. При дневном свете ясно выступили наружу все недостатки гостиничного номера: выцветшие ободранные обои, облупившиеся, плохо закрывающиеся шкафы, потертая обивка кресел, пыль на листьях искусственной пальмы, почерневший, годами не чищенный паркет. Рядом на постели спала Марта. Ее волосы были убраны под косынку, лицо лоснилось от густого слоя ночного крема, она тяжело дышала и время от времени мучительно вздыхала. Фишара это раздражало, но в конце концов будет гораздо хуже, когда она проснется и ему придется выслушивать ее упреки. Он боялся пошевельнуться, чтобы не разбудить ее, лежал, натянув до самого подбородка одеяло, и смотрел на большое с ржавыми краями пятно на потолке. Пятно имело вид огромной лошадиной головы, из пасти которой торчал то ли веер, то ли экзотический букет.

Его ждет неприятный день. Он, конечно, не верит снам. Но, собственно говоря, сон ведь не что иное, как подобие наших мыслей и переживаний, кроющихся в подсознании. И корни его сегодняшнего сна ясны. Ему привиделось, что он стоит один перед огромной глыбой, которая закрывает горизонт, глыба эта неумолимо придвигается и грозит накрыть Фишара, раздавить его. Он проснулся, весь дрожа, сердце его бешено колотилось. И сразу же вспомнил слова профессора Пахнера, с которым разговаривал перед своим отъездом в Кржижанов.

«Обе войны и большевизм как их логическое следствие — не что иное, как бунт материи против духа».

Он думал об этих словах еще вчера вечером, когда смотрел на того мужлана с грязными ногтями, который вытирал края пол-литровой кружки рукой, перед тем как выпить из нее пиво. Он смотрел на него и никогда еще не ощущал так ясно существования того, другого мира. А ведь это был человек, которого ему отрекомендовали как их сторонника. На самом же деле там у стола сидел враг, человек, самим своим существованием враждебный его, Фишара, миру.

«Классовая борьба — это миф, ее не существует в действительности,— твердил Пахнер.— Марксистские теоретики делают все возможное, чтобы доказать ее существование. Они не брезгуют ничем».

Но Фишар опасается, что мифом как раз является утверждение Пахнера. Называть это, конечно, можно как угодно. Фишар называет «другим миром». И этот другой мир несомненно реален, он ощущает его на каждом шагу. Даже слишком реален. Этот мир сугубо материален, конкретен, ощутим. У людей, принадлежащих к нему, грязные ногти,

они вытирают рукой края кружки, перед тем как выпить из нее. Это мир, где нет места ни для философствований, ни для радости жизни, ни даже, может быть, просто для того, чтобы дышать.

И этот мир явно проснулся. Он наступает, он оттесняет и дробит, он раздавит все, что стоит на пути, как глыба в его сегодняшнем сне.

«Люди духа обленились,— возглашал профессор Пахнер.— Они слишком привыкли к тому, что истина борется сама за себя, и перестали быть ее воинами».

Тут он безусловно в чем-то прав. Фишар сталкивается на каждом шагу с вялостью, с неспособностью отразить наступление того, другого мира. Многие люди, с которыми он последнее время встречается, склонны верить, что гибель их мира, так сказать, роковая неизбежность, и капитулируют перед силой того мира. Они убеждены, что даже самые далеко идущие реформы ничего не исправят. И что бы ни делалось, вода неизбежно будет литься на мельницу коммунистов. Материя пришла в движение, и ничто ее не остановит. Лучше, пожалуй, присесть на корточки — авось, она нас не заденет, авось, удастся сохранить какой-то уголок, где можно будет спокойно коротать свои дни. Противиться этой глыбе? Бессмыслица из бессмыслиц, дорогой Фишар, отчаянное донкихотство! Безусловно! Где-то внутри у него живет уверенность в этом, но он пытается задавить ее, сам себя обманывает, боится признаться, что опять поставил на неудачную карту. И надеется он только на чудо. Все надеются только на чудо. Собственными силами никто не способен что-либо изменить.

На что можно рассчитывать? Конечно, не на прямое вмешательство Запада. Речь может идти только об экономическом и политическом нажиме. Перевозка американского оружия через нашу территорию в решающий момент, в крайнем случае — подтягивание воинских частей к границам Баварии. Полагают, что этого будет достаточно, что обессиленный в войне Советский Союз не решится рисковать и откажется от своего влияния в нашей стране.

Однако Фишар — по крайней мере, в данный момент — совершенно не верит в подобную перспективу. Он сам не знает почему. Еще вчера вечером он был в боевом настроении, прочитал Враспиру лекцию на тему, почему коммунистам приходит конец. А сегодня боевое настроение угасло. Ему не хочется стать жертвой собственных иллюзий, минутных успехов и того остатка честолюбия, которым он еще страдает. Он должен был после революции прежде всего подумать о спокойной будущности. Возможно, если бы тогда все осталось по-прежнему, если бы речь шла только о Марте, о мелких хлопотах с подборжанской и градецкой фабриками, он мог бы смириться и, пожалуй, уже ни к чему бы не стремился. Но есть еще Люция. Он сожалеет о многом, но только не о встрече с ней. Она одна привязывает его к жизни. Его чувство — больше, чем страсть. В ней, в Люции, смысл его существования, источник его счастья, его гордость. Только ради нее он хочет остаться тем, кем был, только ради нее он не раскисает, борется с отчаянием, со старостью, а может быть, ради нее сопротивляется и тому, что называют мудростью, уравновешенностью, благоразумием. Он хочет быть еще хоть минуты безумным, еще хоть минуты молодым.

И вдруг его охватил страх. Он почувствовал себя здесь, как в клетке. Надо вставать. Но как только он встанет, проснется Марта, и придется делать вид, что все в порядке, притворяться, что ему не страшно, что он ничего не боится. Фишару захотелось закричать: «Люди добрые, мне страшно!» А они бы спросили его: «Чего ты боишься?» Чего он боится? Сам не знает.

Фишару кажется, что его ощущение не имеет названия, просто какой-то метафизический ужас. А может быть, это из-за больного сердца, или страх пустоты, или ужас от предчувствия того ужаса, который еще придется пережить. Не вызван ли его страх тем, что события развиваются не так, как он предполагал?

Фишар встал. Осторожно, чтобы не разбудить Марту. А может быть, его осторожность излишня, и Марта вовсе не спит, а только боится открыть глаза и притворяется спящей, чтобы не пришлось с ним разговаривать. Все притворяются! Отвратительный холод! Он торопливо оделся, ополоснул лицо холодной водой, о бритье в этом леднике страшно было даже подумать.

Позже, когда Фишар, спустившись позавтракать в ресторан, ел там яичницу, к нему подсел, извинившись, старик Враспир и сообщил, что в кухне его ждет бывший управляющий мотоциклетным заводом Пруховой инженер Годура. Сам он не решается зайти сюда и послал Враспира, так как не уверен, будет ли эта встреча приятна господину доктору. Конечно, в такое время надо быть осторожным. Но Враспир ручается, что, пока господин доктор будет вести разговор, в ресторан никто не зайдет, в крайнем случае — какой-нибудь шофер или случайный посетитель, который выпьет у стойки. Кроме того, он задернет шторы в салоне, да и Яроуш не такой парень, чтобы кого-нибудь впустить, можно дать голову на отсечение.

Фишар не видел Годуру со времени его процесса, то есть с осени 1945 года. Он принял деятельное участие в судебном разбирательстве, написал несколько статей — собственно говоря, дело Годуры дало ему сразу возможность вернуться к общественной деятельности. И он воспользовался этой возможностью... К сожалению! Внутренний голос подсказывал тогда ему: не надо делать этого, лучше ограничиться своим фарфором и адвокатской практикой. Но решающей оказалась случайность: он узнал, что неожиданно умерла в больнице от инфаркта Стахова. Правда, в подвале его дома еще жила Горакова, но она вызывала скорее неприязнь, чем страх. Конечно, они действовали в сговоре, а арест Фишара был делом их рук. После того как его освободили, министр сообщил ему, что он обвинялся в доносе, погубившем архитектора Стаха. Но доказательства и весь материал были недостаточно вескими, и — как, впрочем, стало ясно и с первого взгляда — речь шла о ложном обвинении, которых, добавил министр, было в эти дни столько, что пришлось бы арестовать половину всего населения. Тогда оба посмеялись над этим. И все же Фишар, узнав о смерти Стаховой, почувствовал облегчение. Он ощутил тот же вкус свободы, как тогда, когда вышел из тюрьмы. Может быть, еще острее, потому что только теперь он осознал, что жил все это время под постоянной угрозой и в постоянной неуверенности. Он публично выступил тогда в защиту Годуры. Дело, конечно, было не в Годуре, Годура для Фишара был только предлогом выступить в печати в защиту независимости суда, надо было воспрепятствовать тому, чтобы улица влияла на суд, чтобы зал суда превратился в трибуну политической пропаганды. К счастью, после вынесенного приговора никто не вспомнил, что за Годуру ломал копья Фишар. Это прошло незамеченным среди прочих незначительных происшествий, в деле Годуры не было ничего необычного. Но, конечно, иначе все это обернулось для самого Годуры. Это человек разумный, специалист, каких мало, и, повези ему хоть немножко, он мог бы сейчас процветать. В конце концов не Фишару его осуждать, во время войны случалось всякое, и для принятия решения оставалось иногда чертовски мало времени. Особенно для людей, которые были на виду, на глазах у нацистов, как, например, Годура. Конеч-

но, с его стороны было неразумно объявиться именно теперь, в такое время и как раз в Кржижанове. Могут быть неприятности, если их кто-нибудь увидит вместе. Но вся штука в том, что Годуре Фишар кажется очень влиятельным, чуть ли не всемогущим человеком, который поможет ему выкарабкаться из грязи. А пока можно отделаться какой-нибудь сотней. Он вышел из тюрьмы и, наверно, без копейки. Придется дать ему понять, что в нынешней ситуации Фишар не может сделать для него больше. Он должен набраться терпения...

— Так что мне передать, господин доктор? — услышал он голос Враспира.

Фишар кивнул утвердительно. Что ему еще оставалось делать?

— Пусть придет,— сказал он.

3

Томашу Геврле было в то время пятьдесят лет. Несмотря на свой возраст и большой и разнообразный жизненный опыт, он снова и снова предавался иллюзиям, легко воодушевлялся и готов был верить таким вещам, к которым другой в его возрасте и с его опытом отнесся бы трезво и скептически. В нем было что-то донкихотское, и он сам считал себя рыцарем нового времени. Рыцарем правды, бесстрашным, честным, который, несмотря на тяжкие испытания, никогда не уклонялся от правильного пути, не делал ничего вопреки своей совести, не совершал дурных поступков, никогда не добивался никаких выгод в ущерб ближнему, был всегда готов принести в жертву свою жизнь — это обветшавшее выражение не казалось ему пустой фразой — на алтарь отечества! Вот таким представлялся он самому себе. Эти иллюзии не только укрепляли его уверенность в себе, но и давали право с беспощадной строгостью осуждать поступки других и предъявлять к другим самые высокие требования. Он очень легко забывал о собственных прегрешениях против провозглашенных им самим принципов и еще легче находил объяснение и оправдание этим прегрешениям, умел вывернуть их наизнанку так, что черное представлялось ему белым, проявление трусости превращалось в геройство, поступок, свидетельствующий о бесхарактерности,— в доказательство твердой и непреклонной воли.

Двадцатитрехлетним юношей он начал сотрудничать в венской газете и здесь впервые встретился с Шебанеком, вместе они проболтались всю первую мировую войну по казармам, обоим удалось избежать отправки на фронт. После бурного двадцатого года Геврле поступил в газету «Право лиду» и вскоре стал редактором внешнеполитического отдела. Его статьи выделялись скорее неумеренным оптимизмом, чем деловым анализом и трезвым предвидением хода событий.

В эту же пору он женился на дочери известного биржевого спекулянта Люстига. Это не был брак по расчету, он познакомился с Дитой во время одной из своих служебных командировок в Париж, влюбился в нее и решил жениться, еще не зная точно, кто отец девушки. К тому же, в те годы Люстиг не был еще таким богатым, каким стал впоследствии, а честность или, может быть, упрямство Геврле — он не забывал, что является редактором рабочей газеты и членом социал-демократической партии,— заходили так далеко, что он строго отделял имущество Диты от своего собственного, вернее, от своих не слишком больших доходов редактора.

Люстиг подарил своей дочери виллу в Дейвицах и обставил ее, одевал Диту. Однажды к Новому году он подарил ей машину и ежемесяч-

но выплачивал сумму, во много раз превышавшую редакторский заработок Геврле. Разумеется, редактор Геврле был тут ни при чем. Богатство порой даже омрачало его в остальном безоблачную семейную жизнь.

«Ты понимаешь,— часто говорил он жене,— я не могу запретить твоему отцу дарить тебе все, что ему заблагорассудится. Это бесспорно. Но учти, пожалуйста, что я не откажусь из-за этого от своих социалистических убеждений. Я бы все отдал, чтобы мы могли жить, как простые рядовые люди! Признаться, мне порой глубоко противно все это богатство и роскошь. К сожалению, я не могу переехать из этой виллы в обычную квартиру, это было бы нелогично. Я должен принимать пищу за одним столом с тобой и пользоваться трудом прислуги, потому что люблю тебя и семью. Но не думай, что я хоть в чем-нибудь изменю своим принципам».

Его преданная жена ничего другого и не желала и вряд ли особенно заботилась о принципах Томаша Геврле. Ей было достаточно того, что она и ее ребенок имеют все, о чем только можно мечтать, и что она не должна существовать на редакторский заработок мужа.

«Я живу в вилле моей жены»,— говорил он с горькой иронией своим коллегам по редакции и с таким видом, будто богатый тесть для него невероятная обуза. «В вилле своей жены» он устроил себе рабочий кабинет в мансарде, в нем стояли самые необходимые и самые простые вещи. Старый источенный червями шкаф, сохранившийся еще со студенческих лет, простой стол, справочная библиотека, железная кровать. Геврле испытывал необыкновенное удовольствие, когда какой-нибудь посетитель, не удержавшись, выражал свое удивление: «Боже, как скромно вы живете!» Геврле отвечал: «Человек никогда не должен забывать о том, каково приходится беднякам. Он должен всегда уметь обходиться без денег и не должен позволить богатству развратить себя».

Всех посетителей он принимал только в своей комнате. Здесь он вел с ними беседы, а выбрав подходящий момент, говорил: «Моя жена была бы очень рада видеть вас у себя. Она нас приглашает, ну что же, отправимся в ее королевство!»

И действительно, сразу же за дверью комнаты Томаша Геврле, несколькими ступеньками ниже, посетителю открывался другой мир — мир роскоши и комфорта. Обширный холл со стеклянной стеной, за которой виднелся тщательно ухоженный сад, мягкие кресла, редкие картины, диваны, персидские ковры, бесшумно двигающаяся горничная, веселая красивая жена Томаша Геврле — отличная хозяйка, тактичная супруга, которая перед чужими готова считать мужа гостем в своих комнатах. Она научилась за время своего замужества делать вид, что все это существует только ради нее, а бедная комнатка наверху — мир ее мужа, и умела сообщить это гостям так, что те чувствовали в ее словах удивление и уважение, которое она питает к своему мужу именно из-за его верности своим принципам.

Если гость оказывался внимательным слушателем и Томаш Геврле был в хорошем настроении, он любил пошутить на эту тему. «Я все собираюсь исправить Маркса,— говорил он.— Согласно его учению, в нашей семье должна бы разыграться жестокая классовая борьба. Но как раз наша семья может служить доказательством того, что представители различных классов могут сосуществовать в мире и спокойствии». Госпожа Геврле смеялась. Гость тоже смеялся. А Геврле привычно целовал жене руку.

Конечно, все это было иллюзией, которую создал себе Геврле, но он и в самом деле верил, что независим от денег жены и тестя. В действи-

гельности все было как раз наоборот. Геврле попросту не заботился о своей семье. Редакторского жалованья ему хватало только на карманные расходы. Его требования увеличивались незаметно для него самого, и, кроме того, Дита, хорошо зная слабости своего мужа, умела устраивать так, что он даже и не замечал, а может быть, не хотел замечать, что живет на средства своего тестя. Вполне понятно, жена заботилась об одежде Геврле, она точно знала, когда и что ему потребуется и где это выгоднее купить; казалось вполне естественным, что они проводят лето на юге, у моря, ради здоровья мальчика. И каждому было ясно, что редактор Геврле, на котором лежит столько ответственных обязанностей, должен быть освобожден от мелочных забот — обычного удела каждого отца семейства. Благодаря стечению обстоятельств, а вовсе не благодаря деньгам своего тестя, Геврле мог целиком отдаться работе, чувствовать себя независимым от работодателей. Стечение обстоятельств, а вовсе не деньги тестя, открыли ему доступ во влиятельные круги общества, в среду власть имущих, где он мог получать информацию из первых рук, которую использовал с тактом и скромностью.

Да, все в те годы знали имя Томаша Геврле, бесстрашного трибуна, пламенного публициста, одного из самых выдающихся журналистов.

Во время мюнхенского кризиса, и после него, и даже в начале оккупации Геврле был одержим идеей, что именно он призван спасти нацию. Он писал статьи, полные оптимизма, утешительных слов, широковещательных заявлений и предсказаний, которые большей частью не сбывались. «Гитлер удовлетворен, у него нет больше территориальных притязаний, а на той территории, которая у нас осталась, мы должны оживить и углубить нашу патриотическую деятельность, отказаться от эгоизма, от мелочных споров и жить только мыслью о том, чтобы прославить нацию на духовном поприще. Одним словом, если каждый из нас будет как кремень... Что случилось, то случилось. Нет смысла обвинять друг друга, нет смысла искать причин национальной катастрофы, мы должны окопаться и вести позиционную войну за сохранение языка, культуры и национальности». Деятельность журналиста уже не удовлетворяла его, он ездил по стране, говорил, проповедовал, убеждал. Пятнадцатое марта * застигло Геврле в самый разгар бурной просветительской деятельности. Ситуация изменилась, предсказания не сбылись. «Что случилось, то случилось. Нет смысла обвинять друг друга, нет смысла доискиваться причин решения президента и германского канцлера **. Необходимо углубить и оживить патриотическую деятельность. Немецкий национал-социализм уважает и будет уважать национальные чувства чехов, сумеет оценить их вековую культуру, будет с пониманием относиться к работникам физического и умственного труда. А поэтому — бодро за работу. В союзе с великой Германией мы избавимся, наконец, от экономических затруднений. Надо смириться с тем, что мы не будем играть первую скрипку в концерте мировой политики. Для этого мы слишком маленький народ. Надо отказаться от эгоизма, от мелочных споров. Надо жить только мыслью о том, чтобы прославить нацию на духовном поприще. Словом, если каждый из нас будет как кремень...»

У него были самые лучшие намерения, и он верил тому, что говорил. Трудно представить себе, где бы он остановился, но его, можно сказать,

---

* Пятнадцатого марта 1939 года немецко-фашистские войска оккупировали Чехословакию.

** Имеется в виду сговор чешского президента коллаборациониста Гахи с Гитлером, в результате которого был образован так называемый Протекторат Чехии и Моравии.

спас сам Гитлер: Геврле был арестован и лишен возможности продолжать проявлять себя.

В то время, незадолго до оккупации, Геврле навестил его приятель Шебанек. Он пытался убедить Геврле, что тот ошибается, стоит на краю пропасти, его позиция вредна для него самого и тем более для нации, что наступают времена, когда честный журналист должен умолкнуть, а если Геврле хочет сражаться, то пусть делает это иными методами, а не уступая и приспосабливаясь ко все новым и новым ситуациям. Смирение и уступки только помогают фашизму, а всякий фашизм — свинство, будь то чешский, немецкий или готтентотский.

Геврле возмутился, пришел в ярость. Он кричал на Шебанека: не Геврле, а Шебанек предает, если он готов в такое время отказаться от своего единственного оружия — пера! Наоборот, стерпеть и остаться на своем посту, не уступать его крысам и открытым приверженцам Гитлера. Хороший журналист всегда найдет способ говорить так, чтобы нация его поняла. Есть тысяча способов найти путь к сердцу народа. Выстоять или погибнуть!

«К счастью, его арестовали, кто знает, какую подлость он бы еще совершил,— говорил Шебанек.— Он катился очертя голову к коллаборационизму».

Уже в ту пору, когда результат мюнхенских переговоров еще не был известен, тесть Люстиг собрался уехать из этой ненадежной страны за море. Конечной целью его была Америка, но он решил сперва поселиться в Англии и оставаться там, покуда не разразится война. Видимо, ловкий делец Люстиг, хотя и не был журналистом, оценивал ситуацию гораздо более трезво и, в отличие от своего зятя, не поддавался никаким иллюзиям. Он меньше говорил и больше действовал. Незадолго до пятнадцатого марта, когда все у него было подготовлено к отъезду, он настойчиво советовал своей дочери и Геврле уехать вместе с ним. Он был очень привязан к дочери, как это обычно бывает в еврейских семьях, и готов был всем для нее пожертвовать, даже навязать себе на шею этого фанфарона, как он называл своего зятя.

«Спрячьте свои теории о нации подальше в саквояж. Я, старый Люстиг, говорю вам: будет война, и сейчас самое время сматываться. А саквояж, так и быть, я прихвачу с собой, как балласт или бесплатное приложение»,— дразнил он Геврле, который с тем большим упорством отказывался и стоял на своем. Мюнхен, мол, все разрешил, Гитлер не имеет больше территориальных претензий, расовые ограничения у нас вводить не будут, здесь для этого неблагоприятная почва. В соседней Германии — другое дело, там были предпосылки для развития антисемитизма, но чешский народ, высококультурный и мудрый, никогда не унизится до проявления таких примитивных чувств.

Он уступил Люстигу только в том, что позволил переписать состояние, которое до тех пор было оформлено на имя Диты, на свое имя. Геврле делал вид, что приносит жертву своему тестю. Отдавшись на волю судьбы, Люстиг уехал. Через несколько дней Геврле, очевидно, беспрекословно согласился бы уехать, но было поздно. Оставалась возможность нелегального бегства, связанного с хлопотами и риском, но на это Геврле не решился. С согласия жены, он развелся с нею, чтобы сохранить состояние. Правда, из виллы Дита не выехала, она официально числилась там квартиранткой, снимающей у Геврле мансарду. Разумеется, они ничего не спасли, а, напротив, потеряли все. Геврле был в сорок первом году арестован и отправлен в Бухенвальд. Его жене и ребенку грозила отправка в гетто. Дита оттягивала ее до последней возможности,

а когда уже ничто не могло помочь, даже подкупы, застрелила ребенка, а потом застрелилась сама.

В сорок пятом году Геврле казалось, что вся нация только и ждет его возвращения. И он был несколько разочарован, что к нему не отнеслись соответственно его заслугам и героизму. Какие только жертвы он не принес родине! Эта обида послужила одной из причин того, что он не восстановил свое членство в социал-демократической партии. Другой причиной была его искренняя уверенность, которую он не преминул высказать, что в эти бурные, тяжелые годы правильно предвидели будущее только он и коммунисты. Он серьезно помышлял о том, чтобы вступить в коммунистическую партию, как вдруг в руки ему попала статья, напечатанная в одном из коммунистических журналов. Геврле был назван среди других как буржуазный журналист, а главное — капитулянт, который своими призывами к покорности играл на руку фашизму во времена второй республики *. Геврле усмотрел в этом тяжкое оскорбление. В нем вспыхнула горькая обида и чувство протеста: подождите, я вам покажу, кто такой Геврле! В Бухенвальде он близко познакомился со многими влиятельными членами национально-социалистической партии. Теперь Геврле стал ее членом и, благодаря этому, шеф-редактором слывшей независимой газеты «Глас лиду».

В эти февральские дни Геврле показалось, что решается прежде всего вопрос о его будущности. В глубине души он считал место шеф-редактора «Гласа лиду» мало соответствующим своему высокому назначению и способностям. При других обстоятельствах он, разумеется, здесь не останется, он будет призван выполнять более ответственные функции, решать более значительные задачи, как, например, реорганизацию радиовещания, которая произойдет, как только президент назначит правительство из специалистов. Ему было сказано, что нельзя терять ни минуты. «Будьте готовы и примите в своей газете необходимые меры. Предложите нового шеф-редактора или, по крайней мере, назначьте для начала своего заместителя». Пока что он предпочитал второе. До сих пор он поручал Чермаку замещать его, но официально заместителя у него не было. Конечно, Чермак человек надежный, но неинтеллигентный, лишенный чутья и такта, годится скорей для улаживания грязных историй, чем для идеологического руководства газетой. Он перебирал мысленно всех своих сотрудников. Шебанека он отверг сразу же. Это циник без взлета, газетный ремесленник, ко всему еще социал-демократ, что вообще ненадежно. Достаточно небольшого нажима, и из него получится коммунист. Есть еще Янеба, у него живое, бойкое перо, он остроумен, обладает достаточным тактом и нюхом. Правда, в последнее время Геврле был неприятно удивлен его статьями, защищающими точку зрения, полностью совпадающую с коммунистической. Шеф-редактору посоветовали навести в редакции порядок. В ближайшие дни нельзя повторять что-либо подобное. Надо отбросить всякую сентиментальность и обращать больше внимания на неорганизованных коммунистов, они опаснее, чем организованные. Видимо, Янеба один из них.

Доктор Фишар, который случайно присутствовал при этом разговоре, рассмеялся. Он сказал, что знает Янебу, он сам рекомендовал его Геврле, ручается за него и уверен, что опасения на его счет преувеличены. В такой момент, как сейчас, нужно быть дипломатом — надо привлекать людей, а не отталкивать их. Янеба податливый человек, достаточно поговорить с ним разумно. Он, Фишар, напротив, полагает, что

---

* Так называлась Чехословацкая республика после Мюнхенского соглашения вплоть до установления Протектората (октябрь 1938—март 1939).

как раз Янеба был бы хорошим заместителем Геврле. Мы привлекаем к себе людей, возлагая на них большую ответственность. Ответственность заставляет людей расти. Они становятся осмотрительней и уже не высказывают всего, что думают. Геврле эта мысль понравилась. Он решил поговорить с Янебой.

Бывает, что человеческий характер вдруг совершенно неожиданно раскрываегся, и все, что вы не могли понять, сразу находит свое объяснение и становится абсолютно понятным.

В тот день особа Геврле сосредоточила на себе все негодование Людвика. Подлец, трус, карьерист! Вдруг все это стало ясно Людвику. Еще вчера он готов был защищать его перед Ванеком и перед Шебанеком. Может быть, он и забыл бы о его трусости, которая так ясно проявилась в случае с Янечеком. Но то, что он вчера услышал от Ольги и от Владимира, его оскорбило, унизило, привело к решимости дать отпор. Геврле зовет его скорей всего для того, чтобы сообщить с извинениями и похлопыванием по плечу, что настал момент, когда он, к сожалению, не сможет с ним больше работать; речь идет о нации, о демократии и свободе, на карту поставлено так много, что он не может рисковать. «А вы, коллега, занимаете двойственную позицию, во всяком случае — недостаточно определенную...» Он ясно представлял, что и каким образом скажет Геврле, и мысленно готовил ответ.

Скорее подавленный, чем спокойный, он вошел в кабинет Геврле.

— Вы звали меня? — спросил он, останавливаясь у двери.

Геврле что-то писал. Не глядя на Людвика, он указал рукой на стул.

— Садитесь! — воскликнул он.

Геврле никогда не говорил нормально. Он восклицал и взывал с различными оттенками в голосе: бодро и дружески, патетически и угрожающе, устало, официально, радостно и грустно. Сейчас это было нечто среднее между официальным и дружеским восклицанием.

Затем он отложил ручку и взглянул на Людвика.

— Друг мой, наступил момент, когда необходимо принять решение. Пробил двенадцатый час! — провозгласил он с надлежащим пафосом, и его лицо нахмурилось, выражая озабоченность.

Янеба не мог преодолеть искушения надерзить Геврле. Он достаточно демонстративно взглянул на свои часы так, что Геврле не мог не обратить на это внимания, и сказал с серьезным лицом, обычным деловым тоном, как будто не понял смысла его ораторского приема:

— Да, через две минуты пробьет полдень.

Замешательство Геврле доставило ему невыразимую радость. Но Геврле, видимо, все же решил пропустить мимо ушей дерзость Людвика и принять все это как шутку. Он коротко и холодно засмеялся.

— Я рад, что вы в хорошем настроении. Но речь идет о серьезных вещах, очень серьезных, дружище...

Геврле встал и несколько раз прошелся по комнате, заложив руки за спину и склонив голову, как будто искал, где оборвалась его мысль, прерванная неуместной шуткой Янебы.

Людвик же в это время прилагал все усилия, чтобы не выйти из роли и не дать Геврле сбить себя. Он почти не слушал, что тот говорит. Он смотрел на серый шкаф, где стоял запыленный бюст самого господина шеф-редактора. Его волосы развеваются на ветру, подбородок воинственно поднят, могучие брови, высокое чело. Ну прямо народный трибун!

— Нельзя уже ни плыть по течению, ни парить над водами! — взы-

вал Геврле и удивительным образом фехтовал при этом рукой.— Мы не святые. Здесь, на этой земле, в этот час решится наша судьба!

На минуту он умолк и посмотрел на Людвика. Людвик выдержал его взгляд, и не он, а Геврле отвел глаза и уставился куда-то в потолок.

— Вы знаете эти стихи? — спросил он. Затем положил руку туда, где из верхнего кармана вылезал уголок носового платка, и начал декламировать с надлежащим пафосом:

В жизни нужно сердцем участвовать,
Выбрать партию, выбрать путь.
В жизни так случается часто:
Нужно пуле подставить грудь.

— Не знаю.

Людвик ждал, что за этим последует.

— Это Гельнер, друг мой, поэт нашей юности. Кажется, что это написано сегодня. Послушайте только!

И он повторил, многозначительно выделяя каждое слово:

...нужно сердцем участвовать,
Выбрать партию, выбрать путь.

— Я полагаю, он не имел в виду национально-социалистическую партию? — сказал Людвик и рассмеялся.

И Геврле засмеялся, снисходительно, надменно.

— Вы знаете меня и видите, что я выше мелочных споров, но положение в газете должно быть в ближайшее время прояснено. Возможно, я понадóблюсь в другом месте, и, обдумав все, я решил принять меры!

Он помолчал и прошелся по комнате, как бы набираясь решимости и снова что-то продумывая.

«Сейчас он меня выставит,— подумал Людвик.— Он ищет только способ, как бы мне поэлегантнее поднести это».

— Я решил назначить вас своим заместителем, чтобы позднее, если вы оправдаете надежды, вы взяли на себя руководство газетой...

В ту минуту Людвик был убежден, что Геврле шутит, что это месть за его дерзость. Он смутился, не зная, что ответить, и в то же время сознавал, что попадет в смешное положение, если не ответит тотчас же.

Он встал, с грохотом отодвинул стул, на котором сидел, и шагнул к письменному столу Геврле.

— Вы хотите, чтобы я ушел сейчас или чтобы предупредил о своем уходе, как Янечек?

— Что это должно означать? — воскликнул Геврле.— Я не понимаю. Я вам предлагаю...

— Насколько мне известно, вы хотели меня уволить,— перебил его Людвик.

— Откуда вам это известно?

— Не имеет значения. Вы же подозреваете, что я — неорганизованный коммунист.

— Но это бестактность со стороны Фишара,— с возмущением всплеснул руками Геврле.

Людвик пожал плечами.

— Садитесь, приятель,— и Геврле указал рукой на кресло, в которое Людвик, не без колебания, сел снова.— Поговорим разумно. Мы оба понимаем, о чем идет речь.

— Я не понимаю,— сухо заметил Людвик.

Геврле с удивлением поднял глаза и испытующе посмотрел на него. Он не привык к подобному поведению Людвика. Чтобы поскорее отделаться от шефа, Людвик обычно соглашался со всем, что тот предлагал,

и Геврле казалось, что он безоговорочно признает его авторитет. Во время их прежних бесед речь никогда не шла о принципиальных вопросах, и Геврле явно хотелось выяснить причину внезапной перемены в поведении Людвика. Ответ был прост: причиной этой перемены было вчерашнее выступление Геврле против Янечека.

— Вы не согласны с моим вчерашним распоряжением?

— Само собой разумеется. Ни один порядочный человек не может с ним согласиться,— сказал Людвик, сам удивленный своим внезапным спокойствием.— Я надеюсь, что это было все же временной мерой...

— В конце концов,— заметил Геврле и развел руками,— я лично ничего не буду иметь против него, когда восстановится нормальное положение, когда будет одержана победа...

— А я думаю,— вставил Людвик, повысив голос, чтобы приостановить поток его красноречия,— что это уже не будет зависеть от вас!

Геврле вскочил с кресла, быстро прошелся по комнате и, воздев руки, воскликнул сквозь смех:

— О легкомыслие! Твое имя — молодость! Вы, по-видимому, еще не знаете, как далеко зашло дело. Девять министров сегодня выйдут из правительства.

Людвик тоже встал.

— Ну и что же! — сказал он.— Войдут другие, которые больше подойдут коммунистам.

— Вы действительно так думаете?! — воскликнул пораженный Геврле.— Или даже хотите этого?

— Дело не в моих желаниях и не в ваших. Дело не в том, что вы думаете или чего вы желаете. Вы-то, правда, ни о чем не думаете и сами не знаете, чего хотите...

Геврле уже сидел в своем кресле, он перевел дыхание и вытирал лоб белым носовым платком, который вытащил из кармана. Потом придвинул кресло к письменному столу и расположился поудобнее, как будто собирался приступить к своим официальным обязанностям.

Людвик посмотрел в окно. Большие влажные хлопья падали на двор типографии. «Куда бы пойти пообедать? — подумал он.— Может, пригласить Краммера?»

— Приведите в порядок дела, передайте все Палоушеку и можете покинуть редакцию.

4

Годура вошел, опираясь на палку, свою мерлушковую шапку он оставил на вешалке, но шубы не снял. Он остановился у стола, за которым сидел Фишар, и сделал неловкую попытку поклониться.

Фишару стало жаль его. Он дружески ободряющим жестом указал ему на кресло. Это был один из тех красноречивых и точно рассчитанных жестов, на которые Фишар был такой мастер. Он должен был обозначать: я понимаю и сочувствую вам, но поймите и вы, что это все же небезопасно и мое время ограничено. Говорите кратко и по существу.

— Я не задержу вас,— сказал Годура, уставившись в пол и опираясь обеими руками на палку.— Меня выпустили неделю назад. Благодаря адвокату. Это обошлось, разумеется, недешево. Но зато помогло. Я пришел...— он запнулся и явно раздумывал, как быть дальше.

«Он постарел и сник»,— подумал Фишар, разглядывая Годуру. Его внешность никогда не была приятной, в нем было что-то бульдожье, особенно в большом круглом лысом черепе, выпученных глазах и растянутых толстых губах. Казалось, что рот его всегда полон слюны. Рань-

ше лицо у него было красноватого цвета, а теперь оно стало землистым. Фишар сунул руку во внутренний карман пиджака.

— Вам нужны деньги...

Годура, словно защищаясь, поднял руку.

— Что вы, доктор! Этим я не стал бы вас затруднять.

— Так в чем же дело? — удивленно спросил Фишар.

— Об этом нелегко говорить, поверьте мне,— сказал Годура после минуты молчания, когда Фишар начал уже проявлять нетерпение.— Не знаю, право, удастся ли мне убедить вас, что я могу вам помочь.

— Мне, помочь? Не понимаю, в чем вы могли бы мне помочь?

— Могу. Безусловно могу,— ответил как бы про себя Годура.— Как я и предполагал, вы, видимо, еще не отдаете себе отчета в том, насколько велика опасность.

Фишар посмотрел на него с интересом.

— Это весьма деликатный вопрос. Вам, может быть, разговор покажется преждевременным. Но я привык рассчитывать и калькулировать заранее.

— Ну так выкладывайте! — воскликнул Фишар, у которого вдруг пробудилось любопытство.

— Я думал, что увижусь здесь с госпожой Пруховой,— уклонился от прямого ответа Годура.

— Она еще спит.

— Я полагаю, что мог бы оказаться вам полезным. Теперь времена очень беспокойные, а вы, насколько я понимаю, поставили в этой игре на карту немало.

— Если это можно так назвать,— усмехнулся Фишар.

— Тот, кто играет, должен всегда иметь в виду, что может и проиграть. Я думаю, вы поставили не на ту карту, доктор!

— Другой не было. По крайней мере, такой, на которую я мог бы с чистой совестью поставить. У меня есть определенные принципы! — холодно отрезал Фишар.

— Это только мое мнение,— поспешно сказал Годура.— Не обращайте внимания. Я сказал только то, что думаю, а в общем я не разбираюсь в политике. Надеюсь, что вы не обидитесь на мою откровенность...

— Нет-нет. Говорите начистоту,— заверил Фишар.— Меня интересует, как вы пришли к подобному заключению.

— Это очень простое уравнение, доктор, в нем нет ни одного неизвестного. Для меня результат ясен. Выиграют коммунисты, а вам рано или поздно придется скрыться. Или бежать. Видите ли, я привык подсчитывать, я ведь никогда ничем другим не занимался.

— Я бы не сказал, что в данном случае ваши подсчеты очень уж правильны,— возразил со смехом Фишар.

— Вы ошибаетесь, доктор,— деловым тоном ответил Годура.— Я учел при подсчете все возможности. Даже то, что я не герой. Благодаря этому я застрахован полностью, могу и вам предложить помощь в случае надобности. Я очень обязан вам и госпоже Пруховой и не стану от вас скрывать, что знаю способ, как безопасно и надежно переправить за границу ценности.

— Так вы думаете, что это понадобится?

— Спросите своих пражских друзей. Лучше всего тех, которые участвуют в нынешнем штурме,— засмеялся Годура.

Фишар молчал. Этот разговор представился ему фантастическим. Еще вчера он сидел здесь и был уверен, что все кончится хорошо. Он поспал, правда отвратительно, пришел к завтраку и вот теперь серьезно рассуждает о таких вещах, которые ему никогда даже отдаленно не при-

ходили на ум. Да, в сорок пятом, когда еще казалось, что ему не выпутаться, не уцелеть, он размышлял о возможности бегства за границу и мысленно составил список всего того, что мог взять с собой. Он владел оставшимися еще от матери ценнейшими вещами.

Но, к счастью, это были только размышления. Позже много раз заходила речь о том, что делать, если коммунистам удастся захватить власть, установить диктатуру. Что предпринять в таком случае? Многие, пожалуй большинство из тех, кто его окружали и кто так или иначе были замешаны в политике, допускали возможность эмиграции. Фишар всегда отвергал такой вариант и не потому, что у него были какие-то иллюзии насчет возможности жить при господстве коммунистов. Нет, Фишар просто не мог себе представить, чтобы он в свои годы пустился на авантюры, оставил свою квартиру, отказался от всего, что тут было накоплено чуть ли не за целое столетие его дедом, а потом родителями. Он слишком сросся со всем этим, чувствовал себя обязанным охранять и приумножать свои ценности. Ему казалось, что в любом другом месте он попадет в вакуум, потеряет твердую почву под ногами, уподобится вырванному с корнем растению. У него было много знакомых среди русских эмигрантов, и он видел, как они постепенно разлагались, утрачивали смысл жизни. Он не боится чужбины, он много путешествовал, знает языки, даст бог, и там как-нибудь перебьется. Но он не решается даже думать об этом из какого-то суеверия. Ведь если воин допускает возможность поражения, хоть на один процент, он уже побежден. И потом еще Люция. Она слишком большая реалистка, чтобы уехать с ним. Он знает, что она его высмеет за такое предложение. Бежать ему пришлось бы с Мартой. Она не способна о себе позаботиться, на чужбине она просто погибла бы. Да к тому же его сводит с ума одна только мысль, что он окажется связанным с нею до конца своих дней.

— Я не требую, разумеется, от вас, чтобы вы приняли решение тотчас же,— услышал Фишар голос Годуры.— Вероятно, вам кажется, что дела обстоят еще не так плохо. Ну пусть, это зависит в конце концов от точки зрения. Пройдет какое-то время, и мы все поумнеем, и на этот случай вас навестит, ну скажем, пятнадцатого марта один человек. Он представится вам как инженер Гуммель. Советую не упускать столь удобный случай.

— Посмотрим,— пробормотал Фишар.— Я подумаю об этом. Как вы сказали его зовут?

Он вытащил записную книжку и карандаш.

— Инженер Гуммель. Но лучше бы вам просто запомнить это имя. Не удивляйтесь моей осторожности, у меня за плечами их тюрьма, доктор.

— А вы уже решили? — спросил Фишар Годуру.

— Решил, и бесповоротно, и даже не из страха. Я уже отбыл то, что вас, возможно, еще ждет. И я в конце концов тоже могу им кое-что предложить. Но за границей я смогу жить более приятно, у меня есть вещи, которые легко обратить в деньги.

— Патенты?

— И это тоже.

— Просите заграничный паспорт. Думаю, я мог бы нажать. У меня есть кое-кто в министерстве иностранных дел,— сказал Фишар, роясь в памяти.

Годура рассмеялся.

— Не сердитесь, доктор. Но у вас довольно наивные представления. Паспорт! Какой там паспорт! Я ведь был репрессирован. Мне просто надо перейти границу. Да и вам, в случае переворота, тоже. Первое, что они сделают,— закроют границу.

— Вы пессимист,— усмехнулся Фишар.

— У меня есть на то причины. Я еще хотел спросить вас, вернее, госпожу Прухову... Но раз ее нет, может быть, вы мне скажете?..

— Пожалуйста.

— Я помню, что когда-то Пруха построил виллу. Где-то у границы. Как это место называется, доктор?

— Швигов!

— Швигов,— с облегчением повторил Годура.— Вот никак не мог вспомнить. Что там теперь?

— Да ничего,— пожал плечами Фишар.— Там немного запущенно, знаете, за время оккупации. Почему вы спрашиваете?

— Скажу вам честно. Швигов мне бы подошел. Я хотел бы там кое-кого дождаться...

Фишар задумчиво кивнул, а Годура добавил:

— Этот человек и вам пригодится. Не упускайте из виду и такую возможность.

Фишар, хотя он и сопротивлялся этому состоянию, вдруг почувствовал, как им овладевает подавленность. Почему, собственно, он должен бежать? Что он сделал дурного? Никто не может его обвинить в каком-нибудь правонарушении. Остается, правда, та неприятная история военных лет, но кто об этом знает? Стахова умерла. Шмидтке за горами, за морями. Горакова ничего не сможет сделать. У Годуры несомненно есть причины эмигрировать. Он сидел в тюрьме, легко поддается панике; он инженер и может за границей всюду устроиться. А что может он, Фишар, со своими знаниями уголовного права, со своим красноречием и адвокатской практикой? Нет, если ударит коммунистический мороз, он сложит свои монатки, наденет шлепанцы и перезимует здесь. А сейчас он позовет Шейбала и узнает, как обстоят дела на заводе. Надо проглотить эту горькую пилюлю и чем скорее, тем лучше. Потом, даст бог, если не возникнут какие-нибудь препятствия, он съездит на завод с Мартой. Лучше всего оставить там все так, как оно есть, обойтись без речей, ограничиться формальным актом передачи и сообщить об этом заводскому совету через управляющего. Да, лучше всего иметь пока дело только с управляющим. Позднее, когда ситуация прояснится — судя по всему, через недельку,— надо предпринять первые шаги: ограничить влияние коммунистов, насколько возможно, очистить от них завод, и особенно заводской совет. Совершенно очевидно, если в Праге все пройдет гладко, их единодушие начнет таять, как весенний снег; погода изменится, начнутся бури, дорогие товарищи, и выяснится, что не так-то уж легко быть коммунистом! Надо будет что-нибудь придумать, чтобы дискредитировать их.

Он хорошо знает, к чему ведут в политике нетерпеливость и поспешность. Если коммунисты на чем-нибудь погорят в нашей стране, так прежде всего на том, что были слишком нетерпеливы и слишком спешили, хотели в одну ночь изменить сознание людей.

Годура закурил сигарету и закашлялся, кашель душил его.

Фишар со смущением заметил, что совершенно забыл о нем. Он хотел что-то сказать?.. Ах да, речь шла о Швигове... Надо бы ему ответить, что он, собственно, не имеет права решать сам, об этом надо поговорить с Мартой.

— Я хотел обратить ваше внимание,— сказал Фишар,— что... Ну, словом, тут есть загвоздка.— Он смотрел в лицо Годуры, ставшее фиолетовым после приступа кашля. Тот поднял на Фишара мутные глаза.— Вам нехорошо? — спросил Фишар испуганно.

— Не обращайте внимания,— прохрипел Годура, превозмогая кашель и вытирая рот и вспотевшее лицо платком.— Так что вы хотели сказать?

— Вилла, к сожалению, обитаема.

— Это, конечно, хуже,— заметил Годура.

— Там живет садовник по имени Рознер.

Годура кивнул. Он знает его.

— Раньше Рознер жил там с семьей. А теперь один? — спросил он.

— Один. Мар... госпожа Прухова,— быстро поправился Фишар,— надеется, что Рознер приведет в порядок сад и сделает там самый необходимый ремонт. Если ситуация сложится благоприятно, она хочет летом начать перестройку виллы.

— Там должен быть совершенно чистый воздух, доктор. Хотя бы на короткое время,— сказал Годура, о чем-то размышляя.— Уговорите госпожу Прухову.

— Было бы хорошо, если бы вы сами с ней об этом поговорили,— сказал Фишар.— Я, разумеется, не могу распоряжаться виллой.

— А я думаю, что это, в конце концов, зависит только от вас,— осторожно нащупывая почву, возразил Годура.

— Наши отношения с некоторых пор...— начал объяснять с растерянной улыбкой Фишар. Ему показалось, что Годура вдруг перестал ему верить.

— Ах так, простите, я не хотел касаться этого вопроса,— перебил его Годура.

— Ничего ведь не случилось. Я хочу вас заверить, что еще и в мыслях не имел уехать за границу. Я надеюсь на лучшее. Но подумаю и о такой возможности.

Годура кивнул в знак согласия, но недоверчиво усмехнулся.

— Я, видимо, пришел слишком рано. Но, во всяком случае, доктор, не забывайте обо мне, если увидите, что жить стало невмоготу, а вы это увидите, или что вам грозит опасность, а она вам уже грозит. Я уеду на этой неделе в Прагу. Пока что буду жить у своей сестры, ее фамилия такая же, как и моя, Годурова, вот ее адрес и номер телефона,— он подал ему заранее приготовленный листок.— Я бы с радостью помог вам, и особенно я хотел бы помочь госпоже Пруховой.

— Благодарю вас!— воскликнул Фишар и заботливо спрятал листок во внутренний карман пиджака.

Потом он протянул через стол руку, которую Годура стиснул своей холодной ладонью. Это было неприятное прикосновение.

— Как вы думаете...— начал Годура, задумчиво глядя на железный наконечник своей палки.

В эту минуту вошла Прухова.

— Господи, управляющий Годура! — с наигранным изумлением воскликнула она. Но в тоне ее чувствовалась некоторая настороженность.— Как поживаете?

— Целую сударыне ручку,— с поклоном сказал он.— Рад видеть вас снова. Как я поживаю? Как человек, который только что вышел из тюрьмы.

— Будьте счастливы, что это уже позади,— ответила она, подсев к столу.— Говорят, скоро все уладится, и тогда можно будет для вас что-нибудь сделать... Как ты думаешь, Альфред?

Годура снисходительно улыбнулся.

— Инженер Годура,— сказал Фишар,— не нуждается в нашей помощи. Наоборот, он пришел, чтобы предложить помощь нам.

Марта с удивлением подняла глаза на Годуру.

— То есть как? Что-нибудь случилось? — спросила она встревоженно.

— Мелочь, сударыня. Надвигается светопреставление,— ответил он иронически.

— Да будет вам! Вы выражаетесь, как евангелист,— вас этому *там* научили?

— Там мне только предоставили время, чтобы я смог произвести необходимые расчеты.

— А скажите, господин инженер, как выглядит тюрьма? — и, повернувшись к Фишару, Марта спросила: — Что ты ел на завтрак?

— Яичницу,— ответил Фишар.

— Тюрьма, как тюрьма, сударыня. Думаю, тюрьмы во всем мире одинаковы. Спасибо,— добавил он, когда Прухова указала ему на стул.— Я уже собрался уходить.

— А яичница была из свежих яиц? Наверно, из яичного порошка, а?

Фишар поднялся.

— И еще бы чашечку чая,— крикнула она ему вслед.— Так скажите мне, господин инженер, в чем же вы хотите нам помочь?

— Доктор Фишар вам все скажет. Я не стану вас задерживать.

— Да садитесь же. Вы слышали, зачем мы здесь?

— Догадываюсь, сударыня,— и Годура усмехнулся.

— Я полагаю, что через некоторое время можно будет подумать о вашем возвращении на завод.

— Я никому не мешаю предаваться иллюзиям,— сказал он с легкой иронией.— А я на это уже не способен. Я решил прожить остаток моей жизни достаточно далеко отсюда.

— Где же?

— За границей. Надеюсь, в Англии.

— Господи боже мой! А что вы там будете делать?

— Я хотел бы еще поработать. У меня там знакомые. И немного денег есть, потом продам кое-какие патенты. Ими там интересуются.

— Завидую вашей смелости. Я никогда не решаюсь думать даже о завтрашнем дне. Да что о завтрашнем дне, даже о ближайшем часе, когда мне придется сунуться на свой завод. В это осиное гнездо!

— И правда, вам нечего беспокоиться! Я думаю, вас туда и не пустят,— засмеялся Годура.

— Вам что-нибудь об этом известно?! — удивленно воскликнул Фишар, вернувшийся в комнату.

— Известно,— кивнул тот.— Случайно известно. Еще остались люди, которые мне кое-что передают. Те, кто думают, что я могу туда вернуться,— засмеялся он.— Вероятно, рабочие начнут бастовать, если уже не начали.

— Пусть бастуют. Мне-то что? — сказала Прухова.

Годура засмеялся, а Фишар устремил на Марту взгляд, полный сожаления.

— Конечно. Но при этом они останутся на заводе, а вы за воротами. Раньше бывало наоборот. А теперь так повелось в этом свихнувшемся мире, сударыня.

Фишар молча посмотрел на Годуру, который присел на край стула. Поставив палку между колен, он принялся вертеть ее. Потом медленно поднял голову и ответил на вопрошающий взгляд Фишара.

— Я думаю, вам лучше туда не ходить. Это честный совет друга.

— У меня в руках решение Верховного суда,— сказал Фишар, сам понимая, что говорит чепуху.

— Оно не откроет вам заводских ворот.

— Может быть, позвать Шейбала? — спросил Фишар.— Что вы о нем думаете? Он производит впечатление разумного человека.

Годура неопределенно пожал плечами.

— Слывет таким...-— кивнул он.

Тут приковылял старый Враспир. Он нес Марте яичницу. Годура поднялся.

— Нет, только подумайте,— сказал Враспир, обращаясь к Фишару.— Вроде как будто началось. Забастовка. А к вам посылают депутацию.

— Какую депутацию?

Годура, который уже был у двери, остановился и рассмеялся.

— Только не истолкуйте это неверно, доктор. Рабочие депутации раньше ходили выпрашивать, теперь же они будут ставить ультиматум.

— Ну да! — воскликнул Враспир.— Хотят, чтобы вы немедленно уехали из города, так говорит Яроуш. Нет, вы только подумайте: готовят демонстрацию в городе!

— Как? — вырвалось у Фишара.

— Альфред! — простонала Прухова.— Меня ты туда не затащишь. Поезд уходит... когда уходит поезд, господин Враспир?

— Поезд? Минуточку! В четверть одиннадцатого, сударыня,— ответил тот с подозрительной услужливостью.

Фишар посмотрел на часы. Он принялся расхаживать взад и вперед по комнате, лавируя между стульями, заложив руки за спину и опустив голову. Но ни о чем не думал. Просто это выражало его бессилие.

— Господин инженер, вы обо всем этом знали?— набросился он на Годуру.— Почему вы мне ничего не сказали...

— Я и не подозревал о таких подробностях,— спокойно и невозмутимо ответил Годура.— И потом, каждый ребенок может догадаться, что они предпримут.

Марта поспешно доедала завтрак. Проглотив последний кусок, она поднялась и сказала:

— Я не останусь тут ни минуты. Не хочу быть здесь, когда они придут.

— Куда же мы пойдем? — спросил, снова взглянув на часы, Фишар.— Четверть десятого.

— Подождем на вокзале,— решила Марта.

— Не кажется ли вам, доктор, что все это весьма напоминает бегство. Пока из Кржижанова. Не забудьте, что я вам говорил. Инженер Гуммель. Разрешите откланяться.— Годура поклонился и ушел со странной улыбкой на губах.

— Благодарю вас, инженер,— крикнул ему вслед Фишар.

5

Терезка обычно возвращалась с работы позже, чем Мария,— текстильная фабрика была за городом. А сегодня Мария хотела бы, чтобы та вовсе не возвращалась, она боится остаться с подругой вдвоем, боится той свободной минутки, когда ей придется прятать свои мысли от бесхитростной Терезки. Вчера, когда она вернулась от Ондржея, Терезка уже спала, утром они успели обменяться только несколькими словами. Мария солгала Терезке. Солгала ей в первый раз.

— Когда ты пришла?— спросила Терезка.— Я спала как сурок.

— Поздно! — ответила она как можно короче.

— Ты говорила с Ондржеем?

Мария замотала головой и вдруг очень заспешила. И вот так же или чуть иначе ей придется лгать и сегодня и завтра. Нет, она не сумеет этого делать, и Терезка догадается.

«Не жди меня, Терезка. Я, вероятно, приду поздно»,— будет говорить она теперь. Ей надо бы научиться говорить это как можно правдоподобнее и легкомысленнее. Но Терезка этим не удовлетворится. Будет выпытывать, куда она идет. «На собрание. Ведь знаешь, девочка, теперь происходят такие важные события». Как долго можно будет отговариваться? Что скажет она завтра, послезавтра, нет, послезавтра уже не придется говорить ничего. Ондржей уедет в Прагу, так решили сегодня. Он поедет на съезд заводских советов. И вернется в воскресенье, а может быть, даже в понедельник. А тогда уже не останется ничего иного — придется сказать Терезке. Конечно, для Ондржея все это просто. Мужчинам вообще все дается легче. Мужчина думает прежде всего о себе, а женщина думает только о нем, только о своем любимом. Так мама еще говорила. А потом, у мужчин всегда, помимо женщины, есть в жизни еще что-то. Они, как говорится, жгут свечу с обоих концов. У них — приятели, выпивка или же политика. У Ондржея — политика. И это еще хорошо, а то есть и такие, которым одной женщины недостаточно. Сегодня они едва перебросились друг с другом двумя-тремя словами. С утра он был у Шейбала. Шейбал хотел утаить, что вчера вечером встретился с Пруховой и Фишаром в ресторане у Враспира. Но Ондржей уже все знал от Бенедикта, который в последнюю минуту взялся за ум. Об этом рассказал ей Паздера.

«Запретить вам встречаться с ними мы, конечно, не можем. Но и верить вам теперь трудно, раз вы способны на такие штуки за нашей спиной. Хотели их провести сюда через черный ход, а?» Шейбал клялся, призывал в свидетели Бенедикта. Но Бенедикт лежит с высокой температурой на квартире у Ондржея.

«Я не мог отпустить парня в его конуру,— сказал Ондржей Марии, когда они столкнулись в коридоре около заводоуправления.— Наши послали за доктором». Потом подержал ее немного за руку и, настороженно оглядываясь, не идет ли кто по коридору, шепнул: «Я зайду позднее к тебе, и тогда договоримся».

И не пришел. Затем все бросили работу. Было собрание. Говорил Ондржей, говорил Голечек, говорил Паздера. Потом Ондржей с Голечеком отправились в окружной комитет, и она его больше не видела. В одиннадцать пришло известие, что Прухова и Фишар покинули Кржижанов. Даже странно, но со вчерашнего дня Мария не способна думать ни о ком, кроме Ондржея. Все, что происходит на фабрике, ей безразлично, и работа ее не интересует. У нее все время такое чувство, словно в ее жизни произошло что-то очень важное и она не знает, как с этим быть. Как будто за ней захлопнулась дверца клетки, и она уже не могла решить сама, что сделает, что скажет и о чем подумает. Что бы она ни делала, что бы ни говорила, о чем бы ни думала — все было связано с Ондржеем. У нее уже нет своей воли. Видно, она пошла в мать, и теперь ей казалось, что она понимает ее гораздо лучше.

Она вспоминает такую знакомую ей картину: отец ложится отдыхать на их порванный диван, а измученная мама только присядет, с облегчением сложив на коленях свои жилистые руки, как уже слышит: «Подай мне, сделай, принеси». И мама из последних сил подавала, делала, приносила.

Мария умылась, переоделась и подогрела чечевичный суп, сваренный вчера Терезкой. Она вытерла и поставила на стол две тарелки, все

делая машинально, и только напряженно ждала, когда звякнет в замке ключ.

Терезка появилась точно в свое время. Прибежала, хлопнула дверью, как обычно, разделась в передней и что-то кричала оттуда Марии, но Мария, к счастью, не слышала и потому не должна была отвечать. А через минуту Терезка уже сидела за столом.

— Что у вас там происходит, Мария? Ничего не скажешь человеку, и я сижу как дура.

— Да ведь ты спала. Я не хотела тебя будить, а утром, сама видишь, не было времени.

— Говорят, вы бастовали. А Пруха требует завод себе обратно.

— Да не Пруха, Пруха умер. Вдова его, Прухова.

— Подумай, какая жадюга! — сказала Терезка с таким изумлением, что Мария не могла не рассмеяться. Она налила Терезке суп.

— Ну знаешь, никто не хочет отказываться от богатства.

— А мне вот не нужно богатство! — заверила ее Терезка.

— Так у тебя ничего и нет, котенок ты несчастный.

— Ну и пусть. Но если бы у меня были деньги, я бы легко отказалась от них ради настоящего...— она запнулась, с минуту смотрела в тарелку, медленно помешивая суп ложкой,— ради справедливого дела,— поправилась она.— Ну скажи, верно?

— Что сказать? — засмеялась Мария.

— Что дело правильное, то есть справедливое.

— Так мы думаем. А они думают, что несправедливо отнимать у них завод. И суд решил так же...

— Да ведь дело не в том, что думаем мы или они. А в том, где правда и что правильно на самом деле. Они, говорят, отступили ни с чем, и так будет со всеми, кто вздумают посягнуть на нашу общую рабочую собственность,— произнесла она с необыкновенно важным видом.

Мария рассмеялась.

— У вас было собрание, да?

Терезка кивнула.

— Мы заявили, что солидарны с вами и будем поддерживать вас в вашей справедливой борьбе.

— Это все только начало. Главное еще впереди,— заметила Мария.— Речь пойдет кое о чем поважнее, чем наш завод.

— Я знаю,— воскликнула Терезка.— Реакция широким фронтом выступила против достижений революции.

Мария, наблюдая, как она с аппетитом уплетала суп, не могла удержаться от смеха.

— Так ты, значит, набираешься сил?

— Чему ты смеешься? Я сказала какую-нибудь глупость? Так говорил господин Голечек на собрании. И Ондржей был там и тоже говорил.

— Товарищ Голечек,— поправила ее Мария, и испугалась, что Терезка произнесла имя Ондржея.

— Я не могу привыкнуть к этому. И к тыканию не могу привыкнуть. Могу говорить «ты» только тебе, девчонкам, которые работают со мной, и Ондржею. А больше никому. Я испытываю ко всем ужасно глупое почтение или уж не знаю что.

Доедали они обед молча. «Сказать ей? Я должна ей сказать,— думала Мария.— Чем скорее, тем лучше».

— Терезка,— окликнула она ее несмело.

Терезка кончила есть. Она опустила голову на руки и подняла на Марию большие глаза.

— О чем ты думаешь? — спросила Мария, теряя смелость под этим доверчивым взглядом.

— Я говорю себе, Мария, как иногда все на свете перемешивается.

— Что же?

— Все. Например, как со мной. Приходило мне когда-нибудь в голову, что я брошу хату и поеду работать в город? А какая-нибудь Маржка Кинцлова из нашей деревни и учиться могла бы поехать. А вот не поехала, вышла замуж, осталась в своей хате и ждет ребенка. Человек никогда не должен считать, что уже всего достиг.

— Конечно,— сказала Мария немного испуганно.— А ты бы не хотела вернуться в свою хату? Ты не скучаешь?

Терезка весело рассмеялась.

— Я уже за садовой оградой,— сказала она.

— Где?

— За садовой оградой,— повторила Терезка.— Этого ты не можешь понять. Когда я была маленькой,— продолжала она,— совсем маленькой, я придумала такую игру. Собственно, даже не придумала, а так само получилось. Однажды я открыла калитку, побежала через лесок за нашим домом, а потом прямо на косогор. И вдруг открылся кусочек незнакомого мне мира. Ничего подобного я до тех пор не видела. Даже представить себе не могла что-нибудь похожее. А на другой день зашла еще дальше и увидела новый кусочек мира, а на третий день даже попала в Кржижанки и увидела там большой пруд. Столько воды! А на четвертый день вернулась, когда было совсем темно. Наши меня уже искали, искали, и мне досталось на орехи. А теперь я ушла еще дальше, в город, а завтра даже не знаю, где окажусь, буду идти все дальше. Я очень любопытная.

Терезка говорила быстро, энергично жестикулируя. В ней было столько жажды жизни, такая легкость и одновременно такая простодушная самонадеянность, что Мария почувствовала себя рядом с нею, как уже много раз прежде, постаревшей, усталой, заурядной и серой. Ах, маленькая хищница, когда ты немного подрастешь и окрепнешь, когда у тебя отточатся зубки, ты добьешься всего, чего захочешь. Раньше Марии нравилось это в Терезке, а теперь она немного боится, раньше она от души смеялась над нею, а теперь уже не может смеяться. Ей почему-то кажется, что Терезкина жажда жизни таит в себе какую-то угрозу для нее самой, она раздражает Марию. Пожалуй, надо ее обдать ушатом холодной воды, чтобы она не окунулась в жизнь так безрассудно.

— Я знаю,— слышит Мария.— Мне надо бы учиться. Надо бы чему-нибудь учиться. Например, русскому языку. Почему ты не научилась по-русски? Скажи Ондржею, пусть он мне даст какую-нибудь книжку. Чтобы я не была такой глупой.

— В жизни не все идет так легко, как кажется,— сказала Мария, собирая тарелки.

— Подожди! Оставь, я потом вымою! — воскликнула Терезка.— Ты так хорошо говоришь.

Но Мария боялась откровенного разговора с Терезкой. Вдруг все ее слова приобрели другой смысл. За всем стоял Ондржей, скрытый и невидимый. Она сложила посуду в миску, стала искать, чем бы заняться, и принялась тщательно складывать скатерть.

— Может случиться что-нибудь совершенно неожиданное, скажем, болезнь, или судьба нанесет удар и сразу же свалит тебя с ног, как только ты оторвешься от земли.

Зачем она говорит это? Господи, зачем она говорит Терезке такие глупости?

— С тобой что-нибудь случилось, Мария? — спросила Терезка, полная участия.

Она встала, подошла и обвила руками ее талию.

— А что, если я тебя подниму! — засмеялась она и попробовала это сделать.

— Подожди, Терезка,— сказала Мария, пытаясь вырваться из ее объятий.— Я действительно хочу поговорить с тобой.

— Я тебе что-нибудь сделала? — В голосе Терезки прозвучал неподдельный испуг.— Почему ты такая странная?

— Нет! Нет! Ничего ты мне не сделала. Скорее я тебе.

— Мне надо будет переехать?— сказала Терезка с таким отчаянием, что Мария не могла удержаться от улыбки.

— Нет! Нет!

— А что же?

— Видишь ли, вчера...— начала она, и вдруг ей показалось, что это неудачное начало.— Я должна тебе сказать, Терезка, что мы с Ондржеем любим друг друга. Знаешь, иначе любим. Иначе, чем любишь его ты.

Терезка испуганно отпрянула от Марии, не спуская с нее глаз. В них были ужас, боль, жалость, недоумение и стыд.

— Терезка! — прошептала Мария, испуганная этим взглядом, и хотела взять ее за руку.

Но Терезка спрятала руки за спину.

— Я его тоже люблю иначе! — прошептала она и закрыла лицо руками.

— Знаю,— призналась Мария.— Поэтому я и решила, что должна тебе сказать.

Она стояла перед Терезкой с виноватым видом, но чувствовала облегчение — все уже позади.

— Давно? — спросила Терезка несмело. Она села за стол и беспомощно опустила руки на колени. Так раненая птица складывает крылья.— Давно вы любите друг друга? — переспросила она со страхом.

— Давно, Терезка. Но мы сказали об этом друг другу только теперь.— Мария не смогла все-таки сказать, что вчера. Еще раз придется солгать.— Совсем недавно,— добавила она.

— Он тебе это сказал?

— Он сказал мне, а я ему,— ответила Мария.

Терезка кивнула, но больше не смотрела на Марию.

— Он сегодня придет сюда?

— Нет.

Терезка бросилась на кушетку и уткнулась головой в вышитую подушку.

Мария подошла к Терезке и осторожно тронула ее рукой.

— Терезка...

— Уйди! Оставь меня! Оставь меня! — закричала Терезка с отчаянием в голосе. И задрожала всем телом, как будто Мария внушала ей ужас.

Горе Терезки потрясло Марию, и она в первую минуту хотела было кинуться утешать ее. Но потом тихонько вышла из комнаты.

6

Людвику казалось, что он уже покончил со своей нерешительностью и половинчатостью и сделал первый значительный шаг на пути в новую жизнь, начать которую твердо решил. Теперь будущее его ни-

сколько не тревожило. Оставалось проститься кое с кем в редакции, разобрать содержимое ящиков своего стола и — с богом! Конец прислужничеству. Он сидел в своем редакторском кабинете, дожидаясь, когда будет набрана его полоса в выпуске для деревни, и от нечего делать занялся чтением газет. Он пытался вычитать из них, что же сейчас происходит. Люди, самые обыкновенные люди на улицах и в кафе, наборщики — короче, все, с кем ему приходилось сталкиваться, от продавца папирос господина Маречека до привратницы Габовой, каким-то нюхом почувствовали: что-то происходит. Разумеется, они не знают, что именно происходит, как этого не знает толком он, Людвик. Но что-то происходит за их спиной. В истории обычно такие вещи большей частью и происходили за спиной торговцев папиросами, привратниц, наборщиков, просто людей улицы. Им предлагались только результаты, и пожалуйста, приспосабливайся к ним как хочешь.

Из газет не много вычитаешь.

Созывались внеочередные заседания руководства политических партий; у президента не закрывались двери; в политику вмешался пражский архиепископ, обычно такой безмолвный; американский посол решил вылететь в Прагу самолетом вместо того, чтобы отправиться на пароходе. Перед отъездом он заявил на пресс-конференции: «Ближайшие выборы в Чехословакии произойдут, очевидно, без коммунистического нажима».

За столиками кафе и ресторанчиков, так же, как и в журналах, разглагольствуют о свободе и демократии, в пивных — о том, что будут национализировать доходные дома и мелочные лавки и начнут организовывать колхозы. Люди оказались на перепутье, они размышляли и произносили монологи. И Людвик тоже. Он отдавал себе отчет, что его работа в «Гласе лиду» кончилась. Надо было привести в порядок бумаги, разобрать содержимое ящиков и хотя бы корреспонденцию забрать домой. Читая газеты, он подсознательно спрашивал у себя: с кем я иду и против кого? Он отдавал себе отчет, что разумом принимает все, чего хотят и о чем говорят коммунисты. Но что-то в нем возмущалось и отказывалось принимать то, как они это говорят, его отталкивали их прямолинейные методы.

Ему так не хотелось сейчас наводить порядок в ящиках стола, что он решил отложить это занятие до завтра. Людвик сложил газеты и спустился в типографию посмотреть, как метранпаж Садил сверстал полосу. Потом он позвонил в ресторан «Сплит», чтобы узнать, не обедает ли там Краммер. Сделал он это по простой причине: ему не терпелось узнать новости, выяснить, что происходит, а Краммер мог рассказать не мало, во всяком случае больше, куда больше, чем газеты. Кроме того, Людвику в эту минуту нужна была беспечность Краммера, его смех, его ядовитые шутки. Ему захотелось посмотреть на события глазами Краммера, с его вышки, с его наблюдательного пункта.

Трудно сказать, каким был Арношт Краммер в то время, когда Людвик Янеба познакомился с ним лично. Несомненно, из американской эмиграции он вернулся очень изменившимся, совсем не тем человеком, чьи романы и новеллы так волновали перед войной Людвика. После войны Людвик снова перечитал его книги. Он изменил свое мнение о Краммере. Теперь, благодаря собственному опыту, он открыл в его произведениях нежизненные, искусственные ситуации, подметил, что психология терялась в излишнем психологизировании. Было тут много головоломных трюков, литературных красивостей и неправдоподобных

психологических поворотов. Чувствовалось, что эти книги писал молодой человек, который хотел ошеломить и, вне всякого сомнения, очень любовался собой.

Таким представал перед читателем Краммер со страниц книг, написанных им перед войной. Совсем иным показался он Людвику при личном знакомстве. Знакомство было довольно необычным, как раз в стиле новелл Арношта Краммера.

Людвик сидел с Ольгой на веранде ресторана «Манес». Это было в июле сорок шестого года. Стоял душный летний вечер. Ресторан был заполнен главным образом молодыми людьми, каждый столик облепляла целая стайка. Совсем рядом, за соседним столиком кто-то говорил по-французски. Они с Ольгой пытались понять, о чем там говорят, но им это не удавалось.

Людвик уловил слово «noisette». «Это значит — щипцы для орехов»,— пояснила Ольга. «А я думаю, что это только орешек»,— поправил он.

Трудно сказать, почему в его памяти сохранились именно эти обычные фразы. Кажется, в тот вечер они разговаривали не очень много. Людвик в присутствии Ольги утрачивал всякое остроумие и не умел ни о чем говорить, кроме как о своей любви к ней, а она неохотно слушала его излияния. В то время Ольга была раздражена, это было после возвращения Людвика из поездки к родным. Они тогда очень часто ссорились, поссорились и в тот вечер. Вероятно, он ее восстановил против себя каким-нибудь ироническим замечанием, а может быть, навел на нее тоску, непрестанно рассуждая об их взаимоотношениях. В таких случаях она всегда молниеносно принимала решение. Он ясно помнит, что и в тот вечер она неожиданно встала и ушла. Он хотел проводить ее, но она запретила. Из упрямства он остался сидеть в одиночестве. Разумеется, недолго: каждый стул был на счету. Вскоре после того как Ольга его покинула, к столику подсел, попросив разрешения, Краммер. Людвик сразу же узнал его.

Лицо Краммера было очень выразительным: широко открытые глаза, казавшиеся всегда удивленными, довольно крупный, но соразмерный нос, четко очерченные губы и густая копна волос, спадающих на лоб. Он был на добрый десяток лет старше Людвика, но выглядел очень молодо, порой совсем мальчишкой.

Эта случайная встреча взволновала Людвика, хотя его отношение к творчеству Краммера было уже далеко от прежнего восторженного преклонения. Он сразу забыл об Ольге и о ссоре с ней, ему захотелось завязать с Краммером разговор. Обычно Людвик был робок и нерешителен, но в то время люди легко заводили знакомства, а жизнерадостный, очень молодой облик Краммера придал Людвику смелости и помог избавиться от смущения и нерешительности. Он поймал себя на том, что улыбается Краммеру, как старому знакомому. Когда у их стола появился официант, Людвик заказал себе бокал красного вина.

— Что вы пьете? — спросил Краммер, вопросительно глядя то на Людвика, то на официанта.

— Сразу видно, что вы приехали из Америки,— воспользовался случаем Людвик.— Тут сейчас нет большого выбора. Все пьют, я думаю, один и тот же сорт красного.

Краммер посмотрел на него с удивлением, потом обратился к официанту и сказал:

— Принесите тогда бутылку. Вы выпьете со мной? — добавил он, с любопытством разглядывая Людвика.

Людвик смущенно улыбнулся и кивнул.

— Вы меня знаете? — спросил Краммер.

— Арношт Краммер,— сказал Людвик.— Я знаю вас по книгам, по фотографиям, однажды я был вам даже представлен. Перед войной. В Словацком винном погребке.

— Возможно,— живо согласился Краммер.— Я часто там бывал.— Потом он равнодушно отвернулся от Людвика и стал с интересом разглядывать окружающих.

Людвик умолк и немного отодвинул свой стул от стола. Ему показалось, что его присутствие мешает Краммеру, и он пожалел, что принял приглашение. В эти минуты молчания его мыслями снова завладела Ольга, и он начал корить себя за то, что дал ей уйти. Мысленно он продолжал свой спор с нею.

— Хотелось бы, чтобы вы поняли,— вдруг услышал он голос Краммера.— Я прилетел только сегодня, в четыре часа. И еще ни с кем не разговаривал. Вы первый человек, с которым я сижу за столом. И меня не очень радует, что вы знаете меня. Надеюсь, по крайней мере, что вы не писатель. Только этого не доставало бы,— засмеялся он.

Людвик представился и добавил:

— Еще хуже. Я журналист и довольно неопытный. Но я могу уйти.

— Нет-нет! — воскликнул Краммер.— Это судьба. Вероятно, так и должно быть. Я хотел постепенно, не спеша ознакомиться с обстановкой. Видите ли, возвращение — не такой уж приятный момент. И очень волнующий. Немного страшно, что найдешь здесь самого себя, того самого, кто бежал отсюда семь лет назад, и в то же время страшно, что не найдешь его.

— Не найдете! Я знаю, что значит возвращаться.

Краммер внимательно посмотрел на Людвика и спросил:

— Вы тоже были за границей?

— Нет, я был арестован...— сказал Людвик с некоторым смущением.

Краммер помолчал и через несколько секунд задумчиво произнес:

— Все изменилось. У людей, которые оставались здесь, совершенно иной жизненный опыт, чем у тех, кто были за океаном. Боюсь, что мы не будем понимать друг друга.

Людвик весьма смутно представлял себе, о чем идет речь, но все же кивнул.

Потом Краммер заговорил с поразительной искренностью. Он испытывает чувство вины — никто из его родственников не остался в живых, и ему стыдно, что он жив, что все это время провел в относительном довольстве и полной безопасности. А между прочим многие из тех, кто жили именно так, вернулись теперь сюда президентами, министрами, начальниками департаментов, будут управлять страной и решать судьбу нации. Наверно, у них более толстая кожа. Они быстро оправились от страха. Когда эти деятели ехали сюда, у них тряслись поджилки, они боялись, что народ призовет их к ответу. Все они политические маклеры, эти вельможи из лондонской эмиграции, и никогда они не научатся ничему, кроме политических махинаций. Заниматься политикой — значит для них спекулировать, урывать для себя что только можно. Такое до добра не доведет, рано или поздно они сцепятся с коммунистами. Сейчас господа из эмиграции сравнительно смирные, они еще боятся. Но подождите годик, другой, когда они рассядутся поудобнее. А это они умеют. Свои темные махинации они отлично маскируют красивыми словами, они бесстыдны и в то же время трусливы. Это компания, где все поддерживают друг друга, и при этом каждый стремится утопить другого. Единственное, что их объединяет,— страх перед ком-

мунистами и ненависть к ним. Нет, не думайте, он, Краммер, не коммунист, но его отвращение к этой англо-американской клике мошенников так велико, что часто он невольно желает, чтобы коммунисты содрали с них дипломатический фрак.

Тогда они обошли множество ночных ресторанчиков и много пили. Краммер был как будто чем-то пришиблен. Его мальчишески жизнерадостный облик не гармонировал с его скепсисом. Минуты непосредственного, беззаботного веселья сменялись приступами глубочайшей депрессии. Людвик сохранил в своей памяти несколько выражений, которые Краммер часто повторял:

«Мир — это черная яма, а мы сидим на дне ее. Время от времени можно оттуда любоваться звездами. И это все». «Существуют два мира, а мир должен быть один. Но ни один из этих миров — не для меня. Американцы мне противны, а Советов я боюсь. И поэтому лучше всего мне живется при всякой неопределенной ситуации».

О себе Краммер всегда говорил, что ему необыкновенно везло в жизни, что даже самые неприятные обстоятельства оборачивались для него всегда счастливо. Он шел по жизни необычайно легко, как бы не касаясь земли. То, что для многих людей представляло неразрешимую проблему, предмет бесконечных забот и размышлений, для Краммера будто не существовало. Конечно, многое, если не все, упрощали деньги, которых у него было достаточно. Это позволяло ему жить беззаботно. Все его книги были переизданы после возвращения, и гонорары за них обеспечивали постоянный приток значительных сумм. Он мог себя чувствовать независимым, и ему легко было позволить себе пренебрегать своими обязанностями чиновника министерства иностранных дел. Он был сотрудником чехословацкого посольства в Нью-Йорке и перевелся в министерство, когда решил вернуться на родину. Но на службу ходил, когда ему заблагорассудится, без стеснения используя свои связи с министром и начальниками отделов, с которыми познакомился в эмиграции. Он мало кого из них выносил и мало о ком хорошо отзывался, но они, судя по всему, терпели от него все и мирились с его капризами. Он был для них каким-то enfant terrible, божком, которому надо прощать многое, если не все. Да и как было уволить Арношта Краммера только за то, что он манкирует своими обязанностями и не высиживает служебные часы!

Людвик любил Краммера, хотя ему нередко казалось, что тот на него дурно влияет. Но образ жизни Краммера был очень заманчив, и Людвик многое перенял от него, главным образом отношение к жизни и к миру. Конечно, не все, что было дозволено Арношту Краммеру, мог позволить себе какой-то Людвик Янеба. Особенно в денежных делах. Обычно, оказавшись с пустым карманом, Людвик на некоторое время прятался от Краммера.

Краммер был иным миром для Людвика, его тайной. Он скрывал эту тайну от Ольги, от Владимира, от всей компании, которая собиралась у Ольги. Он никого с ним не знакомил, никому о нем не говорил, хотя Владимир был тоже знаком с Краммером, и о его книгах часто заходила речь. Эта тайна была нужна Людвику для успокоения его уязвленного самолюбия. Краммер совершенно не интересовался ни личной жизнью Людвика, ни его времяпрепровождением в те периоды, когда они не виделись. Он настолько ценил собственное спокойствие, что не собирался утруждать себя чьими бы то ни было заботами. Людвик же боялся вызвать у Краммера хотя бы тень подозрения, что ему что-то от него нужно и он хочет каким-то образом извлечь выгоду из этого знакомства. Краммер стал достаточно популярной личностью, хотя

бы благодаря тому, что его книги имели успех за границей, особенно во Франции и в Америке. У него было множество влиятельных знакомых в обоих лагерях. Его книги, переиздававшиеся снова и снова, особенно сильное впечатление производили на молодежь, которая не могла прочитать их в годы оккупации. В конце сорок седьмого года вышла новая книга Краммера, небольшая повесть, озаглавленная «Поиски». Для Людвика оставалось загадкой, где и когда Краммер успел ее написать при его образе жизни. Хотя в ней ощущались следы спешки и небрежности, книга имела огромный успех. Это было очень кстати, так как деньги у Краммера подходили к концу.

Людвик искал встреч с Краммером всегда, когда его сжигала безнадежная тоска по Ольге, когда ее равнодушие и холодность погружали его в бесплодные, ненавистные ему размышления, когда он чувствовал себя одиноким. Людвик никогда не делился с Краммером своими переживаниями, но ему было хорошо с ним. Краммер словно бы делал его жизнь проще и легче; он помог Людвику увидеть мир Ольги в истинном свете: мелочным, праздным, пустым.

Людвик тоже не очень-то много знал о личной жизни Краммера. Впрочем, создавалось впечатление, что у него после возвращения в Прагу не было личной жизни. Благодаря своим влиятельным знакомым, он сравнительно быстро получил прекрасную квартиру. Людвик заходил к нему однажды. Это был один из старинных домов на Градчанской площади. Чтобы попасть в квартиру, надо было пройти через маленький, вымощенный каменными плитами дворик, затем через темный коридор, где пахло яблоками. Квартира состояла из трех больших комнат, окна которых были обращены к нижней части города. Из них видны были спуск Семинарского сада, Петржинские парки. Открывался неправдоподобно красивый вид на мосты над Влтавой, на каменную дамбу у Старого и Нового города. Квартира была совсем пустой. Когда Краммер переехал сюда, он купил только самую необходимую мебель, подушку и покрывало на тахту. Все дышало здесь холодом и запустением.

Краммер давно собирался обставить свою квартиру, но все время откладывал.

— Стоит заняться этим, как вы думаете? — спрашивал он Людвика.

— А почему же не заняться? — недоумевал тот.

Краммер не отвечал, но однажды признался Людвику, что в Нью-Йорке у него остались жена и двухлетний ребенок.

— Вся трудность в том,— сказал он, усмехаясь,— что я не могу жить с ней, а без нее тоже не могу. И я сделаю величайшую глупость в жизни, если вернусь к ней.

Через минуту он задумчиво добавил:

— А я это, к сожалению, сделаю.

Иногда Людвик заставал его в кафе за чтением газет. Видимо, Краммер жил в кафе и в ресторанах, а дома только ночевал, да и то не всегда. По крайней мере, так казалось. Он откладывал газеты со смехом.

— Я читаю их только для того, чтобы узнать, когда же коммунистам надоест терпеть этих мошенников из эмиграции. У них невероятная выдержка, и я, видимо, все-таки успею обставить свою квартиру.

В тот февральский день, когда Людвик отправился в знакомый ресторанчик, чтобы увидеться с Краммером, тот приветствовал его восклицанием:

— Ну вот, я уж теперь не обставлю квартиру! У коммунистов, наконец, лопнуло терпение!

— Вы хотите сделать самую большую глупость в жизни? — спросил Людвик Краммера, повторив его же слова.

— Нет, не хочу, но вынужден! Я еще, пожалуй, мог бы жить в обстановке хоть какого-то политического равновесия. Это для меня самый подходящий климат. Умеренная облачность. Но она кончилась, начинается гроза, дождь и град. Что поделаешь. Не всегда же быть хорошей погоде.

— Но и дурная тоже проходит. Вы могли бы переждать непогоду,— сказал Людвик.

— Где там! — воскликнул Краммер.— Не представляю себе жизнь при любезном пуританском терроре коммунистов. Я бы задохнулся от их оптимизма. Эта дружба кончилась бы плохо. Я хочу сказать, для коммунистов,— беззаботно рассмеялся он.

Краммер уже пообедал и пил пиво. Он сказал Людвику, что у него здесь свидание с каким-то американцем, который якобы знаком с ним, но он его не может вспомнить. Они как будто познакомились незадолго до отъезда Краммера на родину в чехословацком посольстве в Нью-Йорке. Он тщетно старался припомнить этого американца, но помнил только, что был тогда очень пьян. Американец сказал, что прилетел вчера. Краммер полагает, что он, видимо, принадлежит к окружению посла. Сегодня утром он позвонил Краммеру в министерство иностранных дел и сказал, что привез письмо. Видимо, от Фрэнсис, жены Краммера.

Людвик хотел подняться, чтобы уйти, но Краммер удержал его. Людвик не помешает им, он может спокойно оставаться; если американец окажется скучным, что весьма вероятно, так как все американцы скучны, то он скоро от него отделается.

До того как пришли американцы — оказалось, что их было двое,— Людвик с Краммером поговорили о политической ситуации. Краммер был убежден, что победят коммунисты. Что касается их противников, этих политических спекулянтов, у которых нет ни чести, ни разума, ни сердца, ни мужества, то уж во всяком случае правда не на их стороне. Им он желал всего самого худшего.

— К сожалению, моя судьба связана в известной степени с их судьбой,— добавил он.— У вас есть одно важное преимущество передо мной. Вы еще можете спрашивать, где правда. Конечно, в большей степени она на стороне коммунистов.

— Так почему же вы думаете об отъезде? — удивился Людвик.

Краммер рассмеялся.

— Потому что у меня нет сил задавать такой вопрос. Я в состоянии только спрашивать, где я могу жить. Разумеется, жить с удобствами. Жить без удобств я не умею и не хочу. Это ошибка, дорогой мой идеалист, полагать, что люди всегда идут туда, где правда. Большей частью правда весьма неудобна, и люди, скорее, убегают от нее. Так и я. Я рассуждаю трезво. Те, другие, мне хорошо знакомы, и я знаю, чего можно от них ждать. Поэтому их я не боюсь. Коммунисты вызывают у меня страх. Для меня они слишком бескомпромиссны и слишком склонны все принимать всерьез. Я не умею ничего принимать всерьез, даже жизнь.

— Но ведь вы писатель, вам будет трудно...

Краммер не дал ему договорить, подняв бокал с вином, он сказал:

— Я плюю на так называемое призвание писателя. Если писатель воображает, что у него есть какое-то особое призвание, обычно это ни к чему не ведет, и он пишет никудышные книжки. Мораль! Это так же,

как с женщинами. Уж если мужчина слишком страстно хочет какую-нибудь из них, то именно она ему наверняка не достанется. Помните об этом, мечтатель нашего века! Мне, пожалуй, уже давно надо было уехать, а я тут сижу и болтаю с вами.

— Но вам ведь не грозит никакая опасность,— сказал Людвик.

— Я всегда предполагаю худшее, поэтому я оптимист,— ответил Краммер.

Они беседовали немногим больше часа. Потом пришли американцы. Их появление напомнило Людвику сцену из кинофильма.

Один из них действительно выглядел так, будто только что сошел с американского киноэкрана: высокий, самоуверенный, с развязными манерами, он беспрестанно что-то жевал, и его движущиеся челюсти приковывали к себе внимание Людвика. Он назвал себя — Сеймур. Другой был поменьше ростом и, в отличие от первого, вел себя необычайно корректно. Поредевшие светлые волосы, тщательно расчесанные, были разделены пробором. Одет он был скорее по-европейски, тогда как костюм Сеймура был типично американским. Второй назвался Смитом и, к удивлению Людвика, заговорил на безупречном чешском языке.

Краммер обратился к ним по-английски и спросил, как Людвик понял из ответа Смита, с кем из них он встречался в посольстве в Нью-Йорке.

— Со мной,— сказал Смит.

— А говорили мы по-чешски или по-английски? — спросил Краммер с таким интересом, как будто это было для него бог знает как важно.

Смит улыбнулся. У него была приятная улыбка.

— Вы говорили по-английски с чешским акцентом, а я по-чешски с американским, в конце концов мы остановились на чешском.

— Но вы все-таки американец? — удивился Краммер.— Где вы научились так говорить по-чешски? Вы говорите прекрасно.

— Я слышал чешскую речь с детства,— сказал Смит.— Мой дед был иммигрант. А перед войной я жил некоторое время в Праге. И во время войны тоже, недолго, правда.

— Как так, во время войны? — спросил Краммер с удивлением.

— Ну да,— сдержанно улыбнулся Смит.— С определенным заданием, если угодно.

— Ага! Шпионаж,— сказал Краммер.— Так вы можете нам рассказывать что угодно, хотя бы и то, что вас зовут Смит.

Смит добродушно рассмеялся и на мгновение вопросительно и внимательно посмотрел на Людвика. Людвик понял, что Смит хотел бы говорить с Краммером о цели своего свидания и что присутствие Людвика ему мешает. Он встал, Краммер протянул ему руку.

— Надеюсь, что мы еще увидимся,— сказал Людвик.

— Я, вероятно, загляну в свою квартиру, чтобы упаковать вещи,— ответил Краммер.

7

Терезка лежит и плачет. Что же, собственно, произошло? Плачет она из-за какого-то глупого слова. Нет, видно, не из-за пустяка и не из-за глупого слова, потому что сердце и все внутри у нее болит. Даже не болит, сжимается, жжет. Значит, что-то случилось, потому что раньше в сердце у нее жили только радость, счастье и надежда. И вдруг тьма. Как будто сразу подули на свечку, и огонек погас. Однажды, когда она была еще маленькой, на Бржезину ни с того ни с сего налетел вихрь. Он навалился на дом, ворвался через полуоткрытое окно в комнату

с такой силой, что лампа, висевшая над столом, закачалась и абажур, который мама всегда чистила щеткой, обмотанной тряпочкой, упал на пол и разбился на мелкие кусочки, а свет потух. Как будто кто-то подул и погасил радость. И в темноте вдруг стало отчетливо слышно, как буря пробирается между балками и кружит на чердаке у слухового окошка. Терезка спала тогда на лавке под окном. Она свернулась в комочек под пуховиком, и ей было страшно. Да, страшно. Внутри так же жгло и сжималось сердце. Но это было только игрой. Она вообразила, будто совсем одна, всеми покинута, как та сиротка, о которой мама пела песенку, как та девочка, которая шпилькой и пальчиками рыла землю, пока не нашла сокровище. Сегодня ей тоже страшно. Но теперь уже не «как будто», это больше не игра, теперь так происходит на самом деле.

Сегодня она вдруг стала в самом деле одинокой, в самом деле покинутой. В сказке ты докопаешься до клада, тебе достанется счастье, а в жизни часто достаются только слезы.

«...мы с Ондржеем любим друг друга»,— сказала Мария. Вот тебе, Терезка, чтоб не мечтала, не надеялась, не забывала, что ты только глупая деревенская девчонка. Чтобы не воображала, будто можешь на кого-то рассчитывать. Ты одинока, у тебя нет никого, ни Марии, ни Ондржея, как будто они оба исчезли или умерли. Никто тебя не любит.

У каждого человека есть кто-то, кто его любит и кого он любит. Только у Терезки никого нет. Вот у Анежки Голубцовой, которая работает с ней рядом у станка, есть Эвжен, и Эвжена она любит в тысячу раз больше, чем Терезку. Только у Терезки нет никого, кто б ее любил больше, чем всех на свете.

Старуха Лунячкова сказала Терезке на прощание:

«Воздай тебе господь, девочка, за все то, что ты для меня сделала. Как бы только люди не отплатили тебе злом за твои добрые дела».

Она теперь как подрубленное дерево.

Когда-то она не верила, что дерево может умереть, что дерево можно убить. А вот однажды увидела, как лесорубы валили высокую, стройную, красивую ель. Не спеша они сделали надсечку на стволе обреченного на смерть дерева и начали пилить. Дерево не может защищаться, оно лишь дрожит от страха за свою жизнь, лишь чуть-чуть вздрагивает, словно стыдясь своего страха. А потом ель наклонилась и зарыдала, а когда падающий ствол стали подталкивать, она в отчаянии уцепилась ветвями за ветви соседей. Но вдруг дерево будто примирилось со своей участью, будто иссякла его сила, и оно рухнуло всей своей тяжестью на твердую землю. Только ветви его судорожно вздрогнули в последний раз. Так же вот умирал отец. Высокий, крепкий, в расцвете сил, он вдруг тяжело рухнул на твердый пол у порога. И его руки вздрогнули, прежде чем он вздохнул в последний раз.

А еще Терезка вспомнила липу, в которую ударила молния. Пышная, раскидистая, она росла перед белой усадьбой. Через все ее тело прошел глубокий черный шрам...

Вот и она, Терезка, теперь как та ель, как та липа, пораженная молнией.

Она вернется домой, в Бржезину, в покинутый дом. Никому не будет мешать, ни Ондржею, ни Марии. А она бы им помешала, если бы осталась здесь. Может быть, уже давно мешает, только не догадывалась об этом. Все получилось, как с куклой, которую отдали Итке, дочке управляющего. Мама сшила из лоскутов необыкновенно красивую куклу, на ней была цветастая юбка, белая блузочка на застежке, она смеялась, и у нее были синие глаза из бусинок. Терезка не отходила от мамы, пока она делала куклу. Боже мой, как эта кукла нравилась Терезке!

А когда кукла была готова, мама сказала: «Какая красивая кукла! Жаль отдавать ее тебе. Дам ее лучше Итке, дочке управляющего, за то поношенное платье, которое она нам подарила».

Тогда Терезка долго лежала на сене. В груди так же сжималось сердце и жгло, как сейчас. И тогда она чувствовала себя одинокой, покинутой и никем не любимой. Но потом она сказала себе, что это только обыкновенная тряпичная кукла. И Ондржей тоже совсем обыкновенный. Обыкновенный, обыкновенный, обыкновенный. Самая обыкновенная тряпичная кукла. Пусть знает — вот и все!

Вот и все! Она вернется в деревню и выйдет замуж хотя бы за старого Ворачека. А потом отравит его. Ее посадят в тюрьму, может быть, казнят, и ее смерть будет на совести Ондржея, и Марии тоже. Они никогда не будут счастливы, потому что довели ее до отчаяния. Потому что погубили ее жизнь. Или, может быть, она не вернется в деревню, но уедет от Марии. Сейчас же! Сколько надо времени, чтобы упаковать те немногие тряпочки, что у нее есть? Она сядет на ступеньки костела с чемоданом Франтишека в руках и замерзнет. Или лучше не замерзнет, а попросит Анежку Голубцову пустить ее к себе, пока подыщет новое жилье. Так она и сделает, а вечером придет Ондржей и спросит у Марии: «Терезки нет дома? Где она?» И Марии придется ответить: «Она уехала от меня!» — «Куда?» — ужаснется Ондржей. А Мария не будет знать. Ондржей рассердится, что она позволила Терезке уехать и даже не узнала куда. Он быстро наденет пальто, обернет шею зеленым шарфом и будет бегать по городу и звать ее, Терезку. А потом найдет ее, ну хотя бы на скамейке в парке. Заплаканную, полузамерзшую, голодную и несчастную. И станет просить прощения, умолять, рыдать. Но Терезка будет молчать, рта не раскроет, не двинется с места и самое большее скажет: «Я не вернусь, Ондржей. Не хочу мешать вашему счастью...»

А что, если она ему еще скажет: «Я прощаю тебя». Нет, этого она ему сказать не может, ей не за что прощать его. Она скажет: «Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал. И вспоминай иногда о несчастной Терезке!» Такую сцену она видела недавно в кино. А потом Терезка уйдет прочь. Он через некоторое время поймет, что ошибся, вернется к ней и скажет: «Прости меня, я не знал, что могу быть счастлив только с тобой». Но так бывает только в кино. Лучше всего, вероятно, ничего себе не представлять, лучше всего лежать и не думать ни о чем. Лежать и лежать, ничего не видеть, не слышать и не чувствовать.

Но так почему-то не получается. Человек, наверно, всегда должен о чем-то думать. Всегда что-то видишь, даже когда закроешь глаза, всегда о чем-то мечтаешь и что-то себе представляешь.

А вот Терезка всегда видит Ондржея. Никого другого, кроме Ондржея. Каждая встреча с ним накрепко запечатлелась в ее памяти.

Он приехал к ним в Бржезину после войны. У него были такие удивительные глаза. Твердый и глубокий взгляд. И никогда он не опускал глаз. Ондржей быстро оглядел комнату, подошел к маме, которая сидела на сундуке и испытующе и пугливо смотрела в лицо Ондржею. Он сел возле нее на стул, взял мамины руки в свои и сказал: «Матушка, я Махарт, зовут меня Ондржей. Я был вместе с вашим Франтишеком».— «Что с Франтишеком?» — спросила мама и посмотрела прямо в глаза Ондржею, как будто боялась, что он солжет ей. Но Ондржей не солгал. Слова упали тяжело, словно он отвалил какую-то глыбу. «Убили его!»

Эти слова будто свалили Терезку с ног. Она прижалась к стене между сундуком и лавкой и должна была закрыть рот руками, чтобы не закричать. «Господи боже мой! — прошептала мама, высвободила

свои руки из рук Ондржея и сжала их на груди.— Отец наш небесный... За что ты нас так наказываешь!»

Мама не плакала, как не плакала и на похоронах отца. Только взгляд у нее был какой-то странный, словно находилась она в другом мире или где-то за стеклом. Отчужденно и зло смотрела она поверх склоненной головы Ондржея. Голова его обросла короткими черными волосами, а шея была страшно худой. Терезка тогда боялась Ондржея. Казалось, он восстал из гроба и пришел из черной ночи. И его руки, которые он зажал между коленями, были худые, костлявые, одни суставы.

А потом Терезка со страхом посмотрела на маму. Ее лицо словно окаменело, губы сжались, в них не осталось ни кровинки, и они едва заметно шевелились. Казалось, она молилась. Но она не молилась. Просто ей было трудно дышать. Терезка знала — когда маме делалось плохо, грудь ее тяжело поднималась и опускалась, а лицо багровело. «Он был хороший товарищ».— «Был!» — горестно кивнула она. «И сохранял мужество. До последней минуты».— «Был! Но он мертв...»

Потом Ондржей положил на стол все, что осталось от Франтишека,— папку из твердого картона, перехваченную красной резинкой. Внутри были две фотографии. Отец и мать сидят перед домом, у отца вид торжественный и важный, а у матери покорный; тяжелые руки матери сложены на коленях, на земле у их ног сидит она, Терезка, и показывает язык. На ней был тогда передник в цветочках, который дала ей жена управляющего. Еще там был портрет Марии. Все захватанное, смятое и сто раз промокшее. Лежало несколько исписанных бумажек с расплывшимися строчками, кусочек веревки, смятый окурок сигареты, щепотка табаку.

«Так!.. Так!..— качала головой мать, рассматривая эти предметы.— Вот и все, что осталось от мальчика. И мы теперь одни,— посмотрев на Терезку, сказала она с горечью.— Я, старая, больная, и этот ребенок. Что нас ждет? Лучше бы ей не родиться...»

Да, уж лучше бы ей не родиться. Наверно, мама была права. До семнадцати лет она не знала ничего хорошего. Только одни расставания. С папой, с Франтишеком, с мамой, с домом, теперь с Ондржеем. И с Марией тоже.

Она и сейчас еще слышит глубокий голос матери. И те слова, что звучат, как проклятие. Уж лучше бы ей не родиться. Терезка стояла, прижавшись к стене, и дрожала от страха. Она боялась матери и того чужого человека, который принес им в дом горе. А незнакомый человек, услышав мамины слова, поднял на нее свои черные глубокосидящие глаза, и в них что-то странно блеснуло в эту минуту. Он сказал: «Не тревожьтесь о своей судьбе. И о будущем девочки тоже не надо беспокоиться. Ее ждет совсем другая жизнь».

Это был Ондржей и как будто не он. В этом Ондржее было что-то таинственное, незнакомое, волновавшее и пугавшее Терезку. Она немножко боялась его — он не улыбался, у него был строгий и холодный взгляд, был он нечеловечески худ, без кровинки в лице. И в то же время он привлекал ее, потому что казался ей сильным и всемогущим.

А потом вдруг Ондржей стал иным. Он приезжал каждую неделю, или в воскресенье или вдруг ни с того ни с сего после обеда в будний день. Они с Терезкой пилили дрова, потом Ондржей колол их, а Терезка складывала в сарай. Однажды он приехал с дядюшкой Паздерой. Они починили крышу, привели в порядок хлев и в день святого Вацлава вместе копали картошку. Ондржей появлялся неожиданно, привозил колбасу и сардельки, таинственные сверточки. К рождеству привез

материю на платье Терезке, а маме совал всегда тайком в горшочек на полке сотенную.

В день поминовения усопших в Бржезине были устроены похороны Франтишека. Гроб с его телом привезли из самого Раковника. За гробом шел почетный караул партизан и членов спортивного союза «Сокол» с саблями наголо. Было торжественно, собралось много людей, даже из Кржижанова и из соседних деревень. Мама в черном платье и Терезка тоже в черном шли за гробом. За ними Мария, Ондржей, Паздера, школьники с директором во главе. Никто в Бржезине не помнил таких торжественных похорон. Над могилой говорил Ондржей. Он рассказал о Франтишеке, о его мужестве, о том, каким тот был хорошим товарищем, никогда не оставлял друзей в беде, как он погиб, защищая родину. Но Терезка не могла восстановить в памяти образ Франтишека, он был далеко, страшно далеко, хотя гроб с его останками находился в нескольких шагах от нее. Рядом был только Ондржей. И Ондржей всегда был с ней, она встречала его повсюду.

Он был для нее посохом, на который она опиралась, огоньком, который светил для нее далеко в горах, он был сладкой ягодой в горькие дни, которые она провела у постели умирающей матери.

Был и больше уж не будет.

Теперь она лежит здесь одна, в сто раз более одинокая, чем тогда. когда ждала его, а он был далеко. Она лежит, будто пораженная громом, будто ее выгнали в непогоду на улицу. Вот она, полная безнадежность. Вот она, та темная комната с закрытыми ставнями, которой ее пугали в детстве.

Она была слепа. Не видела, совсем ничего не видела, жила только тем пламенем, которое в ней разгорелось, ослепило ее. Зато теперь вдруг увидела все ясно: Мария краснеет, Мария опускает глаза. Ондржей взволнован. Взглядом ласкает Марию. Когда Терезка справляла свое восемнадцатилетие, Мария принесла торт, приготовила праздничный ужин. Она подарила ей тюль на платье, чтобы Терезке было что надеть на танцы. Ондржей пришел с книжкой и бутылкой вина, которую они распили после ужина. Он погладил Терезку по голове, а она его поцеловала. Ондржей смутился и покраснел. Потом они подсчитали, что Ондржей почти в два раза старше Терезки, на семнадцать лет: семнадцать и восемнадцать — это тридцать пять, удивилась Терезка. «Господи боже мой, почему же ты не женился, Ондржей!» — «Ни одна не захотела выйти за меня»,— ответил Ондржей. «Даже Мария?» — вырвалось у Терезки. И вдруг стало тихо. Терезке показалось, что она сказала глупость. Мария рассмеялась каким-то чужим смехом, а Ондржей испуганно посмотрел на Терезку. «Спроси у нее самой,— сказал он с непонятной яростью и поднял бокал.— Или лучше не спрашивай. Все равно получу от ворот поворот! Я уж дождусь тебя, если у тебя нет на примете кого-нибудь помоложе».— «Ну какое там помоложе,— сказала Терезка.— Я не хочу молодого. Никогда не знаешь, что молодой выкинет».

Ондржей попробовал засмеяться. А Мария сделала вид, что не слышит, и перевела разговор на другую тему. Ничего не произошло, а все-таки что-то тягостное нависло над ними и так осталось до конца вечера.

Потом они молча играли в «Приятель, не сердись» *, и ей *казалось,* что она здесь лишняя. Сколько раз она была лишней! Всегда, когда Мария завладевала Ондржеем, когда они говорили о заводе, о людях на заводе, когда Ондржей говорил: «Это *политическая задача.* Так надо. Мы

---

* Настольная игра.

должны»,— Терезка вдруг переставала их понимать. Они вдвоем удалялись от нее, а она оставалась одна.

Теперь она словно больная кошка, которую выгнали из дому. И даже не смеет плакать, не смеет ненавидеть Марию, она должна простить и сжать зубы.

Она слышит, что Мария вышла из комнаты. Как скрипят двери! Надо бы их смазать. Она скорей чувствует, чем слышит, что Мария стоит в прихожей за дверью. Может быть, она слушает, не плачет ли Терезка?

Какая-то сила подняла ее с кушетки. Она быстро вытерла глаза, нос у нее, конечно, распух. Нельзя, нельзя плакать!

Она открыла дверь в прихожую. Мария с испугом смотрит на нее. Терезка пытается улыбнуться.

— Нам надо выгладить белье, Мария,— говорит Терезка.— Уже который день мы все откладываем.

И обе замолчали. Только потом, когда Мария складывала в корзинку выглаженное Терезкой белье и стояла спиной к ней, Терезка глубоко вздохнула, чтобы ее не подвел голос, и сказала:

— Я рада, что вы с Ондржеем объяснились. Уж очень у вас это затянулось. Куда же я перееду, когда вы поженитесь?

Мария положила в корзину белье, которое держала в руках, села на край кушетки и расплакалась.

— Никогда, никогда, Терезка! — воскликнула она, пытаясь сдержать слезы.— Никуда ты не должна уезжать,— Мария вдруг запнулась: она хотела было сказать «от нас», но сказала: — от меня.

8

Вернувшись домой после встречи с Краммером, Людвик вдруг почувствовал смертельную усталость. Он подумал, не признак ли это начинающегося гриппа, и испугался: неужели будет испорчено вечернее свидание с Люцией? Он проглотил два порошка ацилпирина, лег и проспал до вечера. Проснулся в семь часов, когда уже было темно.

Чувствовал он себя хорошо, даже испытывал что-то похожее на прилив счастья.

Он в тепле, в своей комнате, один и в безопасности.

Людвик жил в однокомнатной квартире на пятом этаже. У него была маленькая прихожая с газовой плитой в нише и своя ванная. Комната была обставлена только самой необходимой, но удобной мебелью. Тахта, стол, два кресла, застекленные книжные полки. На стене висели две репродукции Гогена и несколько предвоенных эскизов Ванека, прикрепленных кнопками. Он давно уже хотел окантовать их, но все никак не мог собраться. Во время оккупации здесь жила вдова немецкого офицера. В дни революции она выбросилась из окна и разбилась. К его удивлению, на полках, где он разложил свои книги, осталось несколько превосходных вещиц из саксонского фарфора. Он подарил их потом доктору Фишару, узнав, что тот интересуется фарфором. Людвик был многим обязан Фишару — тот помог ему получить ордер на квартиру и быстро уладил все в жилищном отделе, добившись разрешения представить ряд необходимых документов позднее, так как Людвик был в это время в гостях у матери в Семтеше.

Теперь, вспоминая обо всем этом, Людвик вдруг понял, что до сих пор его судьбу решали другие люди. После возвращения он не был способен сам наладить свою жизнь, то есть найти работу, квартиру и внести какой-то порядок в свой быт и времяпрепровождение. Возможно,

тогда он мог бы заняться и чем-то иным, но, когда подвернулась вакансия в «Гласе лиду» у Геврле, он стал журналистом. Правда, это было довольно обычное для того времени явление. Молодые люди поколения Людвика после революции, собственно, только и начали решать, кем станут и что будут делать. Так и Людвик. И чем бы он ни занимался до этого, ему теперь приходилось начинать все сызнова. До самого своего отъезда в Семтеш он жил вместе с Ванеком в его ателье.

В Семтеше Людвик не прожил и недели. Ему хотелось как можно скорее возвратиться в Прагу. Но куда он вернется и где будет жить — не знал. Он имел некоторое, весьма смутное, представление о том, что студенты где-то снимают комнаты, и наивно полагал, что без труда найдет и себе что-нибудь в этом роде. А потом стал подумывать о совместной жизни с Ольгой.

Когда Людвик вернулся из Семтеша, все было готово. Квартира была приведена в порядок, стены выкрашены, все сверкало чистотой. На дверях даже красовалась табличка с его именем. Все это сделала Ольга, вернее, госпожа Кратохвилова, привратница в доме Пруховых, которой Ольга поручила устройство квартиры. Возможно, что это было проявлением тех чувств, которые заставляли многих людей заботиться о бывших узниках концентрационных лагерей, вернувшихся буквально нагими. И Людвик тоже вернулся, как и все, наг и бос! А Ольга всерьез подумывала тогда соединить свою жизнь с жизнью Людвика, и, главное, она испытывала потребность покончить со своей зависимостью от матери. Теперь Людвик знает, что он допустил в те дни роковую ошибку. Он должен был действовать более решительно. Интуитивно Ольга избрала правильный путь. Как бы ни сложилась их совместная жизнь, для Ольги самый факт перемены жизни имел, несомненно, большое значение. И для Людвика тоже. Но что значит действовать более решительно?

Людвик вспомнил, что, когда он вернулся однажды вечером в свою новую квартиру — это было незадолго до того, как он познакомился с Краммером,— Ольга дожидалась его возле дома. До тех пор она никогда еще не бывала у него. Он был счастлив, хотя и понял сразу, что с ней что-то случилось. Она была взволнована, он заметил в ее глазах слезы.

Как только они оказались в его комнате, Людвик хотел обнять Ольгу. Она не слишком защищалась, но он видел, что ей это неприятно.

— Нет-нет,— сказала она.— Я не за этим пришла.

Она упала в кресло и тихонько заплакала.

— Отчего ты плачешь? Что с тобой случилось? — допытывался он.

Ольга затихла. Он видел, что она старается превозмочь волнение, охватившее все ее существо, рука ее, лежащая на столике, нервно вздрагивала.

— Людвик, я очень плохая,— сказала она вдруг, без всякого повода.

— Что это пришло тебе в голову! — Он схватил ее беспокойные руки.

Она вырвала их и холодно сказала:

— Нет! Ты ничего не понимаешь. Ты не можешь меня успокоить. Я думала, что ты спасешь меня. Но вижу, что пришла напрасно.

Ольга закрыла руками лицо. Она не плакала, только все тело ее судорожно вздрагивало.

— Мерзавец. Какой мерзавец! — шептала она.

Он настаивал, чтобы она рассказала ему, что с ней случилось, и настаивал так долго, что сам показался себе противным. Заверял ее в сво-

ей любви, пытался обнять, просил, клялся, обещал простить все, что бы она ни сделала.

— Нет, лучше я убью себя,— сказала она.— И не дотрагивайся до меня. Пожалуйста, не дотрагивайся до меня.

Людвик был совершенно обескуражен. Он не знал, что с ней делать. И не понимал, чего, собственно, она ждет от него. Казалось, она отгородилась от него стеной.

— Скажи, по крайней мере, почему ты пришла именно ко мне. Чего ты от меня хочешь? Ты видишь, я готов сделать все, чтобы помочь тебе.

— Мне нужно было...— начала она почти спокойно, но не договорила. Потом у нее вырвалось быстрое и отчаянное:— Я думала, что смогу спастись от всего, если останусь у тебя!

— Останься!

Она не произнесла ни слова, только покачала головой.

Он пытался всеми способами разрушить ту стену, которую она воздвигла вокруг себя, и, совершенно растерявшись, решился на последнее средство — привлек ее к себе, сжал в объятиях, попытался повалить ее на тахту и овладеть ею. Она защищалась, несколько раз с яростью ударила Людвика по лицу, и в ее глазах было такое отвращение и ужас, что он отказался от бесполезной борьбы.

— Прости,— прошептал он,— но я не понимаю тебя.

Она сидела на тахте, поджав под себя ноги, как будто спряталась в кокон, ушла в себя, неприступная, напуганная, раненая. Она следила за каждым движением Людвика.

— Не бойся,— сказал он, встревоженный этим взглядом.— Ничего уже я от тебя не хочу.

Он чувствовал себя униженным и пристыженным. Ольга молча встала и собралась уходить. Людвик сидел в кресле, несчастный, отчаявшийся, усталый, он протянул к ней руки и попытался спасти положение:

— Ольга,— прошептал он,— останься у меня. Прошу тебя в последний раз.

Она остановилась и с минуту рассматривала Людвика, потом быстро произнесла:

— Прощай! Ничего не выйдет.

Он выбежал за ней, но услышал только ее торопливые шаги. С тех пор их отношения как бы зашли в тупик. Людвик устал от вечных размышлений. Тысячу раз он продумывал каждое слово Ольги в надежде понять причины ее поведения. Ему захотелось посоветоваться с кем-нибудь, кто ближе знал ее, кто был рядом с ней в то время, когда он находился в Катаринаберге. Людвик подумал о ее матери, о докторе Фишаре, но не нашел в себе смелости обратиться к ним. Оставался один Владимир. Они зашли как-то вдвоем в ресторанчик на Национальном проспекте, говорили о всякой всячине и в том числе, разумеется, об Ольге. Людвик рассказал ему о своих отношениях с Ольгой.

— Это полудева,— сухо сказал Владимир.

— А что это значит, скажи на милость?

— Видишь ли, у нее были кое-какие иллюзии, но действительность оказалась иной. Она отпугнула Ольгу.

— Ты что-нибудь знаешь об этом? — удивленно воскликнул Людвик.

— Знаю,— кивнул Владимир.

— Что?

— Я не могу тебе ничего больше сказать. Хватит с тебя и того, что ты узнал.

— У нее кто-нибудь был?

— Был.
— Кто?
— Это тебя не касается.
— Скажи, по крайней мере, когда. Во время войны?
— Во время войны или после войны,— засмеялся Владимир.— Хватит того, что она видела.
— Где? — не понял Людвик.
— У старой Пруховой,— со смехом сказал Владимир.

Сегодня Людвик вспомнил об этом разговоре. Теперь он размышлял о своих отношениях с Ольгой гораздо спокойнее, чем раньше, и мысль, что очень скоро он увидится с Люцией Маредовой, принесла ему успокоение и уверенность в себе.

Он вышел из дому только в девятом часу. По опустевшим улицам разгуливал резкий ветер, был довольно сильный мороз. Несмотря на это, Людвик пошел в театр пешком, он знал, что играют «Газовые фонари», и что у Люции там маленький выход еще и в последнем акте. Раньше десяти часов она не придет.

Едва он уселся в кресло в хорошо натопленном вестибюле, как к нему подошла толстая, добродушная буфетчица.

— Я так и думала, что знаю вас,— заявила она.— Вы господин Янеба.

Людвик кивнул. И он ее знал в лицо, бывая в театре в качестве корреспондента. А эта женщина принадлежала как бы к театральному реквизиту. Она жила жизнью театра, провожала старых актеров, встречала молодежь, посвящала новичков в закулисные сплетни.

— Барышня Маредова боялась, что я спутаю и отдам письмо...— и, не договорив, она захихикала —... отдам письмо господину Кроускому.

Людвик из вежливости тоже засмеялся. Кроуский был толстый добродушный шестидесятилетний старик, театральный критик старой школы, известный своей изысканной галантностью по отношению к актрисам, которая давала поводы для бесконечных анекдотов.

— А я сказала ей: «Что вы! Да разве я не знаю этого молодого человека!»

Она говорила, а Людвик вежливо улыбался и нетерпеливо посматривал на письмо в ее руке.

— Вот оно,— наконец сказала буфетчица и подала ему письмо. Людвик с нетерпением вскрыл его.

«Подождите меня рядом, в кафе. Я не хотела бы встречаться с вами в театре. Потом я вам все объясню. И не думайте обо мне ничего плохого.

Л. М.»

Он и не думал ничего плохого. Так было даже лучше. Здесь он мог каждую минуту встретить кого-нибудь из знакомых, и ему было бы трудно преодолеть свое смущение и объяснить, зачем он здесь и кого ждет. Кафе это он знал, он там часто ужинал после премьер, несколько раз с Краммером, бывал и с Ольгой.

Люция пришла скоро, еще до десяти часов. Он очень обрадовался. Вглядываясь в нее, убеждался, что все ее обаяние заключено в прямом, ясном и веселом взгляде. И в улыбке. И в просто причесанных волосах. Она была предельно естественна, точнее, в ней не было ничего искусственного, кажется, она даже не подкрашивала губы. Это тем более удивительно, ибо она была актрисой. Но, вероятно, именно потому, что

она была актрисой, Люция сумела распознать, в чем заключается ее обаяние и что может выделить ее среди остальных.

«Пусть дьявол верит актрисе,— думал Людвик, глядя на нее.— Она разыграет такую честность, такую искренность, и все это окажется чистейшей ложью! Да и какая женщина не сыграет все, что хочешь, для этого ей даже не надо быть актрисой!»

И он засмеялся.

— Чему вы смеетесь? — спросила Люция, тоже улыбаясь. Он не признался ей.

— Просто так! От радости, что вы пришли,— сказал он.

— Я не была уверена, что меня не будет ждать Фишар,— объяснила Люция, почему она написала Людвику письмо.

— А он ждал?

Она покачала головой и сказала:

— Надеюсь, его еще нет в Праге.

— Вам досадно, что он вас не ждал? — спросил Людвик.

Она засмеялась:

— Если хотите знать — нисколько не досадно. Напротив, я рада, что он не ждет меня... Но это уже похоже на допрос.

— Вы правы,— согласился Людвик.

— Но если хотите, спрашивайте. А потом спрашивать буду я.

— Ну спрашивайте сначала вы,— предложил Людвик.

— Можно? — и она без всякого кокетства поглядела Людвику в глаза.

— Игра в откровенность? — спросил он, намекая на вчерашний вечер.

— Вовсе не игра. С меня хватит представлений на сегодня. Я жду настоящей откровенности, Людвик. И сама хочу быть с вами откровенной. Расскажите мне все о себе и об Ольге. Вы сильно влюблены?

Она посмотрела на него своими большими ясными глазами. Что-то вдруг взволновало Людвика. Может быть, ее глаза, или ее непосредственность, или ее звонкий и чистый смех. Она словно бы не допускала существования в жизни каких-то проблем. И Людвик вдруг заметил, что говорит о своем отношении к Ольге, будто речь идет не о нем, а о другом человеке. Он говорил трезво и делал такие выводы, до которых никогда раньше не додумывался и в которых даже себе не решился бы признаться...

Людвик закончил свою исповедь. Люция молчала. И он вдруг пожалел о том, что сделал. Он подумал, что сказал больше, чем следовало.

— Ну, я был откровенен,—заметил Людвик, смущенный и растерянный.

Она положила свою руку на его и сказала:

— Пойдемте!

На морозном воздухе к нему вернулась способность трезво рассуждать, рассеялся призрачный мир, населенный только двумя людьми, и остались угрызения совести. Но все же он был уверен, что Люцию к нему что-то влечет.

Она взяла его под руку и шла, стараясь приноровиться к его шагу.

За виадуком они свернули на боковую улицу. Люция остановилась у одного из довоенных доходных домов.

Он боялся, что она простится с ним и оставит его во власти догадок и мучительных ощущений. Как будто прочитав мысли Людвика, она задержала его руку в своей и, усмехаясь, сказала:

— Мы еще не кончили наш разговор. Теперь очередь за мной. Зайдем на минутку ко мне.

Так как лифт не работал, а света в подъезде не было, им пришлось подниматься по темной лестнице пешком. Люция освещала путь карманным фонариком и держала Людвика за руку. Она снимала комнату с отдельным входом из коридора. Ее хозяйка пани Михалова была вдовой крупного пражского колбасника, которому принадлежал этот большой дом. Дочь хозяйки, как говорила Люция, была подающей надежды актрисой, но умерла молодой, кажется в тридцать втором году.

Людвик вошел в большую красивую комнату, пол ее был устлан персидским ковром. В комнате стояло пианино, почти квадратная тахта, вместительный тройной шкаф. Большое зеркало скрывало дверь в соседнее помещение. На маленьком письменном столе виднелся белый телефонный аппарат, рядом находилась радиола. В этой комнате, несомненно, было что-то успокаивающее, вся обстановка внушала доверие, была солидной, комфортабельной. Может быть, такое ощущение вызывал мягкий ковер, может быть, тяжелые шторы на двух широких окнах, может быть, картины.

— Мне здесь принадлежит только радиола, несколько книг и содержимое этого шкафа, который слишком велик для моих тряпок,— засмеялась Люция.

— Счастье, что вам удалось достать эту квартиру,— оглядев комнату, сказал Людвик и уселся в одно из кресел.

— Это было не так-то просто,— заметила Люция с оттенком горечи. И после паузы добавила, оживившись: — Пани Михалова так добра, я даже не знаю, как ее отблагодарить за все У нее только один недостаток: она воображает, что разбирается в искусстве, и дает мне советы, когда я учу роли. Но я ей это прощаю, без нее мне было бы даже одиноко.

— Вам? — недоверчиво заметил Людвик.— Вы жалуетесь на одиночество?

— У вас обо мне сложилось неверное представление. Но меня это не слишком удивляет,— сказала она грустно и весело в одно и то же время.

— А вы обо мне что думаете? Мы знаем друг друга главным образом понаслышке.

— Что же вы знаете обо мне понаслышке?

— Довольно мало,— неуверенно сказал Людвик.

— Ну-ну, не бойтесь. Вы слышали, что у меня связь с Фишаром, что я у него на содержании, что еще... подумайте, что еще, и не забудьте о своем намерении быть искренним. Вода вскипела, я сейчас заварю чай...

На минуту Люция оставила Людвика одного. Вернувшись, она снова обратилась к нему:

— Ну как? Обрели мужество?

— Признаюсь,— сказал Людвик,— о ваших отношениях с доктором Фишаром говорят именно так. Я лично ничего против Фишара не имею...

Она горько рассмеялась и закурила сигарету, первую за вечер. На ее лице, вокруг губ обозначились вдруг морщинки, как будто она пыталась превозмочь боль.

— Если бы вы знали, как он умеет использовать людей,— сказала она жестко.— Он совсем не такой, каким кажется... в этом все дело.

— Я вас не понимаю! — удивленно воскликнул Людвик.

— Знаю. Я знаю, что вы не можете понять...

Люция выросла в актерской семье. Отец был антрепренером Южночешской театральной труппы, мать — актрисой, не очень выдающейся, как она сама понимала, но зато хорошей матерью и хорошей хозяйкой.

Она, собственно, и управляла всеми делами труппы, сидела в кассе, выплачивала жалованье и не теряла присутствия духа, когда наступала нужда. А это случалось перед войной чаще, чем следовало бы. Люция привыкла к сцене с самого раннего детства. Первый раз она «выступила», когда ей было немногим больше года. Она лежала в колыбельке и спала на сцене, играя младенца. С того времени как Люция научилась говорить, всегда, когда требовалось, она исполняла детские роли. Никто ее не спрашивал, хочет ли она делать что-нибудь иное, а не играть на сцене, и для Люции театр был чем-то само собой разумеющимся. Ей никогда не приходило в голову, что она могла бы заняться чем-либо другим.

До войны они жили бедно. Порой даже нечем было платить актерам. Но во время войны театры буквально ломились от публики, было много хороших актеров, отец мог платить им приличное жалованье, и ни одна пьеса пражского репертуара не ставилась без участия какой-нибудь знаменитости, по крайней мере всегда, когда они бросали якорь в большом городе. Уже тогда — в 1939 году ей было двадцать лет — Люция играла все: и серьезные роли, с которыми не знала, как справиться, и роли в легких пустых пьесах и опереттах. Тогда впервые она начала задумываться над тем, настоящая ли она актриса, имеет ли необходимые данные для того, чтобы стать ею, и не попала ли на сцену случайно, таким же, к примеру, образом, как мальчишка из булочной обычно учится на пекаря. И если она актриса, то ей надо двигаться вперед, она не может застрять навсегда в отцовской труппе. Отец не прошел, конечно, артистической школы и всякое учение считал для актера лишним.

«Здесь, на подмостках — самая лучшая школа,— говорил он.— Мошна, Войан, Квапилова — из какой театральной школы и когда выходили такие актеры? Никогда. Великие актеры шли прямо на подмостки, и, ежели у тебя есть талант, никто тебе не помешает стать выдающейся актрисой. А у тебя он есть. Что-то в тебе есть, девочка».

Войну она проболталась без толку. То есть не всю войну — в сорок третьем заболела мать, вдруг у нее отекли ноги, она не могла двигаться. Оказывается, она скрывала, что у нее больное сердце, и работала изо всех сил до последней минуты. И вдруг на них сразу обрушилось несчастье. Да не одно. В тот же день, когда они похоронили мать, в театре случилась беда. Молодой, незаметный актер Пацовский — неизвестно, был ли он вообще актером, ведь во время войны в провинциальных театрах подвизался кто угодно — использовал свой выход для непредусмотренного экспромта. Уходя со сцены, он сказал несколько слов, из слитного сочетания которых получилось: «Да здравствует Сталин!» — и помахал рукой публике. Большинство зрителей зааплодировало. Еще до конца представления в театр прибыли гестаповцы и увезли отца и Пацовского. Пацовский остался цел, а отец, как выяснилось позднее, погиб. неизвестно где, когда и как. Труппа была распущена, на другой день уже не играли, актеры разлетелись, как воробьи, спугнутые выстрелом.

Люции не оставалось ничего другого, как ликвидировать отцовские дела, которые достались ей в наследство. Она не знала, с чего начинать, и обратилась к будейовицкому адвокату, доктору Гонзе.

«Это дело пустячное,— сказал он ей.— Но вам надо попытаться вызволить отца. А вот для этого я не гожусь. Тут нужен человек более оборотистый и со связями».

На другой день он дал ей рекомендательное письмо к доктору Фишару.

Так она с ним встретилась впервые. Это было в конце ноября 1943 года. Фишар принял ее очень любезно, выслушал так внимательно,

будто речь шла о судьбе близкого ему человека, а не о довольно обычном для того времени деле совершенно чужих, незнакомых ему людей. Фишар был приветлив и полон не профессионального, а в лучшем смысле слова человеческого интереса к ее судьбе и к судьбе ее отца. Он не слишком обнадеживал Люцию, но ей стало легче уже от того, что он трезво и деловито оценил положение и что во время разговора с ним роковая для Люции трагедия превратилась в будничное дело из его адвокатской практики.

«Войны не от бога, милое дитя, войны делают люди,— сказал ей тогда Фишар.— А поэтому каждая война кончается миром. Надо беречь нервы. Так что же теперь будет с вами? Что вы собираетесь делать?» — спросил он Люцию.

«Что я могу делать? Найду ангажемент»,— ответила она.

Тогда Люция жила еще наивными представлениями. Она была знакома со многими известными актерами, и прежде всего с теми, кто постоянно играли в труппе ее отца. Она рассчитывала на актерскую солидарность, но забыла о трудовой повинности и о том, что ее отец был арестован по политическим мотивам — и актеры будут бояться даже говорить о ее ангажементе.

В Праге ничего не получилось, она стала писать в провинциальные труппы. В ответ приходили сердечные, сочувственные письма, но в лучшем случае ей предлагали снова написать по окончании сезона, что значило ждать до весны. Во всем этом была и положительная сторона: теперь она поняла, что не может жить без театра, без сцены. Между тем ею начали интересоваться учреждения, ведающие трудовой повинностью. Повестка за повесткой и, наконец, уведомление о сроке, когда она должна отправиться на работу в Германию, в противном случае будет привлечена к ответственности. Люция сдалась. Перед своим отъездом она зашла к доктору Фишару на Штепанскую улицу, чтобы узнать, не выяснил ли он что-нибудь относительно отца. Он не знал ничего. В гестапо отказались дать ему какую-либо справку, из чего он заключил, что дело обстоит плохо. Он не хочет ее обманывать — до суда, видимо, не дойдет, пахнет концлагерем, если не чем-нибудь похуже. Нет смысла закрывать на это глаза, но не следует и окончательно терять надежды. А как ее дела? Она уже получила ангажемент?

Люция призналась ему, что должна через три дня отправляться в «рейх». Он был поражен. И даже рассердился, что она не пришла сказать ему об этом раньше. Знает ли она, что ее там ждет? В какой ад она попадет? И он вмешался в это. Позвонил какому-то знакомому в отдел трудоустройства, затем поговорил с кем-то по-немецки, потом стал размышлять, где ей лучше всего укрыться от тотальной мобилизации, и устроил ее на фармацевтический завод в Гостиварже. Она, правда, там только числилась, но все же получала какую-то плату. И жила теперь неплохо, тем более что у нее еще остались кое-какие деньги от родителей. Ей не хватало только сцены.

Пусть Людвик поймет ее правильно. Обычно считают, что актрисы очень опытны и рано познают жизнь. Люция до сих пор не понимает, что это значит — познать жизнь. Познать людей — да. Но в то время она не разбиралась в людях. У нее было одно мимолетное увлечение и до двадцати лет больше ничего. Она жила дома, у родителей. И хотя они постоянно кочевали, мать ее умела устроить в любом месте настоящий дом. Кроме того, у них была постоянная квартира в Будейовицах, куда они возвращались при первой возможности. Отец очень следил за нравственностью Люции. Он слишком хорошо знал нравы в кочевых труппах. Но все-таки она была дочерью господина директора, и даже самые от-

петые донжуаны среди актеров сохраняли к ней известное уважение и относились более почтительно, чем к остальным девушкам в труппе. Потом она осталась одна, и пришлось заботиться о себе самой. И никто из отцовских старых приятелей не решался ей помочь — все они были рады, что живы и еще могут радоваться. Только один человек, добрый, полный участия доктор Фишар, помог ей, можно сказать, спас беспомощную двадцатилетнюю девушку. И не требовал у нее за это ничего. Наоборот, заметив с ее стороны что-то вроде недоверия, он засмеялся и сказал снисходительно, с легкой горечью:

«Я знаю, вы привыкли, что люди не делают ничего даром. И думайте, я от вас что-нибудь потребую. Идите домой и приходите, если вам снова будет тяжело».

Она шла домой, как провинившаяся школьница. Ей казалось, что она оскорбила этого человека своим недоверием. Домой... А где же ее дом? Она ночевала у госпожи Краусовой на Виноградах. Это была старая актриса, вышедшая на пенсию; в ее труппе, которая была предшественницей отцовской Южночешской труппы, отец начинал свою карьеру. Он никогда не забывал навестить ее, когда бывал в Праге. Она, как и отец, очень заботилась о нравственности Люции, и Люция должна была каждый день выслушивать сентенции по поводу испорченности нынешней молодежи. Все это миновало. В прошлом году старушка умерла.

Люция не встречалась с доктором Фишаром более полугода. Она чувствовала себя обязанной звонить ему и сообщать, как ей живется, но никогда не заставала Фишара и говорила с его секретаршей. Сразу же после революции Люция, стосковавшись по театру, стала искать ангажемент. Она использовала все свои знакомства. Театры росли тогда, как грибы после дождя. Она хотела остаться в Праге, с нее хватит провинции. Люция была принята в бывший немецкий театр, играла там в «Железном потоке», а потом начала кочевать из театра в театр. В середине лета сорок пятого года она снова встретилась с Фишаром. Он изменился, выглядел как после тяжелой болезни, похудел. Люция же была в компании новых приятелей из театра, совсем молодых людей. Они шли веселой гурьбой по Национальному проспекту куда-то на субботник, разбирать обломки домов. Но Люция так и не попала с ними на субботник, она встретила Фишара. Фишар ее не узнал или не обратил на нее внимания, но у Люции ноги сами остановились. Иначе она не могла, ей казалось подлым не остановиться, не пожать ему, по крайней мере, руку, не рассказать о себе. Он испытующе посмотрел в ее лицо, потом грустно улыбнулся и сказал: «Так это вы? Что с вашим отцом?.. Вы должны меня извинить. Пока была возможность, я занимался вашим делом, но потом сам попал в беду. А вы как?»

Вдруг он ожил. Он сейчас свободен и рад был бы ее проводить.

«Такая хорошая погода, а я не ходил с молодой девушкой по пражским улицам уже добрых двадцать пять лет».

В эту минуту зазвонил телефон. Звонок ворвался в заполненное голосом Люции пространство, как резкий голос из другого мира. Он причинил Людвику физическую боль.

Люция замолчала и посмотрела на часы. Была половина двенадцатого.

— Это он! — сказала Люция и поднялась с неохотой.— Алло! Добрый вечер!

Она говорила тихо, повернувшись спиной к Людвику. И тем не менее он все слышал, хотя делал вид, что не слышит. Он поднялся и, подойдя к одной из картин, принялся разглядывать ее.

— Нет! Я устала и лежу! Завтра утром у меня репетиция... Нет! Прошу вас, только не сегодня! Я так хочу спать. Собственно, я уже спала. Я не ждала, что вы сегодня вернетесь... Я тоже, я тоже... Нет, не сержусь. За что же мне на вас сердиться? Я просто очень хочу спать. Спокойной ночи.

Она положила трубку. Потом быстро повернулась и сказала с усмешкой:

— Трудно лгать, когда есть свидетели. У меня нет репетиции, и я не спала. Мне стыдно перед вами, но угрызений совести не испытываю. Я вынуждена ему лгать, Людвик. Больше не могу это выдержать... Не вынесу этого...

— Фишара? — с удивлением воскликнул Людвик.

Она кивнула.

— Во всем виновата я, если человек вообще виноват в своей доверчивости. И хотя я его никогда не любила, но доверяла ему, уважала его, а может быть, немножко привязалась к нему. И если к этому прибавить благодарность, которую я к нему испытывала, его внимание, которое всегда было мне приятно,— разве не достаточно, чтобы называть все это любовью? А потом я начала обнаруживать его истинную сущность. Шаг за шагом, сначала в мелочах. Незначительные обманы, повторяющиеся эффекты, тщеславие — и большой человек вдруг предстает маленьким и жалким. Вы сразу же видите, когда он начинает притворяться и играть роль, вы теряете к нему уважение, потом доверие, потом благодарность. Вы видите, что заплатили за его благодеяния в сто раз дороже. Это обманщик, Людвик.

Она произнесла последние слова с такой ненавистью, что Людвик не мог усидеть на месте и несколько раз прошелся по комнате.

— А вы не ошибаетесь, Люция?

— Нет! — ответила она твердо.

— Я часто за ним наблюдаю,— сказал Людвик.— Он кажется безупречным. И я говорю себе: когда же спадет с него маска?

— Не желала бы я вам увидеть его, когда с него спадает маска,— сказала Люция, и в ее голосе послышалось отвращение.

— По стечению обстоятельств я тоже ему обязан,— признался Людвик не без горечи.

— Его не уличишь. Эгоизм он выдает за альтруизм, мошенничество за честность, скупость за щедрость. Он скользкий, как угорь.

«Фишар — агент гестапо и коллаборационист»,— сказал однажды Ванек. Людвик тогда рассмеялся. Ванек слышит даже, как растет трава; каждый, кто придерживался других взглядов,— для него враг. Сказать ли об этом Люции? По намекам Ольги и Фишара он знал, что у Фишара были после революции неприятности, что он был какое-то время под арестом.

— После революции он попал в какую-то историю, если я не ошибаюсь,— сказал Людвик.

— Он уверяет, что это была ошибка. Но я ему не верю.

— Почему же вы с ним не порвете? Почему не запретите ему...

Она усмехнулась, беспомощно развела руками и встала:

— Не знаю. Может быть, боюсь остаться одна,— сказала она.

Люция стояла теперь перед ним. Они смотрели друг другу в глаза. Голова ее была немного откинута, губы полуоткрыты. Вблизи ее лицо показалось Людвику необыкновенно красивым. И он обнял ее.

(Продолжение следует)

Стихи, написанные кровью

Пламенный революционер и замечательный публицист Цюй Цю-бо воскликнул перед казнью: «Нет выше чести, чем честь умереть за революцию!» Ради победы революции в Китае отдали свои жизни тысячи и тысячи героев. Имена революционеров, погибших в борьбе за свободу и счастье своей родины, свято чтут в освобожденном Китае. Об этом свидетельствует и выход в свет сборника «Стихотворения павших героев революции», откуда взяты публикуемые нами стихи.

У поэта-героя Инь Фу есть стихотворение «Письмена, начертанные кровью». Про все стихотворения настоящего сборника можно сказать, что они написаны кровью.

Различны люди, чьи стихи вошли в сборник. Ли Да-чжао — один из основателей Коммунистической партии Китая, один из вдохновителей и вождей антиимпериалистического и антифеодального движения 4 мая 1919 года; профессиональный военный Хэ Цзинь-ци; талантливый поэт Инь Фу, проживший немногим более двадцати лет; бесстрашный революционер и известный писатель Цюй Цю-бо; легендарный полководец Е Тин... Этих авторов, людей разного возраста, разных профессий, объединяет верность светлым идеалам революции, ненависть к ее врагам, несокрушимая вера в окончательную победу, ради которой они отдали свои жизни. Каждый из погибших героев может быть образцом для любого юноши или девушки, вступающих в жизнь, поэтому сборник «Стихотворения павших героев революции» очень популярен среди китайской молодежи.

Все произведения, вошедшие в сборник, имеют большую художественную ценность. Они представляют собой не только документы огромного политического значения, это замечательные стихотворения, написанные замечательными поэтами.

Разнообразны поэтические манеры авторов. Наряду со стихами классического стиля, например, у Ли Да-чжао, Хэ Цзинь-ци, в сборнике много стихотворений сторонников новых течений в поэзии — Цюй Цю-бо, Инь Фу и других.

Редактор книги Сяо Сань (Эми Сяо) в обширной и обстоятельной статье, написанной с большим пафосом и темпераментом, свойственными поэту, рассказывает об авторах (со многими из них Сяо Сань был знаком лично, вместе работал, со многими дружил), об их творчестве, вводит читателя в атмосферу революционной борьбы 20-х и 30-х годов, когда жили и сражались герои, чьи имена украшают эту книгу.

Сборнику «Стихотворения павших героев революции» предпосланы стихотворные посвящения видных деятелей коммунистической партии и народного правительства Китая. Наша подборка открывается стихотворением Го Мо-жо, написанным им после прочтения этого сборника.

Имена Ли Да-чжао, Цюй Цю-бо, Инь Фу, Фан Чжи-миня, всех борцов, павших за великое дело революции, должны по праву стоять в одном ряду с именами Мусы Джалиля, Юлиуса Фучика, Николы Вапцарова и других героев.

Го Мо-жо

*
* *

Эти строки написаны кровью,
мужеством рождены,
Вечной верностью делу партии,
народу родной страны.

Герои Китая бессмертны.
Ржавые звенья оков
Начисто перетерла стальная воля бойцов.

Черная ночь была над Китаем,
когда вы бои вели.
Вы в битве пали, но отстояли
свободу своей земли.

Вы, бойцы, пятизвездное знамя,
как солнце, подняли ввысь —
И вот сегодня над всем Китаем
красные флаги взвились.

2 марта 1959 г.

Перевод Л. Озерова

Ли Да-чжао

От Нефритового источника ключевая вода течет к стенам Дворца безмятежного покоя, а оттуда, журча, устремляется к трем столичным озерам и уходит за Запретный город.*

Величественны храмы
И горды,

Цы-Си за них
Не пожалела флот. **

Но слышу я
В журчании воды
Печаль о тех,
Кто пролил кровь и пот!

Перевод И. Голубева

---

* Нефритовый источник расположен в западном предместье Пекина. Дворец безмятежного покоя — бывший летний императорский дворец в западном предместье Пекина. Три столичных озера — три искусственных озера в Пекине: Наньхай, Чжунхай, Бэйхай. Запретный город — центральная часть Пекина, где расположен бывший зимний императорский дворец.

** Цы-Си — регентша императора Гуан Сюя (1875—1908). Построила летний дворец на средства, предназначавшиеся на строительство военно морского флота, что явилось одной из важных причин поражения Китая в войне против Японии в 1894—1895 гг.

Ся Мин-хань

ПЕРЕД КАЗНЬЮ

Пусть Ся Мин-ханя сегодня сгубят —
На судьбу он не станет сетовать.
Неважно, что голову мне отрубят,—
Ведь Правда гораздо важнее этого,
И ей другие готовы следовать.

Перевод А. Тер-Григоряна

Хэ Цзинь-ци

НА МОТИВ ЛАНТАОША

В начале 1928 года, когда мы партизанили в районе Оучи, провинции Хубэй, до нас донеслась радостная весть: товарищ Мао Цзэ-дун поднял крестьян на восстание в провинции Хунань, а товарищ Чжу Дэ собрал войска и направил их из провинции Гуандун на помощь повстанцам.

Играя розовым цветом и светом,
Набухли бутоны в весенние дни.
И вот при первом порыве ветра
Бутоны взорвутся на ветках —
Лепестки распустят они.
Семена разлетятся повсюду.
Будут плоды, будут!

Враги лезут из кожи вон,
клянут нас, ожесточась,
Но сослепу приближают
своей гибели час.

Волны восстаний — валы в океане,
Это — наших побед кануны.
Глядите —
Идут повстанцы юга Хунани
И севера Гуандуна.

*
* *

Осенью 1928 года мы отступали из района Сунци. Тысячи крестьян, бросив свои семьи, уходили сражаться. Тяжело мне было смотреть, как они переправлялись с нашими частями через Янцзы.

Стихия беснуется, стихия бесится.
Надо нам ополчиться на бедствия,
Надо насмерть биться с врагом.
Поглядите кругом:
С севера Янцзы да с юга Янцзы —
всюду вода и вода.
Все затоплено паводком.
Люди, пришла беда!

Миллионы попавших в горе,
миллионы несчастных людей
Отправились в бой, оставив
дома жен и детей.

Глубокое озеро Дунтинху,
как море, уходит во тьму,
Но нашей ненависти и наполовину
не затопить ему.

Перевод Л. Озерова

Инь Фу

ПУСТЬ МЕРТВЫЕ СПЯТ СПОКОЙНО...

Пускай они спокойно спят.
Неизмерима боль утрат,
Но кровь бойцов недаром пролита.
Казалось, улыбались их уста,
Казалось, уходя на смертный бой,
Они живым кивнули головой.
В глухих селеньях кровь моих бойцов,
На площадях восставших городов —
Герои карту для грядущих дней
Писали кровью праведной своей.
Они ушли, их слава громче гроз.
Не надо слез... они не знали слез...
Враги прицелились,
в стволах таится смерть —
Капитулировать не сметь!

Пускай они спокойно спят.
Неизмерима боль утрат,
Но кровь бойцов недаром пролита.
Отбросим скорбь! Вперед, на их места!
Они отечеству все отдали сполна.
Нам эстафета битвы
вручена.

Перевод Л. Черкасского

ИЕРОГЛИФЫ НА МОСТОВОЙ

Огромные, написанные кровью
На мостовой широкой Нанкин-род,
Они лежат косою красной бровью
И обновляются — однажды в год.

Огромные, написанные кровью,—
Как выкрикнуты сотней голосов,—
Тоску сирот, печаль и злобу вдовью
Передают они сильнее слов.

Увидев эти знаки, вспоминаю,
Чья кровь лилась, чьи рвались голоса,
Что связано у нас с Тридцатым мая,
«Уса юндун» — «Движением Уса».

Два красных иероглифа смеются.
Зловещий смех! Как жуток он для тех,
Кто в стан врага спешил переметнуться.
«Уса юндун» — кровавый, красный смех.

«Уса юндун» во весь свой рост огромный
Шагало широко по Нанкин-род,
Исполненное силы неуемной,
Кровавый блеск бросало в небосвод.

Великий день! Твоя неповторимость
К сердцам людей прорезала тропу.
Твоя же непреклонная решимость
До устья долетела Хуанпу *.

Вселенная — от края и до края —
Потрясена пророчеством твоим:

«Что для буржуев нынче светит раем,
То адом завтра обернется им!
Сегодня иероглифы багряны,
Написанные кровью наших спин.
Но будет Завтра! Поздно или рано —
Я, буревестник, вновь на бой восстану,
Истории новейшей старший сын!»

В боях прошло уже четыре года...
Все льется кровь. Когда ж войне конец?
Растет с годами мужество народа,
Стучат ритмично тысячи сердец.

Мы закалились, выросли, окрепли.
Слезой врага мы смоем кровь с лица.
Сожжем все зло и похороним в пепле
И палача и труса подлеца.

Перевод Г. Ярославцева

Дэн Чжук-ся

ПРИЗЫВ ПОЭТА

Новый клич летит ввысь,
Поднятый новым поэтом:
Молодежь, пробудись!
Ты думаешь ли об этом:
Кто, тебя окружая,
Хищным оком следит за тобой?

---

* Река, на которой стоит город Шанхай.

Повадка чуждая и чужая
С ее лаской, со злобой тупой —
Распознана ли тобой?
Во имя чего ты на свете живешь,
Вешнему цвету подобная молодежь?

Молодежь, горячая и крутая,
Будущее твое — это будущее Китая.
От жизни вдали
восславишь ли жизнь?!
Пробудись, молодежь, пробудись!

ПОБЕДА

Разве есть колючий кустарник,
который нельзя срубить?
Разве есть дикие звери,
которых нельзя убить?
Разве есть горы, которые
нельзя было бы срыть?
Раз уж бороться — значит бороться.
Бороться — нет большего благородства.
Себя не щадя, не зная устали —
иди, врагов бей,
И — победа будет твоей.

Перевод Л. Озерова

Цюй Цю-бо

РОКОЧЕТ КРАСНОЙ ПЕНОЮ ПРИБОЙ...

Рокочет красной пеною прибой,
К заре взметнулась пена
грозных волн,
Да сгинет ночь!
Китай! Глаза открой!
Развейся вековой кошмарный
сон!
Восстань, Восток!
Мильоны, братья, нас!
Так пусть же все победно
запоют —
Над древнею землей
Заря зажглась:
Счастливый день придет
И с ним свободный труд!

Вперед! На штурм! В огонь!
Вперед, рабочих рать!
Чтоб цепи с плеч рабов
Сорвать и разорвать,
Чтоб люди всех цветов
Забыли звон оков,
Развеяв в пух и прах
Проклятый мир господ!
Смелей! Не отступать!
Вперед! Вперед! Вперед!

Чтоб впредь моя земля
Жила счастливым днем,
Чтоб заблестело вдруг
Везде и все вокруг,
Те, честен кто душой,
И те, кто чист умом,
За нами пусть идут —
Ведь коммунист им друг!

ИЗ ПИСЬМА К ЛУ СИНЮ

Не хотят, чтобы меч молодежь подняла
Против рабства и гнета,

День и ночь зазывают они молодежь
На веранды, к фокстротам.

Стиль модерн на священной земле
Насаждают без меры,

В древней рухляди для молодых
Ищут новую веру.

«Открывают на Запад врата»,
И врагам же в угоду

За «вратами» такими сулят
молодежи свободу!

Перевод И Голубева

Примечание: В этом стихотворении поэт разоблачает реакционную проимпериалистическую интеллигенцию чанкайшистского Китая, изо всех сил стремившуюся отвлечь молодежь от революционной борьбы.

Лю Бо-цзянь

В КАНДАЛАХ

Гремя кандалами,
иду по дороге,
Едва волочу тяжелые ноги.
Горожане, глаза раскрыв широко,
провожают меня в путь.
Но мне не стыдно ничуть.

Иду,
над улицей блещет синь,
Звенят кандалы —
дзинь, дзинь.
Испуганно и удивленно
горожане глядят на меня,
Но в сердце нет раскаянья,
в сердце — трепет огня.

Гремя кандалами,
иду по городу,
Высоко несу свою голову гордую.
Под тюремными буду томиться
темными сводами,
Чтобы все угнетенные
стали свободными.

Перевод Л. Озерова

Фан Чжи-минь

* * *

Наши враги могут
головы нам отсечь,
Но нашу веру поколебать
никогда не смогут они.
Принципы нашей веры
свято будем беречь,
Правда мира — вот свет,
озаряющий наши дни.
Если надо — мы готовы
Во имя победы
Кровь пролить,
Головы сложить
За Советы.

СОСТРАДАНИЕ

Его в сердцах сотен людей ощупью я искал,
Но натыкался на глыбы льда,
Или на твердый металл,
Или на мякоть гнилого плода.
Я видел много тяжелого,
Почему же я так и не нашел его —
сострадания?
Вырвать хлеб у ребенка голодного
до смерти за полчаса,
И — накормить им паршивого пса.
В снежный буран с бедняка
одежду сорвать
И, как подстилку, ногами ее топтать.
Тысячи жизней сгубить,
Кровь людскую пролить
Нагло и оголтело,
И считать, что это — привычное дело.
Почему к нам жизнь все лютей
И все горше наши рыдания?
О бог любви!
Ты создал людей.
Почему ж ты не дал им сострадания?

Перевод Л. Озерова

Е Тин

ПЕСНЯ УЗНИКА

Дверь накрепко закрыта для людей,
Лишь для собак оставлен лаз.
Пролезь — освободишься от цепей! —
Зовет соблазна тихий глас.

Свободы жажду я! Но нет!
Через собачий лаз ползти,
Ценой бесчестья вновь увидеть свет —
Нет! К свету шире у меня пути.

Я с нетерпеньем ожидаю день,
Когда подземное прорвется пламя,
Взметнется праха моего живая тень
И гордо заалеет знамя.

Жизнь новая забьет струей могучей,
О нас история расскажет молодым.
И в пламени огня, в людской крови кипучей
Останусь вечно я живым.

Перевод И. Щепкиной

Чэнь Жань

МОЕ ПРИЗНАНЬЕ

Пусть на ногах железные оковы,
И плеть-змея обрушиться готова,
И штык кровавый мне уперся в грудь —
Признанье? Нет! Признанье? Ни полслова!

Товарищ, не склонимся им в угоду.
У мертвецов выклянчивать «свободу»?!
Бессильны пыток злобные клыки
И даже смерть
пред силою народа.

Смеюсь, смеюсь над жалким их стараньем,
И демонов дворец дрожит до основанья.
Я громко Чан Кай-ши отходную пою,
Я — коммунист,
и вот мое признанье.

Перевод Л. Черкасского

* * *

Ли Да-чжао родился в 1889 году в провинции Хэбей; изучал политэкономию в Тяньцзине, учился в Японии. Вернувшись на родину в 1916 году, он редактирует газету антиимпериалистического направления «Чэньбао». Вскоре Ли Да-чжао становится профессором экономики Пекинского университета и одновременно директором университетской библиотеки. Во многих статьях он пропагандировал марксизм-ленинизм. рассказывал о значении Октябрьской революции. Ли Да-чжао был одним из организаторов и вождей движения 4 мая 1919 года. В 1921 году была создана Коммунистическая партия Китая, один из ее создателей — Ли Да-чжао. Активный работник КПК, он был схвачен в апреле 1927 года контрреволюционерами и через несколько дней погиб.

Ся Мин-хань родился в 1900 году в провинции Хунань. Во время движения 4 мая 1919 года был одним из руководителей студенческого союза. С 1925 года Ся Мин-хань находился на ответст-

венной партийной работе в провинции Хунань. В начале 1928 года был схвачен и казнен гоминьдановцами. Публикуемое стихотворение написано в тюрьме.

Хэ Цзинь-ци родился в 1901 году в провинции Хунань. Учился в военной школе в Чанша, потом служил в революционной армии Хэ Луна командиром роты, полка, бригады, дивизии. Командовал дивизией 4-ой рабоче-крестьянской Красной Армии. Геройски погиб во время одного из боев в сентябре 1928 года.

Инь Фу (Сюй Бай) родился в 1909 году в провинции Чжэцзян. В 1927 году переехал в Шанхай учиться; в сентябре 1927 года был арестован гоминьдановцами и после трехмесячного заключения едва избежал казни. С 1929 года ведет революционную работу среди молодежи. В сентябре 1929 года снова подвергается аресту. После выхода из тюрьмы Инь Фу продолжал вести революционную работу среди молодежи.

Инь Фу начал писать стихи в 1928 году, печатался в прогрессивном литературном журнале «Поток» и в рабочем журнале «Ленинская молодежь». Вступив в «Левую лигу» китайских писателей, созданную в 1930 году, он печатался в ее органах («Всходы» и другие).

В начале 1931 года Инь Фу был арестован и 7 февраля вместе с другими революционерами казнен гоминьдановцами в шанхайской тюрьме Лунхуа.

Дэн Чжун-ся родился в 1894 году в провинции Хунань. Принимал активное участие в движении 4 мая 1919 года и в рабочем движении. В 1922 году, в Кантоне, на Первом Всекитайском съезде трудящихся Дэн Чжун-ся был избран генеральным секретарем Всекитайского объединения трудящихся. В 1927 году назначен секретарем КПК провинции Цзянсу, а после разгрома Кантонской коммуны — секретарем провинции Гуандун. В 1933 году в Шанхае его арестовали и бросили в тюрьму. Никакие пытки не могли сломить воли отважного революционера. В октябре 1933 года Дэн Чжун-ся был казнен.

Цюй Цю-бо родился в 1899 году в провинции Цзянсу. В 1920 году в качестве корреспондента газеты «Чэньбао» приезжал в Советскую Россию. В 1922 году Цюй Цю-бо вступил в КПК, а в 1923 на Третьем съезде КПК был избран членом ЦК и оставался им до своей смерти.

Пробыв два года в молодой Советской республике, Цюй Цю-бо по возвращении в Китай опубликовал репортажи «Путевые заметки о новой России», «Впечатления о Красной столице», «Возвращение из Красной России», в которых правдиво описывал все виденное им, разоблачал антисоветскую ложь и клевету буржуазных газет.

Цюй Цю-бо усиленно пропагандировал в Китае русскую и советскую литературу. Он перевел многие труды В. И. Ленина, произведения Пушкина и Лермонтова, Чехова и Горького, Серафимовича, Луначарского, Гладкова.

Партия посылала Цюй Цю-бо на самые важные и ответственные участки революционного фронта. Он редактировал журналы, читал лекции, был комиссаром народного просвещения и ректором университета Центральной революционной базы. В феврале 1935 года во время боев в провинции Фуцзянь гоминьдановцам удалось захватить Цюй Цю-бо. 18 июня 1935 года он был расстрелян.

Лю Бо-цзянь родился в провинции Сычуань. В 1919 году он уехал во Францию, где несколько лет работал на различных заводах.

В 1924 году партия направила Лю Бо-цзяня учиться в Советский Союз, в 1926 году он вернулся на родину и был назначен начальником политотдела в армии Фын Ней-сяна. После контрреволюционного переворота Чан Кай-ши в 1927 году Лю Бо-цзянь вел подпольную работу в Шанхае. Вскоре партия снова послала его в Советский Союз на учебу в Военно-политическую академию. В 1930 году Лю Бо-цзянь возвратился на родину, а зимой 1931 года, после того как восставшая гоминьдановская 26-я армия была преобразована в 5-ю китайскую рабоче-крестьянскую Красную Армию, был назначен начальником политотдела этой армии. В марте 1935 года раненный в бою Лю Бо-цзянь попал в плен и 20 марта 1935 года погиб.

Публикуемое стихотворение написано в тюрьме.

Фан Чжи-минь родился в 1900 году в провинции Цзянси, с 1920 года принимал активное участие в революционном движении. В 1923 году Фан Чжи-минь вступил в коммунистическую партию и вел работу среди крестьянских масс в провинции Цзянси. В мае 1928 года в двух уездах родной провинции он создал советское правительство и сформировал отряды рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1928 году на VI съезде КПК Фан Чжи-минь был избран членом Центрального Комитета КПК. С 1934 года он вел большую работу в армии, мобилизуя ее на борьбу против японских захватчиков и гоминьдановцев.

Фан Чжи-минь погиб в Наньчане 6 августа 1935 года.

Е Тин происходит из крестьян провинции Гуандун, окончил военную школу в

Баодине. В 1922 году Е Тин был назначен командиром батальона Сунь Ят-сена. В 1924 году он уехал учиться в СССР. Вернувшись на родину в 1925 году, участвовал в Северном походе, командуя отдельным полком 4-й армии. 1 августа 1927 года Е Тин вместе с Хэ Луном поднимают в Наньчане восстание против гоминьдановцев, предавших революцию; Е Тин принимает командование 11-й армией. В том же году, в декабре, во время Кантонского восстания он был главнокомандующим войсками восставших.

В октябре 1937 года Е Тин стал командующим вновь сформированной 4-й армии. В январе 1941 года Е Тин был незаконно арестован гоминьдановцами; освобожден по настоянию ЦК КПК лишь в марте 1946 года. 8 апреля 1946 года самолет, на котором Е Тин направлялся в Яньань, потерпел аварию и разбился.

Чэнь Жань — ответственный сотрудник газеты «Авангард», издававшейся в Чунцине. В апреле 1948 года был арестован гоминьдановцами. Его пытались подкупить, заставляли отречься от компартии. Чэнь Жань ответил своим палачам стихотворением «Мое признанье». Накануне освобождения Чунцина Чэнь Жань был убит в гоминьдановском застенке.

Хуан Гойтисоло

Прибой

РОМАН

Перевод с испанского Л. Синянской

На бурной волне прибоя может всплыть всякий человеческий мусор — мошенник, попрошайка, даже преступник, но в целом...
(Из газеты «Диарио де Барселона»)

I

«Ни одного очага без огня, ни одного испанца без хлеба». Выведенная гигантскими черными буквами на стене вокзала, эта надпись гордо реяла над предместьем. Где бы вы ни находились, она бросалась в глаза. Вверху на огромной скорости расчерчивал небо реактивный самолет. Длинный след тянулся за ним, точно проведенная мелом черта, и, разделив небо надвое, постепенно растворялся в небесной сини, как хвост белой пены, остающийся за кораблем.

Антонио, ослепленный, отвел взгляд и поскорее свернул в переулок, ведущий к пляжу. Было воскресенье, и весь покрытый мелкой галькой берег — сразу же за последним рядом бараков — усеяли сотни людей, которые, словно ящерицы, грелись на солнце. Подозрительного вида мужчины без пиджаков, в надвинутых на лоб беретах, собравшись в кружок, играли в туте и хулепе *; сгорбленные старухи прикрывались от палящих лучей солнца наспех сделанными из газет колпаками; у самой сточной канавы полуголые юркие ребятишки гонялись друг за другом по кучам мусора с воображаемыми револьверами в руке.

Все бараки были почти одинаковые, большинство из них — побелены. Некоторые даже щеголяли черепичными крышами, у таких бараков двери добротные, деревянные, а в окошках виднелись горшки с геранью и чудоцветом. Но большинство бараков слеплены из чего попало: обломки кирпича, заплаты из листов жести. Пользуясь солнечным днем, обитатели бараков работали, дремали, болтали, ели прямо под открытым небом. Около одного из них, возле самой сточной канавы, ползал по песку ребенок, привязанный за ногу к ручке двери.

Антонио бесцельно брел по площади. Трескотня репродукторов сливалась в бешеный галдеж. Пущенные на полную мощность разные программы старались перекричать друг друга, смешивались в сплошной гомон, монотонный и ненужный, как яростный спор глухих. Воздух был насыщен испарениями: запах гнили и кухонного чада смешивался со зловонием разлагающихся отбросов из сточной канавы и расползался в теплом, почти осязаемо тяжелом воздухе.

---

* Карточные игры.

Мальчик присел на кучу мусора, спиною к солнцу. Рядом какой-то старик в грязном засаленном пальто стриг ногти на ногах. Двое побирушек разворачивали палками кучу отбросов. У самой мостовой четверо мужчин уселись за игру вокруг старой бочки из-под вина.

— А я говорю, он передернул.

— Враки!

Антонио внимательно разглядывал их. Один — цыган,— приподнявшись с шины, на которой сидел, яростно тыкал пальцем в рыжего парня с колодой карт в руках:

— Этот тип принимает меня за дурака.

— Ах ты!..

В соседнем бараке кто-то тронул струны гитары. Лихорадочный голос диктора объявил, что будет передаваться мамбо. В дверях одного из домов девушка, одетая танцовщицей, принялась отстукивать ладонью ритм. И вот в ту минуту, когда вся эта мешанина из гитарных переборов, голосов, музыки и выкриков уже стала невыносимой, все вдруг неожиданно оборвалось.

— Идут!

Тревогу поднял парнишка в красно-синей майке, заметивший идущих еще у переезда. Их было трое, рассказывал он, два невысоких и один долговязый, сутулый. Они шли по обочине дороги, а за ними бежал хвост мальчишек.

Антонио удивленно огляделся вокруг. Какая-то женщина торопливо снимала с веревки развешанное белье, а мужчины вокруг бочки прервали игру.

— Эй, ты! Собери картинки.

— Да убери монеты.

— Стой! Песета моя.

Мальчик в красно-синей майке бежал вдоль улицы, трубя тревогу. Женщина, снимавшая белье, снова вышла из дома и стала громко звать ребенка.

Антонио встал и поглядел в сторону холма. Облепленные роем ребятишек, старательно обходя лужи, по дороге шли трое. Свернув в сторону, к центру предместья, идущие направились своей обычной дорогой, как и каждое воскресенье, а люди повсюду глазели на них.

— Говорят, уже раздают.

— Что раздают?

— Одежду.

В дверях лачуг показывались женщины. Некоторые — им не терпелось — побежали навстречу шествию, сопровождаемые детишками. Но вот шествие вступило на площадь, и, точно по сигналу, вдруг онемели все репродукторы, девушка перестала отстукивать ритм, а мужчины тотчас спрятали карты, кувшины с вином и приняли смиренный и достойный вид.

Шествие остановилось перед таверной, и человек с кожаным чемоданом повелительно взмахнул рукой, призывая к молчанию. Несколько секунд пришедшие о чем-то шептались. Их черные и чистые сутаны отсвечивали на солнце. Грязная, оборванная толпа жадно глядела на них.

— Где живет Сатурио? — спросил наконец долговязый.

Казалось, вопрос этот сломал лед, и лица людей засияли надеждой.

— Сюда, вот сюда,— ответило сразу несколько голосов.

Долговязый сделал небольшую паузу, потом осторожным движением вынул из кармана платок и вытер струившийся по лицу пот.

— Через несколько недель,— заговорил он,— наша святая церковь торжественно будет праздновать пасху. По старинной традиции, восхо-

дящей к печальным временам гонений на христиан, дети, достигшие возраста первого причастия, совершают его именно в этот день. В следующее воскресенье, как и в прошлые годы, святые отцы начнут наставлять вас. Дети, которым предстоит причащаться, получат необходимые наставления, чтобы подготовить свой дух к великому таинству. Все семьи, где есть дети, которые еще ни разу не причащались, сердечно приглашаются принять участие в этом святом деле. Сейчас в доме Сатурио мы составим список. Падре Буэно запишет имена и адреса ребят и ответит на все ваши вопросы.

Священник откашлялся, желая показать, что разговор окончен, но люди стояли, не трогаясь с места, словно ожидая чего-то еще.

Живые, беспокойные глаза стариков, женщин и детей с загадочным упорством рассматривали кожаный чемодан святых отцов.

— Что-нибудь неясно? — спросил удивленный падре.

Несколько человек откашлялись, но заговорить не решались. Наконец какой-то парнишка, маленький и смуглый, подошел к человеку с чемоданом и потянул его за рукав.

— Что там внутри, сеньор?

— Священные книги,— серьезно и значительно ответил молодой человек.

И все шествие — священники, женщины, старики и дети — торжественно двинулось дальше. Сидя на куче мусора, Антонио видел, как они медленно подходили к дому Сатурио.

Предместье постепенно вновь обретало свой обычный вид. Мужчины снова достали карты и кувшины с вином и уселись за игру, приправляя ее ссорами и руганью. Девушка, одетая танцовщицей, снова принялась отбивать ритм, и кто-то на полную мощность пустил приемник.

Антонио встал с кучи мусора и, заложив руки в карманы, побрел по улице.

II

Сквозь тростниковую штору на двери таверны Пять Дуро сразу же увидел своего друга — тот сидел на скамейке напротив Хинера. Пять Дуро помедлил несколько секунд, не решаясь войти. Беспощадные солнечные лучи, казалось, придавили таверну Маньо к земле. Как и другие дома предместья, таверна, сложенная из разноцветных плиток кафеля, обломков кирпичей и брусчатки, собранных на многих мостовых, походила на пеструю мозаику. Все это свидетельствовало о трудном существовании, полном невзгод. Чтобы собрать мебель для таверны — скамейки, табуретки, столы,— пришлось прибегать иногда к обмену, а иногда и попросту к краже. Стойку Маньо соорудил из бочонков. Потолок был во многих местах залеплен гудроном, и все равно во время дождя с него капало.

Пять Дуро раздвинул тростниковую штору и направился к столику, за которым сидели его приятель и Хинер. Хинер, в синем рабочем комбинезоне, пришел сюда прямо из гаража, чтобы сыграть свою ежедневную партию в домино. Сто Грамм, похоже, провел бессонную ночь и теперь клевал носом за бутылкой мансанильи. Забравшись в угол, они тихонько постукивали костяшками домино.

Пять Дуро пожал руку Хинеру и сел у окна. Он тщательно обдумал, как будет себя вести. Сто Грамм нервно заерзал на стуле и уставился на него маленькими красными, как у кролика, глазками.

— Добрый день,— проговорил он.

Пять Дуро не ответил. Он решил держаться так, словно приятеля его вовсе не существует, а сам он поглощен в данный момент созерцанием некоего предмета за его спиной.

Сто Грамм поигрывал бутылкой, стараясь привлечь внимание друга. Будто не замечая его, Пять Дуро поднялся и попросил у Маньо кувшин воды.

Вернувшись на место, он презрительно улыбнулся и стал с довольным видом потирать руки, давая тем самым понять, что у него-то настроение хорошее. Хинер с беспокойством наблюдал за ними. Бледный, с темными кругами под глазами, Сто Грамм, не решаясь взглянуть на приятеля, нервно перебирал костяшки домино.

— Мы говорили сейчас об Эмилио,— нарушил молчание Хинер.— Сегодня утром я получил от него письмо.

— Что он пишет? — Не отводя взгляда от Сто Грамм, Пять Дуро хлебнул из кувшина.

— Сейчас,— Хинер начал рыться в кармане,— кажется, оно у меня с собой.

Наконец он нашел письмо в жилетном кармане, но прежде чем начать читать, протянул Пять Дуро фотографию. На фотографии сияющий Эмилио сидел на залитой солнцем веранде. Его трудно было узнать.

— Неужели это он? — воскликнул пораженный Пять Дуро.

— Он, собственной персоной,— ответил, улыбаясь, Хинер.

Забыв о Сто Грамм, изумленный Пять Дуро разглядывал карточку.

— Быть не может...

— Это что! Послушай лучше, что он пишет.

И, убедившись, что никто не подслушивает, Хинер стал негромко читать:

— «Вот уже больше шести месяцев я работаю на одном строительстве... Почти половина рабочих — испанцы... Профсоюзы защищают наши интересы... На прошлой неделе мы три дня бастовали...»

Но Пять Дуро не слушал. Как завороженный, он не мог оторваться от фотографии Эмилио, вертел и рассматривал ее со всех сторон — нет ли тут подвоха.

— Как сейчас помню день, когда Эмилио уезжал,— проговорил он наконец, глотая слюну.— И костюм-то на нем был чужой. И в кармане — шиш...

Хинер с сияющим лицом продолжал читать.

— Он был таким же, как я, никем...— снова прервал его Пять Дуро.— Я знал его еще мальчишкой...

— Эмилио разбогател благодаря мне,— невозмутимо объявил вдруг Сто Грамм. Забыв про фотографию, Пять Дуро изумленно поглядел на него.

— Благодаря тебе?

— Да,— кивнул его приятель.— Ведь это я ему всегда говорил: ты парень холостой, семьи у тебя нет, тебе надо уехать. Во Франции ты будешь жить, как сеньор, а здесь всю жизнь так и останешься бродягой.— Он взял бутылку и налил себе мансанильи.— Так я ему и говорил, слово в слово.

— Ну конечно, мы все это прекрасно помним,— подтвердил Пять Дуро.

— Эмилио, уговаривал я бывало, советую тебе, как брату. Такой молодой и предприимчивый человек, как ты, должен попытать счастья. Во Франции — республика... Уверяю тебя, там ты найдешь работу...

— Это он тебя послушался.

— Да. Меня. В последний раз, когда мы разговаривали, клянусь памятью матери, вот за этим самым столом, он мне сказал: «Сто Грамм, ты меня уговорил... Здесь я не пробьюсь... Решено — сматываюсь...»

— Я думаю, он в тот же день и отправился.— Пять Дуро чуть не задохнулся от бешенства.

— Да,— торжественно подтвердил Сто Грамм.— Он попросил меня пойти с ним на вокзал и купил билет до Парижа.

— А я думал, ты за него заплатил...

Сто Грамм сделал вид, что не замечает насмешки.

— Именно я уговорил его уехать,— повторил он.— И если бы не я, он до сих пор так и болтался бы здесь, подыхая с голоду.

Пять Дуро опять отпил из кувшина. Он знал за своим приятелем эту способность сочинять и умел сдерживать его прыть.

— Если ты был так уверен, что он разбогатеет,— едко спросил Пять Дуро,— хотел бы я знать, почему ты не отправился вместе с ним?

— Потому что он свободен, а я — нет,— ответил Сто Грамм с достоинством.— У меня жена и ребенок.

— Ах вот оно что...— Пять Дуро переменил тон.— Семья тебя задержала.

— Да, сеньор.

— Жена и ребенок...

Пять Дуро скрипуче засмеялся, в тишине смех его прозвучал, словно скрежет колес по мостовой.

— Интересно... В жизни не слыхал ничего подобного, честное слово...

— Не вижу, что в этом смешного,— оскорбился Сто Грамм.

Улыбка исчезла с лица Пять Дуро так же неожиданно, как и появилась.

— А разве не смешно?

Пять Дуро постарался придать своим словам как можно больше выразительности.

— Будто мы не знаем, что твой парнишка нагишом целый день болтается на улице, а жена твоя работает не разгибая спины...

— Что делают моя жена и мой сын — это касается только меня.

— Подыхают с голоду, бедняжки, а отец всю получку пропивает в таверне...

— Так же, как и ты свою,— отпарировал Сто Грамм.— Ты тоже заставляешь работать свою жену, и дети твои тоже беспризорные и тоже болтаются на улице...

— Ты не равняй, у меня совсем другое... Я в своем доме хозяин... И если мне хочется тратить деньги — я их трачу.

— Вот так же и я хозяин в своем доме и тоже распоряжаюсь своими деньгами, как мне вздумается.

— Если бы ты распоряжался своими деньгами, как ты говоришь, никто бы тебе ничего и не сказал,— ответил Пять Дуро.— Но беда в том, что ты норовишь всегда проехаться на чужой счет.

Сто Грамм сразу ощетинился:

— Ты о чем?

Хинер, которому все это уже порядком надоело, спрятал письмо в конверт.

— Мне кажется...— начал он.

Ни тот, ни другой не обратили на него ни малейшего внимания.

— Когда у меня нет ни черта, я ни перед кем не пресмыкаюсь и никого не прошу платить за меня,— отвечал Сто Грамм.— Ты сам уговорил меня выпить. Ведь я же не хотел!

— Вот, вот, строй из себя мученика... Того и гляди, окажется, что тебя силой заставили нализаться...

— Я сидел себе в углу, никого не трогал, а ты подошел с бутылкой и расселся напротив...

— Знаешь, помолчи-ка лучше... Уж виноват, так заткнись.

— Таверна была пустая,— заговорил Сто Грамм, обращаясь к Хинеру и уже едва сдерживая слезы,— а он подошел именно к моему столику, чтобы подбить меня...

— Подбивал я тебя или нет, но знаю только, что, когда я очнулся, этот сеньор уже пропил мою получку, а сам я валялся на полу, обобранный как липка.

— Это он подначивал меня пить... Сам был уже пьян в стельку, а я и не заметил...

— Жулик — вот ты кто... Только притворялся другом.

Сто Грамм, добитый, опустил голову. Две блестящие, как дождевые капли, слезинки скользнули по его впалым щекам.

— Не притворялся я и не жульничал,— сказал он.— Я хоть и бедный человек, а принципиальный.

Пять Дуро, удовлетворенный, глядел на него.

— Побирушка, хочешь ты сказать... Воришка.— Он обернулся к Хинеру, призывая его в свидетели.— Как же еще назвать его? Стоит ему заполучить несколько дуро — он никогда не поступит как порядочный человек, а пойдет и надрызгается в одиночку.

— Неправда... Я искал тебя весь вечер... И не нашел.

— Не нашел...— Пять Дуро саркастически засмеялся.— Как будто я не знаю! Каждый раз, когда этому сеньору удается заработать малую толику, он сейчас же смывается, чтобы не пришлось угощать меня.

— Ну спроси у Картахены, если не веришь... Он тебе скажет, я забегал в таверну раз десять, не меньше...

— И спрашивать нечего, я и так знаю, что врешь.

Сто Грамм принялся рыться в карманах, как это делают пьяные. Наконец он нащупал бумажник, достал его дрожащей рукой и протянул приятелю.

— На... Возьми... Дарю тебе...

— Вот уж нет...— воскликнул Пять Дуро.— Взять деньги, добытые неизвестно как?.. Никогда!

Сто Грамм патетически поднял левую руку. На ней не хватало двух пальцев — указательного и большого.

— Эти деньги честно заработаны,— торжественно заявил он, всхлипывая.— Я получил их в фонде помощи за свои пальцы...— Он еще раз пощупал обрубки, как бы желая удостовериться, что пальцы не отросли.

— Это ты называешь честно заработать? — спросил Пять Дуро.— И тебе не стыдно пользоваться фондом из-за такой чепухи?

Сто Грамм разразился вдруг пьяными слезами.

— Раньше они были длинные, как все другие... Ладные такие, даже с ногтями...

— С ногтями! На кой черт тебе ногти, хотел бы я знать?.. Они нужны господам, которые не работают, а только и знают, что гулять... А когда подыхаешь с голоду, как мы с тобой... Нам, что с ногтями, что без ногтей, все равно счастья не прибавится, вот что я тебе скажу...

Пять Дуро огляделся, ища поддержки у окружающих. Потом снова отпил из кувшина.

— Наш брат хоть без головы, а все равно будет горе мыкать.

Сто Грамм ничего не ответил. Уныло сгорбившись, с выражением слезливого раскаяния на лице он рассматривал обрубки пальцев.

Люди, пившие у стойки, мало-помалу вернулись к своим разговорам. Немного погодя простился и ушел Хинер. За столиком друг против друга остались два приятеля, а между ними — бутылка-искусительница.

Прошла минута, еще одна и еще, а эти двое все сидели, не проронив ни слова. Потом взгляды их робко встретились. Пять Дуро жадно разглядывал бутылку. В горле у него пересохло. Искорка радости блеснула в глазах его приятеля.

— Если хочешь, можем выпить,— ласково предложил он.

И Пять Дуро не отказался. Сто Грамм глядел на него почти с любовью; и беря протянутую ему бутылку, Пять Дуро понял, что простил своего друга.

— Допивай все, парень,— сказал тот.— Вчера я получил деньги, и сегодня гуляем... А хочешь, опять напьемся.

III

Чуть дальше за таверной Маньо полоска земли, на которой приютилось предместье, постепенно сходила на нет, зажатая с одной стороны стеной, огораживающей железнодорожное полотно, а с другой — покрытым галькой берегом, куда выходили сточные канавы со всего предместья.

Посидев у Сатурио, Антонио вышел и направился к развалинам старого склада. Любители соорудили там футбольное поле, и ребятишки каждую неделю устраивали на нем матчи. Не решив еще, куда идти, юноша бесцельно бродил между группами зрителей. Вдруг, повинуясь какому-то неясному чувству, он обернулся. Позади шла жена лавочника. Пройдя вслед за ним через все предместье точно зачарованная, она и теперь не отставала, держась на почтительном расстоянии.

Однажды, месяца два назад, Антонио столкнулся с ней в дверях школы. Женщина как будто не слышала его извинений и как-то странно смотрела на Антонио. Она была уже не первой молодости, с изможденным лицом и проседью в волосах. Взгляд ее огромных темных глаз, казалось, пронизывал насквозь.

С того дня Антонио встречал ее всякий раз, как только выходил на улицу. Куда бы он ни шел, женщина следовала за ним, словно тень. Накануне она шла за ним до самого мола, и было мгновение, когда ему показалось, что она хочет окликнуть его. Но женщина остановилась метрах в двадцати и смотрела, как он уходит, так и не сказав ни слова.

Антонио посмотрел на нее со злостью. Как раз в этот момент судья просвистел пенальти местной команде, и, пользуясь поднявшимся волнением, Антонио поспешил скрыться в одной из боковых улочек. За футбольным полем открывалась совсем иная картина: бараки были разбросаны редко, вокруг них кокетливые огородики, защищенные кустарником, проволокой или оградой из колючих растений; последние бараки предместья были расставлены по берегу, словно игрушечные домики на шахматной доске.

Здесь было легче скрыться. Еще несколько минут он петлял по пустынным в это время дня улочкам, ведущим к морю, и, выйдя на песчаный берег, остановился. От быстрой ходьбы сердце его стучало, на лбу выступил пот.

Не оборачиваясь, Антонио чувствовал, что женщина уже потеряла его из виду. Немного успокоившись, он прошел метров двадцать по пляжу. Солнце, добравшись до зенита, припекало все сильнее. Он уселся в тени, прислонившись к большому медному баку.

Напротив, у дверей дома, сидел на корточках смуглый, похожий на цыгана, парнишка и читал «тебео» *. Одет он был довольно аккуратно — темно-синие штаны и белый вязаный джемпер. Парнишка перевернул страницу и поднял глаза, вдруг его тело напряглось, словно у почуявшего опасность животного. На другом конце пляжа показалась ватага ребят в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет, ребята смотрели нагло, с явным вызовом. Они шли в сторону футбольного поля. Между ними и парнишкой в джемпере оставалось всего метров пятьдесят, но парнишка сидел словно пригвожденный. Те же, видимо, не торопились; не спеша шли они по ярко расцвеченной солнцем гальке, обходя разбросанные повсюду самосвалами кучи мусора.

Впереди всех, засунув руки в карманы, с потухшим окурком в зубах шагал парень в черной кепке на светлых волосах. Антонио удивленно глядел на его расширяющиеся книзу бачки, на причудливой формы шрам вдоль лба. Одет он был бедно, как и его товарищи: короткая майка, когда-то, должно быть, голубая, и выцветшие залатанные штаны, какие обычно носят рыбаки.

Он остановился в нескольких шагах от смуглого парнишки, обернулся к остальным и сделал им знак подождать. Смуглый парнишка продолжал читать газету, не выказывая никакого беспокойства. Вожак, подбоченясь, глядел на него некоторое время, потом несколько раз кашлянул, стараясь привлечь к себе внимание.

— Черт возьми,— заговорил он,— неужели вы не видите, кто это здесь сидит? — Вразвалочку он подошел поближе.— Я бы сказал, это наш старый друг Харке, ребята...

— По крайней мере он похож на него, как одно яйцо — на другое,— поддержал вожака стриженый мальчишка.— Правда, ребята?

Вся ватага, словно по какому-то тайному знаку, выстроилась полукругом вокруг Харке. Но тот, сидя на корточках, даже и бровью не повел.

— Сходство необыкновенное, чтоб я сдох,— продолжал вожак.— Глаза... Волосы... Нос... Лоб... Все точка в точку...

— А может, это он самый и есть,— продолжал другой парень, Цыган, еле удерживаясь от смеха.

— Нет. Не может быть,— притворно возмутился вожак.— Такой верный друг, как Харке, поприветствовал бы нас.

— Во всяком случае,— настаивал Цыган,— мы ничего не потеряем, если спросим его самого.

Видя, что главарь ничего не имеет против, он опустился на колени перед сидевшим на корточках Харке и отвесил ему поклон:

— Не соблаговолит ли ваша милость назвать свое имя?

Наступила пауза — все ждали, что ответит сидящий на корточках парнищка.

— Их милость оглохла,— сказал коротко подстриженный мальчишка.

— Их милость оглохла, ослепла и онемела,— подтвердил вожак. Он еще некоторое время смотрел на него, подбоченясь, и вдруг расстегнул штаны. Потом он медленно подошел к дому Харке и на виду у всех стал мочиться на стену.

Чтобы лучше видеть, Антонио козырьком приложил руку к глазам.

Харке все еще не поднимал глаз от газеты, но кулаки его инстинктивно сжались.

---

* Детская иллюстрированная газета.

Ватага жадно следила за происходящим. Почуяв драку, они преобразились, точно коршуны при виде крови.

— Лей на него, Метралья, на него!

— Давай, на костюмчик!

— Полей его, чтобы подрос!

Сопровождаемый восхищенными взглядами всей ватаги, вожак прямо как был — руки в карманах и с расстегнутыми штанами — стал подходить к Харке. Понимая важность момента, приятели разом умолкли. И только Харке все еще делал вид, будто продолжает читать газету. Но дрожь в руках выдавала его.

— Не желает ли ваша милость застегнуть мне штаны? — спросил Метралья, улыбаясь.

Харке не отвечал. Пот струился по его лицу, и оно блестело на солнце.

— Если ваша милость не желает,— продолжал Метралья,— то ваша милость просто...— тут последовало длинное грязное ругательство.

Выхватив из рук Харке газету, он разорвал ее и бросил на землю. Кровь прилила к лицу Харке, он поднялся.

— Хватит задирать,— крикнул он,— не то, клянусь...— голос его прервался.

Метралья обернулся к своим:

— Видали, ребята? Мне начинают угрожать...

— Я один, и у меня нет оружия,— сказал Харке.— Если ты такой храбрый, так скажи им, чтобы они смылись...

— Никто из них тебя не тронет без моего разрешения,— ответил Метралья.

Он вынул из кармана руку и протянул Харке закрытую наваху. Друзья одобрительно завопили:

— Пырни его как следует!

— Полосни его по харе!

— Располосуй морду!

Окруженный разгоряченной сворой, Харке огляделся. Площадь была пустынна, воздух казался почти осязаемо тяжелым. Солнце выхватывало блестки жестяных и стеклянных осколков в кучах мусора. Легкий ветерок донес далекие крики зрителей с футбольного поля.

— Чего же ты ждешь?

Главарь насмешливо протягивал наваху. Вместо ответа Харке ударил его кулаком. Удар пришелся в грудь и заставил того попятиться.

— Ах вот ты как...

Метралья спрятал наваху в карман и ударил кепкой о землю.

— Будь по-твоему... Раз тебе не нравится перо, давай на кулаках.

Сопровождаемые всей шайкой, они направились к пляжу. С бьющимся сердцем Антонио поднялся тоже. Они дошли почти до самой воды, Антонио остановился позади, на почтительном расстоянии.

Выбрав место, противники, прежде чем начать, внимательно оглядели друг друга. Замкнутые в кольце зрителей, распаленные яростью и солнечным зноем, они, казалось, ждали сигнала.

И вдруг, разорвав сковавшее их оцепенение, ринулись в бой, обрушив друг на друга град ударов под вопли всей ватаги, подначивавшей своего товарища.

Некоторое время ни тот, ни другой не могли взять верх. Харке то и дело вертко отскакивал в сторону, а Метралья прощупывал противника, не выкладываясь до конца. Наконец заводила изловчился и схватил Харке за плечо. Сцепившись, они покатились по земле.

Эта минута решила исход борьбы в пользу Метральи. Еще несколько мгновений перевес, казалось, был то на одной, то на другой стороне, но вот Метралья поднатужился и сел верхом на своего противника. Сильными рывками Харке пытался сбросить его, но напрасно. Метралья крепко сжимал его ногами, не мешая ему, однако, биться в изматывающих рывках. Потом, зажав Харке коленями так, что тот уже не мог шевельнуться, принялся со злобной жестокостью наносить удары.

Антонио, оцепенев, с ужасом следил за взмахами его руки. Сжав горло противника, Метралья бил его головой о камни. Посиневшее, все в кровоподтеках, лицо Харке, видимо, не вызывало в победителе никакой жалости. Тот пытался высвободиться, но его попытки становились все более слабыми и редкими. И вдруг, схватив камень, Метралья несколько раз ударил им Харке по лицу.

Антонио зажмурился. Открыв глаза, он увидел лицо Харке с рассеченной бровью и окровавленным ртом. Метралья сидел верхом на поверженном противнике, по лицу его струился пот. А вокруг вопили друзья, требуя продолжать расправу. Чтобы ублажить их, Метралья оттащил недвижное тело к морю и бросил на камни, головой прямо в воду.

Истерическая злоба шайки достигла высшего напряжения. Точно с цепи сорвавшись, они бросились к телу, окружили его и принялись пинать ногами и молотить кулаками.

— Вот так... Пока не подохнет...

— Ты настоящий парень, Метралья...

И в этот момент, когда сердце Антонио, казалось, готово было разорваться, кто-то заметил вдалеке треуголки жандармов.

— Тихо... Легавые...

Оставив свою жертву, ватага рванулась к видневшейся вдали крепости, в лабиринтах которой легко было скрыться. Позади всех бежал Метралья, на ходу отряхивая штаны.

На песке осталась забытая главарем кепка, и Антонио, поколебавшись несколько секунд, побежал к ней через всю площадь под безжалостно палящим солнцем. С трудом переводя дыхание, он бросился вдогонку за убегавшими напрямик через кустарник и проволочные изгороди. Впервые в жизни он был так потрясен — он бежал, не разбирая, куда несут его ноги.

Сжимая в руках кепку, он несся вперед, оставив далеко позади последние бараки и огороды. Опомнился Антонио уже под железнодорожным мостом. Беглецы остановились здесь перевести дух, и когда подбежал Антонио, они посмотрели на него с явным недоверием.

— Какого дьявола тебе надо? — скрестив руки на груди, встал перед ним светловолосый парень.

На бегу Антонио подготовил целую речь, но сейчас он не знал, что ответить. Чувствуя на себе враждебные взгляды всей своры, он вдруг ощутил, что не в силах вымолвить ни слова.

— Когда мы пришли, он был на пляже,— сказал один.

— Я видел, как он бежал за нами.

— Белоручка!.. Пришел шпионить...

Лица их горели ненавистью. Светловолосый сплюнул и схватил его за лацкан пиджака:

— Ну-ка, выкладывай все, не то...

Грохот поезда, проходившего в этот момент, не дал ему закончить. Когда шум затих, вмешался Метралья.

— Постой-ка,— сказал он, беря у Антонио кепку.

Несколько мгновений, показавшихся Антонио нескончаемыми, он

тщательно рассматривал его, словно цыган лошадь, которую собирается купить. Потом крепко схватил Антонио за подбородок и заставил посмотреть себе прямо в лицо.

— Не бойся, Малыш,— проговорил он.

Ко всеобщему удивлению, вожак дружески положил руку ему на плечо и, словно этим жестом все было сказано, добавил:

— Здесь ты у друзей... А хочешь — будешь нашим корешем.

IV

Выйдя от Маньо, он опять достал из кармана письмо и шепотом перечитал некоторые места. В течение шести лет Эмилио был для него, можно сказать, сыном. Хинер познакомился с ним вскоре после того, как отбыл наказание; Эмилио приехал в Каталонию, спасаясь от безработицы. Его детство, как и детство самого Хинера, прошло в маленьком глухом андалусском селении. Отец зарабатывал хлеб для семьи под землей, в шахте, там он и погиб от несчастного случая. Хинер был на двадцать лет старше Эмилио и постарался заменить ему отца. Во время Республики он деятельно участвовал в создании профсоюзов и ни в коем случае не хотел, чтобы его опыт, приобретенный ценой таких усилий, пропал даром. Терпеливо пытался Хинер пробудить политическое сознание Эмилио. «Они украли у нас все, даже слова,— сказал он ему как-то.— Мы беднее рабов».

Иногда, вместо обсуждения экономических требований и пороков режима, Хинер погружался в воспоминания о войне и плене, о непосильном труде, голоде, страхе и побоях. Мало-помалу Эмилио стал ему просто необходим. Кончив работу в гараже, Хинер сразу же шел искать его в таверну Маньо, чтобы за бутылкой мансанильи поведать Эмилио свои заботы.

Когда юноша уехал, Хинер почувствовал себя очень одиноким. Жена и дети не понимали его. Даже не пытаясь вникнуть в его доводы, они постоянно и как бы с удовольствием оспаривали все то, что для него составляло смысл жизни. А Эмилио, казалось, совсем забыл о нем. Почтальон по-прежнему проходил мимо его дома. Время отнимает у человека все — молодость, надежды, любимую, детей, друга. Время отняло и Эмилио. И Хинер оставил надежду.

Письмо, которое принес в гараж какой-то незнакомец, преисполнило Хинера радостью. «Извини меня за то, что я не написал тебе раньше,— сообщал Эмилио,— но до сих пор я не мог найти надежного человека, с кем бы можно было передать письмо».

Хинер читал письмо каждому из своих товарищей по работе. Переполненный гордостью, показывал он фотографию друга, сидящего на веранде, и улыбался, глядя, как в их глазах загораются изумление, восхищение и зависть. «Во Франции рабочий не одинок, как у нас. Во Франции есть профсоюзы».

К концу ночной смены весь гараж уже знал письмо наизусть. Слишком взволнованный, чтобы заснуть, Хинер вышел прогуляться по предместью.

Было воскресенье, и на каждом шагу он встречал приятелей. «Слышали новость?» — спрашивал он. И, не дожидаясь ответа, протягивал фотографию и дрожащим от волнения голосом читал отрывки из письма.

Он зашел в таверну Маньо и опять вышел. Зажав фотографию в руке, бесцельно побрел в сторону порта. В эти часы Барселонета навод-

нена народом. У закусочных сидели целые семьи, греясь на солнце. Все еще взволнованный полученным письмом, Хинер остановил нескольких знакомых, чтобы сообщить им новость. В конце концов разговоры утомили его, и он остановился на площади.

Было лишь начало апреля, но уже пахло летом. Народ толпился вокруг продавцов чурро*, густо облепил лотки с земляными орехами и прохладительными напитками. Карусель, устроенная на площади еще в незапамятные времена, пробудилась от зимней спячки и крутилась, полная ребятишек, сидевших верхом на лошадях с круглыми глазами, на незатейливых облупившихся лебедях.

Хинер вытер платком вспотевший лоб. Коста жил в двух шагах отсюда, на узкой улочке, вечно завешанной бельем.

Когда он пришел, тот еще не закрывал. Стоя за прилавком, он показывал товар какой-то старухе.

— Подожди немножко,— попросил Коста.

Хинер присел возле витрины. Каждый раз, когда он чувствовал себя чересчур усталым или расстроенным, общество Косты, толстого, как Будда, окруженного фигурками младенца Христа, богородицы и многочисленных святых, действовало на Хинера словно целительный бальзам.

Пока Коста возился с покупательницей, Хинер, усевшись в углу, рассматривал хозяина. Лицо у Косты — розовое, как у ребенка, а руки пухлые и холеные. Дела в лавке, доставшейся ему в наследство от двоюродной бабушки, шли хорошо, и, как говорили люди, он даже откладывал кое-что в банк.

Женщина выбрала наконец младенца Христа, маленького, толстого, в ослепительных белокурых локонах и с позолоченным нимбом вокруг головки. Коста снял у него с шеи этикетку и завернул фигурку в целлофановый пакет, как конфету.

— С вас сорок восемь пятьдесят,— сказал он.

Старуха расплатилась, взяла покупку и вышла. Потирая на ходу руки, Коста не спеша подошел к Хинеру.

— А я как раз вспоминал тебя.— За толстыми стеклами очков глаза его походили на голубые пуговицы.— Теща прислала мне бутылку кордиаля. Хочешь, выпьем по стаканчику?

Хотя Хинер сладкое вино не любил, он не стал отказываться. Когда он чувствовал себя одиноким и ему хотелось кому-то излить душу, Коста часто оказывался единственным человеком, готовым его выслушать.

— Я пригласил еще Эваристо,— сказал тот и задвинул засов.

Очень аккуратно сложив халат, он убрал его в стенной шкаф и, прежде чем запереть дверь на ключ, вынул из кармана кулечек.

— Хочешь кофейную карамельку?

Хинер, улыбнувшись, покачал головой. Лавочник отодвинул щеколду задней двери и через темный коридор и привратницкую вывел его на улицу.

На протянутых от балкона к балкону веревках сушилось белье, с него капало. Коста жил в угловом доме, и они не спеша направились к нему.

Эваристо уже поджидал их, сидя на ступеньках. Несмотря на жару, на нем была старая, похожая на гриб шляпа и увешанное медалями пальто.

— Три часа драил,— пожав им руки, с гордостью показал он на медали.— Идите, идите, я за вами,— говорил он, похлопывая себя по коленям.— Старые ноги натерпелись изрядно, но еще меня носят...

---

* Печенье типа хвороста.

Свой мешок, где лежали жестянки с окурками, он оставил перед дверью квартиры Косты и теперь вскинул его на спину.

Столовая в доме лавочника была выкрашена светлой краской. Вся мебель состояла из стола, буфета и четырех стульев. В глаза бросалась висевшая на стене огромная фотография мальчика в матросском костюме.

Коста исчез за дверью кухни и вернулся с кордиалем и стаканами. При виде бутылки Эваристо радостно потер руки. Коста с удовольствием стал наливать. Кордиаль источал густой аромат, старик и Коста принялись пить вино небольшими глотками. Стараясь не показывать, что оно ему не нравится, Хинер залпом опорожнил свой стакан.

— Что новенького, старик? — спросил он, улыбнувшись.

Прежде чем ответить, Эваристо снял свою старую, вытертую шляпу. Такие шляпы обычно надевают на пугала.

— Ничего. Вернее, ничего важного,— поправился он.

Толстыми пальцами Коста поглаживал изображенную на этикетке бутылки монашенку.

— Позавчера приходили из суда,— откашлявшись, пояснил старик.

— Из суда? Зачем? — Брови Хинера взлетели вверх.

— Хозяин хочет выгнать меня из дома,— ответил Эваристо.

— А кто ваш хозяин? Как его зовут?

— Не помню.— Старик провел рукой по лбу.— Кажется, у него зеленная лавка...

— Я знаю одного адвоката из суда,— сказал Хинер.— Четыре года он вел мое дело, и мы подружились. Если хотите, можем сходить к нему.

Старик нервно вертел в руках шляпу.

— Не стоит беспокоиться... Не может быть, чтобы закон позволил вышвырнуть старого Эваристо на улицу.

— Я говорю ему, чтобы он не слишком-то полагался на закон,— сказал лавочник.— Он сам добряк и думает, что все такие же. Этак в один прекрасный день ты получишь неприятный сюрприз.

— Коста прав, дедушка. По теперешним временам с людьми не особенно церемонятся.

— Эваристо платит за квартиру каждый месяц аккуратно,— твердил старик свое.— Эваристо не какой-нибудь бродяга.

— Даже если бы вы платили вдвое больше... Этим крючкотворам только попадись — они такого нагородят...

Старик упрямо помотал головой. На его лице, изрезанном сетью мелких морщин, из-под похожих на мочало волос поблескивали полные слез глаза, ласковые и голубые, как у ребенка.

— Эваристо — ветеран пяти войн,— заговорил он опять.— В шестнадцать лет он уже был на Филиппинах добровольцем... А потом в Рифе, в Мелилье, в Ифни... всю жизнь под знаменем, всю жизнь в строю... Спросите об Эваристо в Африке... И вам скажут, что он был бравым солдатом Иностранного легиона...

Хинер хотел было что-то сказать, но лавочник сделал ему знак молчать.

— Эваристо прав,— сказал он, подмигивая Хинеру.— Герою войны — а Эваристо герой войны — ничего плохого сделать не могут. Но как бы то ни было,— добавил он,— я думаю, что с этим адвокатом стоит поговорить хотя бы просто так, из любопытства.

Успокоенный, словно с плеч у него гора свалилась, старик снял пальто и показал им свои медали.

— Эваристо был поваром Алюсемского полка... Две тысячи котелков гороха каждый день... Под конец его даже наградили...

— Красивая медаль,— подтвердил Коста, делая вид, что внимательно разглядывает ее.

— Вот эти кресты сверху,— продолжал старик,— я заслужил в Марокко... А эти, что внизу, Эваристо дали, когда он кончил службу.

— Больше всего мне нравится, что они так хорошо сохранились.

— Я сегодня надраил их новым составом для чистки... На солнце они блестят, как золотые.

Громкий стук двери прервал разговор. Это пришла жена лавочника; ни с кем не здороваясь, она прошла через столовую.

С минуту никто из троих не проронил ни слова. Хинер рассеянно смотрел на фотографию мальчика в матросском костюме. Коста искоса поглядывал на дверь, за которой скрылась жена. Эваристо, стоя посреди комнаты, поглаживал свои медали. Хинер вдруг вспомнил, зачем он пришел, и стал ощупывать карманы.

— Слышали новость?— спросил он.

И довольный, что может прервать неловкое молчание, вынул письмо Эмилио и начал громко читать.

V

Через запыленное стекло мальчик разглядывал пьющего.

— Он? — спросил снизу брат.

Рамон прижал нос к стеклу.

— Не знаю,— соврал он.— Не разберу никак.

Облокотившись на край стойки рядом со Сто Грамм, их отец пил мансанилью прямо из бутылки.

— Дай-ка я посмотрю. Ну дай,— жалобно просил Пако.

— Секундочку. Подожди секунду.

Пять Дуро оторвался наконец от бутылки и гордо показал ее своему приятелю.

— Ух ты,— восхитился мальчик.— Всю, до дна!

— Дай и мне посмотреть... Дай же.

Рамон соскочил на землю и в свою очередь подставил брату сложенные руки.

— Лезь. Скорее.

Пако приставил к глазам ладонь, защищаясь от солнца.

— Черт возьми! — сказал он.

С минуту Рамон держал его. Потом резко разомкнул руки, и тот соскользнул на землю.

— Надрызгался. Здорово надрызгался,— сказал Пако, засовывая руки в карманы.— Где же он раздобыл монету?

Рамон не ответил. Он уже сообразил, как извлечь из всего этого возможно большую выгоду.

— Подожди меня здесь,— приказал он.

— А ты куда?

— Хочу сказать ему несколько слов.

Раздвинув тростник шторы, он направился к стойке, где безмятежно пили его отец и Сто Грамм.

— Привет, отец,— улыбаясь, сказал он.

Поставив бутылку на стойку, Пять Дуро удивленно обернулся.

— Что ты здесь делаешь?

— Ничего,— кротко ответил Рамон.— Шел мимо и зашел.

Отец глядел на него красными, как у кролика, глазами.

— Ну и проваливай откуда пришел.

Но вместо того чтобы послушаться, Рамон скрестил руки на груди и не тронулся с места.

— Пора обедать. Мама тебя ждет.

— Пойди скажи, чтоб не ждала.

— Я пойду и скажу ей, где ты,— спокойно ответил мальчик. Лицо Пять Дуро побагровело.

— Бандит...— пробормотал он.— Фискал.

— Ну, пока. Я пошел,— сказал Рамон.

— Эй... Постой.

Схватив мальчика за руку, он рванул его так, что тот повернулся на пятках.

— Какого черта тебе надо? — явно с трудом сложил он фразу.

— Две песеты.

— Две песеты?

Лицо Пять Дуро приняло трагическое выражение. Выпустив руку мальчика, он качал головой с таким видом, словно был обманут в лучших своих чувствах.

— Видал? — обратился он за поддержкой к приятелю.— Сын эксплуатирует собственного отца...

Сто Грамм вытер глаза платком.

— А, бог с ним... Он еще не понимает, что делает...

— Мой сын...— причитал Пять Дуро.— Мой родной сын!..

Дрожащей рукой он положил в протянутую руку мальчика две песеты.

— Иди... Убирайся... Прочь с глаз моих!..

Рамон спрятал монеты в карман, но с места не двинулся.

— Чего ты еще ждешь? — крикнул вне себя отец.

Мальчик показал на бритую головку брата, которая как раз в этот момент вынырнула из-за тростниковой шторы.

— Ведь он тоже видел,— сказал он.

— Ну и что?

— Если ты не дашь и ему две песеты, он наябедничает матери.

Пять Дуро выругался. Воздев руки к небу, он заявил, что нет в этом мире ни уважения, ни нравственности, ни принципов. Наконец, устав разглагольствовать впустую, он швырнул в лицо мальчику дуро.

Рамон наклонился, подобрал деньги и вышел на улицу. Брат ждал его на тротуаре. Туча мух вилась над ним. Зависть и восхищение светились в его глазах.

— Черт подери! Сколько он отвалил?

Рамон не ответил. Надвинув шапку на брови, он бегом бросился к дому. В эти часы воздух предместья полон чада и запахов еды. Люди едят прямо под открытым небом, сидя перед бараками целыми семьями. У Рамона от голода сосало под ложечкой. Позади, тщетно пытаясь его догнать, задыхался от быстрого бега братишка.

— Эй, погоди...

Перед домом Сатурио поперек улицы вытянулась шумная очередь женщин. Мальчик с трудом пробился сквозь толпу. До дома оставалось несколько метров. Он подбежал к двери и остановился.

Подтягивая на ходу штаны, по булыжной мостовой вприпрыжку бежал босой Пако. По мере того как расстояние между ним и братом сокращалось, он замедлял бег. Его старообразное личико исказилось от напряжения. Остановившись посреди улицы, он протянул руку, ладонь его раскрылась морской звездой.

— Ну кинь две светленькие!

— Одну.

— Две.
— Одну, и за это скажи спасибо.
Поколебавшись мгновение, Пако зажал монету в руке.
— Идет? — спросил Рамон.
— Идет.
Потолкавшись в дверях — каждый хотел пройти первым,— они вошли в барак. Антонио, как обычно, читал приключенческий роман и даже не поднял глаз, когда братья подошли к нему. Мать, стоя на коленях на циновке, мыла пол в кухне. В кастрюле закипела неизменная пшеничная похлебка. На деревянной полке — тарелка с картошкой.
— Кто поможет мне накрыть на стол? — спросила женщина, отирая рукавом пот со лба.
Ни один из сыновей не потрудился даже ответить. Антонио перевернул страницу. Пако уселся на корточки. Рамон, подавляя зевоту, прошел в крошечную комнатку, служившую братьям спальней.
На прошлой неделе Пако залепил в ней все стены фотографиями футболистов. Лежа на раскладушке лицом кверху, Рамон разглядывал их. От голода ныло в животе. Чтобы заглушить боль, он вынул из-за уха чикле * и принялся жевать.
— Ароматный...
— Вкусный...
— Изысканный...
— Куриный бульон «Авис».
В единственном незаставленном углу комнаты Хавьер и Пили с упоением слушали болтовню радио. Время от времени дикторы приправляли речь вздохами, изображавшими наслаждение. Малыши приникли ушами к самому репродуктору и застыли, зачарованные.
— Для слабых желудков...
— Для расстроенных нервов...
— Бульон «Контекс» возбуждает аппетит.
Рамон заворочался на постели. Рот его наполнился слюною, и чикле вдруг показалась отвратительной.
— Сосиски...
— Ветчину...
— Колбасы...
— Требуйте только от «Астурианы».
Вскочив с кровати, он выдернул вилку. Малыши, очнувшись, заревели, пуская носом пузыри.
— Кушать...
— Кушать хочу...
— Кушать...
— Сейчас, сейчас...— вздыхала в кухне мать.
Под оглушительные вопли детей она поставила на стол кастрюлю.
— Кто из вас знает, где отец? — спросила она, когда все уселись.
Рамон и Пако переглянулись.
— Не знаем. Понятия не имеем.
Женщина покорно вздохнула.
— Я тут приготовила ему компот... Но раз он не идет, так нечего и ждать...

VI

За день все предместье перебывало в доме Сатурио, и падре Буэно решил, что запись пора прекратить. Сам Сатурио все это время стоял позади падре Буэно, гордо скрестив на груди руки, полный сознания собст-

* Жевательная резинка.

венной значительности, которую он приобрел в глазах соседей. Когда запись была окончена, жена Сатурио угостила святых отцов кофе с печеньем. Потом, взяв с собой сыновей, Сатурио пошел провожать их в другой конец предместья.

Как всегда по воскресеньям, он был в своем старом тренировочном костюме. Проводив гостей, он пошел обратно спортивным шагом. За ним в новеньких костюмчиках бежали Мариано и Карлитос. Каждый день после работы Сатурио водил их на площадь и заставлял проделывать боксерскую разминку. Его брат по субботам боксировал в «Присе», да и сам он лет десять назад был чемпионом. Теперь, обучая мальчиков, Сатурио командовал:

— Раз, два... Раз, два...

Выпятив грудь и задрав голову, ребята маршировали под его команду. Солнце уже село за горы, подул свежий мягкий левант. Сатурио пересек пустое футбольное поле. У развалин старого склада он показал сыновьям новое упражнение — «уходы». Терпеливо проследил, чтобы дети усвоили его, и с сознанием выполненного долга повернул к дому.

— Маноло присылал сказать, что придет сегодня,— сообщила Фуэнсанта, когда они вернулись.

Услышав это, Мариано и Карлитос запрыгали от радости. Накануне вечером их дядя нокаутировал чемпиона Астурии, и сегодня его фотография была напечатана на первой полосе «Мундо депортиво».

— Он сказал, что должен привезти в предместье несколько ящиков кока-колы и, пока их будут разносить, зайдет к нам.

Сатурио вырезал фотографию брата из газеты и подклеил ее в альбом. Жена Сатурио собрала и наклеила в этот альбом фотографии из боксерского прошлого самого Сатурио. Вторая половина альбома была посвящена брату, постепенно на пожелтевших листах альбома набралось несколько десятков фотографий.

— Надеюсь, он вспомнит о нас,— заметила Фуэнсанта, показывая на выстроившиеся в ряд пустые бутылки из-под кока-колы,— утром я выпила последнюю.

Не отвечая, Сатурио развернул газету и еще раз перечитал отчет о состязании. «С самого начала состязания Маноло Наварро прижал своего противника к канату и нокаутировал его». Автомобильный гудок прервал чтение. Дети, возбужденные, выскочили на улицу.

— Это он. Я знаю его гудок,— сказал Сатурио, высовываясь в окно.

Грузовик фирмы остановился у самого пляжа, и Маноло, взяв ящик бутылок, выскочил из кабины. Мариано и Карлитос с криками обхватили его ноги, стараясь во что бы то ни стало его обнять.

— Дядя... Дядя... Дядя...

Маноло поцеловал обоих и потащил за собой в дом. Из соседних бараков высовывались люди посмотреть, что случилось. Сатурио сложил газету и пошел к двери навстречу брату.

На Маноло была форма разносчика кока-колы, войдя в дом, он поставил ящик на пол. Резким движением сорвал с головы фуражку. Его брови были залеплены двумя тоненькими полосками пластыря, на ухе виднелся небольшой шрам.

— Здорово, старик,— весело улыбнулся он брату.

Фуэнсанта усадила его на табурет и подала чашку кофе. В колыбели заплакала малышка, и Маноло взял ее на руки. Мариано и Карлитос с восторгом разглядывали форму своего дяди.

Сатурио, не сводя с него глаз, уселся по другую сторону стола.

— Ну как тебе далась победа?

В это время его брат старался рассмешить малышку, шлепая ее пальцем по губам, и прошла добрая минута, прежде чем он ответил:

— Ты же читал: легко.

Отодвинув табурет, он вытянул ноги, широко расставил их, не торопясь, достал сигарету и щелкнул зажигалкой.

— Он сразу же полез на меня. Только начали — хоп! — и рассек мне бровь. Небольшая ссадина, пустяк... Застал меня врасплох и уже возомнил... А знаешь, как бывает, стоит человеку занестись — и ему крышка. Я разнюхал его прием тут же, и когда он захотел повторить, я так ему двинул, что он просто обалдел.

— Я прочел в «Мундо», что в субботу ты встречаешься с Гарсия.

— Вчера вечером, после того как я устроил нокаут этому типу, Эстеве пообещал мне матч с Гарсия.

— Смотри будь осторожнее... Гарсия — твердый орешек.

— Я его знаю. В прошлом месяце я видел, как он нокаутировал Гонсалеса.

— Если ты и его победишь, надо добиваться звания.

— Эстеве говорит, если и дальше так будет везти, мне его дадут еще в этом году.

Фуэнсанта достала из ящика кока-колу и дала по бутылке мужу и детям.

— Тебе надо больше тренироваться,— сказал Сатурио, зубами вырывая пробку из бутылки.

— Я и тренируюсь. На днях управляющий ходил в «Присе» и видел, как я тренируюсь, после этого он разрешил мне уходить по вечерам.

— Помню, когда получал звание, так я с утра до вечера тренировался.

— По правде говоря, и я не жалуюсь. На работе ко мне хорошо относятся. Управляющий, да и другие тоже дают мне полную волю... Они говорят, что я делаю им рекламу. Еще бы — вчера, например, мне подарили шелковый халат, а на спине огромными буквами вышито: «Кока-кола».

Фуэнсанта взяла у него малышку и положила обратно в колыбель. Сидя на корточках, Мариано и Карлитос, как завороженные, слушали дядю.

— А где Мерседес? — спросил Сатурио после небольшой паузы.

— Пошла с матерью в кино.

— Адела сказала мне, что вы скоро поженитесь.

— Не знаю.— Маноло сосредоточенно затянулся.— За монетой дело стало. Если Эстеве раскошелится, пожалуй, окрутимся летом.

— А у меня, кажется, в конце концов дела начинают налаживаться,— сказал Сатурио.— Сегодня утром здесь были святые отцы из школы святого Марка. Они готовят ребят к первому причастию, и я сказал, что они могут составлять списки в моем доме.

— А мама угостила их печеньем и кофе,— сказал Карлитос.

— Ты ведь знаешь, по-моему, положение, в котором я сейчас нахожусь, временное... С работой я еще кое-как перебиваюсь, но вот квартиру найти очень трудно. За квартиру везде просят две тысячи дуро.— Сатурио допил бутылку кока-колы.— Так вот. Как-то в воскресенье я тут разговаривал с падре Буэно, и он обещал помочь мне в этом деле.

— У падре Буэно везде связи,— вмешалась Фуэнсанта.— Совсем недавно он подыскал шикарную квартиру Мануэле, дочери Висенте...

— Больше всего я хочу уехать отсюда из-за детей... Здесь, в предместье, живут всякие люди, просто больно смотреть, как ребята целый

день гоняют по улице. А в городе при больших домах есть сады, а школы находятся под надзором святых отцов.

— А мне казалось, в предместье тоже есть школа,— сказал Маноло.

— Да, есть. Но бесплатная, и, откровенно говоря, мне не хочется посылать туда Мариано и Карлитоса. Одному богу известно, чего мне стоит, чтобы они не были такими, как здешние дети. Я не хочу, чтобы из них выросли бездельники и невежды. Чего бы мне это ни стоило, я постараюсь сделать их господами.

— В прошлом месяце мы купили им по курточке и по костюмчику,— сказала Фуэнсанта.

— Я вообще запретил им разговаривать и водиться с другими детьми... На улице они могут перенять только плохое. А я хочу, чтобы они стали грамотными и получили образование, чего мы не могли позволить себе... И чтобы в будущем они выбились в люди и сделались полезными гражданами.

— Карлитос в воскресенье идет на экскурсию с ребятами из Молодежного фронта *.

— Они подарили мне синюю рубашку и берет,— пояснил мальчик.

— Пойди надень их и покажись дяде,— подсказала Фуэнсанта.

— В день святого Хосе я говорил с их уполномоченным,— продолжал Сатурио, когда мальчик вышел.— Летом они увозят ребят в Пиренеи на экскурсию. Пятнадцать дней в горах для укрепления здоровья. Карлитос по возрасту как раз подходит, и я велел ему записаться.

— На будущий год я тоже поеду,— заявил Мариано.

— Здесь, в этом предместье, детям нечем заняться, а в их возрасте это так необходимо... Я каждый день, как прихожу из магазина, веду их на площадь делать гимнастику.

Вошел Карлитос в рубашке и берете. При виде его Маноло расхохотался. Мальчик потянул его за рукав.

— Ну, дядя... Посмотри, как я делаю «уходы»...

Выпятив грудь, совсем так, как показывал ему отец, Карлитос сделал несколько «уходов».

— Браво. Великолепно,— воскликнул Маноло, похлопав его по спине.

— Теперь посмотри, как я научился маршировать,— продолжал мальчик.— Смир-на... Пол-оборота нале-во!

— Прекрасно. Замечательно.

— Наклон вправо... Наклон влево...

— Ну как? — спросил Сатурио.

— Здорово... Прямо Тарзан.

— А я делаю стойку лучше его,— сгорая от зависти, заявил Мариано.

— Врешь!

Малыш вытянулся перед дядей по стойке смирно. Но брат оттолкнул его локтем.

— Папа... Карлитос толкается!

— Ведь я же еще не кончил...

— Моя очередь!

— Ну, ну... Не обижай брата.

— Попугай... Только и знает повторять за мной.

— Дай и ему сделать стойку.

— Он не умеет.

— Замолчи и отойди.

---

* Франкистская молодежная организация.

Карлитос наконец повиновался. Мариано с торжествующим видом оперся ручонками на мускулистые руки Сатурио и поджал пухлые ножки. Потом медленно, сантиметр за сантиметром, начал выпрямлять их, держа на весу.

— Браво! Очень хорошо,— похвалил довольный дядя.

Малыш, белокурый и порозовевший, как ангелочек, замер на несколько секунд.

— А он не может, чтобы не шевелить ногами,— закричал обрадованно Карлитос.

— Тебя никто не спрашивает.

— Все равно ты попугай.

— Заткнись, говорят.

Товарищ Маноло успел уже отнести ящик с кока-колой в таверну Маньо. И, вернувшись к грузовику, принялся нетерпеливо сигналить.

— Иду, иду,— крикнул Маноло, вставая.

Они вышли на площадь — Фуэнсанта и дети впереди. Несколько ребятишек во главе с Рамоном и Парнем-Кошкой висели на подножке грузовика. При виде идущих они предусмотрительно спрыгнули на землю.

— Дайте бутылочку кока-колы, сеньор...

Сатурио решительно отстранил их.

— Убирайтесь... Живо.

Мальчишки отскочили, кривляясь и строя рожи. Маноло обнял и расцеловал племянников. Товарищ включил мотор.

— Прощай. Приезжай еще,— крикнул Сатурио.

Грузовик тронулся, поднимая клубы пыли. Все семейство продолжало стоять на площади, пока он не скрылся из виду. Потом все медленно направились к дому, провожаемые смешками и гримасами мальчишек.

VII

Они шли по тропинке между двух рядов агав и высоких кактусов. Вид убежища, неожиданно вставшего на пути метрах в тридцати от железнодорожного полотна, поразил Антонио. Убежище было построено еще во время войны на случай возможной высадки десанта, река и морской прибой намыли вокруг целый вал, так что оно оказалось как бы в кратере вулкана. Гигантская реклама «Лакки», водруженная на самом гребне вала, скрывала убежище от посторонних взглядов. К северу вал постепенно понижался и был засыпан песком. Вход же в убежище находился высоко, на противоположной стороне вала. Чтобы взобраться туда, пришлось соорудить накат.

— До нас,— объяснял Метралья,— здесь жил цыганский табор. Цыгане сделали вот эту трубу.

Они поднялись по накату, за ними — остальные. Здесь оказалась деревянная дверь, которая запиралась висячим замком. Внутри убежище было гораздо больше, чем это казалось снаружи. Сильно пахло плесенью. Свет пыльным лучом проникал сквозь неровные щели. С потолка свисал железный фонарь, наверняка украденный у какого-нибудь железнодорожника. Пол, слегка наклонный, был завален ворохом одеял.

— Одного мы всегда оставляем здесь на страже,— продолжал Метралья.— Если будешь с нами, и тебе тоже не раз придется покараулить.

Метралья коротко рассказал Антонио о жизни шайки, о делах и нравах ее членов. Дракула был специалистом по кражам со взломом —

он работал в коттеджах верхнего предместья. Пепе-Цыган специализировался на краже бумажников. Альберто был квалифицированным вором-городушником, он очищал магазины. Гонсало и Кристобаль собирали милостыню и опустошали церковные кружки. Неореалист сам никогда не участвовал ни в одном деле, но главным заводилой всех махинаций был именно он. Ему Метралья поручал стеречь убежище, а когда надо — он подменял самого Метралью. Шайка никогда не орудовала вместе. С утра все рассыпались по городу, а к ночи возвращались в убежище с добычей.

— У нас никто не зажимает добычу. А если зажмет, то поплатится.

Он объяснил Антонио, что в этом как раз и была причина их разрыва с Харке. Долгое время Метралья и Харке жили, как братья: делили хлеб и кров, вместе, плечом к плечу, встречали опасность. Но однажды Харке начал работать на себя. Вместо того чтобы сдавать всю добычу в общий котел, как уговорились, стал тайно пользоваться ею один.

— Так не поступают.— Метралья выругался.— Когда живут вместе, полагается делить всю выручку.

Сидя на полу, как настоящий член шайки, Антонио взволнованно слушал главаря. В предместье уже ходили слухи о делах шайки — семьи большинства из этих ребят жили тут же, в предместье, и ютились в таких же жалких лачугах и бараках, как и семья Антонио. Метралья порылся в карманах и протянул Антонио грязный обрывок газеты.

— В прошлом месяце, когда мы очистили москательную лавку в Сан-Андресе, о нас даже написали в «Эль касо».

«Наглые грабители, говорилось в заметке, орудуют целой шайкой, которая состоит в основном из подростков. Эти отбросы общества, так называемая шпана,— настоящее бедствие. Деловые люди нашего города то и дело становятся жертвой грабежей и беззастенчивого шантажа».

Антонио снова пробежал заметку. Сколько раз, сидя на молу, он прочитывал «Эль касо» от первой до последней строки. Подробные описания преступлений, налетов и грабежей волновали его воображение. В глубине души он мечтал совершить что-нибудь подобное. Мула или Сабатер в его глазах были настоящими героями. В предместье о них говорили почтительно, восторженно обсуждали их дерзкие налеты.

В убежище он вскоре почувствовал себя как дома, воры перестали смотреть на него с недоверием и разговаривали с ним, как с равным. После встречи под мостом сам Метралья проводил его до барака. «С этой минуты ты будешь нашим». Полный благодарности, гордый оказанным доверием, Антонио только и ждал случая проявить себя.

— Но я ведь ничего не умею,— вдруг оробев, сказал Антонио, когда Метралья кончил рассказ.

— Ха! Не беспокойся. Научишься моментально. Если котелок у тебя варит...

— Когда я начинал,— засмеялся Гонсало,— я был такой же желторотый, даже еще хуже.

— А теперь очищает кружечки — будь здоров! — сказал Пепе-Цыган.

— Мы будем работать, а ты не зевай, учись... Вот увидишь, это нетрудно.

— Самое главное — хладнокровие.

— Научиться — раз плюнуть,— заметил Гонсало.

Неореалист молча поглядывал на всех поверх очков.

— А почему бы вам не прошвырнуться, чтобы поучить его? — предложил он.

— Да. Это мысль.— Метралья обратился к товарищам: — Вы как?
— Давай,— согласился Цыган.— А куда двинем?
— Можно в лавку к старухе, в Сарриа.
— Нет. Очень далеко.
— Тогда на рынок. Туда, за Паралело.
— Нет,— заговорил все время молчавший Дракула.— Я только вчера там был.
— Ну так сядем в трамвай, черт возьми, а как надумаем — сойдем.

Все согласились. В мгновение ока ребята надели свои выходные костюмы. Кристобаль, самый франтоватый, погляделся в зеркало и пригладил мокрой расческой волосы.

— Мы следим за собой,— подмигнул Цыган Антонио.

Лукавая усмешка пробежала по обветренному лицу Цыгана. Антонио насторожился. Остальные едва сдерживали смех, как бывает, когда кому-нибудь сзади подставляют рожки.

— В чем дело? — спросил Антонио, краснея.
— Ни в чем.— Метралья тоже смеялся.— Ты ничего не заметил?
— Чего? Чего не заметил?
— У тебя бумажник сперли.

Антонио сунул руку в карман и с удивлением обнаружил, что бумажник действительно исчез.

— Это я увел,— сказал Цыган,— а ты и не почувствовал, как я накалывал?
— Нет,— прошептал смущенный Антонио.
— Это все очень просто... Смотри-ка,— Цыган снова положил бумажник в его карман.— Пусть лежит на обычном месте, а ты, как раньше, смотри на Кристобаля... Так... Ничего не чувствуешь? А теперь?.. И сейчас нет?.. Нет?.. Правда?.. Так вот, приятель, я опять его стянул...

Бумажник действительно снова был у него в руках. Восхищенный Антонио рассмеялся. Все остальные весело рассмеялись вслед за ним.

— Это еще пустяки,— сказал Метралья.— Скоро ты увидишь настоящий класс.

Вскочив с циновки, он подал ребятам знак следовать за ним. Один за другим воры вышли из убежища. А Неореалист, как обычно, остался у дверей караулить.

— Счастливо. До скорого,— провожал он их.

Антонио помахал ему рукой. Грязным берегом реки, поросшим агавами и кактусами, они добрались до участков, где каждый метр земли был старательно возделан. Почва здесь сухая, песчаная, и человеку упорным трудом удавалось вырвать у земли лишь жалкий колос — такой же чахлый и рахитичный, как дети предместья.

Дальше, за мостом, Метралья пошел вдоль путей. Сюда грузовики и повозки свозили отбросы со всего города. Это место превратилось в гигантскую свалку, тощие собаки бродили между кучами мусора. Точно загоревшийся от солнечного луча, где-то, должно быть около цыганской повозки, дымился костер.

У переезда они перешли через пути. Трамвайная остановка была в двух кварталах от переезда, на улице, где дома почернели от дыма заводских труб. Следуя примеру Цыгана, Антонио повис на подножке. Шумная, празднично одетая ватага ребят резко выделялась в толпе ехавших с работы хмурых людей в грязной одежде. Особенно привлекал всеобщее внимание Метралья — кепка набекрень, во рту дымящаяся сигарета, вид наглый, вызывающий. Чувствуя себя центром внимания, он стоял посреди площадки и разговаривал с друзьями так, словно выступал на эстраде.

— Видали, мальчики? — и он показал на группу девушек, сгрудившихся в проходе.

— Как в витрине,— Кристобаль щелкнул языком.— Что угодно выбирай!

— Вот эта блондиночка совсем по мне!

— Какая? Высокая или вон та?

— Высокая. Классная девчонка!

— Согласен на эту, в желтом.

— У этой в желтом мозолей больше, чем волос.

— Эй, красотка!.. Давай-ка сюда.

— Хочешь, я тебе покажу кое-что?

К ним подошел кондуктор, но Метралья демонстративно сунул руки в карманы и повернулся к нему спиной.

— Сеньоры...

Никто не принял его обращения на свой счет. По примеру главаря все делали вид, что внимательно смотрят в окно.

— Билеты, пожалуйста.

Никто опять не ответил. Парни невозмутимо продолжали разговаривать, глядя в окно и точно не замечая кондуктора. Тот, рассердившись, подошел вплотную к Метралье.

— Я просил вас предъявить билеты.

— Это вы мне?

— Да, вам.

— Что угодно?

— Ваш билет! И остальные тоже пусть покажут.

— Ах да... да...

Метралья закивал головой, мол, все понятно. Резко обернувшись к Кристобалю, он дернул его за рукав.

— Эй, ты... Плати.

— Я?

— Да, ты.

— Почему, я?

— Спроси у него.

Кристобаль посмотрел, на кого указывал приятель.

— Я платил вчера. Теперь твоя очередь.

— Моя?

— Да, твоя.

— Ах ты...

— Я вчера платил за проезд,— повторил Кристобаль.

— Врешь.

— Вру, говоришь?

— Да, врешь.

Оба перешли на крик, пассажиры начали на них оглядываться.

— Повтори, что ты сказал!

— Сначала ты повтори.

Трамвай затормозил на повороте. Метралья воспользовался случаем, подтолкнул приятеля, и по его сигналу все соскочили с площадки.

— Налево, живо.

Провожаемые любопытными взглядами, они кинулись в боковую улочку. Трамвай остановился, и вслед убегавшей ватаге неслись крики кондуктора, который требовал, чтобы их задержали

Один перекресток, другой, третий. Они опять свернули и понемногу замедлили шаг.

— Я сначала подумал, что вы поссорились по-настоящему,— отдуваясь, сказал Антонио.

— Какое там... Это у нас специально придумано, чтобы не платить. Как только подходит кондуктор, мы начинаем спорить, а то и потасовку затеваем.

Они шагали по обычно многолюдной части города — что ни дом, то галантерейная или бакалейная лавка. Но сейчас улицы были почти безлюдны — в это время все жители обычно пьют свой кофе.

Довольные приключением, воры вразвалочку выступали по самой середине мостовой. Прохожие предусмотрительно отходили в сторону, давая им дорогу. Сзади яростно сигналили машины.

— Ишь ты, чтоб им!.. Подождут,— приговаривал Метралья.

Они подошли к парфюмерному магазину, Альберто взял Антонио под руку и подтолкнул к двери.

— Смотри, что я буду делать,— шепнул он ему на ухо.

Магазин был маленький, чистенький. Женщина за прилавком недоверчиво оглядела их.

— Что вам угодно?

Парень робко попросил показать ему лезвия для бритья. Одной рукой он указывал хозяйке, какие именно лезвия ему нужны, а другой тащил флакон одеколона.

Боясь дышать от страха, Антонио поднял глаза — нет, хозяйка ничего не заметила. С недовольным видом она протянула Альберто пачку лезвий.

— Такие?

— Нет, по-моему, не такие,— сказал парень, рассматривая их.— Те, которыми бреется мой отец,— в золотых бумажках...

Виновато извинившись, они вышли на улицу. Товарищи поджидали их на углу, и Альберто, торжествуя, показал флакон.

— Стоит мне захотеть, я и юбку упру прямо с нее.

Долго еще слонялись они по предместью. Всякий раз, когда навстречу им попадалась девушка, Метралья подходил к ней и загораживал путь. Цыган снимал с шеи косынку и наскакивал на девушку, размахивая косынкой, как матадор, дразнящий быка.

Антонио, гордый собой, принимал участие в этих забавах. Первый раз в жизни он не чувствовал себя «бедным мальчиком из бараков». Он вдруг чудесным образом перестал считать себя сыном Пять Дуро, «того самого, что напивается в кабаке у Маньо». Среди этих ребят он сам себе казался сильным, способным даже внушать страх. Он стал бандитом, человеком, чья фотография могла появиться в «Эль касо».

Наступил вечер, и они решили вернуться в убежище.

— Ну, ладно, хватит с тебя на сегодня,— сказал Метралья и, заметив недовольство на лице Антонио, рассмеялся.

Антонио покорно пошел за ними к трамвайной остановке. Веселые солнечные зайчики плясали на плоских крышах, как бы празднуя день его приобщения.

VIII

Целую неделю подряд Хинер читал письмо Эмилио всем своим знакомым. Товарищи в гараже уже знали это письмо наизусть и, помирая со смеху, хором декламировали его Хинеру. Но тот, поглощенный стремлением довести смысл письма до обитателей предместья, не обращал на них внимания. Из письма Эмилио он сам лучше, чем из любого доклада, понял, как они одиноки и беспомощны.

Тысячи людей, как и он пришедших с юга, ютились в предместьях города, прозябая в нищете. Они не умели сплотиться, поднять голос за

свои права и потому были беззащитны. Эти люди работали, страдали, умирали, и все их интересы ограничивались четырьмя стенами их жалких лачуг.

А надо было действовать, и действовать, не теряя времени. Сотня диких пчел в одном дупле — это рой. А десять тысяч рабочих, заселивших предместье, не составляли единого целого: просто десять тысяч рабочих, они были одиноки, никак не связаны между собой, и каждый, словно улитка в раковине, спрятался в свой домик.

Потом три вечера подряд Хинер пил в кабаке у Маньо. Собрать отдельные части в единое целое — реально ли это? О боже, вот если бы Эмилио оказался здесь и помог ему!.. По дороге домой из гаража они могли бы обсудить все это. Но Эмилио во Франции, а он, одинокий, бессилен.

Сидя за бутылкой в углу таверны, Хинер громко разговаривал сам с собой. Под воздействием вина все представлялось ему очень простым. Мало-помалу он весь оказался во власти нестройных видений, они возникали без связи одно за другим, как картины в волшебном фонаре. Точно крошечные пчелы, эти люди, продававшие свой труд, стали единым целым — роем, золотистым и огромным роем, который был подхвачен головокружительным вихрем. И чем больше он пил, тем яснее частицы этого роя — пчелы — приобретали человеческий облик: это были его дети, его жена, Эмилио, товарищи по работе — словом, предместье, его женщины и мужчины, калеки, дети и старики.

Хинер просидел в таверне до закрытия. Он шел домой, и видение сопровождало его всю дорогу. Небо было уже не небом, а роем, в каждой звезде он узнавал знакомое лицо. На третью ночь, выйдя из таверны, он растянулся прямо на пляже, лицом к морю. Тучи затянули небосклон, стало сыро. Уткнувшись головой в песок, он лежал, и ощущение щемящей тревоги не покидало его. Возможна ли борьба? Может ли он что-нибудь сделать, он, одинокая крохотная песчинка?

Вдоль берега, гремя музыкой и сверкая огнями, шел пароход. Предместье спало, скрытое во мраке, как бы слившись с ночью, молчаливое и темное. Хинер смотрел на пароход, на предместье, и рыдание сдавило ему горло.

— Боже мой. Боже мой,— твердил он. Горечь бессилия волной захлестнула его.— Сволочи! Жирные сволочи...

Он еще долго колотил кулаками по земле. Уже пропал в ночи окутанный ярко-желтым туманным заревом пароход, а он, распластавшись на песке, все посылал ему вслед проклятия, и глаза его были полны слез.

На следующее утро Хинер оставил письмо Эмилио дома. В последние дни он был лихорадочно возбужден, и теперь товарищи по работе удивились, увидев его молчаливым, целиком погруженным в работу.

— Что за муха укусила тебя, мастер? — спросил его смазчик.

Хинер не ответил. Он старательно работал и в течение целого дня ни разу не разжал губ. А когда кончил работу, то вместо того, чтобы пойти, как обычно, в таверну, направился домой.

Издалека было видно, что в доме горел свет. Тринидад не заперла дверь, и он прошел прямо в спальню переодеться. Постель занимала всю комнату целиком, дверь открывалась наружу. Присев прямо на покрывало, он с облегчением услышал, что жена напевает в кухне. С некоторых пор ее раздражительность крайне усилилась. На их старшего сына напала вдруг страсть к бою быков, и он вбил себе в голову, что непременно станет помощником в куадрилье. Тринидад восприняла это трагически и рыдала целыми днями.

— Оставь его, это у него пройдет,— старался Хинер успокоить жену.

Но его утешения только подливали масло в огонь. Привыкнув все сваливать на него, она решила, что и тут всему виною сумасбродства мужа.

— Пройдет, пройдет... Я уже ученая... Четыре года мучиться день и ночь, а в конце концов из него выйдет такой же пропащий человек, как и ты...

Хинер прошел в крохотную комнатушку, служившую столовой. Опыт научил его считаться с настроениями жены. Устроившись в единственном кресле, он включил приемник.

— ...в наш город с дружеским визитом американский флот...

Он резко выключил радио, оборвав фразу на середине. Непреоборимое отвращение к этому голосу, к этой музыке поднялось в нем. Переменив волну, он терпеливо стал искать, двигаясь влево по шкале. Дверь была приоткрыта, и он, стараясь не шуметь, притворил ее.

Глухое жужжание целиком перекрывало станцию. Тесно прижавшись ухом к приемнику, он тщетно пытался разобрать что-нибудь сквозь шум. Но тут дверь распахнулась, и в комнату с пылающим лицом ворвалась жена.

— Можно узнать, что ты слушаешь? — дрожащим от ярости голосом спросила она.

— Ничего... Ничего...

— Ничего, ничего... вечно одно и то же. Ты же обещал мне прекратить это раз и навсегда...

— Я просто искал какую-нибудь станцию, наугад...

— Ты что, не понимаешь, ведь могут подслушать? Хочешь, чтобы на тебя опять донесли?

— Но ведь окно плотно закрыто.

— Господи боже мой, вот наказание-то... после всего, что мы пережили из-за твоих проклятых идей... Да тебе бы со стыда сгореть...

— Да нет же, я и не думал...

— Он еще отпирается! Будто я не знаю, что ты затеваешь... Будто я не знаю, что ты получил письмо от Эмилио...

— А что в этом такого? Эмилио — мой лучший друг.

— Всему предместью известны ваши делишки.

— Уверяю тебя, я даже не понимаю, о чем ты говоришь.

— Ну раз ты не понимаешь, так я тебе объясню.— Она на минуту умолкла, переводя дух.

— Письмо здесь, со мной. Если хочешь, могу показать.

— Спасибо,— проговорила она, скорчив гримасу.— Большое спасибо...

— Там нет никаких секретов... Эмилио пишет о своей работе, сообщает, что хорошо устроился.

— Так и езжай к нему, если он хорошо устроился... По крайней мере сделаешь хоть что-нибудь полезное.

— Послушай... Ты же знаешь, я не по своей вине остался здесь.

— Не по своей вине... А в таком случае я хотела бы знать, кто заставлял тебя соваться не в свое дело.

— Мы потерпели поражение, это так, но если бы мы победили, все было бы совсем иначе.

— Не я ли повторяла тебе до тошноты: политика не принесет нам ничего, кроме неприятностей.

— Я делал это ради тебя,— шепотом признался Хинер. И тут же понял, что допустил ошибку: Тринидад неестественно засмеялась.

— Молодец, постарался ради меня, уж так постарался...

Она стояла посреди комнаты и обличающим жестом указывала на старую, развалившуюся мебель.

— Посмотри, как мы живем, хуже свиней... Если бы вместо того, чтобы совать нос куда не следует, ты подумал о себе, как это сделал мой брат, у тебя сейчас была бы машина, как у него, а дети твои стали бы господами... Так вот, слушай меня хорошенько: если ты думаешь опять начать свои штучки, то ошибаешься... Мне мучиться из-за тебя надоело! Если ты опять примешься за свое, я сама донесу на тебя в полицию...

Но Хинер уже не слышал ее... Зазвучали удары кирки, лязг вагонеток, грохот взрывов, пробивающих огромный туннель в недрах горы. В переполненных бараках невозможно было отдохнуть. Страх, наполнявший души валившихся на циновки людей, казалось, пронизывал воздух и мучил людей страшными кошмарами. Каждую ночь кто-нибудь кричал во сне, и остальные разом просыпались в холодном поту...

Заключенный номер две тысячи триста пятнадцать — здесь! Длинная очередь голодных людей с котелками, бесконечный список... В поле работали и днем и ночью. Взрывы следовали один за другим — с точностью часового механизма. Шум перфоратора, точно гудение огромного жука, долетал до самых бараков, разрываемый размеренным топотом жандармских сапог.

Четыре года, долгие как века, и ни одного письма из дому! И вот настал день, когда — это показалось невероятным — ему сказали, что он отправляется домой под надзор полиции. Дома его встретила постаревшая Тринидад, встретила сухо, с горькой усмешкой на губах. И по ее выплаканным, словно потемневшим от дыма глазам, Хинер понял, что она никогда его не простит...

«Нет... Вы, ваша милость, лезли в спасители рода человеческого...» Надо было видеть его тогда — гордого, точно весь мир собирался проглотить... И все кончилось тем, что отправился дробить камни, а жена и дети подыхали с голоду на улице...

Когда Хинер пришел в себя, жена уже вышла из столовой и опять принялась чистить кастрюли. Будто очнувшись от дурного сна, Хинер ошеломленно огляделся вокруг. Радио, безразличное ко всем спорам на свете, продолжало бормотать. Когда Тринидад вошла, она сменила станцию, и сейчас он услышал, как мягкий бархатный голос мурлыкал:

— ...сегодняшнее великое паломничество к божьей матери, пресвятой деве Марии Фатимской, явится духовным приготовлением к Неделе предместья.

Дверь была распахнута настежь, и Хинер, пошатываясь, вышел на свежий воздух.

IX

Обучение Антонио длилось целую неделю. Новые приятели наперебой демонстрировали перед ним свою изобретательность и ловкость. Они, казалось, стремились перещеголять один другого. Мало-помалу Антонио приноровился к их законам и обычаям.

Дракула научил его орудовать набором ключей и отмычек; они взломали фомкой дверь в гараже на склоне Тибидабо, и Антонио вернулся в убежище, неся на себе больше двадцати килограммов баббита. Гонсало очистил церковную кружку с пожертвованиями за упокой души пребывающих в чистилище, а заодно прихватил и сумочку какой-то сеньоры, которая, стоя на коленях, готовилась к исповеди. Кристобаль

повел его в порт, где стояла американская эскадра. Там, увязавшись за моряками на судно, они торговали презервативами.

Цыган взял его с собой в трамвай «тырщиком». Накануне вечером Метралья научил его работать на пару: пока «щипач» очищал жертву, «тырщик» должен был отвлекать ее внимание, чтобы облегчить работу своему приятелю. Антонио безукоризненно выполнил свою роль, операция прошла великолепно, хотя денег в украденном бумажнике не оказалось.

Однако большую часть времени он обычно проводил с Метральей. В первую же ночь, когда он заночевал в убежище, главарь предложил ему спать с ним на его тюфяке. С тех пор Антонио просто жить без него не мог. Метралья выходил на добычу каждый день и всякий раз брал с собой Антонио. «Пошли со мной, Малыш». Антонио повиновался без звука. Метралья шагал обычно впереди, руки в карманах. «Пойдем туда-то или туда-то,— говорил он.— Один парень должен мне несколько монет».

Оставаясь наедине, они почти не разговаривали. Если Метралье было что-нибудь нужно — а ему постоянно что-то было нужно,— он выражал свои требования жестами. По молчаливому соглашению Антонио превратился в своего рода адъютанта, целиком и полностью находящегося в распоряжении Метральи.

Антонио доставал пачку «Честерфилда», вкладывал ему в рот сигарету и подносил зажигалку. Постепенно Метралья вообще перестал что-либо говорить. Предупреждая приказания, Антонио покупал для него «тебео», подавал расческу, отыскивал его альпаргаты. «Спасибо, Малыш»,— говорил сначала Метралья. Со временем спасибо тоже было упразднено, и вожак ограничивался тем, что похлопывал Антонио по спине. Вместе обходили они таверны и бары Барселонеты, где у Метральи водилось бесчисленное множество друзей. Сидя за мраморными столиками, рабочие, моряки и рыбаки беседовали, пили, играли в карты. Кувшины с вином непрерывно сменялись, и, когда наступала пора закрывать таверну, всех немного пошатывало.

Однажды вечером Антонио тоже напился. Пример отца внушил ему отвращение к вину, и он до тех пор ни разу не отважился выпить. Сейчас же он с удовольствием обнаружил, что его не тошнит и ему не хочется плакать, как он того боялся. Напротив, вино сделало его веселым, он чувствовал себя счастливым, все люди казались ему родными, точно одна большая семья.

— Не знаю даже, как это объяснить... У меня было такое чувство, будто нет ничего невозможного. Если бы в тот момент вошел президент Соединенных Штатов и обнял меня, мне кажется, я бы ничуть не удивился...

— Ну и нализались же мы, чуть ли не все, что там было, вылакали...

— И самое интересное — мне ни разу не пришла в голову мысль, что я пьян... Наоборот. Будто я только что проснулся, и время побежало быстро-быстро...

— Ты, парень, хватил порядком... Но держался как мужчина.

— И абсолютно не помню, как я возвращался.

— Пешечком, на своих на двоих.

— Это-то я помню, а вот какой дорогой — не помню совсем.

Антонио и Метралья лежали на тюфяке у самого входа. Был полдень, и остальные еще не вернулись с промысла. У дверей Неореалист обертывал бумагой какой-то приключенческий роман.

— Кораль придет, сготовит обед,— сказал он вдруг.— Она велела, чтобы ты сходил за ней.

Они вышли. Море казалось пепельно-серым. Яркий слепящий свет лился из-за облаков и ложился бликами на его поверхность — словно светлые пятна на только что вымытой, просыхающей стене. Свернув в сторону от железной дороги, они направились к развалинам старого склада. Несколько нищих расположились тут, готовя себе еду; группа мужчин резалась в карты.

— Вон тот слева — цыпленочек,— сказал Метралья.— А остальные все сговорились, и уж они ощиплют его догола.

У самой сточной канавы они наткнулись на двух туристов. Не вынимая даже сигареты изо рта, Метралья подошел к ним и попросил милостыню. Каждый раз, когда где-нибудь в глухом месте бандитам попадался одинокий турист, они обступали его с мрачным видом. Глядя ему прямо в лицо, грубыми голосами они взывали к милосердию:

— Милостыньку, кабальеро...

Этот трюк почти всегда удавался.

Метралья спрятал полученный дуро в карман и церемонно приподнял кепку:

— Большое спасибо.

По другую сторону канавы стояло несколько полуразвалившихся лачуг. Слепленные кое-как из собранного где попало материала, они, казалось, держались только чудом. Фасады их пестрели причудливыми заплатами из гудрона и жести.

Сунув пальцы в рот, Метралья издал пронзительный свист. Тотчас в дверях одной из лачуг показалась девушка.

— Идите сюда! — крикнула она.— Я одна.

В комнате, вернее, в каморке, была печь, вся мебель состояла из скамейки и раскладушки. Зажав в зубах заколки, Кораль причесывалась перед зеркалом.

— Садитесь. Я сейчас кончу.

Антонио дал бы ей лет шестнадцать, не больше. Она была невысокого роста, тоненькая. У нее были длинные вьющиеся волосы и сухие обветренные губы. А глаза — темные, маленькие, блестящие, затененные черной бахромой загнутых ресниц. На ней — клетчатая бумажная юбка, синяя блузка такая открытая, что виднелась грудь, а на ногах — цветные альпаргаты. Сквозь матовую, почти оливкового цвета кожу угадывался голубой рисунок вен.

— Можно узнать, кто этот мальчик? — спросила она, глядя на Антонио в зеркало.

Метралья откинулся на скамейке и глубоко затянулся.

— Это Антонио, наш товарищ...

— Новенький?

— Да. Он уже несколько дней с нами.

— Вчера я видела Неореалиста, он говорил... Но не сказал, что он такой хорошенький.

— Раньше он жил в предместье недалеко отсюда.

— А я его первый раз вижу.

— Отца-то его ты должна знать... Пять Дуро, пьяница...

— Нет, тоже не знаю.— Кораль вынула изо рта заколку и подобрала волосы.— Ишь ты, какие у него глаза. Я бы хоть сейчас поменялась.

Она резко повернулась к Антонио и оценивающе осмотрела его. Антонио почувствовал, как кровь прилила к щекам, он не знал, куда деваться от смущения.

— Что ж ты краснеешь, черт возьми! Я тебя не съем.— Она непринужденно взяла Антонио за подбородок. Ногти на ее руках, длинные, продолговатые, были, как у куклы, выкрашены в красный цвет.

— Да... Глаза у тебя как у артиста... Тебе еще никто не говорил об этом?

Антонио в отчаянии поглядел на Метралью.

— Ну, хватит,— проворчал его приятель,— не видишь, он стесняется?

— Чего? — Кораль скорчила забавную гримаску.— Я знавала девственников и почище... Это у него мигом пройдет, вот увидишь!

Усевшись на краю раскладушки, она подняла вверх руки и с легким возгласом сладко потянулась.

— Вчера я работала в закусочной,— заговорила она.

Метралья выпрямился.

— Вчера? Когда?

— Вечером... Тепло было — как летом... Там были несколько французишек.

— Ну и как?

— Я пошла с одним толстым дядькой. С тугим карманом.

— Где вы были?

— В Монтжуи... у него машина.

— Хорошо заплатил?

— Сто кругляшек.

— Надо было запрашивать больше.

— Я так и сделала... Но больше у него с собой не было. Он даже показал мне бумажник.

— Видно, носит их где-нибудь еще.

— Нет. Я думаю, он сказал правду. Сегодня вечером мы опять увидимся.

— Спроси с него вдвое.

— Я спрошу втрое.

Метралья откашлялся. Он нахмурился, и лицо его приняло хищное выражение.

— Где вы договорились встретиться?

— На площади.

— Будь поосторожней. В прошлом году легавые поймали там Росариту.

— Я не боюсь. Капрал мой дружок.

— Тот усач?

— Да. Позавчера я опять задаром уступила ему.

— Этот тип, наверно, знает про нас с тобой. Каждый раз, как меня встречает, смотрит волком...

— Не бойся... Он никогда тебе ничего не сделает.

— Само собой. Поэтому я и смеюсь...

Минуту все молчали. Кораль порылась под подушкой.

— На... Я припрятала для тебя чинарики.

Метралья подхватил на лету пачку «Честерфилда».

— Спасибо,— сказал он, зевая.— У меня как раз кончились.

Завыли заводские гудки, и все, не сговариваясь, разом поднялись

— Подождите. Сейчас я запру,— сказала девушка.

Они прошли через мост. Сноп солнечных лучей окрашивал облака в молочно-желтый цвет. Чайки, пикируя, падали с неба, чертя крыльями по поверхности моря.

Вдруг Антонио показалось, будто что-то жжет ему затылок, он оглянулся — за ним снова шла жена лавочника, последние несколько дней она как будто оставила его в покое, а теперь опять следовала за ним. Встретившись с Антонио взглядом, она в смятении отвела глаза.

Мальчик сделал вид, будто поглощен разговором с друзьями. Обходя кучи мусора, свезенные сюда самосвалами, они шли по направлению к убежищу. Небо постепенно светлело, свежий ветер разметал последние тучи.

X

Они собрались перед помещением Молодежного фронта. Бесконечный людской поток тек мимо них по предместью. Некоторые останавливались на площади погреться на солнышке.

Группа детей, умытых и одетых по-праздничному, сгрудилась вокруг карусели. У дверей закусочных служащие подкарауливали туристов. У киосков с напитками, орехами и чурро голпился народ.

Их же явилось с полсотни: все в лохмотьях, грязные, изможденные, с всклокоченными головами, на ногах — истрепанные альпаргаты. Некоторые походили на пугала в жилетах и брюках, перешедших к ним от отцов и старших братьев, другие и вовсе были в одних трусах да залатанных рубашонках. Уже около часу они стояли здесь, толкаясь, крича и бранясь.

— Эй! Смотри, он пролезет!

— Давай поворачивай обратно.

— В очередь!

Парень-Кошка и Рамон пришли сюда в числе первых. Сын Сто Грамм был на год старше сына Пять Дуро, но он был ниже, тщедушней Рамона. Одетый в лохмотья, он с гордостью выставлял напоказ проступавшие сквозь кожу белые клавиши ребер.

— Эй, парень... Дай чинарик.

— Только что скурил последний

— Ты, Рауль... Дай чинарик.

— Погоди... Если священник увидит...

— Пускай видит...— он выругался.— Разве запрещено?

Он разговаривал с достоинством, как ветеран с новичками. Третий год подряд принимал он первое причастие. В предместье существовало одновременно несколько церковных организаций, учрежденных разными орденами. В качестве подарка к первому причастию детям выдавали новенький костюм. Сто Грамм заставлял сына записываться на причастие каждый год. Парень-Кошка уже знал, как вести себя.

— Я третий раз иду к первому причастию, дружок.

— Третий? — спросил восхищенно мальчик.

— Да, сеньор, третий... В прошлом году я ходил причащаться к эскулапам, а в позапрошлом — к маристам.

— А я второй,— сказал Рамон.

— И я тоже,— заметил паренек со шрамом.— Не прошло и недели, как тот костюм порвался.

— У этих гораздо больше кругляшек,— подтвердил с видом знатока Парень-Кошка.— Мой брат был у них прошлой весной... Говорит, школа у них — на большой!

— Да. Школа мировая.

Кто-то протянул ему смятую сигарету. Парень-Кошка чиркнул спичкой и закурил.

— Что они собираются нам показывать? — спросил новичок.

— Ничего особенного. Полдюжины чудес... Вот увидите.

— Брат говорит, они заставляют петь.

— А что петь, «Луизу-Фернанду»?

— Нет. Как в церкви.

— Ну, этому обучиться — раз плюнуть.

Парень-Кошка презрительно засмеялся. Рамон сплюнул и снова принялся жевать резинку.

— Неплохо бы узнать, что они дадут нам пожрать,— сказал он.

— Хочешь есть?

— Черт подери! Меня мутит с голоду.

— Потерпи. Теперь уже недолго.

— Я бы сожрал целого слона.

По площади пробиралась сквозь толпу группа хорошо одетых молодых людей, впереди шел священник в черной сутане. Появление их вызвало переполох. Мальчишки, стоявшие в конце очереди, стали пробиваться вперед, их не пускали, все это сопровождалось криками, пинками и руганью.

— Ты, черт, не толкайся.

— Сам не толкайся.

— А Рауль опять пролез.

— Я впереди тебя, жулик проклятый.

— Врешь!

— Тише, тише...— зашикал сконфуженный падре.

Стоя на верхней ступени лестницы, он вытирал пот со лба. Это был грузный человек средних лет с круглыми, точно пуговицы, глазами в огромных, как у мотоциклиста, очках.

— Входите по очереди,— умолял он.— Один за другим. Не толкайтесь...

В помещении стоял полумрак, воздух был затхлый. В аудитории, где собрались ребята, стояла кафедра, грифельная доска, письменный стол и несколько десятков стульев. Один из святых отцов протягивал каждому входившему вопросник.

— Спрячь его. Прочтешь, когда придешь домой.

— Я не умею читать,— жалобно сказал Парень-Кошка.

— Те, кто не умеют читать, дадут прочитать своим родителям.

— А мой отец тоже не умеет,— объявил мальчишка.

— Вот как? В таком случае...— Молодой человек запнулся.— В таком случае...— он запутался и поспешно закончил: — Проходите... Ну, ну... Проходите...

Парень-Кошка с торжествующим видом уселся на стул. Ребятишки тесно сгрудились перед полированным столиком священника. На кафедре было укреплено деревянное распятие и портреты Франко и Хосе Антонио. А внизу — лозунг: «Не единым хлебом жив человек. Мы — не материалисты».

Окончив молитву, падре знаком позволил детям сесть. Сквозь неплотно притворенные окна ветерок доносил запах еды из закусочных, аромат жарящихся в масле чурро...

Не торопясь священник подошел к доске, начертил мелом круг, а вокруг него — точки.

— Круг — это господь наш,— начал он ласковым голосом.— А точки — его творения...

XI

В тот вечер Метралья появился в убежище с каким-то странным свертком в руках. Он ушел на рассвете, не сказав никому ни слова, и пропадал целый день.

— Я принес тебе подарок, Малыш,— сказал он, усаживаясь на кровати рядом с Антонио.

— Подарок? — Антонио перевел взгляд с пакета на темные, хитрые, как у зверя, глаза своего друга.

— Да. Это сюрприз.

Пакет был завернут в бумагу и перевязан куском выцветшей ленты.

— Что это?

Вместо ответа Метралья облизнул кончиком языка губы.

— Отгадай.

Все подошли посмотреть. Антонио недоверчиво стал развязывать ленту.

— Не бойся, черт возьми... Бомбы тут нет.

Пакет был сделан очень аккуратно. Внутри оказался светло-зеленый готовый костюм, рубашка с высоким воротничком и коричневый галстук.

— Ну и силен! — воскликнул Дракула.— Где это ты спер?

Метралья вскинул голову, выставив кадык.

— Я не спер. Мне его одолжил один друг.

— Кто же это, интересно знать? — спросил Гонсало.

— Профессор.

— Профессор? Когда ты его видел?

Развалившись на тюфяке, Метралья пускал кольца дыма.

— Сегодня утром.

— А я думал, он еще за решеткой,— заметил Кристобаль.

— Нет. Уже отсидел.

— Когда выпустили?

— В прошлом месяце.

— И что он теперь? Опять занялся делом?

— Нет. Говорит, на это не прожить.— Метралья немного помедлил.— Сегодня утром я ходил к нему потолковать...

— Где он теперь живет?

— В той же каморке, что и раньше... В конце предместья.

— А костюм? — поинтересовался Антонио.— На кой черт нужен этот костюм?

— Обожди, дорогуша, не перебивай... Так вот, пошел я к нему... Парень валялся в постели с женой. Немного похудел, конечно, обрит. «Не знаешь ли ты парнишки с хорошенькой мордашкой?»,— спросил он меня. «А зачем тебе?» — «Да тут одно дельце подвернулось... Мне нужен хорошенький мальчик, чтобы выглядел прилично. Как говорится, чистенький». Но так как он мне ничего не объяснил, я не стал отвечать. «Парнишка с невинной мордашкой, понимаешь? И чтобы вдобавок язык у него был хорошо подвешен... Если ты мне найдешь такого, мы обделаем это дельце вместе».— «Я знаю одного такого, нежного, как лилия,— сказал я ему.— С такими глазами, как у него, полсвета можно надуть».— «Вот-вот, это как раз то, что мне нужно»... А так как я не проболтался раньше времени, кто это, то парню пришлось в конце концов все мне рассказать.

Метралья порылся в кармане и вытащил пачку отпечатанных писем.

— Нате. Прочтите.

Сверху крупными буквами было напечатано: «Паломничество к Сердцу Марии».

«Господу богу угодно, чтобы на весь свет простерлось благословение моего чистого сердца». (Святая божья матерь Фатимская.)

Присев на корточки рядом со своим другом, Антонио прочел:

— «Уважаемый сеньор!

В связи с предстоящим паломничеством к Сердцу Марии, которое будет проводиться с благословения и под руководством епископства Ис-

панского, готовится издание под названием Золотая Книга Посвященных, каковое через несколько месяцев будет представлено святому отцу Пию XII. В него войдут имена семей, принесших дар сердцу девы Марии. Посему имеем честь пригласить вас и ваше досточтимое семейство принять участие в мероприятии, которое одновременно является наирадостнейшим чествованием святой девы и почтительнейшим даром его святейшеству, справедливо названному Папой Сердца Марии.

Одна из книг этого издания отведена испанской аристократии, а также великим людям, выдающимся национальным деятелям и лицам, занимающим высокое положение.

Мы надеемся, что цвет Испании, всегда так горячо почитавший святого отца, пожелает принять участие в этом замечательном даре, который несомненно преисполнит утешением скорбящее сердце его святейшества.

Если вы со своим семейством пожелаете войти в число посвященных и принять участие в чествовании, заполните по своему усмотрению приложенный к данному тексту листок, убедительно просим прислать его нам не позднее 20 июня сего года.

Поскольку издание это должно быть достойно святого отца, мы просим вас по получении этого послания сделать, если это возможно, небольшое пожертвование на расходы по изданию, которое мы примем с живейшей благодарностью.

Остаюсь в вашем распоряжении, ваш покорный слуга...»

— Понятно? — спросил Метралья, когда Антонио кончил.

— Нет. Никак не пойму, куда ты клонишь.

— Слушай,— Метралья поднялся, всматриваясь в лица своих товарищей.— Речь идет вот о чем. Несколько парней организовали дельце, чтобы повытрясти немного деньжат из богачей. Профессор раздобыл, не знаю уж как, целую кипу таких вот писем и намерен послать кого-нибудь по домам якобы от имени священников.

— Ты хочешь, чтобы я пошел? — не веря своим ушам, спросил Антонио.

Потребность совершить что-нибудь героическое на глазах у всей шайки вновь овладела им. Метралья оказывал ему предпочтение перед всеми, и мальчику просто не терпелось доказать, что он заслуживает этого доверия. Однако пока что главарь не спешил. Предоставляя другим возможность рисковать, он довольствовался тем, что держал Антонио при себе на посылках.

— Ему нужен именно такой парнишка, как ты.

— Во всяком случае,— засмеялся Кристобаль,— у него это получится лучше, чем, например, у Дракулы.

— Но я все-таки до сих пор не понимаю,— сказал мальчик,— при чем тут костюм?

— Очень просто,— ответил Метралья.— Тот, кто разносит такие письма, не может быть одет, как какой-нибудь нищий. Невинных, сияющих, как звездочки, глазок и ангельского вида, как у тебя, еще недостаточно. Если ты пойдешь, то должен быть хорошо одет, во всем новеньком с ног до головы...

Антонио с опаской посмотрел на костюм. Взгляд его остановился на накрахмаленном воротничке рубашки.

— Я буду выглядеть пижоном,— прошептал он.

— Вот это-то и нужно!

— Какая чудна́я куртка... Как женская.

— Главное, чтобы было по тебе... Ну-ка примерь.

Все так пристали к Антонио, что ему пришлось согласиться. Сгорая со стыда, он стал по частям стягивать свою старую одежду и надевать новую.

— Дай-ка я завяжу тебе галстук,— сказал Альберто, становясь перед ним на колени.

Мальчик смиренно подчинился. Окружив Антонио плотным кольцом, приятели внимательно разглядывали его.

— Немного правее, Альберто.

— Не надо, так хорошо.

— Затяни потуже.

— Вот-вот... Чудесно...

Метралья взял его за руку и подвел к свету.

— Великолепно,— объявил он после тщательного осмотра.— В таком виде можно охмурить любого.

Выражение его лица больше, чем любые слова, вернуло мальчику уверенность в себе. До тех пор в глубине души Антонио всегда боялся выглядеть чересчур хорошеньким. В школе и на улице товарищи дразнили его Красавчиком. Во взгляде же Метральи, наоборот, он ловил иногда скрытое восхищение. Он поглядел украдкой по сторонам, нет ли зеркала посмотреться, но не нашел.

— Так когда начнем? — Им овладело вдруг радостное нетерпение.

— Обожди,— смеясь, ответил ему друг.— Спешить некуда.

Рядом прошел поезд, и толстые стены убежища задрожали.

— Профессор будет ждать нас в семь,— продолжал Метралья.— Так что присядь пока. У нас еще есть время выкурить по чинарику.

XII

Часов с одиннадцати таверна Маньо начинала пустеть. Большинство посетителей отправлялось по домам спать, а пьяницы, как обычно, продолжали свой ночной поход по барам. И Маньо ничего не оставалось, как задвинуть засов и гасить свет. Он пристроил недавно к своей таверне небольшую комнатушку, которая одновременно служила и кухней и кладовой, и вот уже несколько месяцев, вместо того чтобы платить кому-то за ночлег, спал здесь.

Однако в тот вечер никто из постоянных посетителей, устроившихся за столиками и у стойки, не выказывал ни малейшего желания уходить. Маньо увидел это, когда настало время закрывать. Сегодняшний вечер был не похож на другие, и сборище грозило затянуться до поздней ночи.

Облокотившись на стойку, Маньо наблюдал за тремя мужчинами, сидевшими вокруг бочки. Часа два назад они шумно ввалились в таверну. У них был такой вид, точно они готовы сразиться с целым миром. Однако чем больше они пили, тем быстрее угасал их пыл, они постепенно становились все тише и грустнее. Один из них, небольшого роста, смуглый и худощавый, с нависшими над бровями черными вихрами, в сбитой на затылок шапке, особенно обращал на себя внимание. Он, видно, долго не брился, и усы у него так отросли, что казались ненастоящими.

Время от времени Маньо переводил взгляд на завсегдатаев: у самой двери спорили о чем-то Пять Дуро с приятелем, два оборванца играли в карты. Взгляд Маньо вернулся к человеку в шапке. Все его движения, каждый жест были ему знакомы. Он не мог сказать где, но где-то он уже встречал этого человека.

С потолка свисала на тонком шнуре единственная в зале лампа. Свет от нее шел тусклый, бледный. Издали она походила на паука в стеклянной скорлупе. Мысленно Маньо пообещал себе сменить ее на неоновую. Взгляд его упал на кувшин с водой.

В отличие от других хозяев, он позволял посетителям сидеть у него просто так, ничего не заказывая. И таверна превратилась в прибежище бродяг и нищих. Но Маньо это не беспокоило. Те, кто не мог позволить себе стаканчик вина, пили просто воду из кувшина. «Мой дом не из тех, где выколачивают деньги,— повторял он.— Здесь кто не может платить — не платит».

Один из оборванцев, сидевший в глубине, напрасно пытался напиться из пустого кувшина. Вздохнув, Маньо пошел за стойку наполнить кувшин. А когда вернулся, то увидел входящего Эваристо, с котомкой, в шляпе и в пальто, увешанном медалями.

— Добрый вечер, привет всем,— сказал он.

Эваристо давно уже никак не напоминал о своем существовании, и Маньо перегнулся через стойку, чтобы хорошенько разглядеть его. Старик опустил свои пожитки на пол и, устало отдуваясь, выпрямился.

— Ну, что хорошего, дед? — спросил наконец Маньо, протягивая ему жестянку, полную окурков.

— Ничего, как всегда...— Усталое лицо Эваристо осветилось благодарностью.— Тянем понемногу...

Из-под измятых полей шляпы свисали космы волос. Глаза в паутине морщин казались фарфоровыми.

— Тебя не видно было здесь несколько дней,— проговорил Маньо, протягивая ему кисет.

Эваристо взял табак. Движения его были на редкость легки и осторожны, словно все вокруг было стеклянное и при малейшем неосторожном движении могло разлететься вдребезги.

— Да. Это правда,— подтвердил он, проводя языком по краю папиросной бумажки.— В последнее время я мало бываю в предместье... На наши помойки охотников хватает. Я сейчас работаю на Черном шоссе... Неподалеку от того места, где стоит американская эскадра.

— А там? — поинтересовался Маньо.— Там тебе больше везет?

— О, эти выбрасывают все подряд, и часто встречаются стóящие вещи. Плохо только то, что все на свете знают об этом, и каждый раз, когда привозят мусор, начинается форменная свалка... Да что там говорить, вот вчера, например, какой-то парень, такой же вот плотный, как ты, свалил меня одним ударом...

— А что ты не заходишь вечерком, когда возвращаешься? — Маньо протянул ему стаканчик анисовой водки.— Ты же знаешь, что можешь приходить сюда, как домой.

— Спасибо. Большое спасибо.— Глаза Эваристо блеснули признательностью.— Ты всегда был добр ко мне... Но к концу дня я так изматываюсь, что едва держусь на ногах... Лишь бы добраться до постели.— Он вздохнул.— Похоже, с каждым днем я все больше старею, превращаюсь в развалину...

— Не говори так, дед. Никогда ты не выглядел лучше, чем теперь.

— И потом,— продолжал Эваристо, словно не слыша сказанного,— я сейчас готовлюсь к параду ассоциации.

— К параду? Какому параду?

— Мы, ветераны боев на Кубе и Филиппинах, организовали свою ассоциацию. Всего нас шестнадцать. В прошлом году было девятнадцать, но за зиму трое умерли.— Старик отпил глоток анисовой.— Ну

так вот, ассоциация официально приглашена участвовать в параде в День тела Христова...

Эваристо принялся рыться в карманах, один за другим он вынимал самые различные предметы: пуговицы, ключи, карандашные грифели, шарики нафталина, консервный нож. Наконец, устав от тщетных поисков, он сдался, пожав плечами.

— В четверг я получил открытку, извещающую, что мы будем проходить под хоругвью с изображением святой девы. На каждом должен быть карлистский берет. Карлистский берет и все медали.

— Ах да,— казалось, вспомнил Маньо.— В прошлом году ты тоже ходил.

— Да, ходил, но сейчас все будет по-другому. В этом году Эваристо приглашен официально...

У двери Пять Дуро и Сто Грамм все еще продолжали спорить. Вдруг, словно только сейчас заметив старика, они прекратили спор и, подойдя, облокотились на стойку рядом с ним.

— Говорят, тебя выкидывают на улицу, дед,— выговорил Пять Дуро, подавляя икоту.

— Здесь болтают, что на днях приходил полицейский выгонять тебя,— добавил его приятель.

Опираясь на стойку, чтобы сохранить равновесие, они с хитрой усмешкой следили за стариком. Лицо Эваристо сморщилось, как у испуганного ребенка.

— Нет, это неверно,— проговорил он.

— А мне передавали, что верно.

— Пустые слухи,— возразил старик.— Эваристо платит за квартиру. Не могут они ни с того ни с сего вышвырнуть его на улицу.

— Как это не могут? — удивился Пять Дуро.— Они вышвырнут самого епископа, стоит им только захотеть.

— Эваристо — ветеран пяти войн... Никто не может желать ему зла.

— Есть такие, что желают,— упорно настаивал Сто Грамм.— Я видал, как и постарше тебя стариков выкидывали на улицу.

— Заткнись сию же минуту,— вмешался Маньо.— Надрызгался, вот и болтаешь глупости.

— Ничего не глупости,— упирался Сто Грамм.— Это правда.

— Да,— подхватил Пять Дуро хрипло.— Чистая правда.

— Плевать я хотел на вашу чистую правду,— сказал Маньо.— Вы порядком нагрузились. Идите трепать языком куда-нибудь еще.

Пьяницы взглянули на него с видом оскорбленного достоинства.

— Ладно,— сказал Пять Дуро.— Раз ты нас гонишь, мы не заставим тебя повторять дважды.

— И поверь,— крикнул его товарищ, обратясь к Эваристо,— в один прекрасный день, когда меньше всего будешь этого ожидать, ты окажешься на улице.

Раздвинув тростниковую штору, они вышли, и ночь поглотила их.

— Да не слушай ты никого, дед,— сказал Маньо.— Они неплохие ребята. Просто напились и мелют, что только взбредет им в башку.

— Эваристо никогда никому не делал зла,— прошептал старик, опуская голову.

— Конечно,— Маньо силился улыбнуться.— Раз ты платишь за квартиру, она — твоя. Никто не может выгнать тебя.

Казалось, старик успокоился. Понуро сгорбившись, он подобрал с пола свои вещи и пересыпал окурки, которые ему дал Маньо, в консервную банку.

— Ну ладно. Я пошел,— сказал он.

— Так скоро?

— Мне завтра рано вставать.

Маньо неподвижно стоял за стойкой, глядя вслед старику. Несколько секунд он, как прикованный, смотрел на черный прямоугольник ночного неба, видневшийся сквозь колеблющийся тростник штор. Потом облизал губы и стал наливать вино в кувшин, который ему протянул один из оборванцев.

Между тем атмосфера в таверне накалялась. За столиком в глубине зала какой-то рыбак пощипывал струны гитары. Пьяные в стельку оборванцы кричали и ссорились. Какой-то парень в кепке набекрень зашел выпить вместе с сыном Пять Дуро. Зашли капрал и два жандарма, выпили бутылку пива и тут же ушли.

Те трое уже не разговаривали. Усевшись вокруг бочки, служившей им столом, они смотрели вокруг, чем-то глубоко удрученные.

А когда гитарист заиграл мелодию Гарделя, Маньо заметил, что все сразу насторожились. Они выпрямились и сидели неподвижно, точно манекены, с каким-то торжественным видом. И вдруг, словно по чьему-то знаку, они запели:

Горе
Вело дорогой дальней
Изгнанников печальных
В далекий лагерь наш.

Сердце Маньо сильно забилось. Так вот оно что... Как это он сразу не вспомнил человека, что вырезал ножом фигурки из дерева, только там, за колючей проволокой, он был двадцатью годами моложе...

Одно за другим, как кинокадры, проносились в его голове воспоминания. Бои у Эбро. Отступление к границе. Аржеле. Пляжи, забитые людьми. Штыки сенегальцев. И песня беженцев:

Горе
Они несли с собою
В котомках за спиною
По тысячам дорог.

Трое удивленно подняли головы. Его голос, должно быть, показался им галлюцинацией, рожденной пьяным воображением.

Маньо медленно подошел к ним. Тысячи, десятки тысяч их, разбросанных по всей стране. Задыхаясь, словно под стеклянным колпаком, они одиноко блуждают без вожака и без дороги, не ведая, какая сила скрывается в них... И одного жеста, одного взгляда, одного напева достаточно, чтобы они перестали быть одинокими, нашли друг друга... Быть может, не все еще потеряно. То, что долгие годы казалось безжизненным, вновь оживало...

Они признали в нем своего, и Маньо подсел на скамью рядом с ними.

— Из какого барака?— только и спросил он.

— Из седьмого.

— А я был в третьем, с новичками.

— Да,— сказал тот, в шапке.— Там пели так.

И это было все. В молчании они осушили два кувшина, три, четыре... Вино и воспоминания сблизили их; и глаза их все больше мутнели, и не было у них слов, чтобы высказать все.

Когда они расходились, загорался новый день.

XIII

Сегодня начиналась Неделя предместья. Утренние газеты сообщали об этом на первой странице: сверху крупно — шапка *«Событие огромного социального значения»*.

Ее взгляд рассеянно остановился на особо подчеркнутом абзаце из речи епископа Силули: «Очень много говорится о расточительности богачей,— прочла она,— но мы серьезно сомневаемся, идет ли эта расточительность хоть в какое-нибудь сравнение с теми тратами на табак и спиртные напитки — мы не имеем в виду виноградное вино,— которые позволяют себе так называемые плохо обеспеченные классы».

Сидя напротив жены, Коста уписывал завтрак. Если она не ошиблась в счете, он ел уже седьмой гренок. Держа перед собой газету, она украдкой наблюдала за ним. Последние несколько месяцев муж неудержимо толстел. Руки его с каждым днем становились все белее и пухлее, живот выпятился, как птичий зоб, щеки обвисли.

К тому же все его жесты и движения раздражали ее. Во время еды он противно чавкал. А когда он размешивал кефир, звон ложечки действовал ей на нервы.

«Когда-нибудь я не вынесу, и ему тоже перережу глотку»,— подумала она.

Воскресными вечерами Коста ходил на площадь Каталонии кормить голубей. Надев вельветовую куртку и клетчатую кепку, он шествовал по виа Лайетана пешком — из экономии. Однажды она пошла следом, издалека наблюдая за ним. Она видела, как муж стоял, зажав в губах зернышки проса, окруженный стаей голубей. Закрыв глаза, он самозабвенно наслаждался воркованьем птиц.

Вернувшись домой, она достала из клетки канарейку и ножницами перерезала ей горло. Она никогда не смогла бы объяснить, почему она это сделала. Птица не так уж и раздражала ее. Просто сердце у нее вдруг отчаянно забилось, а когда она опомнилась, все уже было кончено.

В будущем надо следить за собой. Сколько раз при виде спящего мужа она ловила себя на том, что особенно пристально смотрит на его шею! Вот оно, мягкое, пухлое тело. Достаточно только чуть-чуть нажать на нож — и он легко войдет.

На прошлой неделе она заходила к Эстеле и призналась ей в своих безумных мыслях.

— В глубине души я всегда испытывала к нему только отвращение и презрение. Четыре года я за ним замужем, а женой только считаюсь. Его милость не способна...

— Постарайся не думать об этом. Забудь...

— Понадобился врач, чтобы растолковать ему. Я сама пошла к врачу: думала, что это я бесплодна...

— Забудь об этом раз и навсегда.

— Такие вещи нельзя забыть,— ответила женщина.

Сделав над собой усилие, она поднялась. В обществе мужа нервы ее могли сдать в любой момент. Ничего не говоря мужу — она никогда не вступала с ним в объяснения, — открыла дверь и вышла на улицу.

Забравшись на самую верхнюю перекладину лестницы, какой-то человек пристраивал к фонарному столбу целую гирлянду репродукторов. На здании Молодежного фронта гигантский лозунг провозглашал Неделю предместья. Под ним возилась, орала и дралась стая ребятишек.

Женщина побрела по улочкам предместья. Почти с маниакальным упорством проделывала она все эти дни один и тот же путь. Малейшее отклонение — как бы незначительно оно ни было — казалось ей дурным предзнаменованием. Обходя лужи, она повернула направо, к площади.

Всю прошлую неделю бродила она так, почти на грани помешательства. Мальчик вдруг точно испарился, ночевать домой он не приходил. Однажды она так и просидела на земле несколько часов подряд без сна, подкарауливая его. Съежившись в комок, она мечтала о том, как бы они стали жить вместе, пока предрассветный холод не вернул ее к действительности.

На следующее утро она неожиданно увидела его у сточной канавы в обществе белобрысого парня и какой-то размалеванной девчонки. Стараясь, чтобы ее не заметили, она осторожно пошла за ними. Они подошли к убежищу. Несколько ребят загорали там, лежа на песке. И пока девчонка цыганка готовила еду, Антонио вместе с тем другим улеглись спать на одном одеяле.

С того дня в надежде увидеть его женщина постоянно бродила вокруг убежища. Мальчик чувствовал, что она следит за ним. Он часто оборачивался и глядел на нее. Несколько раз она давала себе слово заговорить с ним. Но стоило ей встретиться с Антонио взглядом — и какая-то необъяснимая тоска клубком подкатывала ей к горлу, не давая вымолвить слова.

Она шла вдоль железной дороги к пустырю, заваленному отбросами. Уже на второй день слежки она выбрала себе в зарослях ежевики место для наблюдения. Растянувшись прямо на земле, она подолгу смотрела на убежище. Там дымилась самодельная труба. Какой-то парень в очках вышел с ведром вылить помои и сразу ушел. После этого долго никто не показывался.

Женщина отправилась обратно. У нее пересохло в горле. Язык был как ватный, глаза болели от напряжения. В голове бродила новая мысль. Сама не замечая, она прибавила шагу, дыхание ее участилось.

У жены булочника ведь тоже умер ребенок. Но у них есть сын, не родной, люди говорили, что они будто бы купили его. Лихорадочно старалась она припомнить все подобные случаи, рассказанные когда-либо соседями. Бедные семьи, обремененные детьми, отдавали кого-нибудь из них за несколько песет. Такие сделки, разумеется тайные, повторялись чуть не каждый день, и на описание их газетчики извели немало чернил и бумаги.

Когда она дошла до Барселонеты, завыли фабричные гудки. Муж еще возился в лавке, и она, вместо того чтобы подняться прямо к себе, зашла к нему и сухо объявила, что решила забрать из банка все свои сбережения.

XIV

Напротив домишка установили репродуктор, и вот уже целый час он болтал и болтал без умолку. Кораль закуталась в одеяло и заткнула уши ватой. Но радио орало все громче, казалось, кто-то кричал здесь же, в самом доме...

Наконец, устав ворочаться с боку на бок, она встала. Послушала, как рядом в каморке копошится бабушка, и, подавив зевок, настежь распахнула окно.

— Это ты, Кораль?

В ответ девушка что-то буркнула. Бабушка уже не могла говорить громко, и чтобы расслышать ее, приходилось напрягать слух. Кораль

видела — бабушка с каждым днем все больше горбилась и впадала в детство. Руки у нее становились жесткими, как копыта, когда в них попадали деньги, она жадно комкала бумажки.

— Сколько тебе дали?

И она принялась, как всегда, жаловаться на Метралью, на скупость мужчин, на дороговизну.

— Может, заткнешься наконец? — крикнула Кораль старухе. — Опротивело мне слушать одну и ту же пластинку.

Что-то бормоча, бабушка ушла к себе. Под печкой у старухи был тайник, куда она прятала деньги. Старуха понемногу привыкла зависеть от Корали, и на целые дни уходила из дому, чтобы не мешать ей.

— Ладно, ладно. Ухожу...

Лежа на кровати, Кораль глядела, как уходит бабушка. И вдруг, сама не зная почему, она увидела старуху такой, какой она была в тот день, два года назад,— гораздо крепче и моложе,— когда бабушка стояла, склонившись над ее постелью, и истошно вопила...

Кораль была тогда тощим, вытянувшимся подростком. Бабушка подарила ей яркое дешевое платье, и она, приколов к волосам цветы, щеголяла в нем по предместью. Стоило ей услышать музыку, как ноги сами пускались в пляс, словно кто-то дергал их за веревочку. Нарядившись, она целыми днями ходила следом за цыганами, шарманщиками, гитаристами. Глаза ее, черные, как уголь, сверкали, а когда она хохотала, рот ее раскрывался, точно лопнувший спелый арбуз.

Однажды, вернувшись в свою жалкую лачугу, она застала там человека, которого никогда раньше не видела. Бабушка, плача, объяснила ей, что этот человек — ее отец. Это был цыган лет сорока, высокий, хорошо сложенный, курчавый, с бачками, отпущенными почти до подбородка. Он приехал в Барселонету, чтобы продать мулов, и остановился у них в доме.

Девочка освоилась с ним в мгновение ока. Отец по целым дням не сходил с постели, курил, пил, а чаще всего — просто ничего не делал. Когда наступал вечер, он брился и уходил. Возвращался он только глубокой ночью.

Иногда Кораль слышала, как, вернувшись ночью, он натыкался на мебель и в чем был, одетый, валился на постель. Они спали вместе, на одной кровати, и девочка не смела дохнуть, боясь разбудить его...

Однажды ночью — воспоминание было туманным, и иногда ей казалось, что это приснилось,— вернувшись домой, отец стал ощупывать ее тело.

— Тихо, — прошептал он ей в ухо. Кораль сонно повиновалась, не сознавая как следует, что происходит.

А на следующий день, убирая комнату, старуха вдруг закричала, словно одержимая:

— Бандит! Сделать такое с собственной дочерью! Посмотри на простыни! Гадина! Проходимец...

Кораль, испуганная, убежала из барака. Несколько часов блуждала она по предместью, не решаясь вернуться. Темные тучи клубились в небе, море казалось мертвенно-бледным, птицы, словно обезумев, носились низко над землей, крыльями касаясь песка.

Когда она наконец решилась вернуться — она это хорошо помнила,— была уже поздняя ночь. Отец исчез со всеми своими пожитками, а старуха, причитая, объяснила ей, что теперь она погибла навеки, что родной отец обесчестил ее...

— Вот он, наверно, вам спасибо сказал за помощь,— сквозь зубы процедила девочка.

...Репродуктор замолк. Кораль достала из-под кровати сундук. Тайком от бабушки она держала в нем свои куклы. Сколько лет она мечтала о них. Свою первую куклу она нашла в куче мусора. Это была тряпичная кукла, засаленная и лысая, с полинявшим лицом, в разодранном платье. Кораль терпеливо взялась чинить ее. Достав краски и кисточку, она покрасила кукле лицо, руки и ноги в розовый цвет, нарисовала на щеках ярко-красные круглые пятна, сделала кукле улыбку, а голову повязала тюрбаном.

Теперь вот уже несколько месяцев Кораль вознаграждала себя, покупая каждую неделю новую куклу. Стоя на коленях на полу, спиной к свету, она вынимала коробки с куклами и складывала их на кровати. Закутанные в шали из газа и тафты, в изящных тюлевых платьях, куклы открывали и закрывали фарфоровые глаза. Изысканные шляпки подчеркивали великолепие шелковых белокурых кос. Кораль залюбовалась парой танцоров: она — в атласном платье, на юбку нашиты блестящие ленты, на голове позолоченная диадема, он — в клетчатом костюмчике, в кордовской шляпе, а в руках камышовая тросточка. Кораль купила их как-то в одном из больших магазинов и до сих пор не могла наглядеться.

Как была, в одной комбинации, Кораль присела на корточки на пол, не сводя глаз со своих кукол, бережно хранившихся в коробках. Она не знала, сколько времени так просидела. Когда она пришла в себя, то увидела, что дверь распахнута настежь и чья-то огромная тень за ее спиной заслоняет свет.

— Привет, крошка,— услыхала она голос капрала.

Девушка, перепуганная, обернулась — на какой-то миг ей показалось, что этот человек пришел сюда, чтобы отнять у нее куклы. Но его хорошо знакомая хитрая улыбка и фамильярное подмигивание успокоили Кораль. Приглаживая рукой волосы, она кокетливо улыбнулась ему.

— Как вы меня напугали,— сказала она.

Капрал закрыл за собой дверь. Со вздохом опустил карабин на пол. Квадратной волосатой рукой он начал отстегивать ремешок треуголки.

— Я? Зачем же мне пугать свою кошечку?

Из-под полураспахнутого плаща виднелся отутюженный мундир, патронташ, пряжка, ремни. Под усами дрожали влажные, растянутые в улыбке губы.

— Не знаю... Я подумала, что это вор,— Кораль засмеялась, показывая зубы.— И что он может обидеть меня...

Хитрые глазки капрала следили за ней, он тяжело дышал. Девушка торопливо засовывала коробки обратно в сундук.

— Хотя по виду не скажешь, что я из пугливых, а?

Кораль непринужденно вытянулась поверх одеяла, потом изогнулась всем телом, выставив груди.

— Очень напугали,— повторила она, понизив голос.— Так, что даже представить себе не можете...

Капрал, словно прочитав ее мысли, подошел к окну и плотно прикрыл ставни.

XV

— Смотри в оба. Чуть только заметишь, что тебя заподозрили, смывайся.

В первый день Метралья пошел вместе с Антонио в тот квартал, где предстояло распространять письма. Это был фешенебельный квартал на склоне горы, с широкими, тихими, чистыми улицами. Старенькая трам-

вайная линия соединяла его с центром города. Трамвай ходил почти пустой и останавливался по требованию в любом месте. Кондуктор, казалось, знал здесь всех в лицо, и Антонио заметил, что на них он посмотрел с явным недоверием.

Мальчик был одет, как сеньорито — новый костюм, новые ботинки, чистая, свежевыглаженная рубашка. Перед уходом Профессор дал ему эмалевый значок с изображением младенца Христа, толстого, как на рекламе сгущенного молока.

— Как позвонишь, сразу спрашивай хозяйку,— напомнил он.— Женщину обойти гораздо легче.

Метралья оставил его перед чугунной решеткой, сквозь которую виднелись липы, мимозы и акации.

— Ну, я пойду. В пять вернусь за тобой.

Антонио смотрел ему вслед — Метралья шел вниз по улице, засунув руки в карманы; поворачивая за угол, он помахал ему рукой.

В первый раз Антонио должен был действовать один, и, прежде чем позвонить, он долго колебался. Дом — огромный, как монастырь, с обвитыми плющом стенами — пугал его. Сквозь решетку разглядывал он зеленые стекла террасы, голубоватую черепицу крыши. Цепочка слегка покачивалась над калиткой, и, потянув ее, Антонио закрыл глаза, точно ожидая, что сейчас случится что-то страшное.

Когда он открыл глаза, ничего — абсолютно ничего!— не случилось. Особняк по-прежнему дремал под сенью парка, не подвластный и чуждый ходу времени. Растрепанные ветром, покачивались плакучие ивы, по усыпанной гравием дорожке к Антонио шла женщина в форменном платье.

— Не будете ли вы любезны доложить обо мне хозяйке?

Оказалось, что хозяйка с величайшим усердием почитает божью матерь. Весь дом был забит алтарями, лампадами и изображениями святых.

— Я предпочитаю богоматерь Пиларскую,— сказала хозяйка Антонио.— Она какая-то более испанская. А из остальных мне ближе всего богоматерь Фатимская.

Мальчик с невинным видом слушал ее. Госпожа, закутавшись в шаль с бахромой, расспрашивала об организации и целях паломничества. Наконец, удовлетворенная его разъяснениями, она дала Антонио бумажку в сто песет и приказала служанке проводить его.

Окрыленный удачей, Антонио обошел и остальные дома квартала. Он сразу же заметил, что все они были выстроены по одному и тому же образцу и окружены остроконечной оградой или толстой стеной, усыпанной поверху битым стеклом. Жизнь, казалось, осталась где-то там, за воротами дома, а здесь забыли о времени, и оно остановилось.

К своему удивлению, Антонио обнаружил, что идея организации паломничества вызывает у обитателей особняков неожиданный энтузиазм. Представители старинных фамилий, укрытые в своих мрачных темных дворцах, среди миниатюрных лурдских гротов, изображений богоматери и сундуков, охраняемых собаками, были очень не прочь видеть свое имя отпечатанным на страницах Золотой книги.

Антонио принимали с распростертыми объятиями. И он с апломбом разъяснял своим собеседникам причины, побудившие организовать это грандиозное национальное чествование папы. И когда он выходил на улицу, в кармане у него оказывалась еще одна бумажка в двадцать пять, пятьдесят, а то и сто песет.

Профессор и Метралья встретили его у трамвайной остановки. У Метральи был знакомый хозяин одного бара, который обычно посещали

шоферы. Усевшись в задней комнатушке этого бара, они поделили выручку. Впервые в жизни в руках Антонио оказалась довольно внушительная сумма. Не зная, что делать с деньгами, он купил шариковую ручку, зажигалку и дюжину пачек табаку, все это он подарил своему другу.

Без всякого труда он заработал в один день столько, сколько получал его отец за неделю каторжной работы. Когда Антонио уходил из дому, чтоб поселиться в убежище, мать провожала его со слезами. Но он знал: дома стало одним ртом меньше, и это облегчило жизнь его братьев и сестер. Придя через несколько дней навестить мать, он со смешанным чувством презрения и жалости отдал ей все деньги, какие были у него с собой.

— Честностью в этой стране сыт не будешь,— говорил ему Профессор.— Не обманешь — будешь кулак сосать с голоду.

Нет. Он не хотел кончать, как его отец: иметь кучу детей и долгов на шее и растрачивать жалкие остатки своей неудавшейся жизни по тавернам и барам. Везде в этом огромном мире одни эксплуатируют других, и уж кто-кто, а он вовсе не собирался своими руками таскать из огня каштаны для ловкачей и бездельников.

Однажды вечером, когда они сошли с трамвая, Метралья пригласил его в кино — единственное в предместье. Показывали какой-то американский фильм, и в зале яблоку негде было упасть. Сидя на деревянных скамейках, они затаив дыхание следили за осадой крепости индейцами.

Возбужденные зрители орали до хрипоты. Рабочие, матросы, грузчики и мальчишки во весь голос комментировали происходящее на экране, стучали по скамьям, топали ногами при каждой удаче врага и забросали весь пол между рядами апельсиновыми и банановыми корками.

Повернув голову, Антонио наблюдал за своим другом. Метралья смотрел на экран напряженно, он напоминал хищника, приготовившегося к нападению. Свет от экрана падал ему на лицо, и в этом свете особенно ярко выступало присущее ему выражение беспощадной жестокости.

Охваченный необъяснимой тревогой, Антонио снова пытался сосредоточиться на картине. После ряда событий, в ходе которых осажденные, казалось, должны были погибнуть, все закончилось ко всеобщему удовольствию: индейцы были истреблены подоспевшим подкреплением, и под звуки военного марша герои подняли на мачте свое усыпанное звездами победное знамя.

Метралья вышел из кино с задумчивым видом. С полдюжины ребятишек помчались впереди них по улице и тут же, стреляя из воображаемых пистолетов и завывая, как краснокожие, затеяли войну.

В порту уже стемнело. На башне светились часы, круглые, как иллюминатор, а на блестящем лаке воды дрожали огни.

Не проронив ни слова, они уселись на краю мола. Напротив, словно огромные черные насекомые, стояли на страже подъемные краны. Освещенные пламенем горелки, несколько рабочих килевали корпус корабля.

Взгляды обоих устремились на гавань, где стояла американская эскадра. Там шел большой прием, и все корабли были ярко освещены. Палубу флагманского корабля украсили флажками и вымпелами, с треском лопались ракеты, бенгальские огни рассыпались в небе веселыми разноцветными снопами.

— В один прекрасный день я брошу все это и смотаюсь,— сказал Метралья вполголоса, все еще зачарованный мерцанием огней.

Антонио, коченея от страха, внезапно оторвался от своих размышлений и обернулся к нему.

— Смотаешься? Куда?

— Не знаю... Куда-нибудь подальше отсюда... В Техас. Или в Бразилию... Туда, где можно добыть денег.— Метралья злобно затянулся.— Осточертело мне шататься здесь без работы... А в Америке полно монет, и бабы там — на большой.— Он резко кивнул в сторону эскадры.— Стоит их увидеть, и меня сразу тянет туда, к ним...

— Но это невозможно,— сказал Антонио.— Они хорошо охраняются.

— Знаю... Я познакомился с одним типом, который за четыре тысячи может спрятать в трюме.

— А если тебя найдут? — Сердце у Антонио билось так сильно, словно его друг и в самом деле уже уезжал.

— Не найдут. Этот парень сговорился с теми, что на корабле.

— Четыре тысячи — большие деньги,— заметил Антонио.

Он машинально опустил руки в карманы — глубоко, до самого дна: после того как он накупил подарков своему другу, все его состояние сводилось к нескольким реалам.

— Конечно. Но мы могли бы скопить.— Впервые за все время их беседы Метралья взглянул на него.— Вдвоем это легче. Чего не сумеет собрать один, добавит другой.

— Да, но тогда...— у Антонио перехватило дыхание. Он с ужасом понял вдруг, что привязанность к другу может сыграть с ним плохую шутку.— Но тогда нужно восемь тысяч...

— А хотя бы и десять,— Метралья швырнул сигарету в воду.— Главное, мы сможем поехать вместе, так ведь?

Не в состоянии вымолвить ни слова, Антонио лишь кивнул головой.

— Если разобраться как следует, все это не так уж страшно, как кажется с первого взгляда... Если на эту Золотую книгу будут и дальше так клевать, то к рождеству...

Сноп фейерверка с флагманского корабля оборвал его на полуслове. Тысячи искр, точно падающие звезды, посыпались с неба. И заканчивая фразу, начатую его другом, Антонио вслух высказал таившееся в нем желание:

— ...мы смоемся вместе.

— Да,— сказал Метралья.— Смоемся вместе... И никогда в жизни ноги нашей больше не будет в этой Испании, черт бы ее побрал!

XVI

На вознесение ртуть в термометре поднялась выше тридцати. Палящее солнце нещадно обрушилось на жалкие крыши бараков, и их обитатели в надежде хотя бы на самый слабый сквознячок настежь распахнули двери и окна.

— Я считаю, во всем виноваты американцы,— заявил Сатурио.— Хозяин магазина на днях сказал мне, что они привезли с собой атомную бомбу, она у них спрятана на корабле.

Мать Парня-Кошки поджала губы, точно подтверждая, что все может быть. Сегодня утром она заставила мальчика пойти с ней в церковь, и сейчас, выходя, остановилась на паперти поболтать немного с соседями.

Парень-Кошка, стоило ей только отвернуться, тут же улизнул. Он поспешил домой переодеться. Было около полудня, репродукторы передавали очередные речи. Мальчик не торопясь обошел предместье

со стороны площади. Эскадрилья реактивных самолетов выделывала над морем фигуры высшего пилотажа, и несколько мальчишек палили по самолетам из духового ружья.

Мальчик снял рубашку и сандалии. Оставшись в старых отцовских штанах — снизу доверху в разноцветных заплатах, к тому же одна штанина короче другой,— он зашагал вдоль пляжа.

Широкополая соломенная шляпа защищала его от палящего солнца. Подтянув штаны — он подвязывал их веревкой под мышками,— Парень-Кошка прыгал по раскаленной гальке, стараясь не напороться на стекло.

В тени лачуг, прикрыв головы шляпами или сделанными из газет колпаками, расположились люди. Прошел разносчик, на ходу выкрикивая: «Газированная вода, холодное пиво!» Десятки женщин с кувшинами, бутылями, графинами выстроились в очередь к фонтану.

У переезда дворник поливал из шланга мостовую. Мощная струя воды сбивала пыль, приятная свежесть, как после дождя, наполняла воздух.

Стайка мальчишек и девчонок с оглушительными воплями прыгала под рассыпающейся струей. В купальниках, трусах или просто голые, они неистово плясали в обнимку, и с их гладких мокрых волос стекала вода.

Швырнув шляпу на землю, Парень-Кошка кинулся к ним. Струя ледяной воды разбилась о тело. Он повернулся спиной. Потом, открыв рот и выпучив глаза, завертелся на месте волчком, пока весь не покрылся гусиной кожей и не начал отбивать зубами дробь.

Дрожа от холода, мальчишка растянулся на песке лицом к солнцу. Весь его завтрак сегодня состоял из куска черствого хлеба, и сейчас от голода вдруг невыносимо засосало под ложечкой. На днях отец пообещал дать ему несколько монет, и он решил отправиться в таверну Маньо, чтобы получить их.

Сто Грамм играл в карты за угловым столиком. Три часа назад он вышел из дому промочить горло, и теперь, судя по выражению лица, был уже порядком пьян.

Парню-Кошке и раньше случалось отправляться в таверну, чтобы выпросить у отца пару монет, и всякий раз отец встречал его руганью и проклятиями. Однако сегодня этого не произошло, при виде сына Сто Грамм поднял брови и с явным добродушием осмотрел его с ног до головы.

— Интересно, где это тебя угораздило так вымокнуть? — спросил он.

— Я шел по улице, и какой-то полицейский обдал меня из шланга,— соврал Парень-Кошка.

— Полицейский, полицейский... Ну и жук же ты.— Повернувшись к своим партнерам, он сказал: — Посмотрите, в каком виде ходит мой отпрыск... Словно нехристь какой.

— Если бы ты не лакал с утра до ночи, а хоть немного позаботился о нем,— заметил Маньо, подмигнув,— быть может, вид у него был бы получше.

— Он так одет потому, что ему самому так нравится,— сказал Сто Грамм.— Дома у него, по крайней мере, два костюма, да он их никогда не надевает.

— Только не говори, что это ты ему купил, мы все равно не поверим.

— Нет, не я купил.— Сто Грамм поднял кувшин и чуть ли не залпом осушил его.— Это подарок.

— Подарок? От кого?

— От святых отцов. На будущей неделе — первое причастие.

— Да ну? — заметил Маньо с иронией.

Парень-Кошка в подтверждение закивал головой и, пользуясь случаем, обратился к отцу:

— Папа, дай мне дуро...

— Не в это воскресенье, а в следующее,— продолжал отец, и виду не подавая, что слышал.

— Если ты его наставлял,— сказал Маньо,— то мальчик, должно быть, здорово подготовлен.

— Само собой. Он университетов не кончал, но голова у него получше, чем у всех нас вместе взятых.

Пытаясь воспользоваться неожиданно перепавшей ему похвалой, Парень-Кошка опять попросил денег.

— Никто и не говорит, что у него не хватает смекалки,— перебил его Маньо.— Но я хочу сказать, что если все свои знания он перенял у тебя, то ему не просвирку надо, а кусок колбасы на закуску.

— Я умею читать и писать,— оскорбился Сто Грамм.— Ты не смотри, что я теперь такой никудышный, я ведь тоже образованный.

— Что-то не видно этого,— сказал Маньо.— Во всяком случае, на пользу это тебе не пошло.

— Я был первый в классе, чтоб ты знал... Я помнил наизусть имена всех вестготских королей.

— Ишь ты... Какие там короли, ты уж лучше расскажи нам про разбойников,— заметил один из нищих, стоявших у стойки.

— Всех. От первого до последнего. Убей меня бог, если вру!

— Не надо божиться, и вправду как бы чего не случилось.

— Эта собачья жизнь меня погубила.

— Жизнь? — вмешался Пять Дуро.— Пьянство!

— Если бы я из-за несчастного случая не стал...

— Вот именно. Наплети нам с три короба...— Пять Дуро саркастически усмехнулся.— Будто мы и не знаем, что ты всякий раз тут же налижешься, как только получишь деньги по страховке. Да ты бы и руку дал отрубить, если бы знал, что за это заплатят...

— А тебя никто не спрашивает,— отпарировал Сто Грамм.— Так что захлопни свою пасть.

— Когда хочу, тогда и говорю,— ответил ему приятель.

Сто Грамм потянулся было за кувшином, но, увидев, что он пуст, опять поставил его на стол.

— Парень три недели ходил учить святое писание. Даже такой, грязный и оборванный, он может поучить многих.

И его мутный пьяный взгляд с гордостью остановился на Парне-Кошке. Не сводя глаз с кармана отца, где, как он знал, лежал кошелек, мальчик сдвинул шляпу на затылок. Вода все еще стекала по его штанам, и на полу образовалась лужа.

— Ну-ка покажи им, что ты знаешь,— не терпелось отцу.

— Что мне рассказать?

— Что хочешь. Что-нибудь по-латыни... Из катехизиса...

— А ты дашь мне дуро? — спросил мальчик, загораясь надеждой.

— Дам дуро, а если надо, то и больше. Пусть знают, как смеяться над твоим отцом...

— Господь... в одном лице... в трех лицах...— выпалил одним духом Парень-Кошка, глотая слова.

— По-латыни, по-латыни...

— Gloriam eterna... Cristum... Anima.

— Ну, видали? Что я говорил?

— Дай дуро.

— Еще. Давай еще одну фразу.

— Santus. Santus. Santus — вспомнил мальчик.

— Видали? Видали?! — Сто Грамм победоносно улыбался.— Чешет прямо как священник.

Пять Дуро отхлебнул воды из кувшина и, скорчив презрительную гримасу, обернулся к Маньо.

— Другой бы на его месте со стыда сгорел. А этому хоть бы что... Ему хоть в глаза плюй.

— Если кому-нибудь хочется что-то мне сказать, так учтите, я люблю, чтобы мне говорили в глаза,— заявил Сто Грамм.

— Еще чего не хватало... Того гляди, еще захочет, чтобы я разъяснил, о чем идет речь.

— Конечно, ты обязан разъяснить.

— Стыдно, стыдно тебе должно быть так выставлять напоказ собственного сына...

— Стыдно? Почему это?

Пять Дуро не ответил. Он принялся патетически взывать к публике:

— Вы только посмотрите на него... Парень должен попрошайничать на кусок хлеба, а отец пропивает здесь все до нитки...

Почувствовав себя в центре внимания, Парень-Кошка скромно опустил глаза и скроил печальную мину, изображая тяжкое страдание.

— ...и такая светлая голова пропадает, потому что некому им заняться... Подойди ко мне, милый, подойди... Я дам тебе дуро.

— Нет! Дуро дам я,— закричал взбешенный отец.— А ты свои деньги побереги для собственных детей, им их здорово не хватает.

— Да еще и унижает его... Дает как милостыню.

— Как хочу, так и даю.

— Будто от сердца отрывает... Сразу видно, что жалко.

— От сердца, говоришь, отрываю? — Глаза у Сто Грамм засверкали.— На,— сказал он, вытаскивая из кошелька бумажку.— Бери, дарю тебе...

Парень-Кошка глядел во все глаза, не решаясь взять деньги. Бумажка была в пятьдесят песет.

— Ну! Чего ты ждешь?..

Мальчик не заставил себя больше просить. Пальцы его, словно створки раковины, захлопнулись.

— Это мне?

— Да, сеньор.

— Если хочешь, могу еще что-нибудь сказать по-латыни.

Маньо расхохотался.

— Валяй отсюда, парень.. А то как бы он не раздумал...

Поняв всю мудрость совета, мальчик подтянул мокрые штаны и решительно направился к двери.

И уже с улицы, стоя с набитым ртом около лотошника, продававшего чурро, он слушал яростную обвинительную речь Пять Дуро и слезливое, невразумительное бормотание отца.

XVII

Пепе-Цыгану надо было к барыге. Накануне Дракула утащил из заброшенного депо в Лас-Кортес десять метров труб. Так как у Профессора не было больше писем с обращением относительно паломничества, Антонио решил пойти вместе с Пепе.

— Альберто придет в ярость, когда узнает,— засмеялся Цыган, как только они сели в трамвай.— Стоит мне только пойти не с ним, и он страшно ревнует.

Барыга заправлял в скобяной лавке Пуэбло Секо; приняв трубы, он дал ребятам задаток в триста песет. Пепе, ворча, спрятал их в бумажник, а по дороге домой зазвал Антонио в таверну выпить по стаканчику.

— Недалеко отсюда живет одна потаскушка, она работает на меня. Я к ней хожу с прошлого лета... Старая уже, но еще есть за что ухватить.

— Ты говоришь, работает,— спросил Антонио.— Кем же она работает?

— А кем, ты думаешь, может работать женщина? — Цыган пригладил аккуратно подстриженные волосы.— Дешевкой, парень. Дешевкой.

Антонио кивнул головой так, будто понял. Но он не понял, что это означает, как не понимал и не знал и других слов, вроде «уважение», «дорогой», «любимый». Он вспомнил, что в предместье, неподалеку от них, жил один человек, похожий на араба, люди шептались, что он живет за счет женщин. Заинтригованный мальчик решил выспросить все у Метральи.

— Это она купила мне новый клифт,— продолжал Пепе, показывая на пиджак,— и штаны тоже. Месяца не проходит, чтобы она мне чего-нибудь не притащила... Смотри-ка. Вон она идет.

Женщину звали Палома. Она была, можно сказать, в теле. Антонио выпил с ними пива и, сославшись на свидание, оставил их в таверне вдвоем.

В предместье он вернулся на трамвае. Стояла жара, и таверны были набиты битком. Избегая улиц, где он мог встретить жену лавочника, мальчик пересек площадь и направился в убежище. Товарищи, собравшись у двери в кружок, слушали Неореалиста, читавшего вслух последний номер «Эль касо»:

— «Имя Франциска Мартина Сабатера, по прозвищу Кико, витает над Каталонией. Это роковое имя передается из уст в уста и всюду вызывает панический страх. Каждое совершенное им злодеяние поражает ловкостью и наводящим ужас мастерством. Как выразился один выдающийся деятель барселонской полиции, Сабатер рожден для преступления, как иной бывает рожден для рояля или для скрипки.

В любого полицейского, с которым ему случалось встретиться, Сабатер стрелял с расстояния в несколько метров, так что те не успевали слова вымолвить. Верно лишь одно — этот бандит установил по всей Каталонии подлинный закон молчания.

Перо отказывается писать о всех преступлениях этого человека, которого вряд ли можно назвать человеком. Прирожденный убийца, убивающий, чтобы утолить свою жажду крови, зачастую без всякой другой цели, кроме удовлетворения своих звериных инстинктов, Сабатер обладает поразительным умением неузнаваемо изменять свой внешний облик. То он появляется с усами, то без них, волосы у него то вьются, то гладко зачесаны».

Пока Неореалист читал подробнейшее описание очередного грабежа, Антонио украдкой наблюдал за товарищами. Метралья, Гонсало и Кристобаль слушали чуть ли не в молитвенном молчании. Только Дракула, казалось, почти не слушал и, лежа на куче одеял, громко зевал.

— Черт возьми,— воскликнул Гонсало, когда Неореалист кончил читать.— Ну и парень!

— Спорю на что угодно, он опять уйдет от них,— сказал Кристобаль.

— Уж что живым они его не сцапают, так это точно...

Антонио с волнением рассматривал фотографии Сабатера. В предыдущих номерах время от времени печатались заметки о его преступлениях, но Антонио никогда еще не видел портрета человека, которому, по выражению репортера, «было на роду написано умереть убивая». Фотография, хотя и плохо напечатанная, понравилась ему, и он решил сохранить ее.

— Вот это настоящий мужчина,— произнес Метралья.

— Один тип, знавший его еще во время войны,— сказал Кристобаль,— рассказывал, что Сабатер на грузовике улизнул из казармы.

— Во время войны таких, как он, было много.

— Во время войны — может быть, но вот сейчас он один такой, никогда не дрейфит.

— Конечно один. Таких, как он, всех пришили,— Метралья ребром ладони полоснул себя по шее.

Антонио беспокойно заворочался на кровати. Каждый раз, когда при нем говорили о революции и войне, он чувствовал себя словно обманутым. Судьба сыграла с ним злую шутку — он родился в такое время, когда героизм уже не нужен. Тем, кто родился раньше, довелось сражаться и с оружием в руках решать все споры. Однообразие и серость этой жизни вызывали в нем презрение и жалость.

— Вот бы жить тогда,— прошептал он.— А теперь все такое скучное. Никогда ничего не случается.

— Если бы я родился раньше, — сказал Метралья,— я бы стал пистолеро *, как мой отец.

— Мой отец тоже был налетчик,— вступил в разговор Кристобаль.— Он работал с анархистами.

— А мой, когда началась война, сам организовал отряд и уложил прямо в упор больше сотни богачей.

— Ты его помнишь? — с пересохшим от волнения ртом спросил Антонио, мысленно сравнивая его отца со своим.

— Нет, почти не помню... Когда его казнили, мне было четыре года.

— А мне даже не пришлось увидеть отца,— заметил Кристобаль.— Когда пришли националисты **, они казнили его на глазах у матери, и она со страху родила меня, кажется, раньше времени.

— Может, потому ты всегда всего и боишься,— захохотал Дракула, показывая зубы.

— Черт побери! Тогда бы и я должен был всего бояться,—вмешался Гонсало.— Моя мать выкинула меня во время бомбардировки.

— Если судить по тому, как от Дракулы воняет,— отомстил Кристобаль,— его мать должна была родить его на помойке.

Замечание вызвало общий смех. Антонио, словно притянутый магнитом, повернулся к Метралье. То, что воры рассказывали о своих отцах, преисполнило его завистью и восхищением. Их казнили, как хотели казнить Сабатера, вот это были настоящие мужчины! Вместо того чтобы покорно смиряться, как Пять Дуро, они перед лицом опасности не побоялись запачкать руки кровью.

— А твой отец какой был?

— Не знаю,— Метралья нерешительно потер подбородок.— Мать очень мало говорила о нем. Я о нем знаю только по рассказам людей.

— И ты даже не помнишь, какой он из себя?

Антонио казалось, что, если бы его отец хоть один раз совершил убийство, он не забыл бы его никогда в жизни.

---

* Наемный убийца

** Франкисты.

— Во время следствия мать меня однажды водила к нему в тюрьму... Кажется, он был в синем комбинезоне... Помню только, он обозлился на мать за то, что она плакала.

— А сколько раз его приговаривали к смерти? — спросил Неореалист, снимая очки.

— Почем я знаю... Но думаю, больше, чем самого Сабатера.

Увлеченный своими мечтами, мальчик уже не слушал. Он представлял себе, как, вооруженный новенькой, последнего образца винтовкой, вместе с Метральей стреляет из окопа. Может быть, как раз в той стране, к берегам которой они скоро причалят, будет и революция, и гражданская война...

В газетах он читал сообщения о событиях в Америке, и там рассказывалось о мятежах, путчах и государственных переворотах. И ему еще сильнее, чем раньше, захотелось бежать от этой затхлой, как стоячее болото, серой жизни.

Неореалист достал сковороду, собираясь готовить обед, и Кристобаль, Гонсало и Дракула вышли, чтобы помочь ему. Несколько секунд Антонио сидел, разглядывая фотографии Сабатера. И вдруг вспомнив, что говорил Цыган, повернулся к своему другу:

— Что значит жить за счет женщины?

Оторванный от своих размышлений, Метралья поднял брови и тыльной стороной ладони провел по губам. Вопрос Антонио рассмешил его, он громко расхохотался и толкнул его на тюфяк.

— Это тебе неинтересно, Малыш,— сказал он, ласково ущипнув его за подбородок.— Ну-ка, дай огоньку, закурить хочется.

XVIII

Неделя предместья закончилась. По радио чей-то визгливый голос советовал быть преданным святому сердцу господню и молиться о прекращении распространения большевизма. Дети и женщины длинной процессией прошествовали через площадь под звуки рожков и барабанов ребят Молодежного фронта. Дети Сатурио несли на носилках небольшую статую богоматери Фатимской, которая была торжественно провозглашена покровительницей и заступницей предместья.

— Этот-то разбогател,— сказал Маньо, указывая на Сатурио.— Говорят, ему только что дали квартиру.

Процессия, сопровождаемая толпой любопытных, медленно двигалась мимо таверны. Вечернее солнце ярко освещало красные береты и темно-синие рубашки ребят. Облако мельчайшей пыли золотым ореолом окутывало священника и его спутников, пыль делала хриплыми голоса поющих детей.

Всемогущая дева,
Молись о нас...
Мудрая дева,
Молись о нас...

Один за другим высыпавшие из таверны на улицу посетители снова вернулись к своим столикам. Прислонясь к дверному косяку, Хинер стоял до тех пор, пока не затихли звуки барабанов и рожков и последние красно-синие детишки не пропали вдали. По улице с кипой «тебео» шел старший сын Пять Дуро, и Хинер, не решив еще, вернуться ли в таверну или совсем уйти, загляделся на юношу.

Тот был хорошо одет — полотняная рубашка, ботинки, носки. Солнечные блики золотой пыльцой плясали на его лице, и оно неожиданно напомнило ему кого-то. Закуривая сигарету, он старался вспомнить, кого именно. Вспомнить не удалось. Он хотел было идти и вдруг застыл на месте, как пригвожденный: столовая в квартире Косты, голые стены и фотография мальчика в матросском костюме... Этот и тот были похожи как две капли воды. Странно, что он не заметил этого сразу.

Почувствовав вдруг какое-то облегчение — словно камень с души свалился,— Хинер, насвистывая, отправился домой. Свежий ветер прогнал с пляжа последних купальщиков. В честь праздника бараки были украшены флагами и разноцветными полотнищами, а радио, покончив с речами и молитвами, принялось за военные марши.

Еще с улицы он услыхал звуки гитары — играл кто-то из его сыновей. Дверь была не заперта, и он сразу прошел в комнату переодеться. Как он и думал, жена ушла на торжество посвящения предместья богоматери Фатимской.

Когда они только поженились, Тринидад, как и он, была равнодушна к религии. Но после его возвращения из концлагеря ее обуяло религиозное рвение, и оно росло день ото дня.

Чем раздражительнее и нетерпимее она становилась, тем большую набожность проявляла и изо всех сил старалась привить ее детям, точно ища способ отдалить их от отца. Когда, устав после рабочего дня, Хинер сидел у себя в комнате, снова и снова размышляя над причинами их поражения, ему слышно было, как они втроем в кухне бубнят молитвы.

Набожность ее была такой же агрессивной и желчной, как ее речи и взгляды. В дни поста она наотрез отказывалась готовить обед, а по воскресеньям и в первую пятницу после поста с самого утра демонстративно поднимала страшный шум, не давая ему поспать. Захваченная своей мстительной страстью, она превратила спальню в некое подобие часовни, и Хинер, в окружении десятков разнообразных фигур святых, распятий и мощей, чувствовал себя лишним.

Но больше всего наполняло его горечью то, что сыновья за все годы совместной жизни ни разу не сделали даже попытки понять отца. Всему, что говорила им мать, они верили слепо, все принимали безоговорочно. Хинер же тщетно пытался добиться хотя бы малейшего понимания с их стороны. Альфонсо и Мануэль, казалось, интересовались только песенками, боем быков и футболом. Они были совершенно равнодушны ко всему тому, что составляло смысл его жизни. Казалось, он и его сыновья жили на разных планетах.

Умываясь, он слушал, как сыновья разучивали какую-то картахенскую песню. У Альфонсо был голос приятного тембра, он довольно удачно подражал Ниньо де Альмаден.

Хитрецы рыбаки однажды
В понедельник пораньше встали
И яблоки все украли
У погонщиков, у бедняжек,
Что пришли из Тотаны,
Что пришли из Тотаны.

С полотенцем в руках Хинер вошел в столовую. После того случая с приемником Тринидад все время настраивала сыновей против отца, теперь он решил воспользоваться ее отсутствием, чтобы объясниться.

Стоя в дверях, он подождал, пока они кончили куплет, и тоном, менее твердым, чем ему хотелось бы, приказал:

— Садитесь... Мне нужно поговорить с вами.

Сыновья неохотно подчинились. Опершись на подлокотник кресла, Альфонсо рассеянно занялся своими ногтями. Мануэль не спеша закурил сигарету и начал подтягивать струны на гитаре.

— Ваша мать, кажется, ушла на праздник...— Взгляд Мануэля выражал бесконечную скуку.— Я хотел поговорить с вами при ней, но раз это не получилось, и, ей-богу, не по моей вине, то я хотел бы, по крайней мере, чтобы вы узнали, что произошло.

— А мы и так знаем, отец,— вяло сказал Мануэль.

— Знаете? Что знаете? — Хинер облизнул губы кончиком языка. В горле у него пересохло.

— Мама рассказала нам на днях... Про письмо и про приемник.

— Ваша мать передала вам, возможно, не совсем точно...— Несмотря на все старания, голос его все больше дрожал.

— Мама никогда не лжет, — отрезал Альфонсо.

— Я и не сказал, что она солгала,— возразил Хинер.— Просто я думал, она могла ошибиться... После всего случившегося она боится, и, если говорить по правде, у нее есть на то основания.— Альфонсо сделал гримасу, словно хотел сказать: «Тогда к чему же вся эта проповедь?» — Я только просил бы вас,— продолжал Хинер,— хоть на минуту поставить себя на мое место... Попытаться понять, зачем я сунулся тогда в политику...

— Мы политикой не интересуемся,— сказал Мануэль. Лицо его стало каменным.

— Иной раз,— продолжал Хинер, не обращая внимания на реплику Мануэля,— когда я слушаю вас, мне кажется, что вы считаете меня человеком, который не отвечает за свои поступки... Ну, как бы это сказать... Каким-то злосчастным роком, навлекшим беду на всю семью. В какой-то степени я признаю, что человек посторонний, вероятно, и мог бы так думать обо мне... Но вы мои дети. Вы обязаны выслушать меня...

— Мама запретила нам слушать тебя, когда ты говоришь о политике,— напомнил Мануэль. Не в силах больше сдерживать свое нетерпение, он стал пощипывать струны гитары.

— Я не собираюсь говорить о политике,— защищался Хинер.— Я просто хотел, чтобы вы знали, что представляет собой ваш отец.

— Мама объясняла нам это тысячу раз.

— О, воображаю, что она говорила,— Хинер горько усмехнулся.— В ее глазах я — жалкий фантазер, который, как говорится, пошел за шерстью, а пришел стриженый... Но это не вся правда, а только ее часть... При Республике...

— А ну ее, твою Республику,— сказал Альфонсо.— Из-за этой Республики маме пришлось побираться под чужими окнами, пока ты сидел в тюрьме...

— Знаю, знаю... Теперь, когда прошло столько времени, все это кажется безумием... Но тогда никто не мог предвидеть, что все повернется так... Когда я вступал в профсоюз...

— Знаешь, отец, лучше нам кончить. Мы с Мануэлем не хотим слушать разговоры на эту тему.

— Если мама узнает, она будет недовольна. Ты сам знаешь, что с ней делается всякий раз, когда ты с нами заговариваешь об этом.

— Ваша мать не может запретить мне говорить с вами,— не сдавался Хинер.

Но дети уже не слушали его. Мануэль, давая понять, что разговор окончен, стал перебирать струны гитары.

— Начинаем с андалусской песенки.

— Нет. Повтори еще цыганское танго.

— Подожди. Отпущу немного струну...

Хинер открыл было рот, чтобы сказать: «Я еще не кончил», но тут же понял, что всякая попытка заставить их слушать себя заранее обречена на провал.

А Альфонсо, повернувшись к отцу спиной, словно его тут и не было, уже начал петь:

Всех девушек черноглазых,
Всех девушек черноглазых
Завтра арестуют.
Всех девушек черноглазых,
Чтоб наш покой не смущали.

Оскорбленный до глубины души, Хинер, пошатываясь, вышел из комнаты. Сердце у него бешено колотилось, он чувствовал, что вот-вот упадет, и, чтобы успокоиться, стал свертывать сигарету. Вдруг кто-то забарабанил в дверь; со смутным предчувствием несчастья он пошел открывать.

В дверях стоял хорошо одетый человек; узнав его, Хинер чуть было не закричал. Иногда жизнь бывает и щедрой.

Это был Эмилио.

XIX

Антонио пошел к букинисту обменять старые «тебео» на новые. После разговора на молу он старался тратить как можно меньше. Мысль о том, чтобы попасть в трюм корабля, не оставляла его ни днем ни ночью, он словно бредил наяву и иногда целыми часами сидел и возился с календарем, подсчитывая, сколько дней осталось до отплытия.

Первую половину июня он по-прежнему разносил письма, до тех пор пока во всех газетах не появилось сообщение организационного комитета, в котором говорилось о «незаконном, мошенническом использовании обращения организаторов паломничества». Метралья и Профессор вовремя догадались прикрыть дело и, как добрые друзья, поделили добычу.

Антонио досталось тысяча двести песет, которые он, ликуя, отдал Метралье. На будущее было решено откладывать все сбережения в общую кассу. У его друга уже было накоплено больше двух тысяч, и вместе с его деньгами это составляло около половины нужной суммы.

«Если нам повезет,— подумал он,— мы сможем отправиться этой осенью».

Он купил у букиниста засаленную карту Америки и сейчас, пересекая площадь, на ходу разглядывал ее. В Венесуэле и Техасе легко выбиться в люди. Нефть там льется рекой, и люди загребают сказочные деньги. Метралья упоминал еще Нью-Йорк. Но там, кажется, и без них народу хватает.

Вдруг Антонио услышал, что кто-то зовет его, он испуганно оглянулся. В костюме для первого причастия, задыхаясь, бежал к нему Рамон.

— Папа хочет поговорить с тобой.

— Со мной? О чем?

— Не знаю... Велел тебе прийти домой.

Как всегда, он старался пробудить в Антонио любопытство, чтобы вытянуть потом плату за свое сообщение. Твердо решив не попадаться на удочку, Антонио повернулся, чтобы уйти.

— А я знаю, где ты живешь,— сказал Рамон, лукаво улыбаясь.

Антонио пожал плечами, давая понять, что ему это безразлично.

— И кто еще там живет, знаю!

— Знаешь, так и держи при себе.

— А Метралья сбежал из исправительного дома,— продолжал брат.— Если на него донести, его упекут в каталажку.

— А тебя,— пригрозил в ответ Антонио,— упекут в морг.

Рамон засмеялся. Костюм, подаренный святыми отцами, был ему широк, и он казался в нем еще более тощим и маленьким.

— И папа все знает,— прошептал он.

— Что он знает?

— Ну это... Что ты живешь с ворами.

— Ты наябедничал?

— Ей-богу, не я.

— А кто же?

— Поди поговори с ним. Он тебе все объяснит.

Пять Дуро ждал сына у дверей барака.

— Заходи, сынок...— пригласил он.

Пако, Пиларин и Хавьер вылезли из своего закутка поглядеть на брата. Антонио удивился, увидев в столовой огромный поднос с печеньем и бутылку малаги.

— Садись,— сказал Пять Дуро.— Хочешь сигарету?

Мальчик, встревоженный, взял сигарету. Приветливость семейства его беспокоила.

— Рамон сказал, что ты хочешь о чем-то поговорить со мной.

— Да.— Отец сел тоже.— Но прежде выпей-ка рюмочку малаги.

Удивление его возросло еще больше, когда он заметил на малышах новые платьица. Пиларин вся раздулась — она, очевидно, объелась, а Хавьер без всякой жадности смотрел на груду сластей.

— Нравится? — спросил Пять Дуро.

— Очень хороша.

— Хочешь, наливай еще.

— Нет. Спасибо, хватит...

Они помолчали, глядя друг на друга. Наконец отец вытащил из кармана бутылку анисовой водки и отхлебнул хороший глоток, видимо чтобы подбодрить себя.

— Антонио,— начал он торжественно,— я должен сообщить тебе хорошую новость.

Мальчик прислонился к стене и почему-то расправил складку на брюках.

— Знаешь ты того сеньора, что торгует фигурками святых на улице Сан-Мигель?

Не в силах вымолвить ни слова, Антонио только кивнул головой.

— Сегодня утром приходила его жена... Худая такая сеньора, не знаю, видел ты ее когда или нет...

Пять Дуро в упор смотрел на Антонио, стараясь уловить, как юноша будет реагировать на его слова.

— Ну так вот... Этой сеньоре нужен в доме помощник. Мальчик твоего возраста, для мелких поручений, подходить к телефону...

— Но у меня уже есть работа,— поспешил возразить Антонио.

— То, что тебе предлагают, это даже не работа. Наоборот, ты почти не будешь занят... Идеальное место, можно, палец о палец не ударив, загребать сколько хочешь...

— А мне не надо больше денег,— сказал Антонио. Какая-то странная тревога не давала ему говорить.— С меня хватит того, что у меня есть, да еще и остается.

— Предположим даже, что это так,— отвечал отец,— все равно тебе выгодно принять предложение... Сеньора хочет заняться твоим образованием... Она обещает платить за тебя в школу...

— И ты согласился? — спросил Антонио, чувствуя, что глаза его наполняются слезами.

— Ну конечно.— Отец удивленно поднял брови.— Такая возможность — деньги, учение и все прочее — может никогда в жизни больше не повториться...

Антонио в ярости сжал кулаки. С самого начала он был убежден, что эта женщина хочет причинить ему зло. Каждый раз, когда он встречался с ней взглядом, глаза ее загорались, наверняка от ненависти. Да и упорство, с каким она его преследовала, нельзя было объяснить иначе.

— Чтоб тебе!..— воскликнул Пять Дуро.— Сам черт тебя не разберет. Все за тебя радуются, а ты строишь из себя мученика.

— Мне хорошо и так, — сказал мальчик. — Мне другого не надо.

— Другого не надо, говоришь? — Пять Дуро прищурился, словно силясь понять.— Может, ты скажешь, что тебе больше нравится шляться без дела и заниматься черт знает чем?

— Чем хочу, тем и занимаюсь...

— Иногда можно подумать, что ты просто дурачок.— Отец опять взял бутылку анисовой и выпил остаток залпом.— В кои-то веки хотят тебе сделать добро, а ты...

— Я никого об этом не просил.

— Эта сеньора — очень важная особа, у нее большие связи,— настаивал отец.— Если захочет, она может нам навредить.

Антонио не ответил. Отец, братья и сестры — все смотрели на него, а он чувствовал, как в нем поднимается ярость, ярость пойманного в капкан зверя.

— Завтра она придет узнать ответ,— прибавил Пять Дуро.

— Так скажи ей, пусть ждет хоть до самой смерти... Никогда ноги моей не будет в ее доме!

И, не обращая внимания на вопли отца, он стремительно вышел на улицу. Вечерело, соседи снимали с бараков флаги и полотнища. Некоторое время он, раздраженный и злой на себя, брел по предместью. А когда немного успокоился, за ним уже снова, отдуваясь, бежал Рамон.

— Дашь дуро, расскажу, как все было.

Антонио остановился и поглядел на него. Второй раз за сегодняшний день его брат пытается извлечь пользу из этого дела.

— Ну, выкладывай.

Рамон сделал гримасу.

— Раньше заплати.

Антонио пришлось подчиниться, дуро тут же испарился чудесным образом.

— Эта тетка пришла сегодня утром и спросила папу.

— Ты был дома?

— Я-то и открыл ей.

— И что она сказала?

— Ну, это... Что ей в дом нужен мальчик для телефона.

— И что же?

— Вроде ничего... Она очень мало говорила. А когда уходила, дала ему денег.

— Денег?

— Да,— кивнул Рамон.— Разве ты не видел, сколько жратвы на столе?

— И много дала?
— Много.
— Сколько?
— Не меньше трех тысяч.

Больше Антонио уже ничего не мог выжать из брата и отпустил его. Придя в убежище, он рассказал обо всем Метралье.

— Какого черта ей от меня надо?

Несколько секунд его друг озабоченно размышлял.

— Не знаю... На твоем месте я бы пошел к ней.
— Эта тетка только и знает таскаться за мной. Смотрит на меня, а сама — ни слова.
— Вот поговоришь с ней — и все узнаешь.
— Иногда я даже думаю, может, она сумасшедшая...
— Если у нее есть деньги, так ты всегда сможешь чем-нибудь поживиться.
— Я точно знаю, она меня ненавидит.
— Тем более. Раз она знает, где ты живешь, она может запросто тебя продать.
— Ты думаешь?
— Раз она такая бешеная...
— Правда... Стоит мне ее увидать — жуть берет!
— И потом, не забывай о наших планах.
— Я и не забываю.
— Если она протреплется, в один прекрасный день у нас здесь могут появиться легавые.
— Ладно. Я пойду.
— Когда?
— Когда хочешь.
— Ну, завтра?
— Ладно,— прошептал Антонио.— Пусть завтра.

XX

После первого причастия Парня-Кошки Сто Грамм три дня пропадал. Соседи якобы видели, то как он пьянствовал в кабаках китайского квартала, то как отсыпался где-то под навесом, положив голову на корзину, то как на улице Рамблас он болтал с проституткой. Во всяком случае, верно было лишь одно: подаренный святыми отцами костюм испарился, и когда Сто Грамм наконец вернулся, под глазами у него были темные круги, а в кармане — хоть бы один проклятый реал завалялся!

— Во всем виноват Пять Дуро,— всхлипывал он.— Я собирался пойти на мол грузить, а он все заставлял меня пить и пить, пока я не нализался до бесчувствия. А еще друг называется... Тоже мне друг...

Парень-Кошка уже привык к исчезновениям отца и, так же как и мать, не придавал им особенного значения. Отношения его отца с Пять Дуро всегда были бурными, насыщенными жестокими ссорами и неожиданными примирениями. Иногда они не разговаривали целыми неделями, а потом в один прекрасный день снова обнимались как ни в чем не бывало.

— В жизни не скажу ему больше ни слова,— пообещал и теперь Сто Грамм.— Уж на этот раз так и будет.

Портовые надсмотрщики, однако, и слышать о нем не хотели, и потому он на время вернулся к своему старому занятию возчика.

Взгромоздившись на повозку, он возил землю и мусор со станции на берег. К крайнему удивлению мальчика, он начал приходить домой к ужину, а накануне Иванова дня в порыве великодушия дал ему денег из копилки.

— Возьми,— сказал он.— Это тебе к празднику.

Подтянув штаны, Парень-Кошка отправился на площадь. Только что стемнело, но сотни ракет уже бороздили небо и дождем падали на город. Все улицы в предместье были заполнены гуляющими, взлетали в воздух петарды, а на холме кто-то устроил фейерверк.

Проходя мимо дома Сатурио, Парень-Кошка столкнулся с Рамоном. Сын Пять Дуро тоже был без рубахи, оба мальчика остановились посмотреть на приготовления к празднику. Сатурио соорудил перед своим домом небольшую площадку для танцев и украсил ее вымпелами, флажками, фонариками и серпантином. Наряженные в костюмы от Флеча, чинные, словно аршин проглотили, Мариано и Карлитос прохаживались перед домом, делая вид, будто не замечают всеобщего любопытства.

— Ну ты погляди, какие...— Рамон выругался.— Будто им и смотреть-то на нас противно.

— И все потому, что скоро станут жить в собственной квартире. Их отец поповский подлипала.

— Ладно... Лучше не обращать на них внимания.

На углу в киоске они купили бумажные шапочки. Вдоль площади горели костры. Весь город двинулся к морю, и на пляже уже сидело множество парочек. Парень-Кошка с приятелем то и дело ныряли в темноту, чтобы подглядывать за ними. Мужчины и женщины, старые и молодые, тесно прижимались друг к другу, они испуганно убегали от яркого желтого света шаривших по пляжу жандармских фонариков.

Устав прыгать вокруг костров, мальчики повернули направо. Киоски с водой были украшены разноцветными лампочками, репродукторы кричали на разные голоса.

Чем ближе к Барселонете, тем больше росло оживление. Гудели набитые народом закусочные; сверкая огнями, крутилась карусель. Американцы, туристы и просто парочки, привлеченные дразнящим запахом кухонь и закусочных,— все это образовало праздничную толпу, катившуюся под трещавшими в небе ракетами.

— Мсье, силь ву пле.

— Дайте моней.

— Песеты, мистер.

Какой-то официант погрозил мальчикам кулаком. Пробившись сквозь людской поток, они побежали к площади. Парень-Кошка набрал целое дуро, Рамон — всего лишь несколько реалов. Около фонтана народ стоял тесным кольцом, и ребята подошли посмотреть, в чем дело.

— Смотри-ка... Это Кораль...

Девушка была в красном, словно плащ тореадора, платье. Какой-то цыган подыгрывал ей на гитаре, и она плясала, стуча кастаньетами. Платье, мокрое, точно она только что выкупалась в нем, плотно облепляло ее тело.

Парень-Кошка восхищенно смотрел на ее голые плечи, на ее матово-смуглые ноги. Под длинными, загибающимися кверху ресницами сверкали бусинки глаз. В перерывах между танцами она брала блюдо и обходила зрителей, позвякивая брошенными в него монетами; поглядев на Парня-Кошку, она презрительно отвернулась и прошла мимо.

— Детям здесь не место...

Стараясь скрыть смущение, мальчишка сунул руки в карманы. В этот момент он отдал бы полжизни, чтоб хоть минуту побыть с ней

наедине. Кораль смеялась, обнажив белоснежные зубы, и он, раздосадованный, швырнул ей на поднос все свои деньги.

— Эй!.. Ты что, обалдел?

Рамон вытаращил на него глаза и, задохнувшись от ярости, длинно выругался.

Не обращая на него ни малейшего внимания — весь мир вдруг перестал существовать для него,— Парень-Кошка свернул в первую же улицу.

XXI

Малышку нарядили куклой, живой куклой, которая говорила «папа» и «мама», открывала и закрывала огромные темные глаза, ее голову — всю в завитках, как у барашка,— Фуэнсанта украсила разноцветными лентами.

— Смотрите,— сказал Сатурио.— Нравится?

Девочка ползла по столу в шелковом, все в пышных воланах, платьице. Губы ей чуть-чуть подкрасили помадой, уши закрывали две огромные искусственные гвоздики.

— Ой, какая прелесть! — воскликнула Мерседес.— Кто это ее так одел?

— Я,— сказала Фуэнсанта.

— Какая нарядная крошка... Совсем кукла, правда, Маноло?

— Черт побери... Чего бы я не дал за такую вот девчушку.

— Не прижимайся к ней так, милый,— предупредила Мерседес.— Ты уколешь ее усами.

— О, она привыкла,— сказал Сатурио.— Я то и дело целую ее.

— А я, когда была маленькой, не любила...

— Когда была маленькой — возможно,— сказал Маноло.— Но зато сейчас...

Фуэнсанта звонко шлепнула себя по бедру.

— Ох уж этот Маноло... Как скажет...

— Ой,— взвизгнула Мерседес.— Вы его еще не знаете, он такой бесстыдник...

— Это я-то бесстыдник?

— Ты-то. — Мерседес жеманно обернулась к Фуэнсанте.— В жизни не видела большего нахала.

— Послушать ее, так выходит, что ей это не нравится.— Малышка водила ручонками по лицу дяди, пытаясь оторвать пластырь.— А когда мы вдвоем...

— Маноло!

— Маноло...— передразнил он.

Фуэнсанта засмеялась, показывая зубы.

— Известное дело... Жених и невеста...

Мариано и Карлитос заерзали — ревность к успеху сестры сжигала их. Восемь дней назад их дядя нокаутировал Гарсия, и теперь они смотрели на него круглыми от восторга глазами.

— Ну идите, идите сюда...—сказал он, наклоняясь, чтобы обнять их.

Мальчики повисли у него на шее, осыпая его лицо поцелуями.

— А папа учит меня боксу!

— И меня!

— А вчера вечером я влепил Мариано апперкот.

— А я Карлитосу так всыпал, что он плюхнулся.

— Господи, пристали, как липучки,— сокрушалась Фуэнсанта,— не видите разве, что вы надоели дяде?

— Пускай, оставь их,— вступилась Мерседес.— Маноло с ума сходит по детям.

— Обожди, вот будет у вас трое, как у нас, увидишь тогда, как вам быстро все это надоест.

— Нет, мне, наверно, никогда не надоест. Я Маноло часто говорю, что хотела бы иметь дюжину детей...

Сатурио укачивал на руках малышку.

— Пойдемте в столовую,— предложил он,— там нам будет удобнее.

Столовая тоже была украшена серпантином и флажками. На люстре висели разноцветные бумажные фонарики.

— Папа,— спросил Карлитос,— а когда мы будем пускать ракеты?

Сатурио не ответил. На буфете стояли блюда с печеньем и дюжина бутылок марочного вина.

— Если нет возражений, можно садиться за стол.

Мерседес, Маноло и ребятишки уселись вокруг стола. Адела, Паулино и шестеро кузенов обещали прийти к десерту.

— Ты показала им план квартиры? — спросил Сатурио жену.

Фуэнсанта пошла за планом в другую комнату.

— Когда вы переезжаете? — спросила Мерседес.

— В конце лета.

— Вам повезло... Получить квартиру — безумно трудно.

— Падре Буэно взял все на себя.

Вернулась Фуэнсанта с планом. Она поставила на стол поднос, и все сразу же принялись за еду. За окнами мелькали светящиеся хвосты ракет. Разрывы и треск петард наполняли ночь.

— Посмотрите,— сказал Сатурио, разворачивая план.

Все время жуя, он стал подробно описывать прелести квартиры. Маноло раскупорил еще пару бутылок, и Фуэнсанта до краев наполнила бокалы.

— Вот такая квартира нужна бы и нам,— сказала Мерседес, отпивая из бокала.

— А как насчет той, которую вы должны были смотреть с Эстеве?..

— Мы позвонили, но оказалось, что ее уже сдали.

— А я думал, это дело решенное,— сказал Сатурио.

— Из-за его хозяина мы никак не можем пожениться.

— Ну это мы еще посмотрим,— возразил Маноло.

— Ты мечтатель, дорогой,— вздохнула Мерседес.— Что до меня, так я уже потеряла всякую надежду.

— Если не найдем квартиру до августа,— сказал Маноло,— то как бы то ни было, а мы поженимся — и все.

— Вот если бы мама отдала нам половину своей...

— Оставь маму в покое... Раз у меня нет своего дома, я уж лучше буду жить на улице. Скоро полтора года, как я за тобой ухаживаю,— ворчал Маноло.— Я уже по горло сыт ожиданием.

— Чем больше чего-нибудь ждешь, тем больше об этом мечтаешь,— заверила Мерседес.

— Моему Сатурио пришлось ждать меня четыре года,— сказала Фуэнсанта.

— У одних людей больше выдержки, а у других — меньше,— возразил Маноло.

Мерседес состроила гримаску:

— Когда женщину любят по-настоящему, ее ждут.

— И мне это не легко было,— сказал Сатурио.

— Вот так, сеньор,— подтвердила Фуэнсанта.— А пока что надо потерпеть.

Бутерброды исчезали мгновенно, Сатурио откупорил еще две бутылки.

— Папа...— хныкал Карлитос.— Пойдем пускать ракеты...

— Правда, идите,— сказала Фуэнсанта,— чем раньше вы их пустите, тем скорее они пойдут спать.

— Ну, слышали? — обратился Сатурио к детям.— Когда придет Адела, вы отправитесь спать.

— Дядя, пошли с нами,— просил Мариано, дергая Маноло за рукав.

— А мы с Мерседес останемся здесь,— с набитым ртом еле выговорила Фуэнсанта.

— Я возьму с собой малышку,— сказал Сатурио.

— Осторожнее, как бы она не обожглась там.

— Я послежу, не беспокойся.

— Когда будем зажигать мельницу, позовем вас,— пообещал Мариано.

Бенгальские огни и ракеты были упакованы в огромную картонную коробку. Сатурио начал распаковывать ее, Мариано и Карлитос склонились над коробкой, жадно разглядывая ее содержимое. Отец с величайшей осторожностью доставал из коробки различные сокровища и одно за другим показывал их детям. Японские вулканы, которые, извергаясь, выбрасывали целый дождь игрушек; сверкающие водоворотом разноцветных огней вертушки; длинные, тонкие, как колос, ракеты и ракеты-спички; высокие свечи, похожие на елочные; а на самом дне лежал пакет с петардами, завернутыми, как конфеты, в серебряную бумагу...

— Зажги колеса,— попросил Карлитос.

— Нет, вулканы!

— Сначала колеса!

— Если будете спорить, отправлю вас обоих в постель.

Оказавшись под угрозой лишиться праздника, оба замолчали. Сатурио показал им, как зажигаются ракеты-спички, и дал каждому по несколько петард.

— Через минуту быть дома,— приказал он им.

Мариано и Карлитос с радостными криками исчезли в ночи. Через все предместье к Барселонете текла шумная людская река. Маноло связал вертушки, Сатурио прибил их к фонарному столбу. Потом подождал, пока вернутся дети, и наконец зажег шнур. Со страшным грохотом колеса завертелись спиралью. Мариано позвал женщин. Фуэнсанта держала Мерседес за талию; они слегка покачивались — обе были немного пьяны.

Маноло взял на руки племянницу, и малышка с довольной рожицей махала ручками. Когда погасли колеса, Сатурио зажег японские вулканы, а потом ракеты и бенгальские огни.

Запасы огней в конце концов иссякли, и уличный фонарь засиял по-прежнему. Все вернулись в столовую. У Мариано и Карлитоса были сонные лица, и Сатурио отправил их спать. А малышка застыла на пороге и, как зачарованная, смотрела в ночь.

XXII

— Ты куда?

— Так, прогуляться.

— Можно и мне с тобой?

Метралья пожал плечами, словно говоря: «Как хочешь». Цыган и остальные ушли на гулянье еще до прихода Антонио, и теперь он с опаской глядел на злое и раздраженное лицо друга.

С тех пор как Антонио перестал собирать на издание Золотой книги, Метралья частенько разговаривал с ним неприветливо. Весь этот вечер Антонио пробыл в доме Косты. Жена лавочника сняла с него мерку, чтобы сшить ему костюм. Хотя она по крайней мере дважды в день оставляла его в квартире одного, мальчик так и не отважился пошарить в сумке, которую она держала под матрасом.

— Завтра я опять попытаюсь,— пообещал он.

Метралья вылил себе на голову целый флакон одеколона и тщательно расчесал волосы перед зеркалом.

— Если ты каждый день будешь откладывать это на завтра, то мы не уедем и в двухтысячном году.

— Я уверен, что она следит за мной,— сказал Антонио.— Когда я в комнате один, мне все кажется, что она подглядывает в замочную скважину...

— Вчера ты говорил то же самое, золотце... Пока ты решишься, у нас борода отрастет...

Увидев на глазах Антонио слезы, Метралья сжалился и согласился взять его с собой. Антонио тоже умылся и причесался перед зеркальцем. Метралья подал знак следовать за ним, и они отправились.

Антонио был взволнован — в последний раз перед отъездом шли они на гулянье. Антонио вдруг с радостью ощутил, что все это ему уже чуждо. Зрелище ярких огней, бороздящих ночное небо, заворожило его. Равнодушный к его решению, родной город, как всегда, весело смотрел на него. В будущем году Антонио уже здесь не будет, и канун Иванова дня, как и всю свою дальнейшую жизнь, проведет он в чужом краю.

— Интересно,— сказал он.— В последний раз вижу я эти огни и совершенно ничего не чувствую...

— А какого черта тебе чувствовать?

— Не знаю...— Антонио проглотил слюну.— Говорят, когда покидаешь родину, становится грустно и хочется плакать... А мне — нет. Наверно, когда я приеду в Америку, то никогда и не вспомню все это... Как после пробуждения не хочется вспоминать страшный сон...

Антонио высказывал вслух свои затаенные мысли, и, облекаясь в слова, они как бы превращались из эфемерных мечтаний в реальную действительность.

— Мне кажется, я позабуду и свою семью, и предместье... С того момента, как я уеду, жизнь начнется сначала...

Они обошли пляж, миновали закусочные, вошли в Барселонету. Метралья купил несколько шутих и, не слушая Антонио, развлекался тем, что бросал шутихи под ноги встречным девушкам.

— Иногда мне кажется, что я еще не начинал жить по-настоящему,— говорил мальчик.— Не может жизнь быть такой... Вот в Америке...

Проходя по Эль Пасео, они зашли в таверну и выпили несколько рюмок вина. Теперь Антонио вдруг почувствовал, что больше не в силах сказать ни одного слова. Метралья встретил каких-то приятелей, и Антонио как во сне сел вместе с ними в такси.

Огни, треск ракет, фонари, пляшущие на улицах люди — все смешалось в его голове в сплошной хаос. Небо было красным, как от зарева, казалось, город охвачен сплошным пламенем.

Он не помнил, как оказался в китайском квартале. Кто-то нахлобучил ему на макушку феску, голова кружилась, и все кругом вертелось волчком. С величайшим изумлением он обнаружил, что их компания пополнилась незнакомыми людьми. Какой-то цыган играл на гитаре, а остальные пели грубыми голосами:

Все б я тебе простила,
Но ты мою мать обидел..

Антонио тщетно пытался заставить своего друга выслушать его. Метралья брел, выделывая кренделя, и казалось, совсем забыл о нем. Потом все вошли в какой-то подъезд, освещенный цветным фонарем. Антонио хотел было войти вслед за ними, но какой-то человек преградил ему путь.

— Мальчикам нельзя,— сказал он.

Антонио растерянно провожал глазами входящих и выходящих мужчин. На двери была нарисована сирена и висела маленькая табличка: «Детям до шестнадцати лет вход воспрещен». Воспользовавшись возникшей в дверях заминкой, Антонио снова попробовал было протолкнуться, но швейцар погрозил ему:

— Сказано, убирайся отсюда.

Нерешительно — голова была тяжелой, как чугун,— бродил он от одной группы мужчин к другой и всех спрашивал:

— Что там внутри?

Но никто не обращал на него внимания. Только один, в бумажном колпаке, подвязанном под подбородком лентой, расхохотался в ответ и сделал какой-то непонятный жест рукой.

Не зная, куда деваться, Антонио сел на край тротуара. Мимо него, громко разговаривая, проходили люди, им было весело, при этой мысли глаза Антонио наполнились слезами. Вокруг бушевало веселье, а он чувствовал себя одиноким, покинутым. Долго сидел он так, глядя на подъезд, в котором исчез Метралья. Казалось невозможным, чтобы его друг мог просто забыть о нем. Ему безумно захотелось тотчас же увидеть его в дверях: «Ну и напугал же ты меня, Малыш... Я ведь думал, ты вошел с нами...» Конечно, он просто еще не заметил, что Антонио нет с ними, а как только выйдет и увидит его здесь, обязательно потащит в какую-нибудь таверну пропустить стаканчик...

Антонио чувствовал, как тело его немеет, словно становится чужим, и он заснул. Когда проснулся, по всей улице щелкали петарды, люди все еще толпились у подъездов домов. Он протер глаза и поднялся. На его часах было десять минут третьего. Метралья, должно быть, ушел, так и не заметив Антонио. Пытаться отыскать его сейчас — все равно что разыскивать иголку в стоге сена.

Расстроенный, прошел он через Конде-дель-Асальто до Рамблас. Гулянье было в самом разгаре, народ стекался к порту, редкие трамваи были набиты битком. Антонио вскочил на буфер трамвая и доехал до мола.

Мысли путались, он сел на углу, пытаясь привести их в порядок. От шумевшего вокруг чужого веселья было тошно. Невдалеке кто-то тоже сидел на корточках, как и он. Это была девушка, волосы ее растрепались, неверными движениями она пыталась причесать их.

Вокруг сыпались искры от ракет. Словно притягиваемый магнитом, Антонио поднялся и подошел к ней. Кораль не заметила его, как и он, далекая от царившего кругом веселья. Антонио молча уселся рядом

XXIII

— Ты что здесь делаешь? Откуда ты?

— Я сидел здесь, на углу, и вдруг мне показалось, что это ты.

— Я пьяна,— объяснила Кораль. Она показала ему почти пустую бутылку шампанского.— Одна вылакала.

— Я тоже выпил порядочно,— сказал он.

— Правда? — Девушка посмотрела на него, словно желая убедиться, что он ее не обманывает.— Не беспокойся, у меня есть еще одна.

— Я пьян, как бочка, это Метралья напоил меня.

— Метралья? Где он?

— Не знаю... Пошли мы вместе, но потом я его потерял.

Кораль пожала плечами, словно говоря: «Ладно, не важно».

— Хочешь этой шипучки? — Она протянула ему бутылку.

— Наверно, в голову ударяет, да?

— Ну и что? Разве сегодня не Иванов день?

— Да... Верно.

Антонио отхлебнул немного и поперхнулся.

— Иногда смех берет на тебя смотреть,— сказала Кораль.

— Да я его первый раз пробую.

— Ты еще ничего не пробовал...

При свете огней кожа ее еще больше отсвечивала медью и зубы казались еще белее.

— Тебе нравится гулянье?

— Да.

— Я просто без ума от него.— Она поставила бутылку на землю и щелкнула пальцами.— Всю ночь проплясала...

— Где?

— Здесь... Люди кидали мне монеты...

— А я свои уже просадил,— сказал мальчик.

Будто не слыша его, Кораль показала ему на стоящего метрах в пятнадцати мужчину.

— Он, наверно, уже полчаса мне подмигивает,— тихонько засмеялась она.

— Чего ему надо?

— Ясно чего... Чего и всем.

Антонио посмотрел с любопытством: на мужчине был синий летний костюм, ворот рубашки был расстегнут, галстук съехал набок.

— Где ты будешь сегодня ночевать? — вдруг спросила Кораль.

— Не знаю...— Мысль о возвращении в убежище без друга пугала его.— Где-нибудь...

— Не хочу сегодня идти домой. Опротивело мне слушать старухин храп.

— В такую погоду лучше всего под открытым небом.

— Я знаю одно местечко — красота... Если хочешь, там можно улечься вместе.

— Ладно,— согласился он.

Кораль поднялась, расправляя платье. Антонио нагнулся за бутылкой шампанского. Кораль схватила пустую и швырнула ее в разрушенную кирпичную стену, бутылка разлетелась вдребезги.

— Пошли?

— Пошли.

Чтобы отделаться от мужчины, все еще глядевшего на них, они смешались с пьяной толпой. Пляж был забит людьми, все пили. На

площади горели костры, несколько подвыпивших парней с криками бежали вдоль берега.

Они прошли мимо таверны Маньо и свернули в одну из боковых улочек. Кораль вела его за руку, и он чувствовал ее сухие теплые пальцы. Они шли, и праздник отодвигался все дальше и дальше. Печально светили редкие фонари, и какая-то собака, тявкая, долго шла за ними.

«Ни одного очага без ог...» Стена вокзала местами разрушилась, и через узкий пролом они вылезли на пути. Освещенные лунным светом, дремали вереницы вагонов. Треск ракет едва доносился, смягченный расстоянием. Где-то далеко свистел паровоз, вдали светлым пятнышком светилась будка стрелочника.

— Сюда,— указала девушка.

На путях буйно разрослась трава; казалось, вагоны стояли здесь уже века. К величайшему своему удивлению, Антонио обнаружил, что многие из них обитаемы. Дикий виноград обвивал трубу одного из вагонов, из другого доносился монотонный плач ребенка.

Кораль остановилась перед товарным составом, начало состава терялось вдали. Помедлив несколько секунд, она забралась на платформу и помогла подняться Антонио. Платформа была завалена соломой. Кораль со вздохом растянулась на ней.

— Иди сюда, красавчик!

Антонио улегся, не выпуская из рук бутылку шампанского.

— До того как мы нашли убежище,— объяснила Кораль,— мы с Метральей жили здесь.

Мальчик ничего не ответил. Сноп разноцветных бенгальских огней разорвался в ночном небе, искры дождем осыпали их.

— Хорошее местечко, здесь можно спокойненько все делать.

— Что делать?

— Ах да! — засмеялась Кораль.— Я и забыла, что ты еще мальчик.— Резко выпрямившись, она притянула к себе его голову.— С такой хорошенькой мордашкой — это просто преступление.

Неожиданно Антонио почувствовал прикосновение ее губ.

— Не сжимай губы, черт побери... Я тебя не укушу.

Мальчик подчинился, сердце его стучало. С минуту они лежали обнявшись и целовались. Вдруг она оттолкнула Антонио и взялась за бутылку шампанского.

— Выпьем сначала,— предложила она.

Антонио опустил голову, не решаясь взглянуть на нее. Он коснулся ее платья и с изумлением обнаружил, что оно было мокрым.

— Ты выкупалась прямо в платье?

— Да. Когда одежда высыхает, то пристает к телу... Это Метралья меня научил.

Она ударила бутылку о край платформы, и шампанское брызнуло пенной струей.

— Ну, лакай...

Боясь опять поперхнуться, Антонио стал пить маленькими глотками.

— Нравится? — спросила Кораль.

— Очень щиплет...

— Это самая лучшая марка, какая только есть. По двенадцать дуро за бутылку.

— Дай-ка еще.

— Осторожнее... Не наклоняй так, а то порежешься.

Растянувшись на соломе, Антонио стал пить. Голова опять сладко закружилась, и тело стало рыхлым, как губка.

— Последний раз провожу я здесь Иванов день,— произнес он.
— Последний? Почему последний?
— На будущий год меня уже не будет в Испании.
— Ты уезжаешь? — Теперь она взялась за бутылку.— Куда?
— Не знаю... В Америку.
— Почему?
— Здесь никогда ничего не случается... Каждый день одно и то же.
Рука девушки скользнула по его телу.
— Ты меня не бойся.
— Я не боюсь.
— Не двигайся. Я все сделаю сама.
— Ладно.
— Ляг вот так... Как будто спишь...

Мальчик повиновался. Веки сами собой закрылись, перед глазами поплыли звездочки... Как сквозь пелену слышал он треск разрывающихся ракет. Паровоз опять засвистел...

— Мы едем,— понял он вдруг.
— Это поезд,— прошептала она.— Поезд тронулся.
— Мы уезжаем... Уезжаем из Барселоны.
— Да, далеко... Очень далеко...

Столбы набегали и отступали, набегали и отступали опять, огни выписывали в ночи арабески, паровоз сопел, фыркал...

И вдруг все исчезло, Антонио очутился в Венесуэле (превратившись в Сабатера), потом в Техасе, сея страх, как Мула. С ним был Метралья, как и он — знаменитый разбойник, и оба были несказанно богаты.

Через несколько минут поезд остановился.

Занявшаяся заря застала двух пьяных, зарывшихся в солому ребят, оба спали глубоким, непробудным сном.

XXIV

Вино в конце концов иссякло, и на подносах больше не осталось печенья. Сатурио открыл кухонный шкаф и просмотрел на свет все бутылки. Не считая непочатого ящика кока-колы, оставалось всего поллитра пепермина и маленький графинчик малаги.

— Больше ничего не нашел,— объяснил он, выставляя оставшееся на стол.

— О, не беспокойся! — сказала Адела.— Этого вполне хватит.

— Когда ты основательно под мухой,— заметил Паулино,— все равно, что пить.

— Да,— подхватил щупленький кузен.— Дайте мне сейчас денатурат, я его тоже одним духом выпью.

Они сидели тесным кружком, касаясь друг друга телами, на каждом — бумажная шапочка.

— Чего тебе? — спросил Сатурио у Паулино.— Малаги или пепермина?

— Все равно... Капни ликера.

Фуэнсанта сидела на коленях у Сатурио и вдруг, резко повернувшись, обхватила его за шею и принялась неистово целовать в губы.

— Ну, ну, не надо... Оставь на потом.

Крошечная бумажная шляпка не скрывала возбужденного лица Фуэнсанты.

— Мужу и жене все позволено.

— Конечно,— согласился Паулино.— Вот и мне тоже хочется поцеловать мою кошечку.— И он проделал это под общий смех.

— А вот я своему Маноло не дам выпить ни капельки этого ликера,— заверила Мерседес.

— Вот-вот,— сказал лысый кузен.— Холостым не следует пить.

— Только женатым,— засмеялась Адела.— Женатым и их женам.

— Конечно. Какого черта... Сегодня ведь Иванов день, надо же его отпраздновать.

Переходя из рук в руки, бутылка обошла вокруг стола. Радио было включено на полную мощность, и какая-то певица истошно вопила: «Любовь, любовь...»

— Потанцуем? — предложил Паулино.

— Я — нет... Мне хорошо на коленях у моего котика.

— Слишком жарко,— сказала Мерседес.

— Тогда давайте рассказывать анекдоты.

— Вот это правильно,— одобрила Адела.

— Ну, кто знает?

— Маноло очень здорово их рассказывает.

— Ой! — жеманно взвизгнула Мерседес. — Мне придется заткнуть уши.

— Заткнуть уши? Почему?

— Если будешь рассказывать ты, я представляю, до чего это будет неприлично.

— Ну и что? — возразил Маноло.— Посмотри, Адела и Фуэнсанта не стесняются... А разве они не такие же женщины, как и ты?

— О, большая разница: они замужние.

— Замужние ли, нет ли — одно и то же.

— По теперешним временам и незамужние слушают все.

— Конечно,— сказала Фуэнсанта.— Раз никаких следов не остается — значит, можно.

Обойдя круг, бутылка с пепермином опустела, и Маноло пустил по рукам графинчик с малагой.

— Ну давай, мы слушаем,— сказал Паулино.

Маноло снял бумажную феску, словно она мешала ему сосредоточиться.

— Знаете, как собирается одна замужняя женщина к врачу?

Все ответили, что не знают.

— Собирается одна бойкая женщина к врачу...

Он рассказал все перипетии истории медленно, с расстановкой, подождал, пока все засмеются, и засмеялся сам.

— Ой, сейчас умру! — визжала Мерседес, держась за живот.

— Ох и Маноло! Умеет рассказать...

— Я это знала, только немного иначе.

— Я тоже, но так гораздо лучше.

— А про жирафа и обезьяну слыхали? — разом усмирил всех Маноло.

— Нет,— сказала Фуэнсанта, икая.— Давай рассказывай...

— Обожди,— остановил Паулино.— Пойду принесу стакан воды.

— Возьми бутылку кока-колы,— сказал Сатурио.— Я поставил несколько штук на холодок около двери.

— Принеси и мне,— сказал щупленький.

— Мне тоже.

— И мне.

— Постой,— сказала Адела.— Я помогу тебе донести.

Пошатываясь, в сползших набок шляпах, они пошли к двери. Где-то в предместье трещали ракеты.

— А потом я расскажу еще один, здорово соленый,— пообещал Маноло.

И вдруг послышался страшный крик. Адела с искаженным ужасом лицом вбежала в столовую. Все разом повскакали с мест.

— Что случилось?

— Девочка...

— Что?..

— Девочка...

— Господи!

Судорога, словно от удара плетью, хлестнула тело, и Сатурио рванулся к двери. Вскакивая, он сильно толкнул стол — пустые бутылки и стаканы со звоном полетели на пол.

— Пустите!

Все хотели выбежать вместе с ним, и ему пришлось расталкивать их локтями. Адела все еще бормотала:

— Девочка, девочка...

На мгновение Сатурио показалось, что сердце у него сейчас остановится. Когда он выбежал, Паулино стоял на коленях перед ящиком с фейерверком и бессмысленно смотрел на него стеклянными глазами.

— Она лежала на полу,— обезумев, бормотал он.— Когда мы вошли, ее уже всю скорчило.

Сатурио взял девочку на руки и поднес к свету: щеки у малышки посинели, на губах выступила пена. Время от времени она шевелила ими, словно ее мучила жажда, и какая-то странная дрожь пробегала по ее лицу.

Он закрыл глаза, тщетно пытаясь пробудиться от кошмара. Вино камнем давило на желудок, и, не выпуская из рук девочки, он наклонился над ящиком с кока-колой — его рвало.

Он видел бледные лица остальных, их широко раскрытые глаза и рты, но не мог понять ни слова. В ушах гудело, как сквозь пелену он увидел тело жены, упавшей без чувств.

— Она съела порох из петарды,— услышал он наконец.

— Вот... Вот бумага.

— Она ее потянула в рот, наверно, думала, что это конфета...

Лицо девочки стало фиолетовым. Локоны ее все еще были украшены лентами, и уши закрыты искусственными гвоздиками. Она казалась куклой — испачканной старой куклой, с круглыми, как бусины, глазами и безжизненными белыми ручками.

— Она отравилась...

— Надо что-то делать.

— Помашите веером, ей нужен свежий воздух.

— Дайте ей воды...

— Надо пойти за врачом...

— Надо отвезти ее в больницу...

Маноло, Мерседес и все остальные пошатывались, из-под бумажных шляп глядели на Сатурио их мертвенно-бледные лица. Дом напоминал поле битвы, праздничные украшения казались зловещими. Ветер шевелил ленты серпантина, оборванные, иссохшие... Разноцветные фонарики заливали дом неестественным, глумливым светом.

И вдруг вся эта страшная декорация отступила. Сатурио почувствовал, что бежит, прижимая к груди сжавшееся в комочек тело девочки. Кто-то — Маноло? — кинулся за ним, вокруг подмигивали и искрились ракеты, бенгальские огни, вертушки; люди, в таких же, как у него,

бумажных колпаках, вставали на его пути, швыряя ему в лицо горсти конфетти, их смех ножом резал его сердце.

— Господи, господи, господи!..— повторял он сквозь зубы с мольбой, отчаянием и яростью, крепко прижимая к себе сведенное судорогой тельце. Вокруг бушевало веселье, а он все бежал, не разбирая дороги; радость этих людей смертельно ранила его.— Больница! — выл он.— Где больница?

Их лица проплывали перед ним, раскрашенные, безжизненные, как маски, они тонули в ночи прежде, чем он успевал услышать ответ. Глаза девочки были по-прежнему раскрыты. На бегу он втянул ртом пену с ее губ.

— Умирает,— бормотал он.— Надо спасать...

Никто вокруг не понимал его, он, как волчок, вертелся на месте. Зловещие отсветы костров ложились на лица, и казалось, люди насмешливо подмигивают, злобно хихикают, гримасничают...

— Сволочи! — кричал он.— Чтоб вас всех громом поразило...

Он вдруг обнаружил, что сидит на земле и дико хохочет. Бумажная шляпа слетела с его головы и белела на асфальте, точно цветок. Вокруг собралась толпа зевак, какой-то молодой человек в очках выслушивал малышку.

— Надо спасти ее,— твердил Сатурио, всхлипывая.— Спасти... Спасти...

Человек в белом халате унес в санитарную машину мертвое тельце.

XXV

Тельце положили в деревянный гроб и поставили на стол в столовой. Белый крашеный гробик был немногим больше коробки для куклы, он утопал в цветах.

Малышка по-прежнему была в праздничном наряде: пышное платьице, ленты, бусы. Фуэнсанта нарисовала на ее щечках два розовых кружка, а на губах — крошечное карминное сердечко. Волосы были заботливо расчесаны и подняты узлом, трогательно сложенные на груди ручки держали искусственную орхидею.

В доме еще сохранились следы праздника. Ветер развевал флажки и вымпелы над дверью, по углам лианами свисал серпантин, светились бумажные фонарики. Дом был полон народу: люди приходили и уходили, останавливались, смотрели на девочку, подходили к родителям и пожимали им руки.

— Сочувствую вашему горю.

Сатурио машинально благодарил. Он был весь в черном, на лице — глубокие морщины, казалось, он постарел за одну ночь. Рядом, пряча лицо в платок, плакала Фуэнсанта. Маноло, Мерседес, Адела и Паулино вздыхали, обмахиваясь веерами. Стояла адская жара, в комнате было душно. Лица людей покрылись потом. Все молча смотрели на гроб.

— Она похожа на ангелочка,— прошептал кто-то.

— Не хватает только крылышек.

— Господь призвал ее к себе.

— Он всегда призывает лучших.

Дети вели себя степенно, чувствуя торжественность минуты. Карлитос выступал в роли хлебосольного хозяина и предлагал всем питье.

— Что вы желаете? Лимонад или кока-колу?

Пять Дуро выбрал кока-колу. Он стоял с бутылкой в руках и печально смотрел на происходящее. Уголком глаз он время от времени косился на входивших, подкарауливая Сто Грамм.

— Это же скандал,— прошептал он на ухо Эваристо.— Держу пари, он даже пошел на работу.

В прихожей послышался разноголосый шум, народ расступился, пропуская священника. Лицо падре было мокрым, будто он только что из-под душа, и, прежде чем обнять скорбящее семейство, ему пришлось отереть пот.

— Смирение,— бормотал он, отдуваясь.— Смиритесь с волей господней...

Все опять уселись. Солнце нещадно палило сквозь тонкую крышу барака, лепестки цветов свернулись и пожелтели.

— Господи! Какая жара!

— Ну и духота!

— Выпейте кока-колы, падре.

— Спасибо... Дайте мне сначала веер.

Закрыв лицо руками, снова заплакала Фуэнсанта.

— Она счастливее нас всех,— утешала ее Адела.

— Да. По крайней мере перестала страдать.

— Должно быть, сейчас смотрит на нас с неба.

Туча мух вилась над трупом, и Мерседес благочестиво старалась отогнать их. Маноло маленькими глотками осушал бутылку кока-колы, а падре не то молился, не то дремал, прикрыв глаза.

— Все мы родимся для того, чтобы умереть.

— Человек есть прах.

— Всем придет черед.

Снова послышались голоса в прихожей, и Пять Дуро высунулся поглядеть, в чем дело. Подъехал фургон, из него вышел еще один священник с двумя служками, они удивленно разглядывали праздничные флажки над входом.

— Уже пришли...

— Пропустите.

Двое служащих похоронного бюро вошли, чтобы взять гроб. Стоя на улице, Пять Дуро слышал плач Фуэнсанты и утешения падре.

— Деточка моя... Уносят мою деточку.

А священник говорил, что господь посылает несчастья, чтобы испытать человека, и напоминал, что жизнь была и вечно будет юдолью слез.

Из дома вышли служащие с гробиком и поставили его в фургон. Второй священник и служки тотчас же уселись позади гроба. Сатурио и дети, торжественно выпрямившись, стали во главе процессии. Пять Дуро присоединился к группе друзей. Шествие тронулось, и священник со служками запели.

Свернув у первого же поворота налево, процессия направилась к шоссе, огибавшему стену вокзала. Солнце безжалостно лилось им на головы, непокорный ветерок поднимал завитки пыли, и она оседала в горле.

Все предместье сбежалось на погребение малышки, с каждым шагом новые и новые группы взрослых и детей присоединялись к траурному кортежу. Пять Дуро увидел свою собственную супругу, Хинера, Эмилио и жену Сто Грамм.

Катафалк медленно двигался, объезжая рытвины, священник со служками тянули усталыми голосами псалмы. Пять Дуро шел, смотрел на дырявые сапоги шагавшего впереди Эваристо и обмахивал рукой распаренное лицо.

— Эх-хе-хе... Ну и жара!.. В жизни ничего похожего не видел.

— Ну так увидишь,— отвечал ему сосед.— Это еще только начало.

— Моей жене кто-то сказал, что это все от бомбы.

— Да. Все от этих атомов...

Они подошли к переезду. Несколько тощих собак рылись в мусоре возле дороги. Завидев приближающийся кортеж, они кинулись прочь. Приторный запах гнилья вдруг обступил со всех сторон, трудно было дышать — процессия находилась в самом центре свалки. И тут шофер принялся сигналить.

— Что случилось?

Они остановились, потные, запыленные, отупевшие от невыносимого зловония и безжалостного зноя. Священники и служки перестали бубнить псалмы — все смотрели на неподвижно застывший черный катафалк и гневно жестикулировавших служащих похоронного бюро.

На дороге застряла повозка, до краев нагруженная песком. Возчик осыпал тощую лошаденку руганью и проклятиями. Но она, казалось, не обращала на него ровно никакого внимания и упорно не двигалась с места. Пять Дуро отделился от кортежа и побежал к повозке. Он узнал возчика по цвету рубашки. Это был Сто Грамм.

— Пустите меня! — кричал он служащим похоронного бюро.— Я сам займусь им...

У повозки сломалась оглобля. Сто Грамм поставил подпорку и с налившимся кровью лицом дергал вожжи, тщетно пытаясь вытащить лошадь из выбоины.

— А ну, мигом проваливай отсюда,— грозно закричал Пять Дуро.— Дай нам дорогу.

Не отвечая, Сто Грамм снова дернул поводья. Лошадь рванула, но, к величайшей радости Пять Дуро, осталась на том же месте.

— Мало того, что он сам не явился,— пояснил Пять Дуро служащим,— так он еще хочет сорвать нам церемонию.

— Ничего я не срываю и никому не мешаю,— отвечал, отдуваясь, его приятель.— Кляча застряла...

— Это ты рассказывай своей бабушке.— Пять Дуро повысил голос, чтобы слышал священник.— Если бы он был добрым другом, как все, пошел бы с нами на погребение. А то ведь нет... Смылся скорее на работу...

— У меня семья на шее,— сказал Сто Грамм.— Мы не живем милостыней, как вы.

— Видали? — Пять Дуро обернулся к процессии.— Не только встал у нас на дороге, но и нас же еще оскорбляет.

— Не вставал я на дороге и никого не оскорбляю.

— Помолчи... По крайней мере из уважения к сеньору священнику помолчи...

— Это ты ко мне пристаешь. Я к тебе не лезу.

— Будьте все свидетелями, что́ он тут говорит...

— Не ври!

— Каменное у тебя сердце, вот что... Издеваться над людьми, когда у них такое горе.

Тем временем лошаденка сама выбралась из выбоины и побрела по дороге. Когда приятели опомнились, катафалк, священник, служки и весь кортеж растаяли вдали.

А они, пьяные от зноя, еще долго спорили, и только голодные бродячие собаки да виновница стычки — грустная кляча — были свидетелями их перебранки.

XXVI

Свет в баре был погашен, и Маньо сам провел его через зал. Слева от стойки за занавеской была дверь в заднюю комнату. Еще с порога он с удовлетворением увидел, что пришли все: Эмилио, Коста, старик и грузчики. Все они сидели вокруг стола и сосредоточенно слушали радио.

— Сейчас выступит депутат,— пояснил Эмилио, подмигнув.

Маньо принес еще стакан и наполнил его до краев. Из приемника слышался неясный шум, какой обычно предшествует всем официальным собраниям. Разноголосая толпа, повинуясь, видимо, какому-то знаку, стала понемногу затихать.

— Послушаем, что он скажет,— усмехнулся один из грузчиков.

Хинер присел на скамейку. То, что рассказывал, возвратясь из Франции, Эмилио, произвело на него огромное впечатление, и впервые за много лет Хинер опять был полон надежд. Безудержная потребность действовать сжигала его. Сегодняшняя встреча близких друзей будет первым шагом и, может быть, решающим. Они обменяются мыслями и, возможно, договорятся о чем-нибудь важном.

«Товарищи профсоюзные делегаты,— загремел голос.— Приветствую вас и этим ограничиваюсь, так как боюсь вас утомить, и еще потому, что мы предпочитаем щедрость в делах, а не в речах...»

Маньо пошел за новой бутылью вина. Все вдруг разом заговорили. Голос, несшийся из приемника, казалось, привел всех в хорошее настроение, и, пересмеиваясь, они чокнулись.

— Ты уже рассказал им? — спросил Хинер.

— Так, немного,— ответил Эмилио.

— Что же, тогда можно начинать.

— Подождем Маньо,— заметил коренастый грузчик.

Хозяин вернулся с бутылью, и Эмилио приглушил радио.

— Давай, мы слушаем,— сказал он.

Хинер прочистил горло. Накануне вечером он написал длинную речь, но, уже выйдя из дому, порвал ее в клочки и решил положиться на свое красноречие.

Облокотившись на стол и ни на кого не глядя, он пытался рассказать о тех видениях, что мучили его бессонными ночами, о тех, кто имеет все права, и тех, кто ютятся в бараках, словом, о людях центра и людях предместья...

— Власть, деньги, штыки, радио, газеты,— говорил он,— принадлежат людям центра. Казалось бы, и те и другие — люди, на самом же деле люди — только те, из центра. Они прожорливы и алчны — дайте им выпить море, они все равно не утолили бы жажды. Они монополизировали Правду, Достоинство, Душу и Совесть, и люди предместья бессильны против них, потому что их лишили всего-всего, даже языка...

— Языка? — прошептал усатый грузчик.— Это как же?

Хинер отер вспотевший лоб. То, что он хотел сказать, казалось ему абсолютно ясным, но стоило ему облечь свои мысли в слова, как ясность исчезала. Он сам чувствовал, что речь его сбивчива, но не знал, как избежать этого.

—...Люди центра,— пояснил он,— присвоили язык людей предместья. Раньше слова были как монеты — настоящие и фальшивые. Теперь же в ходу одни только фальшивые монеты. Слова «хлеб», «справедливость», «человек» потеряли свое истинное значение. Они стали пустым звуком, орудием лжи. Все равно что сказать «да» или «нет». Люди из

предместья могут говорить «нет», и это их «нет» всегда будет «да». Или говорить «да», которое всегда будет «нет». Люди центра захватили их слова, лишили их живой плоти и пересадили на свою бесплодную почву. Правда не может сойти с их языка, как не может расти трава на асфальте их улиц. Совесть их растяжима, рука — скупа. Слово «хлеб» у них не означает хлеб, слово «человек» — не означает человек. Каждое слово стало у них мышеловкой, каждая фраза — ловушкой... И люди предместья вынуждены молчать. Ибо язык уже не подвластен им...

Хинер остановился, перевел дух и обвел взглядом лица друзей. Грузчики, Эмилио, Маньо внимательно смотрели на него. Эваристо пересыпал окурки из одной банки в другую. Коста с блаженной улыбкой чуть кивал головой в знак согласия.

— Мы наги и бессловесны...— продолжал Хинер.— Силы в этой борьбе настолько неравны, что много раз вы говорили себе: «Не стоит даже и пытаться начинать снова». Пяти, десяти, пятнадцати лет напряженных усилий кажется вам более чем достаточно, ведь жизнь-то только одна...

— Мне на моем веку порядком досталось,— тихо сказал грузчик.— И уж теперь-то я не буду таскать из огня каштаны ни для кого...

— Я тоже так думал,— продолжал Хинер, пропустив мимо ушей замечание грузчика,— изо дня в день моя жена напоминает мне о годах унижений и голода, которые выпали на ее долю, и ей удалось убедить меня, что все было напрасно...

— Народ научен горьким опытом,— снова прервал Хинера грузчик.— После того что произошло...

—... и мне стало даже казаться, что сама идея свободы — это обман, потому что она привела нас к катастрофе, завела в настоящий тупик... И с какой стороны я ни смотрел на свою прошлую жизнь — я не видел ничего, кроме иллюзий и разочарований... Но вчера, возвращаясь с похорон, я вдруг словно прозрел. Я понял, что жизнь моя не была бесполезной... что, несмотря на видимые неудачи, в ней был смысл...

Он замолчал, выжидая, какую реакцию произведут его слова на слушающих. Голос по радио продолжал: «Вы создадите царство мира, ибо вы благородны и в крови ваших детей и детей ваших детей бурлит воспоминание о ваших прежних страданиях и о вашей победоносной борьбе за порядок и социальную справедливость...»

— Я понял, что мое поражение, наше поражение имело свой смысл, что наши усилия не пропали даром и что мы можем и должны начать все сначала.

— Начать сначала? — спросил усатый.— Что начать?

— Действовать,— ответил Хинер.— Надо установить какой-то определенный день и собираться, как сегодня, надо работать — каждый на своем месте,— искать способов сплотиться.

Пораженные, все долго молчали. Хинер расстегнул воротник рубашки.

— Сплотиться в настоящее время,— высказал свое мнение коренастый грузчик,— по-моему, это утопия.

— По моему, тоже,— согласился Хинер.— И тем не менее мы обязаны попытаться.

Подняв глаза, он увидел, что друзья глядят на него со смешанным чувством изумления и разочарования. Не слушавший разговора Эваристо продолжал пересыпать окурки. Коста все так же блаженно улыбался.

— Я думаю,— снова заговорил Хинер, стараясь сосредоточиться,— что эта утопия и есть как раз то, к чему мы недостаточно сильно стремимся.— Слова опять подвели его, и он попытался более удачно сформу-

лировать свою мысль: — Вчера, возвращаясь с кладбища, я понял, что мы должны стать мечтателями, утопистами, если хотим, чтобы что-то изменилось.— Бутылка с вином стояла рядом, и он быстро наполнил стакан.— Никогда у нас не будет единства, если мы не захотим его в тот момент, когда оно кажется невозможным,— выпалил он, осушив стакан.— Все мы жаждем справедливости, но мы никогда не добьемся ее, если не потребуем справедливости сейчас, когда знаем, что к нашим требованиям не прислушаются.

— Я не понимаю,— сказал коренастый грузчик.

— Возьмем такой пример.— Хинер опять наполнил стакан и выпил.— Всем известно: права не дают, права берут.— Он поднял глаза, желая убедиться, что его слушают.— Так вот. Это то же самое. Чтобы требовать свободу, не следует ждать того момента, когда наше требование будет осуществимо. Для того чтобы свобода когда-нибудь стала реальной, нужно требовать ее сейчас, когда она еще утопия.

— Кажется, я тебя понимаю,— сказал Эмилио, удивленно подняв брови.

— Другими словами... Возвращаясь домой, я понял, что мы должны быть утопистами, если хотим добиться своего. И как только это стало мне ясно, все снова приобрело смысл...

Его взгляд на несколько мгновений задержался на цветной рекламе кока-колы. «Товарищи,— говорил голос по радио,— наше дело трудное, но настоящим мужчинам, закаленным в суровых боях, как вы и ваши отцы,— оно по плечу...»

— Все... Мое поражение и ваше... Поражение людей предместий всех городов... Первая Республика была утопией и вторая тоже... И я понял вдруг: все, за что мы боролись по сей день, было неосуществимо, и несмотря на это — необходимо. Я постиг, что мы не можем отказываться от утопии, потому что благодаря нашим прошлым поражениям и поражениям грядущим Республика в конце концов придет, и на этот раз она победит.

— Все это очень сложно,— сказал усатый, почесывая затылок.

— Очень сложно и очень трудно,— поддержал коренастый.

— Если я тебя правильно понял,— едва слышно сказал Эмилио, глаза его блестели,— ты предлагаешь действовать, заранее предвидя поражение.

— Да,— подтвердил Хинер.

— Ты предлагаешь жертву.

— Да. Жертву.

Шумный всплеск аплодисментов отметил окончание речи депутата. Депутат провозгласил традиционные призывы. Оркестр заиграл государственный гимн.

XXVII

Когда воцарилось молчание, Маньо выключил приемник.

— Способность к жертве — самое возвышенное свойство человеческой души,— с неожиданным пылом сказал Коста.

— Может, и возвышенное и все что угодно,— ответил коренастый грузчик.— Только теперь, после того что было, мало кто склонен к идеалам и к жертвам.

— Каждый держится за свое,— сказал третий грузчик.

— Одни — за кафе, где можно спокойно посидеть, другие — за бабу...

— Тот любит кино, тот футбол, этот бой быков...

— Кому — лишь бы кутнуть, когда можно...

Эваристо закрыл банки с окурками и начал насвистывать.

— У меня никогда не было идеалов,— продолжал Коста, и щеки его пылали,— но я всегда восхищался теми, у кого есть идеал. Неважно какой... Но есть...

Не оправившись еще после того усилия, с каким далась ему речь, Хинер не решался заговорить. Он слушал их обескураженный.

— Речь идет не о том, чтобы жертвовать бессмысленно, из удовольствия чувствовать себя мучениками,— пришел ему на выручку Эмилио.— Наш друг предлагает трудиться по мере сил для достижения далекой цели.

— Трудиться?.. Очень хорошо,— прервал его усатый,— но как?

— Каждый на своем месте,— отвечал Эмилио.— Он — в своем гараже, ты — у себя на работе, я — у себя...

— В порту полно шпиков,— прошептал коренастый,— в прошлом месяце у нас одного парня забрали.

— Всякая деятельность предполагает риск. Если мы не начнем борьбы, нам никогда не удастся объединиться.

Хинер смотрел на него с признательностью. Эмилио говорил уверенно, и грузчики слушали его с интересом.

— ...Если мы хотим что-то получить, мы должны рисковать. А если нет, то нечего тогда и жаловаться — значит, мы заслуживаем своей участи.

— Я знаю нескольких человек, с которыми можно поговорить без опаски,— немного поколебавшись, сказал усатый.

— Вот об этом и речь: подобрать надежных людей и поговорить с ними... Если каждый из нас найдет пять человек, а те пять еще по пять и так далее, то представьте тогда, что будет... Наши отцы действовали так и добились больших успехов...

Разговор, казалось, потек наконец по правильному руслу, и Хинер с бьющимся сердцем переводил взгляд с Маньо на грузчиков, с грузчиков на Эмилио... На мгновение взору его опять представилось сообщество обездоленных. Разрозненные частицы мало-помалу сливались в единое целое... Может быть, уже пробил час объединения. Правильно говорил Эмилио, многие славные дела начинались вот так же трудно... Но в тот самый момент, когда он уже хотел было высказать свои мысли, кто-то забарабанил в дверь бара, и все мгновенно умолкли, затаив дыхание.

— Пустите,— требовал голос за дверью.

— Откройте... Полиция...

Удары сыпались все настойчивее, словно град камней по черепичной крыше. Сбившись в кучку, они смотрели на единственное окно, круглое, как иллюминатор. По удрученным лицам друзей Хинер понял, что они попались.

— Мы все слышали,— сказал за дверью знакомый голос.

— Мы тоже хотим участвовать в заговоре...

— Открывайте, не то донесем на вас...

Маньо облегченно вздохнул и поднялся. Эмилио и грузчики недоумевающе переглянулись. Эваристо же опять был погружен в свою возню с окурками.

— Подождите минутку,— сказал хозяин.

Пришедшие нетерпеливо шумели, Маньо наконец открыл дверь бара. В комнату, где сидели друзья, донеслись радостные крики и приветствия. Потом послышались шаги, и из-за занавески показались физиономии Пять Дуро и Сто Грамм.

— Ух и налакались же мы.
— Да, здорово хлебнули.
— Не спали с позавчерашнего дня...
— Сперва подрались, а потом помирились...

Хинер глядел на них, и во взгляде его была безнадежность. Сто Грамм расстался где-то с рубахой и теперь стоял по пояс голый. У Пять Дуро был перевязан палец, а на лбу красовался синяк. Ни тот, ни другой не держались на ногах и, чтобы не упасть, крепко обнимали друг друга.

— А вчера мы ходили к девочкам.
— Пять Дуро подрался там с каким-то бандитом.
— Мне в трамвае отдавили палец дверью.
— Кондуктор к нам привязался и высадил...

Не дожидаясь приглашения Маньо, Пять Дуро взял бутылку и отхлебнул добрый глоток.

— Сегодня у нас большой день...
— Сто Грамм оказался настоящим другом...
— Он сказал, что мне не бросить повозку, а я бросил.
— Прямо с клячей...
— Я не какой-нибудь там... Я настоящий друг...

Они улыбались, счастливые и возбужденные, и, обняв друг друга за плечи, вдруг запели:

Так пусть придет социализм,
Хочу его увидеть здесь,
И кто откажется работать —
Тот не будет есть.

— Тсс...— успокаивал Маньо,— вас могут услышать.
— Пусть услышат,— отвечал Пять Дуро,— нам все равно.
— Мы — за свободу.
— За свободу и за анархию.
— Хотим, чтобы все было бесплатно.
— Мы готовы кричать это хоть на улице...
— Или самому каудильо, можем сказать ему прямо в лицо.

Маньо принес им стулья, и они повалились на них, как два мешка.

— Ну, давайте говорите,— сказал Пять Дуро.— Мы слушаем.

Однако никто не последовал их приглашению. Грузчики враждебно молчали, потом зашептали что-то на ухо Эмилио.

— Я и мои друзья уходим, пора спать.
— Завтра нам рано вставать,— пояснил коренастый.
— Я думаю...— начал было Хинер.

Но Пять Дуро притянул его к себе и звонко чмокнул в щеку.

— Бог с ними. Пусть катятся...
— Правильно. У нас у одних еще лучше заговор получится.

Подавленный, не в силах подняться, с бесконечной тоской смотрел Хинер, как уходили друзья. Эмилио, Коста и старик распрощались тоже, остались только Маньо да двое пьяниц.

Хинер вдруг опять почувствовал страшную жажду, он наполнил стакан и стал пить, а два приятеля снова весело запели свою песню на мелодию гимна Республики.

XXVIII

В жизни жены лавочника наступила нежданная весна. Деньги, которые она дала родителям мальчика, оказали незамедлительное действие. Не прошло и двух дней, как Антонио появился в ее доме и с тех пор находился в ее обществе с утра и чуть ли не до самого вечера.

На первых порах мальчик все время спрашивал, что он должен делать; но ни поручения, которые она время от времени ему давала, ни ответы на редкие телефонные звонки, к тому же почти всегда ошибочные, не могли считаться работой, за которую стоило платить ему жалованье, давать одежду и делать подарки. Однако вскоре Антонио, казалось, привык к безделью и, развалившись в зале на софе, убивал время, глотая один за другим приключенческие романы.

Занятые каждый своим, они молчали целыми часами. Женщине хотелось заставить его рассказать о своей семье, о жизни в убежище, о друзьях, но, несмотря на все ее усилия, ей так и не удалось сломать лед. Каждый раз, когда она обращалась к нему, словно комок застревал у нее в горле и какая-то сила мешала ей говорить.

Сколько раз ловила она себя на том, что разговаривает с мальчиком сухо. Антонио же только изредка взглядывал на нее и ограничивался односложным «да, сеньора» и «нет, сеньора». Когда она давала ему деньги на мороженое или книги, он принужденно улыбался и тихо благодарил.

В первый же день, придя в ее дом, он увидел фотографию Хорхе на стене в столовой, однако не обратил внимания на то, что этот мальчик необыкновенно похож на него самого. Женщина объяснила ему, что это портрет ее сына, который умер. Антонио ничего не спросил, и она, совсем упав духом, прекратила разговор.

— Ума не приложу, как заставить его понять, что я хочу стать его другом,— жаловалась она Эстеле.

— Имей терпение, дорогая... Мальчик должен освоиться, он еще не доверяет тебе...

— Я уже испробовала все... все...

— Потерпи еще несколько недель — и ты увидишь. Вот Ньевес усыновила мальчика, так теперь он любит ее, как родной сын.

С тех пор она стала применять иную тактику. Мальчик все время держался враждебно, он как будто постоянно ожидал от нее какого-то зла и готовился к защите. По совету Эстелы она решила оставить его в покое и постепенно, исподволь завоевать его доверие.

— Ты не надейся, что он сразу так и станет благоволить к тебе... Лучше постарайся сама понемногу приладиться к нему.

Однажды утром Антонио поднялся вместе с нею на чердак. По договоренности с его родителями, мальчик должен был с октября начать ходить в школу, и, чтобы его подготовить, она решила показать ему старые учебники Хорхе.

Усевшись на полу, Антонио рассматривал их без особого интереса. Но при виде большой цветной карты мира глаза его заблестели.

— А это? Чье это?

Она ответила, что если он хочет, то может взять карту себе. С тех пор Антонио целыми часами просиживал над картой.

— Что ты там все смотришь? — спросила она однажды.

Мальчик медленно, словно разбуженный от сна, обернулся.

— Америку.

— Ты бы хотел поехать туда?

Антонио помедлил несколько секунд, а потом пожал плечами:

— Мне хорошо и в Испании.

Было ясно, он просто отговорился, но она не решилась больше спрашивать. Они все время были вместе, но это не только не сблизило их, а напротив, казалось, еще больше препятствовало сближению. Ни разу не завязался между ними разговор по душам. Они походили на два радиоприемника, работающих на разных волнах.

— А он? — спросила Эстела в следующее воскресенье.— Что он говорит?

— Кто? Этот кастрат?

— Да... Твой муж.

— Ничего,— засмеялась она,— ровным счетом ничего...

Он запирался в своей спальне, одинокий и безмолвный, как Будда, и в конце концов вообще перестал разговаривать с ней. Рано утром он уходил в лавку и возвращался домой только глубокой ночью.

— Теперь, когда мальчик у меня, я о нем и думать забыла. Он для меня вдруг стал совсем чужим...

— А мальчик? Что говорит о нем мальчик?

— Я ему все объяснила... Каким образом у меня родился первый ребенок и все остальное... Я хочу, чтобы в один прекрасный день и он стал презирать мужа. Хотя сейчас он еще многого понять не может...

В день богоматери Карменской (она это помнила точно — накануне Эстела уехала в Мадрид) женщина обнаружила, что Антонио занимается воровством: утром она оставила в сумочке бумажку в сто песет, а когда вечером хотела расплатиться за продукты — денег не оказалось.

То же повторилось и на другой день, и на третий, и на четвертый. Со смешанным чувством удовольствия и горечи клала она деньги снова и снова. Спрятавшись за шкаф в коридоре, она наблюдала, как мальчик крал. Сердце ее билось учащенно, в каком-то необъяснимом страхе она сдерживала дыхание, словно это воровал не он, а она.

Антонио, казалось, понял смысл игры и молча принимал ее соучастие. То, что они оба знали о воровстве и оба допускали его, каким-то образом все же связывало их.

Чем больше лето вступало в свои права, тем сильнее мучило ее желание. По ночам, изнуренная зноем, она ворочалась на постели, не в силах сомкнуть глаз. Лицо Антонио, жестокое и нежное, близкое и в то же время такое далекое, вставало из тьмы. Оно парило над ней, будто маска.

Женщина простирала руки, пытаясь схватить его. Мучительное волнение, незнакомое ей раньше, заставляло ее без конца ворочаться в постели. Мальчик представлялся ей улыбающимся, с мечтательно-задумчивым выражением лица, какое бывало у него, когда он сидел над картой. Его руки нежно ласкали ее тело, его губы приближались к ее губам и прижимались к ним.

Однажды ночью ей послышался его голос на улице, и она нагая вскочила с постели. Тело ее стало упругим, точно резина, кровь стучала в висках. Съежившись на лестничной площадке, она снова и снова напрасно повторяла его имя. Снаружи доносились лишь голоса пьяных, и она вздрогнула, охваченная тревогой.

Ощупью вернулась она в спальню. Зеркало стояло рядом с дверью на балкон, свет падал на него. Долго, словно в оцепенении, глядела она на свое отражение. Волосы растрепались и спутались, ночь жестоко подчеркивала морщины. Закрыв лицо руками, женщина разрыдалась.

А на улице все еще дрались пьяные.

XXIX

Метралья взял бумажку в двадцать дуро и дружески хлопнул его по спине.

— Вот так-то лучше, Малыш,— одобрил он.

Не отвечая на его улыбку, Антонио сел на тюфяк. Он был подавлен, и ему было грустно, как всегда, когда он возвращался от хозяйки. Прошло уже больше месяца с тех пор, как он пришел к ней впервые, и он не знал, долго ли еще придется выносить ее.

— Потерпи, чтоб она пропала,— говорил ему друг.

Но ведь Метралье не приходилось по восемь часов в день сидеть с ней один на один и смотреть в ее безумные, вечно чего-то ждущие глаза. У Метральи была одна забота — каждый вечер припрятывать денежки, ему не нужно было постоянно терпеть ее враждебное молчание, ее голос, ее улыбку. С тех пор как Антонио начал красть у нее деньги из сумки, она стала поглядывать на него как-то по-особому. Конечно, она, такая хитрая и злобная, только и ждет подходящего момента, чтобы донести на него...

— Говорю тебе, в один прекрасный день она притащит в убежище легавых,— повторял он.— И тогда — прощай наше путешествие.

— Если бы она догадалась, что ты ее обираешь потихоньку, она давно бы тебя уже выгнала.

— Она прячется в коридоре и подглядывает... Клянусь тебе, я заметил.

— А раз она видит и все равно позволяет — значит, ей наплевать.

Невозможно было разубедить Метралью. Антонио приводил всевозможные доводы, но тот стоял на своем. Ведь они ждут только удобного случая, чтобы смыться, повторял он, а пока надо потерпеть... Ведь деньги, которые ворует Антонио, необходимы им для поездки... Конечно, если Антонио раздумал, тогда пусть лучше скажет прямо.

— Да нет же, я не раздумал,— защищался раздосадованный мальчик.— Но я знаю ее лучше, чем ты, и вижу, что у нее на уме. Если бы ты, как я, виделся с ней каждый день...

— А ты продолжай свое и жди.

— Ждать? Чего?

— Пока соберем деньги.

— Вчера я приметил, в какой ящик она их клала,— сказал Антонио.— Пусть этот тип сообщит тебе точно день отплытия, и я сразу же очищу ящик.

После недолгого спора они пришли к соглашению. Метралья сказал, что в первых числах августа приходит большой океанский пароход, на который можно будет попасть. И если Антонио обещает взять потом все сразу, то пока, до прибытия парохода, безопаснее на время прекратить кражи.

— Сколько, по-твоему, там у старухи?

— Не знаю... Много.

— У тебя хватит храбрости взять эти деньги?

— Хватит.

— Поклянись.

— Даю слово.

С тех пор мальчик целыми часами мечтал, глядя в календарь. Время, проведенное в квартире хозяйки или в разговорах с приятелями, уже не казалось ему бесполезно потраченным, это было просто ожидание, которое должно было в конце концов завершиться прибытием парохода.

Растянувшись на пляже около своего друга, он часами фантазировал и строил всевозможные планы. Мысль о том, что он и не начинал жить по-настоящему, заставляла его с еще большим волнением ожидать путешествия. «Я бы хотел проспать все три недели, которые остались до отплытия,— говорил он.— Я не хочу ничего видеть, ни о чем думать .. Чем меньше воспоминаний я увезу, тем легче будет все забыть».

С карандашом и бумагой в руках подсчитывал он часы, минуты и секунды, которые осталось ему прожить в Испании: «Пятьсот четыре часа. Тридцать тысяч двести сорок минут. Миллион восемьсот четырнадцать тысяч четыреста секунд...» Метралья несколько раз звал его в кино, но он отказывался. «Не пойду, потому что кино я люблю,— объяснял он.— И знаю, что если пойду, то отвлекусь. А я хочу думать только о нашей поездке...»

Дни стояли длинные и жаркие. Он выходил из квартиры хозяйки и шел на пляж мечтать. Убежище потеряло для него свою прежнюю привлекательность. Дисциплина в шайке понемногу расшатывалась, с начала лета все разбрелись кто куда. Цыган в один прекрасный день ушел жить к своей подружке в китайский квартал. Альберто искал его всю ночь, а на другой день, не сказав никому ни слова, исчез. Гонсало и Кристобаль дулись на Дракулу. А Неореалист заболел и вот уже неделю лежал в бреду. Метралья перестал командовать, и теперь после каждой вылазки вспыхивали ссоры и перебранки.

Вся жизнь Антонио была поставлена на карту, он ждал отплытия. Теперь он по возможности старался избегать общества приятелей. Почти автоматически ходил он из квартиры хозяйки в убежище и из убежища в квартиру и в душе был совершенно равнодушен ко всему вокруг.

Жена лавочника без конца рассказывала ему о сыне, а он слушал и не слышал, поглощенный своим. Он был так захвачен ожиданием, что не мог думать ни о чем другом, и смысл чужих слов с трудом доходил до него. В сумерки, лежа на песке, он в последний раз считал оставшиеся часы и, придя в убежище, отрывал очередной листок календаря.

Чем ближе был намеченный день, тем возбужденней и беспокойнее становился Метралья; ничего не говоря Антонио, он часто уходил один бродить по предместью. Антонио с тоской ждал его возвращения. Без него ночь казалась бесконечно длинной. Как-то ему приснилось, что с Метральей случилось какое-то несчастье, и он страшно испугался, как бы не сорвалось их путешествие.

Однажды он не удержался и пошел вслед за ним, держась на почтительном расстоянии. Метралья — как всегда, руки в карманах — повернул от пляжа к закусочной и затем стал пересекать Барселонету. Антонио еще не разобрал, куда идет Метралья, как вдруг, повинуясь какому-то предчувствию, обернулся: позади него прижималась к стене фигура хозяйки.

Мальчик, растерянный, повернул обратно к убежищу. Он нашел на земле кусок мела. Тогда он наклонился и написал на тротуаре: *Девять дней.*

Сияла луна, круглая, как монета... Антонио пошел к убежищу кратчайшей дорогой — через пляж.

XXX

Кража далась неожиданно легко. Он десятки раз совершал ее мысленно и сейчас с удивлением обнаружил, что сердце его стучит не сильнее обычного. В конверте была целая пачка билетов в тысячу песет, и, прежде чем сунуть его в карман, он ощупал конверт со всех сторон. Затем Антонио осторожно запер ящик бюро и положил ключ обратно в серебряную бонбоньерку.

Часы на комоде показывали десять минут седьмого. Он вышел из квартиры не торопясь — Метралья ждал его на молу в половине седь-

мого. Хозяйка спала в зале на софе, и он на цыпочках проскользнул в прихожую.

— Антонио...

Он прислушался, затаив дыхание: его недруг во сне произносит его имя. Со злобной радостью он представил себе ее пробуждение. Еще утром Антонио написал ей прощальное письмо. Выйдя из дома, он опустил его в почтовый ящик на углу. *«Навсигда уижаю из Испании,*— писал он.— *Не пытайтесь меня розыскивать. Деньги которые я взял из канверта вирну по почти как только разбагатею».*

Мальчик обогнул решетку мола и зашагал к месту свидания. Присев на груду канатов, он пересчитал деньги.

Дымки пароходов казались в свете солнца туманно-желтыми, чайки маленькими веерами летали вокруг, задевая крыльями буек. Он смотрел на памятник Колумбу, на башенки фуникулера. У мола, напротив, стоял большой океанский пароход. Может, это как раз тот самый? Он закрыл глаза и замечтался. Вдруг кто-то тронул его за плечо. Антонио обернулся. Перед ним стоял его друг.

— Тебе плохо?

Антонио замотал головой. Метралья был в своем матросском костюме, кепку он надел козырьком назад. Лицо свежевыбрито, от волос несло одеколоном.

Мальчик молча протянул ему конверт. Метралья в восторге сосчитал деньги и с нежностью поглядел на Антонио.

— Десять тысяч?

— Да.

— Черт... В жизни не видел сразу столько...

Он облизал губы и, углубившись в свои мысли, стал рассеянно поглаживать пачку.

— А что хозяйка?

— Спала.

— Ты уверен, что она не видела?

— Уверен.

— Ну, заподозрить-то она, понятно, тебя заподозрит.

— Теперь не важно. Когда она заявит в полицию, мы уже будем в открытом море.

— Ну конечно.

Жалобно засвистел пароход, и чайки сразу вспорхнули с буйка.

— Через несколько минут у меня встреча с этим типом. Я с ним все улажу, и мы с тобой встретимся там,— Метралья указал в сторону парохода,— ровно в девять.

— В каком месте?

— У подъемного крана.

— А мне нельзя сейчас пойти с тобой? — спросил мальчик.

— Нет. Я должен поговорить с ним наедине.

— Где?

— В одном баре на Рамблас.

Не в силах скрыть свое нетерпение, он встал. Антонио, встревоженный, поднялся тоже.

— Ты уже уходишь?

— Да. А то опоздаю.

— Значит, в девять на молу, около крана.

— Да. Там.

Его охватило безрассудное желание закричать: «Возьми меня с собой, я не в силах быть один эти два часа». Но какой-то глубоко запрятанный страх помешал ему, и слова застряли в горле.

— Прощай, Малыш,— сказал Метралья, погладив его по подбородку.

— Прощай, до свидания,— прошептал мальчик.

Присев опять на канаты, он смотрел ему вслед. Метралья шел твердым шагом и несколько раз с улыбкой оглядывался на него. Казалось, предстоящий отъезд вовсе не волновал его. Оборачиваясь, он весело махал рукой в сторону морского вокзала. Вдруг он подпрыгнул, сделал сальто, словно акробат, и с хохотом исчез за решеткой.

Антонио сам не понимал почему, но этот прыжок встревожил его, и он снова вскочил. В ограде, окружавшей мол, было несколько выходов, он вышел на Пасео Националь, обошел вокруг всего квартала, но Метральи нигде не было, как будто, сделав свое сальто, он тут же испарился без следа.

Мальчик зашел в бар выпить и опять вернулся на мол. Жена лавочника, должно быть, уже сообщила в полицию, и появляться вблизи предместья было опасно. Десять тысяч песет — сумма не малая... Вечерние газеты, конечно, сообщат о краже, и его фотография, как фотография Сабатера, появится на первой полосе в «Эль касо».

Он осторожно оглянулся на застывший у будки силуэт таможенника. Теперь полицейский комиссар, должно быть, уже отдал приказ задержать его. На минуту Антонио представил себе, как за ним гонятся полицейские. Он видел множество подобных сцен в кино и подумал: а что на его месте стал бы делать Сабатер? Он всегда носил с собой фотографию бандита и теперь, пытаясь приободриться, начал ее рассматривать. «Грабитель не уйдет из наших рук,— читал он, дрожа всем телом,— но мы знаем, что, как дикого зверя, его невозможно поймать живым. Неся смерть другим, он встретит ее сам».

Стараясь не привлекать ничьего внимания, он проскользнул за ящики, стоявшие под навесом. Здесь, укрытый от посторонних взглядов, он в последний раз осмотрел свой багаж: английский словарь, карманный фонарик, альбасетская наваха, карта Америки и патронные гильзы.

Солнце наконец село за Монтгуич, и его свет словно таял в воздухе. Последние ласточки летели с мола, где толпился народ. На стоявшем у причала учебном корабле торжественно спустили флаг.

Долго сидел он так, склонившись над картой Америки. В географии, которую ему дала хозяйка, были подробные описания тех стран, где они с Метральей собирались побывать, и он выучил на память все сведения о границах, площади, населении, городах и природных условиях этих стран. Потом совсем стемнело, и он больше не мог читать. Он посмотрел на светящиеся на башне часы и поднялся. Без десяти девять. Если не поторопиться, можно опоздать.

Сжимая в руке наваху, он бежал по безлюдному порту в желтом свете фонарей. Перед памятником Колумбу толпились американцы и полицейские, и, боясь засады, он сделал крюк. Сияя огнями, отходил почтовый пароход на Майорку. Антонио повернул влево, где стоял океанский пароход.

Добежав до крана, он увидел, что до девяти оставалась всего одна минута. Метральи все еще не было. Он присел на причальный столб и стал ждать, внимательно глядя на редких прохожих; от быстрого бега сердце стучало и прерывалось дыхание.

— К сеньорам пассажирам, не прошедшим еще таможню, просьба сделать это как можно скорее, так как...

Репродуктор повторил то же самое по-французски и по-английски. Пассажиры поднимались и сходили по трапу, подъемные краны грузили багаж...

Антонио вскочил, не в силах больше совладать со своим нетерпением. Несколько минут (главное — ни о чем не думать!) он смотрел на город, отражавшийся в воде. Но вот быстро прошел катер, и отражение разбилось на тысячи брызг.

— Метралья!

Вопль вырвался помимо его воли и тут же потонул в крике пароходной сирены. Парень в кепке не обратил на него никакого внимания и продолжал всходить по трапу.

Антонио шарил по пустынному молу полными слез глазами. Морской вокзал был окружен железной решеткой. Уже не надеясь больше увидеть Метралью, Антонио лихорадочно пытался перелезть через решетку. Полицейский, с винтовкой через плечо, издали погрозил ему:

— Проваливай отсюда, парень...

Он испугался и снова пошел к своему прежнему месту под краном. Теперь радио передавало другие объявления. С палубы, прощаясь, махали платками пассажиры.

Он опять сел, ни о чем не думая,— он все еще ждал. Часы на башне показывали десять минут одиннадцатого, пароход снимался с якоря, а на молу не было видно ни души. Прошел мужчина и спросил его, как попасть в Морской клуб, его веселый спокойный голос вывел Антонио из себя. Он закричал в ответ, что не знает и что ему вообще на все наплевать, и вконец потеряв над собой власть, разрыдался и бросился бежать к Барселонете. Как во сне прочитал он: Гавр, Стокгольм, Лондон, Панама, Буэнос-Айрес... Пройдет немного времени, и все эти корабли, стоящие сейчас вдоль мола, рассеются, как семена на ветру, по круглой поверхности планеты, бороздя моря и океаны...

Город засосал Антонио, как огромный желудок, и несколько часов он блуждал по улицам, не разбирая дороги. Он поставил на карту все — и проиграл. На душе было отчаянно пусто. И он ничуть не удивился, когда лицом к лицу столкнулся с хозяйкой. Он указал рукой в сторону порта.

— Уехал.

— Да.

— И я никогда его больше не увижу...

— Никогда.

А потом он оказался в ее квартире; он лежал совсем обнаженный, громко плакал и бредил. Женщина лежала рядом, и Антонио рассказывал ей о краже, о путешествии, о предательстве Метральи... Иногда усталость пересиливала, и он словно проваливался в какой-то колодец. А когда он снова открывал глаза, женщина по-прежнему была рядом. Она подстерегала его пробуждение и гладила его волосы, лоб, щеки, руки... Ее лицо плыло перед ним, словно маска, и, глядя в ее расширенные, сияющие счастьем глаза, Антонио со смешанным чувством грусти и облегчения понял — детство кончилось, и ему уже никогда и никуда не убежать.

XXXI

В середине июля новая волна зноя захлестнула предместье. Целую неделю ртуть в термометре держалась выше сорока. Половина источников пересохла, и женщины опять выстраивались в очередь за водой.

Как всегда, пошли слухи. Всему виной секретное оружие американцев. «Они хотят уничтожить наш урожай, чтобы заставить нас покупать свой»,— утверждали сведущие люди. Под латунными и шиферными крышами бараков было жарко, как в пекле. Солнце палило без передышки, и весь день дул жаркий, словно из горна. ветер.

Жара действовала людям на нервы, на каждом шагу вспыхивали ссоры и перебранки. Один человек тяжело поранил ножом свою жену, другой ударил молотком сына. Городские газеты тотчас же откликнулись на эти происшествия, и «Ла вангуардиа» поместила статью известного социолога о «низком уровне морали малообеспеченных классов».

Чтобы поправить дело, власти решили усилить надзор, и в одно прекрасное утро предместье наполнилось жандармами. С того дня Парень-Кошка то и дело наблюдал, как они расхаживали по пляжу, мимо рядов раскаленных лачуг и бараков, зелено-черные, как жуки, в отсвечивающих на солнце треуголках, с автоматами через плечо.

Весь город высыпал к морю, и мальчик бегал по пляжу, выпрашивая милостыню у туристов. В одних старых штанах, выставив напоказ свои тощие ребра, с утра до ночи пытал он счастье, попеременно то улыбаясь, то умоляя, изображая то душевную тоску, то муки голода.

— Сеньора, добрая сеньора...

— Подайте сиротке...

— Подайте милостыньку, бог вам воздаст...

Однажды жандармы остановились перед лачугой, сколоченной из листов жести, и вывели оттуда Кораль. Парень-Кошка в то утро просил милостыню в закусочных. Когда он вернулся, ему сказали, что Кораль увели. Обливаясь слезами, он кинулся в участок.

С самого Иванова дня он постоянно мечтал о Кораль и каждый день, не говоря ей ни слова, клал к дверям ее лачуги какой-нибудь подарок. На деньги, которые он раньше тратил на конфеты и мороженое, он теперь покупал для нее цветные почтовые открытки, ленты, очки для защиты от солнца, перстеньки.

Воспоминание о Кораль в ее облегающем красном платье неотступно преследовало его. Покинув друзей, он часто забирался под мост и там, скрытый от посторонних взглядов, зажмурившись, с упоением вызывал в памяти ее образ до тех пор, пока сердце не начинало стучать, словно тамтам.

Не помня себя, он добежал до полицейского участка. Дверь была распахнута настежь, но жандарм преградил ему путь.

— Чего тебе?

Испуганный мальчик поднял голову.

— Здесь моя двоюродная сестра,— соврал он.— Она из бараков около сточной канавы...

— Ее уже нет здесь,— ответил жандарм, не глядя на него.— Перевели.

— Куда?

— Нам ничего не известно.— Он щелкнул пальцами.— Давай отсюда...

Парень-Кошка отошел и сел на скамейку на Пасео. Проходили переполненные трамваи, какой-то толстый господин громко звал такси. Мальчик не хотел сдаваться и начал осматривать здание участка. Почти во всех окнах горел свет, и он стал заглядывать в них.

— Я же тебе сказал, нет ее тут,— крикнул жандарм.— Ее перевели в исправительный дом.

— В исправительный дом?

— Да... И обрили наголо...

Мальчик отошел, растерянный. Племянница Эулохио провела в этом доме свои юные годы. Заключенных, рассказывала она, одевают там в мешковину и заставляют работать весь божий день, как рабынь.

— А долго там держат? — спросил тогда Парень-Кошка.

И сейчас он с ужасом вспомнил ответ девушки:

— Да как сказать... Кого сколько... Одних пять, других десять лет... А некоторых и всю жизнь...

Долго стоял он под прикрытием темноты и смотрел на запертую лачугу Кораль. Кто-то, очевидно, прибрал там — он с грустью обнаружил на дороге обрывки своих открыток.

Кораль уже не было здесь и, быть может, никогда больше не будет...

На следующий день он опять пришел сюда, пришел и на второй и на третий. Лачуга по-прежнему была заперта, и, как раньше, пестрели в пыли клочки открыток...

И постепенно образ Кораль, обритой, в жалких лохмотьях из мешковины, пришел на смену прежнему — загорелой, сияющей, полной жизни девчонки в огненно-красном платье.

В день святого Якова прошла гроза с громом и молнией. Когда она кончилась, Парень-Кошка пошел со своими друзьями попрошайничать.

На обратном пути они с Рамоном проходили мимо дома Кораль. Какое-то семейство с множеством детишек уже устроилось там. Обрывки открыток исчезли, смытые дождем.

Потом время стерло образ Кораль, и Парень-Кошка с удивлением обнаружил, что при воспоминании о ней сердце его уже не колотится, как раньше.

XXXII

За неделю до конца своего отпуска Эмилио вернулся во Францию. Попытки найти приличное место слесаря не удались, и он снова уезжал из Испании, расстроенный царившей здесь инертностью.

Как и в прошлый раз, Хинер проводил его на вокзал и, стоя на платформе, глядел вслед поезду, пока он не пропал вдали. «Я скоро вернусь. Может, к рождеству»,— сказал Эмилио Хинеру. Он избегал смотреть Хинеру в глаза, и тот понял, что Эмилио говорит неправду; не хуже самого Хинера он знал, что они никогда больше не увидятся.

Томимый жарой и грустью, Хинер медленно возвращался домой. Мысль о том, что ему предстоит остаться один на один с женой, заранее ужасала его. Накануне в воскресенье во время тренировки бык задел Альфонсо рогом, и, хотя рана оказалась легкой, Тринидад раздула это в ужасную трагедию. Она проклинала Хинера, пронзительно кричала, что это он виноват в случившемся несчастье, и все это — в присутствии врача, пришедшего снимать швы.

— Только этого еще нам не хватало... Чтобы он пошел в тебя... После всего, что я вынесла... Господи боже мой, вот наказание...

Несчастный случай она сочла предостережением небес, и дом наводнили новые статуи святых. В столовой рядом с гипсовым изображением тайной вечери появилась ярко раскрашенная фигура богоматери Фатимской.

Хозяин отпустил Хинера на целый день, и, возвращаясь с вокзала, он завернул в таверну выпить. Когда он вошел, Маньо наполнял водой кувшин, а в углу играли в карты побирушки. Облокотившись на стойку, зевал Сто Грамм; увидев Хинера, он подошел к нему с таинственным видом.

— Тсс...— приложил он палец к губам.— Не разговаривай с ним...

Посмотрев туда, куда указывал Сто Грамм, Хинер увидел жалкую фигуру Пять Дуро. Тот сидел на полу, очевидно уже не в силах держаться на ногах, и, сбросив с себя замызганную рубаху, скреб заросшую черными волосами грудь.

— Мы поссорились навсегда,— сообщил Хинеру Сто Грамм.— Только зовется другом... Какой же он друг...

Не слушая его невнятных пояснений, Хинер сел за единственный свободный столик. Справа от него какой-то человек пил коньяк, и Хинеру стоило большого труда узнать его. Сатурио весь оброс — видно, не брился уже много дней, и казалось, постарел на десять лет. Щеки его были мертвенно-бледны, налившиеся кровью глаза блестели. Кто-то, проходя мимо, нечаянно задел его. Сатурио вскочил, вне себя от ярости.

— Оставьте же вы меня в покое, черт бы вас всех побрал! — закричал он.— Нельзя что ли выпить спокойно?

На минуту в зале воцарилось молчание, виновный попятился, бормоча извинения. Маньо за стойкой чуть наклонил голову.

— Что это с ним? — спросил его Хинер, когда расплачивался.

— Не знаю...— Оба смотрели на осунувшееся лицо Сатурио, на его помятый, весь в пятнах костюм.— Вот уже неделю он у меня тут целыми днями...

— Это, конечно, после того, что случилось с малышкой...

— Да. Он не может оправиться от удара.

Не в силах выносить больше этого зрелища, Хинер вышел на залитую солнцем площадь. Сквозь знойное марево, словно завернутое в целлофан, сверкало и искрилось море. Над выжженным изнуренным предместьем трещали равнодушные к зною репродукторы. Ловя малейшее дуновение ветерка, жители распахнули настежь двери лачуг. По временам над пляжем проплывала авиетка, нелепая, как галлюцинация, и тоже будто умирающая от жажды.

— Сеньор Хинер...

Он обернулся, прикрыв глаза рукой от палящего солнца. Какая-то женщина бежала за ним, по лицу ее струился пот. Хинер смотрел на женщину и не мог вспомнить, кто она.

— Вы его видели?

По тому, как она показала на таверну Маньо, даже больше, чем по ее измятому черному платью, он понял, что перед ним жена Сатурио.

— Да.

Фуэнсанта огромным платком все время вытирала не то капли пота, не то слезы.

— Вы, такой грамотный и образованный, должны поговорить с ним...— начала она.

— Да.

— После того как случилась беда с малышкой, он стал совсем другим человеком, сеньор Хинер... Все убивается... Ни во что теперь не верит...

— Да,— Хинер глотнул слюну, голова у него, казалось, раскалывается от боли.

— А позавчера поссорился с падре Буэно, и нам теперь не дадут квартиры...

— Да.

— Только и знает, что пьет, и хозяин говорит, совсем не работает.

И вдруг, как в кино, когда пропадает звук, он перестал слышать ее голос; красное пылающее лицо Фуэнсанты совсем рядом с его лицом, губы ее двигаются, двигаются, но звука нет. А солнце выжигает площадь.

— Да. Да. Да. Да. Да.

Солнце ослепило его, и он побрел дальше, точно раненый. Женщина, задыхаясь, бежала следом, умоляла, но он ускорял шаг, ее горе и ее слезы не трогали Хинера.

Он — никто. Десять тысяч мужчин, женщин и детей предместья существуют, словно личинки. Капли воды, они не создали моря. Рабочие пчелы, они не были роем.

Сам не зная зачем, он вдруг побежал, побежал не разбирая дороги, между гниющих мусорных куч. Сквозь прикрытые веки солнце ножом резало глаза. Под ногами скрипела галька, а он все бежал наугад, пока не почувствовал ласкового прикосновения моря к ногам.

Опомнился он на краю предместья, там, где начиналась железная дорога, и с удивлением увидел толпу любопытных, собравшуюся перед лачугой Эваристо.

XXXIII

Когда судебные исполнители остановились у его двери, старик встретил их улыбкой. Его дом стоял на краю предместья, и к нему никто никогда не приходил. В то утро Маньо отдал ему все окурки, накопившиеся за неделю, и, сидя на ступеньках перед дверью, старик терпеливо разбирал их.

Один из исполнителей протянул ему бумагу, и, надев очки, Эваристо прочел приказ о выселении. Не согнав еще улыбки, старик вгляды-вался в пухлое невыразительное лицо судебного исполнителя и в скучающие равнодушные лица жандармов.

На мгновение он вообразил, что все это шутка. Какой-нибудь незадачливый шутник из предместья, которому вздумалось хорошенько попугать его... Но человек с бумагой нисколько не был расположен шутить. Он стоял в дверях и внимательно осматривал раскладушку, стол, печку и банки с окурками.

— У вас есть куда пойти? — спросил он старика.

— Нет,— обрадовался было тот.

Чиновник пожал плечами, будто желая сказать: «Все говорят то же самое».

Победив охвативший их поначалу страх, соседи с любопытством проталкивались поближе. В нескольких метрах от двери стоял казенный грузовик. И только когда начали выносить из лачуги вещи и сваливать их на этот грузовик, Эваристо понял наконец, что происходит.

Казалось, сердце у него вдруг остановилось, глаза наполнились тяжелыми слезами. Этот жалкий крохотный домишко — все, что у него оставалось. Выгнать его отсюда означало обречь на голодную смерть на улице или на позорную — в богадельне.

Словно в страшном сне смотрел он на Хинера, на то, как, расталкивая зевак, пробирался тот, бешено выкрикивая ругательства и проклятия жандармам. Когда старик пришел в себя, дверь домика была опечатана, а грузовик исчез, увозя его кровать, скарб, Хинера и жандармов. Испуганные соседи толпились вокруг, стараясь ему помочь. Какая-то женщина протягивала ему чашку липового настоя с сахаром.

— Выпейте глоточек, дедушка...

— Пойдемте к нам ужинать.

— Деверь уехал, и одна кровать у нас свободна...

Эваристо поблагодарил всех и поспешил выбраться из толпы. Он поднял котомку на плечи и побрел по предместью, сам не зная куда.

Весть о случившемся разлетелась по предместью с быстротой молнии. На лицах встречных он видел жалость и симпатию. Гнев переполнял его, он прибавил шагу. В горле саднило от жажды, и он несколько раз заходил в бары и лихорадочно выпивал стакан за стаканом.

Улицы Барселонеты так и кишели народом, на площади танцевали сарданы. На Пасео Насиональ двое юношей чуть было ни подали ми-

лостыню, но, увидев выражение его лица, попятились, бормоча извинения.

До закрытия магазинов оставалось совсем немного, он зашел в лавочку и купил два конверта. Усевшись в баре за столик, он с бесконечной старательностью написал письмо начальнику полиции, уверяя в полной невиновности Хинера и умоляя немедленно отпустить его.

На втором конверте он написал адрес: «Его превосходительству сеньору командующему четвертым военным округом»,— и вложил туда все свои ордена за Африку и Филиппины. Почта была рядом с баром, там он запечатал и отправил оба письма.

Он спрятал почтовую квитанцию в бумажник и, немного успокоившись, направился обратно к предместью. Жажда все еще мучила его, и он остановился выпить пива. Солнце спустилось за темные очертания гор, и теплый ветер то здесь, то там поднимал мелкие завитки пыли.

Присев у кустов ежевики, он следил за последним дыханием сумерек. Темнота мало-помалу сгущалась, и наконец выглянула луна. Он встал и снова двинулся в путь.

Медленно, старательно обходя кучи мусора, Эваристо шел по пустынной ночной дороге. Подул влажный пронизывающий ветер, старик с котомкой за плечами взобрался на пригорок. Под ним расстилалась огромная привокзальная площадь. Его взгляд остановился на выведенной на стене надписи: «Ни одного очага без огня, ни одного испанца без хлеба».

Эваристо уселся поудобнее на траве и некоторое время сидел, пристально глядя на надпись. Потом он достал из кармана бритву и, протянув руки над котелком, чтобы не выпачкать землю, вскрыл вены.

XXXIV

В воскресенье, одиннадцатого августа, предместье с утра было разукрашено: его превосходительство сеньор депутат объявил, что прибудет туда в одиннадцать, и еще накануне бригада плотников и рабочих хлопотала, подновляя улицы. Ребята из Молодежного фронта ходили от двери к двери, развешивая флажки и эмблемы, а перед небольшой трибуной, сооружённой на площади, детям продавали игрушки и сласти.

Карлитос выглянул на улицу и в первую минуту не поверил своим глазам. Грязные заплесневелые стены убогих хижин скрылись под коврами и полотнищами, а на всей площади — на всех пятистах метрах — не было видно ни соринки. Весело плескались на ветру флаги, предполагаемый путь кортежа был уставлен кадками с кипарисами и сосенками.

Организационный комитет под руководством падре Буэно показал себя особенно предприимчивым. Вот уже несколько недель в порядке подготовки к предстоящему визиту святые отцы устраивали в помещении Молодежного фронта собрания и митинги. В ряде докладов отмечалось чрезвычайное значение визита сеньора депутата. После пылких дебатов организационный комитет принял решение обставить это событие как можно великолепнее.

Специальное ассигнование, отпущенное помощником алькальда, предоставляло широкое поле деятельности организаторскому гению членов комитета. Отставной учитель сочинил для этого случая длинную хвалебную поэму, но в последнюю минуту, ревниво отметив теплый прием, оказанный коллегами поэме учителя, падре решил заменить ее речью, собственноручно им написанной.

В тот вечер они пригласили Карлитоса к себе. Падре Буэно встретил его, дрожащего от волнения, и провел в зал, где заседал комитет.

— У меня есть для тебя великолепная новость,— сказал он. Подбодряемый отеческими и добродушными улыбками остальных членов, Карлитос услышал, что для произнесения приветственной речи из всех детей предместья выбран он, Карлитос.

Ничего не понимавшего Карлитоса окружили, лукаво ему подмигивали, поздравляли его, похлопывали по плечу и пожимали руки. Сеньоры из комитета единодушно заверяли его, что это большая честь для него, а одна дама добавила даже, что он никогда не сумеет в достаточной степени отблагодарить их за такое благодеяние.

И пока, стоя с листком в руках, он ожидал начала репетиции, послышался шепот священника:

— Да, старший сын Сатурио... В последнее время отец его ужасно опустился... Было бы жаль, если бы пример отца губительно подействовал на детей...

С того дня он каждый вечер приходил репетировать.

— Мы хотим быть деятельными и скромными... Хотим быть веселыми и послушными... Господь, взявший к себе столько наших братьев, дал нам доброго пастыря...

Он читал, а падре внимательно слушал его и время от времени энергично поправлял:

— Живее... Ярче... Эту фразу ты должен читать решительно, как юноша, у которого вся жизнь впереди, а не как дряхлый старик. Ну-ка повтори...

— ...Знаменует великое событие. Уже звенят молотки, уже первые камни ложатся в основание величественного здания нашей свободы...

— Живее.

— ...С песнями вывесим на балконах винтовки, увитые розами мира, и вперед — навстречу яркому солнцу Испании...

К концу репетиции Карлитос обессиливал. Иногда святой отец вел его к себе закусить, но эти приглашения уже не радовали Карлитоса, как бывало, а лишь увеличивали его грусть и мучения. С некоторых пор он одиноко бродил по улицам предместья и, завидев смеющихся и играющих ребят, спешил прочь с тягостным чувством отверженности и одиночества.

Таверна Маньо, словно магнит, притягивала его. Отец проводил там целые дни, и Карлитос, прижавшись носом к стеклу, смотрел, как тот пьет стакан за стаканом. Однажды, придя к таверне после репетиции, Карлитос обнаружил, что он не один. Несколько оборванных ребятишек тоже наблюдали за жизнью таверны; в тот же вечер они стали друзьями.

Всю ночь с каким-то странным чувством он повторял их имена: Пако, Рамон, Парень-Кошка... На следующий день он опять встретил их, и с тех пор по молчаливому согласию они стали ходить к таверне вместе.

Новые приятели были ловки и неистощимы по части всевозможных проказ и выдумок. Рассыпавшись по пляжу в часы наплыва публики, они жалобными голосами выпрашивали милостыню и возвращались с карманами, полными песет и дуро.

Карлитос с завистью глядел им вслед. Святой отец поджидал, чтобы начать репетицию, и Карлитос, скрывая досаду, снова декламировал свою нескончаемую речь:

— Для нас нет иного красного цвета, кроме полосы, пылающей на нашем знамени социального освобождения...* Красный цвет —

* Испанский государственный флаг состоит из трех полос: фиолетовой, желтой и красной.

один из цветов радуги, и когда благородная любовь к справедливости колышет его в небе нашей родины, красный цвет трепещет и сливается с другими, чтобы превратиться в белый, в белое полотнище мира для всех людей доброй воли...

Накануне торжества репетиция продолжалась целый день. Святой отец взволнованно шагал из угла в угол, а члены комиссии, казалось, были на грани истерики. Карлитос стоял на подмостках в зале в голубой рубашке и красном берете и до хрипоты все читал и читал свою речь под суровым и бдительным оком сеньор и сеньоров из комитета.

— Народ, способный на столь высокий духовный подвиг, на такое общение с богом,— народ легендарный, и, будучи поставлен на рельсы культурного прогресса, он...

И вот наконец долгожданный день пришел. Карлитоса захлестнуло целое море людей, они поздравляли его, обнимали, поправляли на нем берет и расправляли складки рубашки. Оглушенного, растерянного Карлитоса поставили на увитую гирляндами цветов трибуну. Внизу под ним радостно ликовало предместье, реяли красно-желтые знамена, из мощного громкоговорителя лились веселые военные марши.

— Едут... едут...

Перегнувшись через перила, следил он за выступавшими по только что выметенной площади: депутат, огромный в своем темном, с иголочки костюме, два сеньора в черных сюртуках, подпоясанные фахинами*, падре Буэно, улыбающийся, потирающий руки, словно намыливал их...

Они приближались и приближались, и Карлитос чувствовал, как отвратительный, тугой комок подкатывает к горлу. На крыше какого-то барака стояли Парень-Кошка и Рамон. Они хохотали и показывали Карлитосу нос. И вдруг, как приговоренный к смерти, он увидел и как бы ощутил всю жизнь родного предместья: вспомнился ему и Сатурио, и малышка, и старик, выброшенный на улицу. Слезы неудержимым потоком хлынули из его глаз. Лица благодушно улыбавшихся людей заволоклись туманом, и, когда смолкла музыка и священник подал ему знак, он сумел только пробормотать:

— Депутат... Мы бедны... Мой отец...

Листок с речью выскользнул у него из рук, тотчас же, прерывая тяжелое молчание, вновь зарокотали громкоговорители.

Он стоял, прислонясь к трибуне и еще не отдавая себе отчета в том, что произошло, смотрел вслед уходившим представителям власти. Они шли между двумя рядами безмолвных людей, безразличных к пышному реянию знамен и к веселому, навязчивому ритму маршей.

Но родится иная Испания —
С резцом и крушащей палицей,
Та, чья вечная молодость вышла из пламени
Вековых испытаний и в бой прорывается.
Неумолимая, простонародная,
Разрывая рассветом сумерки грязные,
С топором, занесенным для возмездья, грядет она,
Испания ярости, Испания разума.**

---

* Шелковый пояс, знак отличия военных чиновников.

** Эти стихи, которыми Хуан Гойтисоло заканчивает свой роман, принадлежат известному испанскому поэту Антонио Мачадо.

Эйвин Болстад

ДВА РАССКАЗА

ТЕНЬ МЕЖДУ НИМИ

Анне сидела на грубом деревянном стуле, облокотившись на маленький ветхий столик. Когда она оборачивалась, колени ее натыкались на старомодную кровать, стоявшую под скошенным потолком мансарды.

— Анне, Анне! — позвала ее из кухни мать.— Ты уже легла?

— Нет! — отозвалась Анне, не меняя позы.— Я сижу и пишу письмо!

Внизу хлопнула дверь, и сразу все стихло. Анне вздохнула и снова, как и прежде, уставилась на стол прямо перед собой. Сегодня вечером она останется дома. В этом Анне была вполне уверена.

Она окинула взглядом убогую комнатушку. Ящик из-под апельсинов и на нем умывальный таз, кровать, стол, стул, на котором она сидела, комод, унаследованный от тети Софи, зеркало на стене и висящие прямо под потолком пальто и платья. О, у молодого Тевсена все было совсем иначе! Высокие потолки, просторные комнаты, богато обставленные шикарной мебелью, ковры на полу. Над диваном, на потолке и на стенах — лампы, которые можно было когда вздумается зажигать и гасить, словно по волшебству. «Не желаете ли сигаретку, фрекен? Рюмку мадеры? Ну-ка, заведи старый граммофон, Рудольф!» (А «старый граммофон» был дорогой радиолой, стоившей немалых денег, значительно больших, чем Анне зарабатывала за целый год.)

Еще можно было выйти на широкую застекленную веранду и смотреть вниз на этот город, город нищеты. Казалось, будто она смотрит какой-то фильм. Все было точно в сказке. И к ней, наконец, пришла жизнь! И сказка продолжалась, вернее, могла бы продолжаться до тех пор, пока молодой Тевсен располагал всей квартирой, а его старики родители находились за границей, на водах или как там это называется.

Потом она быстро встала, забралась в постель под скошенным потолком и лежала, прижимаясь щекой к жесткой подушке.

А что было там, «наверху» (так называли квартиру Тевсена Анне и ее подруги)! Она стиснула зубы. О, там было даже шикарнее, чем можно себе представить. Радиола, мадера и в заключение небольшая прогулка. У кого угодно могло захватить дух от всего этого. С ней так и произошло. А теперь она снова возвращалась с неба на землю. После трех месяцев бессонных ночей, проведенных в танцах и...

Анне зарылась головой в подушку. Она вновь представила себе их глаза. Она не могла не заметить, как холодно Тевсен и его друзья смотрели на нее. О, если бы она была такой же дурочкой, как эта Ловисе! Та жила и брала от жизни все, что удавалось. И наслаждалась жизнью. Только бы она не пришла сегодня вечером! Только бы она не пришла!

А тут еще как раз Сигген вернулся домой с севера, куда он уходил на заработки, и получил постоянное место у Тевсена в порту!

— Иди-ка сюда и выпей кофейку,— позвала ее мать.

Анне устало поднялась с кровати, быстро пригладила волосы, посмотрелась в зеркало, одернула юбку и спустилась по крутой лестнице в кухню.

— Опять дождь,— капризно сказала Анне.

Струи дождя хлестали в низкое оконце кухни.

— Дождь — это хорошо,— возразил отец и задымил трубкой.— Он очищает воздух от холеры, дизентерии и желтой лихорадки. Да, так говорили мы, когда ходили в море. Я никогда не читал еще такой чепухи, какую нынче печатают в газете.

— Присаживайся-ка побыстрее к столу, милая,— сказала мать, наливая ей большую чашку кофе.

Анне подсела к столу. Лишь на одно короткое мгновение увидела она перед собой молодого Тевсена, придвигающего кресло к полированному столу красного дерева и галантно предлагающего ей сесть. Не мешает ли ей лампа? Так лучше?

Кухня была длиной в полтора метра, такой же ширины. Там умещались плита и скамья. А места оставалось ровно столько, сколько нужно, чтобы пройти мимо, не задевая друг друга. Когда в комнате не топили печь, устраивались в кухне, где было тепло и уютно.

Сейчас еще совсем рано, не позднее половины восьмого. Если бы стояла хорошая погода, можно бы еще пойти прогуляться. Но куда? Она не спеша выпила кофе, до последней крошки съела бутерброды. Сигген!

Анне быстро поднялась и направилась в комнату. Там было холодно и темно. С минуту она постояла у окна, глядя на улицу. В тумане тускло мерцали желтые уличные фонари. Дождь стекал по водосточной трубе. Сигген? Неужели именно он заставил ее сегодня вечером почувствовать все то, что она чувствовала? Конечно, но дело не только в нем. Виноват во всем ледяной блеск, который она столько раз замечала в глазах всех этих кавалеров, таких бойких на язык, таких благопристойных и так хорошо одетых.

Анне снова вошла в кухню и села на скамью, потом поднялась, взяла кофейник, стоявший на плите, и налила себе чашку кофе.

Мать сидела и вязала теплые носки для отца.

— Вид-то у тебя неважный, дочка. Стряслось что-нибудь?

Отец потянулся и протяжно зевнул. Он и не ждал ответа на свой вопрос.

«Присмотри за граммофоном, старина Тевсен, да налей нашей Анне бокал, ей всегда надо немного выпить, чтобы разгуляться. Не правда ли, хе-хе!..»

Все это было... было... не то чтобы очень приятным... но ей тем не менее казалось, что ее считают желанной гостьей и даже что она обладает властью. Она могла бы вертеть ими и подчинить их себе, если бы сама захотела покориться их воле. Но кончилось тем, что согнули ее.

— Черт бы их побрал,— тихо произнесла Анне.

Она поднялась наверх, легла, накрылась периной и погасила свет.

В дверь постучали. Это была Ловисе.

— Не пойдем ли мы к Хансине, Анне? Она ведь просила заглянуть к ней вечерком.

— Неужели сегодня вечером вы опять уйдете? — спросила мать.— Чего это вы каждый вечер обиваете пороги у Андерсонов?

— Нам о многом надо поговорить,— смущенно и застенчиво отвечала Ловисе. О, эта Ловисе могла бы обвести вокруг пальца самого господа бога, если бы только захотела!

Анне вытолкнула подругу на крыльцо, затем обе девушки направились в дровяной сарай.

— Живо одевайся,— быстрым шепотом сказала Ловисе.— Ты всегда опаздываешь. Мне пришлось сделать крюк, чтобы зайти за тобой. Сегодня вечером большой праздник с шампанским и всякой всячиной. Приезжает двоюродный брат Тевсена! Ну-ка, поторапливайся.

— Я больше туда не пойду,— твердо сказала Анне.— Не хочу я глядеть на все эти морды, не хочу смотреть в их холодные, мерзкие глаза. Если я пойду туда, обязательно кого-нибудь из них убью.

Ловисе опешила.

— Ты что, рехнулась или у тебя не все дома? — испуганно спросила Ловисе.— «Холодные глаза»? Разве не ты влюблена по уши в Тевсена?

— Сегодня уж, во всяком случае, нет!

— Но ты ведь втюрилась в него по уши,— возразила Ловисе.

— Может, со стороны так оно и казалось, но теперь — всему конец. Я не пойду, даже если ты меня силком потащишь на его виллу. «Виллу»! — язвительно повторила Анне.

— Ха-ха! Я иногда тоже рассуждаю как ты, но все-таки продолжаю ходить туда. Ведь молодыми бывают только раз! Пойдем и повеселимся на славу!

Анне не пошевельнулась.

— Ты ведь не заставишь меня идти одну,— захныкала Ловисе.

— Отправляйся одна, если тебе так хочется,— упрямо ответила Анне.

— Тогда и я пойду домой. Впрочем, черта с два! Дома я не останусь. Может, ты хоть сегодня пойдешь со мной? Анне, милая, ну будь хорошей, согласись.

— Ни за что! Но можешь ты сделать мне одолжение?

— Конечно,— живо ответила Ловисе.— А после этого ты пойдешь со мной?

— Сходи к Сиггену и скажи ему, что сегодняшний вечер я провожу дома, в кухне, и что я очень занята. Ничего больше не говори. Ты сделаешь это? — Анне принялась тормошить подругу.

— Так вот в чем дело,— вырвалось у Ловисе,— вот в чем дело. Ну да ладно, сделаю!— Ловисе фыркнула, а потом сказала: — Я возьму с собой Хансине... хотя она такая неряха и Тевсену совсем не нравится. Ну да уж ладно! Прощай тогда. Господи помилуй, вот никогда бы не подумала! Послушай, а не могла бы ты поговорить с Сиггеном завтра?

— Прощай, Ловисе! — Анне скользнула за дверь, словно спасаясь бегством. Ловисе немного постояла, потом скорчила гримасу, тряхнула головой и вышла на улицу...

Через час пришел Сигген.

— Вот и я, Аннечка,— сказал он и смущенно засмеялся.— Спасибо, что не забыла меня! — Он сунул под мышку кепку и протянул девушке свою огромную лапу.

Анне отложила скатерть, которую собиралась гладить, и равнодушно пожала ему руку.

— С приездом, Сигген, давненько тебя не было видно!

Она отворила дверь в комнату и крикнула:

— Это Сигген, мама! — И снова принялась гладить.

— Ах, это ты, дружок Сигген,— встретила его мать. Она появилась в дверях, вытирая передником мокрые красные руки.— Рада видеть тебя!

— Позови-ка сюда Сиггена,— закричал отец. Он уже лежал в постели, и Сигген, покраснев как рак, смущенно скользнул за дверь.

Вскоре послышался раскатистый смех отца. Анне перестала гладить и слегка наморщила лоб, но тут же снова еще усерднее принялась за работу. О, она была страшно зла на Сиггена за то, что принесла ему огорчения, водя за нос в течение трех месяцев. Да, она почти ненавидела его. Анне еще сильнее сжала ручку утюга. Из комнаты снова донесся взрыв хохота, на этот раз смеялась и мать. На мгновение Анне прекратила работу и, опершись на утюг, закрыла глаза и сжала зубы. Легкий, но вполне явственный запах паленого заставил ее очнуться. Теперь они беседовали уже втроем. Отец лежал на высоко взбитых подушках со своей вонючей трубкой в зубах и непрестанно чиркал спичками. Мать примостилась на краю постели, а Сигген сидел на стуле, упираясь локтями в колени и втянув голову в плечи. Он что-то говорил и улыбался своей очаровательной улыбкой. Внезапно она увидела его крепкие зубы, его сильные руки рабочего. Вот он поднялся и подошел к печке. Казалось, он заполнил собой всю комнату. Да, Сигген был красив. Ей никогда не приходилось видеть кого-либо красивее его.

Лишь поздно вечером Сигген вновь пришел в кухню. Вскоре появилась в дверях мать и пожелала спокойной ночи.

— Не забудь запереть дверь, Аннечка,— сказала она, кивнув Сиггену, и ушла к себе.

Анне и Сигген молчали. Она кончила гладить, сложила белье в стопку. Теперь ей пришлось повернуться к нему лицом.

— Спасибо, что ты послала за мной,— прошептал Сигген. Он поднялся с места.

Она стояла и пристально глядела ему прямо в лицо.

— Почему ты так странно смотришь на меня, Анне? Что случилось? Хочешь, чтобы я ушел?

Анне перевела дух.

— Не уходи, Сигген... Я просто немного устала... Присядь. Тише! Они спят!

— Анне, милая!

— Да?

— Я кое-что купил тебе, пока был там, на севере. Сказать?..

— Конечно скажи...

— Подойди поближе. Не хочу говорить слишком громко!

Она придвинулась к нему выжидающе, неуверенно.

— Что же ты привез? — спросила она, тяжело вздохнув.

— Комод,— сказал Сигген.

Анне моргнула глазами и снова перевела дух. Ей хотелось показать Сиггену, как она обрадовалась, но сделать это не удалось.

— Спасибо тебе,— с трудом произнесла она.— Ты очень добр, Сигген!

— Тебе вправду так кажется? — спросил он, грустно улыбаясь. Он почесал затылок.— Не знаю, что с тобой творится, но...

— Ничего,— поспешно сказала Анне. Она чувствовала, что боится потерять его, и, всхлипнув, добавила: — Я все время думаю о тебе! Этого, по-моему, достаточно!

— Но?... Ты плачешь, это еще что за новости?

— Все оттого, что я люблю тебя, а ты стоишь тут как дурень и мнешь кепку.

— Кабы я только знал, что это так.— Он прижал ее к себе, поднял на руки, и она обняла его за шею. Потом он осторожно опустил ее на пол и посадил к себе на колени. Анне сидела вся настороженная. Словно освобождалась от какой-то болезни. Вдруг она испытующе заглянула ему в глаза. Но увидела лишь их озорную голубизну и что-то еще, доставившее ей радость.

В кухне все чаще и надолго воцарялась тишина. В комнате тягостно и брюзгливо тикали старые стенные часы... Наконец раздались два глухих удара.

— Бог ты мой,— удивился он, вскочив с места.— Неужели так поздно? Тебе ведь, верно, пора ложиться. Тебе же рано вставать в типографию?

— Да,— чуть слышно сказала она,— да.

— Я лучше пойду тогда.— Он умолк и долго глядел на нее.— Теперь между нами все уладилось... Не правда ли? Скажи...

Анне кивнула головой. Она сделала это несколько раз, хотя на лице ее все еще сохранялось какое-то странное выражение. А в душе у нее все же что-то исчезало, что-то менялось. Она чувствовала себя почти освобожденной.

Сигген надел кепку и взялся за ручку двери. Тогда она схватила его за рукав и потянула за собой. Слегка удивленный, он был покорен, как ребенок...

С тех пор каждый вечер Сигген проводил в кухне с Анне. Каждый вечер он обязательно заходил в комнату к ее отцу. Мать по-прежнему усаживалась на краю постели, но теперь уже Анне садилась позади матери, опираясь на спинку кровати.

Так продолжалось четыре недели. Но внезапно все изменилось.

Как-то вечером они гуляли по Фьелльвейвейен. Погода была неважная, улицы пустынны.

Анне почувствовала: с Сиггеном творится что-то неладное. И она хорошо знала, что́ именно. Видно, разговоры о ней дошли и до Сиггена.

Наконец он остановился и перевел дух.

— Я хочу спросить тебя кое о чем, Анне. Это правда, что ты бывала вместе с Ловисе и Хансине у Тевсена, пока его старики находились за границей? Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Да,— ответила Анне. У нее сразу пересохло во рту.

— Тогда я хорошо понимаю, зачем ты послала за мной,— тихо и грустно заметил он.— Я вовсе не желаю подбирать чужие объедки. Тебе это надо бы знать!

— Нет, нет! — сказала Анне, отпустив его руку.— Я не знаю, что сказать тебе, Сигген. Да и сказать-то мне нечего!

— Так это правда? — крикнул Сигген. Он надеялся, что она будет все отрицать. Он так любил ее, что если бы она только попыталась сделать это, он поверил бы ей.

— Я не знаю, как это случилось,— с горечью отвечала Анне. Глаза ее были сухи, и она не избегала взгляда Сиггена.— Но я так устала от нашей кухни, так устала от одиночества этих долгих вечеров, от этой плиты, этой скамьи и от этого кофейника! И я так ненавидела свою комнату и свою убогую постель!

— И не стыдно тебе, Анне,— вырвалось у Сиггена. Он стоял и удивленно смотрел на нее.— Не стыдно тебе так говорить о своем доме, о своих. Ведь мы принадлежим к рабочей среде и должны гор-

диться этим. Как ты могла так поступить! Никогда бы я не подумал, что ты способна на такое!

— Нет, мне не стыдно,— тихо сказала Анне.— Мне тоже хотелось побывать среди шикарной публики, посмотреть, что делается во всех этих богатых домах, о которых пишут в газетах, во всех газетах... И, кроме того, они такие добрые, и Тевсен, и Хаммер, и остальные.

— Ну их всех к дьяволу! — выругался Сигген, потрясая в воздухе богатырским кулаком. Он готов был заплакать.— Больше им тебя не видать!

Анне снова заговорила все тем же тусклым голосом:

— Да, я хорошо видела, что нужна им только потому, что красива и... но... но одно время я думала, что я своя в этом обществе. И потом я не считала, что делаю что-то дурное. Ведь тогда я не была влюблена в тебя, а только ты в меня, но теперь...

— Когда это ты вдруг полюбила меня? — грубо спросил Сигген.

— Как-то вечером, когда услыхала их разговор о Ловисе и Хансине. Они не знали, что я их слышу. Именно тогда я и разглядела по-настоящему их лица, их холодные глаза и их презрительные улыбки... И поняла, что они относятся ко мне совсем не так, как я себе представляла!

— После этого и я стал хорош? — перебил ее Сигген.

— Да, после этого ты стал мне нравиться,— прошептала Анне, проводя рукой по лбу,— после этого я поняла, как ты мне дорог!

— Сначала ты смотришь сверху вниз на своих собственных родителей, а потом тащишь в грязь и меня. Никогда бы не подумал, Анне, что ты такая.

— И я ведь тоже не думала,— устало сказала Анне.— Но теперь я понимаю, что сама долгое время жаждала этого общества. Мне нравилось, как у них там красиво, какие все они нарядные и как легко тратят деньги. И все-таки они были мне до того противны, что я готова была их убить.

— Если на самом деле все обстоит так, как ты говоришь, незачем было гулять с этими людьми.

— Нам с тобой давно надо было жить вместе,— сказала Анне,— но тогда ты не мог прокормить даже себя самого. И тогда ты ничего мне не говорил. Но ты все равно хотел, чтобы я была твоей. Да, Сигген, вспомни-ка... Или ты забыл все, что было между нами? Не думаешь ли ты, что так будет для меня лучше? И что я не вижу разницы между тобой и Тевсеном? Или твоими товарищами, Гагеном и Лаффеном?

— Только не Тевсен, только не он, подлец, только не кто-нибудь из этих...— Сигген рубанул кулаком воздух.— Я и сам не знал, как сильно был тогда влюблен в тебя,— вдруг сказал он.

— И я тоже, Сигген,— отвечала Анне,— но теперь я это знаю!

— Теперь — слишком поздно! Идем домой!

Они молча направились к ее дому, держась в отдалении друг от друга.

Внезапно Сигген произнес:

— Если бы я мог содержать жену, всего этого не случилось бы! Так-то. Будь они все прокляты...

— Да, ты прав,— сказала Анне тихо, словно и сама давно об этом думала.

Они остановились подле ее дома. Анне протянула Сиггену руку и произнесла спокойно:

— Всего хорошего, Сигген!

Он застыл на месте, держа ее руку в своей, глаза его блуждали, на шее судорожно вздрагивал кадык. И вдруг он отрывисто объявил:

— Я пойду с тобой, если только ты хочешь этого, Анне. Скажи!

Она повернулась и пошла. Он молча следовал за ней. Но им обоим казалось, будто меж ними шел еще кто-то третий. И оба они знали: потребуется время, чтобы тень эта растворилась и исчезла. Она непременно исчезнет. И они знали: тень эта была бы в десять раз незаметней, если бы она была тенью Гагена, Лаффена или кого-нибудь другого из товарищей — рабочих, жителей одной и той же окраины.

Перевод с норвежского Людмилы Брауде

Без маски

— Вот идет бухгалтер,— сказал Петтер по прозвищу Молния.— А что, если вместо него я сам сейчас задам этот вопрос? — добавил он, придав своему лицу выражение беспомощности. Веснушки густо покрывали его нос и лоб, доходя почти до пышной рыжей шевелюры.

Тихо шумела маркировальная машина. Фрекен Холм подавила смешок. Калькулятор энергично пустил в ход электрическую счетную машину, она оглушительно затрещала. Пусть сегодня и рождество — он будет, как всегда, усердно трудиться, пока не окончится рабочий день.

— Заткни глотку,— добродушно заметил Слеттен, обращаясь к Молнии.— Да шевелись побыстрей, не то до конца работы так и не справишься со своими конвертами.

— Ладно, только он все равно задаст именно этот вопрос,— зашептал Петтер возбужденно.— А вот и он. Ну нет, сегодня я задам его сам.

Но бухгалтер все-таки опередил Петтера. Он слегка одернул на себе куртку, устало опустил веки, погладил костлявой рукой блестящую лысину и устало спросил:

— Бог ты мой, Слеттен, как вы только можете весь день напролет терпеть этот дьявольский шум счетной машины?

Петтер, торжествуя, огляделся вокруг. Калькулятор обернулся и внушительным тоном возразил:

— Эта машина дает фирме тысячи крон экономии.

— Ну-ну, будем надеяться, что это так,— довольно кисло сказал бухгалтер и перевел дружелюбный взгляд на Слеттена.

— А сейчас он задаст и другой вопрос! — выпалил Петтер.

Бухгалтер обернулся к Петтеру и пристально посмотрел на него, но тот сидел как ни в чем не бывало, протягивая фрекен Холм готовый конверт и делая вид, что углублен в разговор с нею.

Бухгалтер снова обратился к Слеттену:

— Ну, дорогой мой, как вы думаете, кончится война на той неделе?

— Разумеется,— ответил Слеттен с усмешкой.

— Да-да,— серьезно сказал бухгалтер.— Вы утверждаете это начиная с девятого апреля * и будете повторять до тех пор, пока война действительно не кончится или пока все мы не отправимся на тот свет.

---

* Девятого апреля 1940 года фашистская Германия напала на Норвегию. *(Прим. перев.)*

— Что-нибудь обязательно произойдет,— убежденно ответил Слеттен.— Ведь в мире всегда что-нибудь случается. Разве нет?

— Вы так думаете? — спросил бухгалтер грустно. Он тяжело дышал.— Ну ладно, сегодня у меня нет времени болтать с вами, Слеттен. Но все же как-то легче на душе становится, когда послушаешь ваши оптимистические бредни.

Вошел директор. Он совершал свой обычный рождественский обход, и от рукопожатий у него уже одеревенела рука. Все поднялись и выслушали горячие пожелания веселого рождества и победы оружию союзников. Последнее пожелание было рискованным, но директор мог себе позволить пойти на этот небольшой риск. Зато его пожелания вызовут всеобщее восхищение. Директор знал своих служащих.

Но тут вмешался бухгалтер.

— Так, значит, «Элла» сегодня вечером снимается с якоря? — спросил он.

Директор пожал плечами и бросил на бухгалтера быстрый недовольный взгляд.

— Трюмы ее заполнены железной рудой для немецких сталелитейных заводов,— с горечью произнес бухгалтер.

— Да, это печально,— заметил директор.— Ну, еще раз пожелаю вам всем веселого рождества.

— Этот груз принесет смерть тысячам наших друзей,— сказал бухгалтер.

Он стоял, задумчиво покачивая головой и тяжело дыша.

В семействе Слеттенов рождественский праздник окончился поздно. Дети крепко спали в кроватках, прижимая к груди подарки. Стрелки часов показывали половину второго.

Эльсе сидела на постели, уставившись в пространство пустым, беспомощным взглядом. Она напряженно улыбнулась, когда Слеттен, одетый, с чемоданчиком в руке, вошел в комнату.

— Ну веселей, детка,— сказал он шутливо и протянул ей руку.

— Храни тебя бог, Рагнар,— хрипло прошептала она, впиваясь ногтями в его ладонь.

— Спи, дорогая,— сказал он мягко, но решительно.— Ты ведь знаешь: то, что я делаю,— это тоже работа. И постарайся не думать об этом,— тихо прибавил он, вздохнув. Как тяжело сознавать, что близкие тоже подвергаются опасности наравне с тобой! Даже если они ничего об этом и не подозревают. Эльсе думала о чем-то своем.

— Я буду спать, Рагнар,— сказала она, собрав все свое мужество.

— Ну вот и хорошо.— Лицо его просветлело.

— До свиданья!

Он бросил взгляд на спящих детей и быстро вышел.

Спустя полчаса двое людей сидели в темном помещении склада, позади небольшой лавчонки на морском побережье. Тусклый синеватый свет карманного фонаря бросал таинственный отблеск на снующие в работе руки. Тихие отрывистые слова время от времени срывались с губ: «Замедленное действие... девять часов... «липучка» *... красная ампула...»

---

* Магнитная мина замедленного действия, прикрепляемая к борту судна. Часто применялась норвежскими патриотами для уничтожения судов, принадлежащих фашистам. *(Прим. перев.)*

Застывшие от холода руки уверенно работают почти в полной тьме. Лишь короткое шумное дыхание выдает присутствие людей. Работать! Быстрее. Нет, не так!.. Спокойнее... Спокойнее!..

— Все? — шепотом спросил Рагнар.

Слабый синеватый свет еще раз скользнул по лежащим перед ними предметам.

— Да,— ответил товарищ.

Они поднялись и начали раздеваться. При свете фонаря обнаженные тела казались синими. Луч фонаря померк, поглощенный черным пятном шерстяных трусов, и окончательно исчез, когда люди надели темные рубахи.

Заскрипела отодвигаемая дверь склада. С моря потянуло холодом.

— Отлично! — шепнул Рагнар.— Море черно, как смола.

— Брр... ну и холодная, должно быть, вода! — сказал его товарищ, вздрогнув.

Рагнар тихо засмеялся.

— Направление знаешь? Гляди, вон там виднеется силуэт завода.

Товарищ что-то буркнул в ответ. А затем прошептал:

— Ты хоть, по крайней мере, плыви не слишком быстро.

— Хорошо! — ответил Рагнар, и товарищ, сойдя в воду, поплыл вдоль деревянных свай.

Рагнар задвинул дверь склада и последовал за ним. Едва он очутился в воде, тело его сжало, словно ледяным обручем. У него перехватило дыхание, и он, широко раскрыв рот, судорожно ловил воздух. Затем взмахнул руками и поплыл.

Вдали от них с песнями и гиканьем мчалась по улицам ватага пьяных немцев. Время от времени раздавались выстрелы, и люди в море вздрагивали. Ледяная вода попадала в рот. Ноги коченели от холода. Рагнар поплыл быстрее, чтобы хоть немного согреться, но вспомнил о товарище и сразу остановился, плавными взмахами рук поддерживая тело на поверхности воды. Он обернулся и взглянул на гору. Ага, так! Вон там расселина.

Они плыли уже довольно долго, и Рагнар даже забеспокоился, не сбились ли они с курса. Но тут перед ними замаячила черная стена, да так близко, что они от неожиданности остановились. Они держались на воде, низко опустив головы. Вокруг стояла тишина. Было слышно, как по палубе расхаживает немецкий часовой. Время от времени он останавливался и начинал отбивать ногами чечетку. Якорная цепь звенела всякий раз, когда судно покачивало на волнах.

Они нырнули под корму.

Теперь вода уже не казалась им холодной. Наоборот, скорее теплой. Где-то на судне хриплый граммофон без конца наигрывал «Веселое рождество». На обратном пути Рагнару пришлось плыть почти рядом с товарищем, чтобы не терять его из виду.

После первых четырех-пяти глотков коньяка зубы перестали выбивать дробь.

— Нехорошо, что нам пришлось пустить ко дну судно, принадлежащее фирме,— сказал Рагнар, с трудом подавляя дрожь.

— Пожалуй,— откликнулся его товарищ и сделал еще один большой глоток.

— С прошедшим вас! — Так приветствуют друг друга служащие в конторах на следующее утро после рождественского праздника.

Бухгалтер первым подошел к Слеттену. Этот рыжий шалопай Петтер снова просчитался. И на этот раз бухгалтер опередил его, сказав:

— А все-таки нынче, ей-богу, кое-что произошло, Слегтен. «Элла» благополучно лежит на дне фьорда. Не будь я вот уже двадцать лет трезвенником, пошел бы сейчас и напился до чертиков. Ну, так когда же все-таки кончится война, Слеттен?

Слеттен разразился веселым смехом и, наверно, смеялся бы долго и заразительно, если бы какой-то человек (судя по одежде, рабочий) не ворвался в контору.

— Скорей! — закричал он.— Арестован Томми и... скорей, парень!

Слеттен выскочил из-за конторки, повернулся к двери и, взмахнув рукой, исчез. Бухгалтер стоял, как громом пораженный, и, выпучив глаза, смотрел на дверь. По улице прогрохотал грузовик. Тогда бухгалтер повернулся к калькулятору и сказал:

— Так, значит, это был...

Директор, совершавший свой обычный обход, вошел в контору.

— Что здесь происходит?

Но бухгалтер только молча раскрывал рот, не в силах произнести ни звука. Наконец он начал рассказывать.

Рагнар вернулся обратно лишь к рождеству 1945 года. Он все время оставался в Норвегии, хотя к моменту освобождения работал в другом месте. Эльсе ездила к нему на недельку. Ей тоже было о чем рассказать, но они предпочитали не касаться этого. Кое-что он знал, об остальном — догадывался.

Когда Рагнар стоял на вокзале, обнимая жену, ему казалось, будто он уже вернулся домой. Люди глядели на них с улыбкой. Это зрелище еще не стало обычным, хотя за последние полгода можно было наблюдать его довольно часто.

Родные почти ничего не могли узнать о том, что ему пришлось перенести. Рассказывал он мало, а то немногое, что сам пожелал сообщить, было уже давно рассказано. Несколько лет вычеркнуто из жизни. Много произошло всякого. Многое вспоминается, как страшный кошмар. И довольно об этом...

— А! — воскликнул бухгалтер, увидев Рагнара, который стоял в пальто и шляпе перед его конторкой.— Вы были правы, Слеттен, война окончилась ровно через неделю после того, как я несколько лет подряд повторял ваше любимое заклинание: «Война окончится на следующей неделе». Мне так не хватало этой вашей фразы у нас в конторе, что я сам стал ее повторять. Взял на себя, так сказать, вашу обязанность... Не отбил я этим у вас хлеб?

— О, нет, нисколько! — смеясь, заверил Рагнар и сердечно пожал ему руку.

— А вы помните мои слова: «Груз на этом судне угрожает тысячам наших друзей»?

Бухгалтер потряс костлявой рукой перед самым носом у Слеттена.

— Помню,— рассмеялся Рагнар.

— Я горжусь вами! — воскликнул бухгалтер.— Или, может быть, вам не нравится, что я так говорю?

— Не-ет,— ответил Рагнар с улыбкой,— но только знаете, все это стоило нам немалого напряжения душевных сил. И потом... было так много случаев, когда мы чувствовали себя такими одинокими, растерян-

ными... то есть... все это не так легко объяснить...— Вдруг он воскликнул, словно что-то в нем прорвалось:— Как много было черных дней, когда мы совсем не ощущали себя... героями... совсем не были на высоте.

Лицо Рагнара вдруг стало очень утомленным. Бухгалтер испытующе взглянул на него. Затем грустно кивнул головой.

— Я понимаю, Слеттен,— сказал он тихо.— Было труднее, чем мы можем себе представить? Ну, а жене вашей, благослови бог ее мужественное сердце, ей тоже всего этого не понять?

Рагнар коротко кивнул. Потом снова улыбнулся.

— А что вы скажете о счетной машине?

— Фу, проклятая трещотка! Убей меня бог, если я представляю себе, как вы можете тут сидеть целыми днями и слушать этот грохот. Впрочем, вы ведь еще не приступили к работе. Пойдете к директору?

Рагнар кивнул. Он почувствовал какую-то смутную тревогу. Похвалы бухгалтера были ему приятны и в то же время вызвали в нем какое-то беспокойство. До чего же хорошо все-таки вернуться снова к размеренной жизни и работе! И, помимо всего прочего, это ему просто необходимо. Волшебная неделя с Эльсе не прошла бесследно. Жене приходится теперь распускать складки на платьях. А с финансами у них туго.

Директор оторвался от бумаг и взглянул на него.

— Я выяснил, что вы потопили судно, принадлежащее фирме, не имея на то распоряжений из Англии. Не понимаю, как вы могли взять на себя такую ответственность. Английская разведывательная служба работала отлично, она была хорошо осведомлена как о судне, так и о грузе, который на нем находился.

Рагнар, побледнев, стоял перед роскошным письменным столом.

— Была война,— ответил он сдержанно.— Если бы каждый акт диверсии совершался лишь по распоряжению из Англии, то они происходили бы у нас довольно редко.— Рагнар перевел дыхание.— И у дикторов Би-би-си нашлось бы не так уж много материала для передач. На вашем судне перевозили железную руду в Германию.

Многое пришлось Рагнару пережить за эти годы. Много раз все происходящее казалось ему невероятным, когда он по ночам, в лесу и в горах, встречал самолеты союзников, груженные боеприпасами и одеждой, или когда после совершенной диверсии ему нужно было как ни в чем не бывало пройти мимо целой роты «зеленых» *. Но никогда прежде ему не пришлось испытать того, что он испытывал теперь, стоя перед письменным столом директора, который на протяжении последних шести лет то и дело произносил длинные и трогательные речи о героях Сопротивления.

Рагнар посмотрел в окно. В комнату проникали лучи холодного зимнего солнца.

— Вы, вероятно, находились и в числе этих... таинственных грабителей банков? — внезапно спросил директор.

Рагнар отрицательно покачал головой.

— Вы в этом уверены?

Рагнар выпрямился.

— Я сказал нет, господин директор. Но я не сомневаюсь, что для их действий были также вполне веские основания.

— Я предполагал, что вы будете рассуждать именно таким образом,— произнес директор.— И не ошибся. Так вот. Ваше место уже

---

* Так называли в Норвегии нацистских оккупантов, которые носили зеленую форму. *(Прим. перев.)*

давно занято одним способным юношей, который тоже оказал большие услуги движению Сопротивления. Мы не можем уволить его ради вас. А в том, что совершили в свое время вы, не было никакой необходимости.

— Значит, я не смогу вернуться на свое место? — спросил Рагнар.

— К сожалению, нет,— директор снова взялся за бумаги.— Вы получите отличные рекомендации, и... ведь служить можно не только в нашей фирме.

— Боюсь, что я смогу найти только временную работу,— сказал Рагнар с горечью.— Я люблю свою профессию, господин директор. Я прослужил немало лет в вашей фирме — неужели все это ничего не значит?

Много тяжелых часов пришлось пережить Рагнару во время войны: и когда он плыл, чтобы взорвать судно, и когда он услышал, как эсэсовцы истязали в тюрьме Эльсе, и когда он, бросив товарища на произвол судьбы, бежал, чтобы спасти находящиеся при нем ценные документы,— но ни разу он не испытал такой горечи, как сейчас.

— К сожалению, все места у нас заняты,— сказал директор сочувственно. И схватил телефонную трубку, давая понять, что разговор окончен.

Рагнар Слеттен медленно спускался по лестнице. Внезапно он остановился в раздумье и уставился в одну точку.

Внутренний голос все явственнее и явственнее твердил ему: «Ты слишком много знаешь об этой фирме и о человеке, который ее возглавляет. Он опасается, что ты будешь всюду рассказывать все, что знаешь».

Рагнар покачал головой. Чего-то он никак не мог понять. Ведь директор должен был как раз опасаться того, что, будучи уволенным, он и начнет обо всем рассказывать.

Но тот же голос подсказал Рагнару нечто такое, что раньше не могло прийти ему в голову.

Директор готовит операцию по защите самого себя. На совести у него много преступлений, и это может иметь для него роковые последствия. Не исключено, что о каких-либо из них стало уже известно. И он хочет, чтобы все разоблачающие слухи были сведены к этой истории с Рагнаром. Люди скажут: «О, этот Рагнар Слеттен по злобе распространяет о директоре фирмы, который его уволил, всяческие небылицы».

Рагнар долго стоял на ступеньке лестницы. Затем вышел на улицу и в последний раз оглядел здание фирмы. По отделам ходил директор и желал всем сотрудникам веселого рождества. Рагнар Слеттен взглянул на свои старенькие часы и заторопился. Быть может, контора по найму еще открыта.

Перевод с норвежского Ф. Золотаревской

Феликс Пита Родригес

ВИНТОВКА № 5764

Это история Феликса Фаустино Феррана
и его винтовки.
Однажды холодной январской ночью, в окопе,
близ одного из селений Кубы,
Ферран прочитал мне короткую и величественную поэму
о своей винтовке № 5764.
Я утверждаю, что это самая сверкающая и глубокая,
самая музыкальная из поэм Революции.
Он прочел ее теплым, серьезным голосом кубинского негра,
с широкой и чистой улыбкой кубинского негра,
и это Родина вся говорила
его словами, простыми, как стальные цветы.
Не знаю, к какому жанру относится эта поэма.
Вижу руку, которая с нежностью гладит
ствол винтовки,
руку, несокрушимую, как алмаз,
и, потрясенный, вслушиваюсь
в хрипловатый голос:

Антонио — ствол,
Вивиана — обойма,
Карука — затвор,
Филиберто — курок,
Ирэнэ — антабка,
Лусия — мушка,
Фабиан — приклад,
а я — спусковой крючок.

Каждая часть винтовки — его ребенок,
в каждой части винтовки — кровь его жил,
облик его любви, защищаемой с яростью.
Имена детей, матерей и жен,
став частями винтовки в руках бойцов,
сокрушают врага.
И однажды,
незабываемой ночью,
холодной январской ночью, в окопе,
рядовой Ферран,
кубинский негр с хрипловатым голосом,
обыкновенный рабочий Родины,
славы ее рабочий,
раскрыл мне сердце поэзии.

Перевод с испанского М. Самаева

Чарльз Чаплин-младший

Мой отец Чарли Чаплин

Перевод с английского В. Лимановской

О Чаплине написано много книг. Универсальность его дарования позволяет исследовать его творчество в самых различных аспектах.

Книга, главы из которой публикует журнал «Иностранная литература», не претендует на какое-либо углубленное исследование, она написана сыном Чаплина — Чарльзом Чаплином-младшим совместно с Н. и М. Роу.

В прижизненных биографиях всегда осторожно выбираются эпитеты. Трудно обозначить живого художника понятиями «гениальный», «великий», но значение творчества Чаплина для развития мирового киноискусства, да и не только киноискусства, таково, что его без размышлений можно назвать великим художником кинематографа. А раз это так, то интересным становится все — не только результаты его художественного творчества, его поразительных картин, но и вся его жизнь, в которой складывался, формировался, оттачивался его талант.

И в этом смысле книга Чаплина-младшего представляет значительный интерес.

Наблюдая жизнь отца день за днем, он безыскусно рассказывает о тех, казалось бы, малозначительных, обстоятельствах, в каких он замышлял и создавал свои фильмы. И заинтересованный читатель легко найдет в книге удивительные и противоречивые черты, характеризующие натуру художника, чье имя известно с детства буквально каждому человеку во всех уголках земного шара.

Всякий, кому привелось лично встречаться с Чаплином, беседовать с ним, наслаждаясь блеском его парадоксального мышления, остротой его наблюдений, живостью воображения, артистической подвижностью, обнаружит в этой книге, в этом интимном портрете большое, подлинное сходство. Видно, что сын бесконечно любит своего отца и, будучи близок к нему, способен понять и оценить его место в мировой культуре.

И все же в книге интересна не попытка объективной оценки художественного творчества Чаплина, а тот чисто фактический материал мемуарного характера, в котором Чаплин открывается в каких-то своих новых человеческих сторонах.

Печатая главы из этой книги, мы хотим, чтобы советский читатель ближе узнал художника, беззаветно любящего жизнь и своего маленького обездоленного героя, в защиту которого он выступил еще в начале XX века, века величайших социальных потрясений.

Чарли Чаплину не так давно исполнилось 70 лет. Он полон сил и энергии, он замышляет новые работы, он так же увлечен жизнью, как и в те годы, когда его маленькая комическая фигурка с тросточкой, в котелке покоряла экраны мира. Он расставался с этой маской и вновь возвращался к ней, но в каждой новой его картине билось большое доброе сердце, билась светлая, гуманная мысль, страстно ищущая путей разума и добра во имя того, чтобы «маленькому человеку» легче жилось в этом мире.

Сергей Герасимов

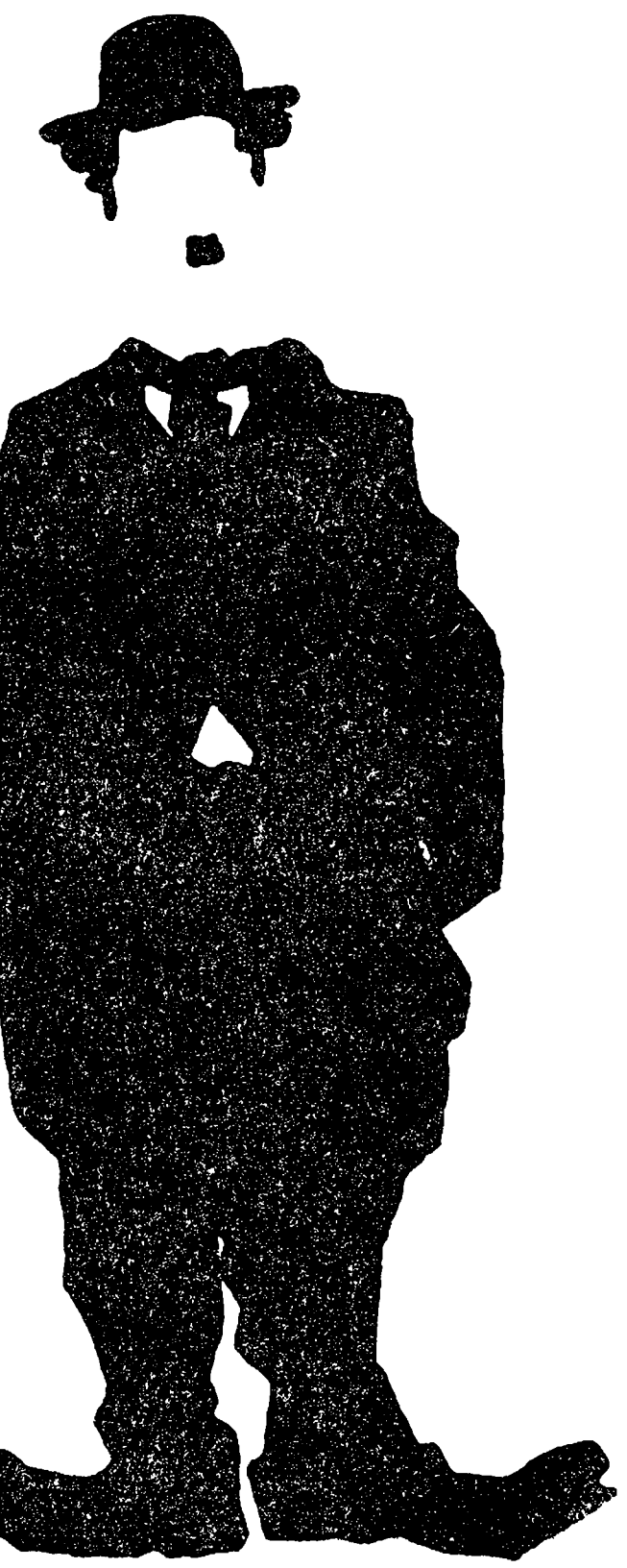
Моя мать Лилита Мак-Мэррей, по сцене Лита Грей,— наполовину шотландка, наполовину англо-испанского происхождения. Ее мать, Лилиан Грей, которую я и брат Сид до сих пор зовем Нана́,— уроженка Калифорнии. Она дочь испанки Луизы Карилло и англичанина Уильяма Эдварда Карри. Мой дед Роберт Эрл Мак-Мэррей — шотландец. Он разошелся с Нана давным-давно, когда моя мать была еще совсем маленькой.

Отец впервые увидел маму девочкой шести лет, близ ее дома, в маленьком ресторанчике, куда он изредка заходил перекусить. Он был совершенно очарован красотой девочки, долго болтал с ней и развлекал нехитрыми фокусами. После этого он снова увидел ее, также случайно, через шесть лет. Нана и Чак Ризнер, вице-директор отцовской студии, жили по соседству. Мистер Ризнер примегил Лилиту и, упомянув о ней в разговоре с отцом, советовал ему взглянуть на нее. Однажды отец увидел ее на улице возле дома, и девочка произвела на него такое впечатление, что он законтрактовал ее на год и дал ей роль в «Малыше» — фильме, в котором участвовал Джекки Куган.

После «Малыша» мама и Нана снимались в небольших ролях в фильме из двух частей «Праздный класс», поставленном отцом. Затем мамин контракт истек, и на несколько лет отец позабыл о ней. Возможно, они никогда бы не встретились больше, если бы в один прекрасный день она не явилась к нему на студию со своей подружкой Мерной Кеннеди. Они шли домой из школы, и мама хотела доказать Мерне, что и в самом деле знакома с знаменитым Чарли Чаплином. Как раз в это время отец подыскивал себе партнершу для фильма «Золотая лихорадка».

Увидев маму, он вновь пленился ею, но уже по-иному. Теперь это была не прежняя девчушка-хохотушка, а прелестная девушка во всей красе своих шестнадцати лет, жизнерадостная кареглазая брюнетка. Отец предложил ей сняться на пробу в каких-то кадрах. Мама согласилась, и отцу так понравились эти снимки, что он заключил с ней контракт. Так судьба или случай — называйте как хотите — соединила их снова, на сей раз прочнее, чем в прежние встречи. Все неожиданно завершилось браком в ноябре 1924 года, в маленькой деревушке Эмпалме в Мексике, куда они сбежали, спасаясь от назойливых репортеров.

После свадьбы, устроенной втихомолку, отец привез юную новобрачную в свой большой новый дом на Саммит-драйв в Беверли-Хиллз. Мама уступила Джорджии Хейл свою роль в фильме «Золотая лихорадка» и перешла на роль домашней хозяйки. По просьбе отца Нана переехала к ним, в следующем



году появился на свет я — 28 июня 1925 года, как записано в моем метрическом свидетельстве.

Я был первым ребенком, с которым отцу пришлось близко соприкоснуться, и значил для него больше, чем просто ребенок. Я был для него олицетворением дома, домашнего очага, всего, чего сам он был лишен в детстве. Чтобы понять моего отца, надо знать эту сторону его жизни.

Мой отец родился 16 апреля 1889 года в Лондоне, на Кеннингтон-роуд, Парнелл-террас № 3. Этот трехэтажный кирпичный дом, с виду унылый и неказистый, какие строили в девятнадцатом веке, был разрушен бомбежкой во время второй мировой войны. Родители отца были английскими подданными. Дед был полуфранцуз-полуирландец (фамилия Чаплин французская). У бабки в жилах текла цыганская кровь — не то французских цыган не то испанских,— унаследованная ею от матери. Мой отец всегда безмерно гордился этой примесью цыганской крови.

Родители отца были довольно известные в Лондоне эстрадные актеры. Дед был исполнителем народных песен — он обладал приятным баритоном, и его приглашали на гастроли даже в Нью-Йорк. Бабка Ханна Чаплин с юных лет подвизалась на сцене под именем Лили Харли — она пела и играла на фортепиано. Одно время она служила в труппе, разъезжавшей по городам Англии с оперетгами Гильберта и Салливана, выступала также в мюзик-холле в небольших скетчах, пользовавшихся успехом у публики.

Жизнь детей актеров, как правило, зависит от превратностей судьбы. Мой отец всего натерпелся, потому что дедушка Чаплин питал склонность к алкоголю и, естественно, был никудышным кормильцем. Он умер, не дожив до сорока лет, от болезни, вызванной пьянством.

Детство моего отца было полно лишений: чуть ли не с колыбели он испытал и холод, и голод. Когда ему исполнилось пять лет, произошло событие, о котором он всю свою жизнь вспоминал с ужасом. Он и его сводный брат Сидней были отданы матерью в сиротский приют — у нее не было средств содержать детей. Но пятилетний ребенок воспринял это так: раньше отец их не любил, а теперь и мать разлюбила.

В приюте никогда не кормили досыта, никогда не одевали тепло. Дети вечно мерзли и голодали. Относились к ним там как к преступникам, ибо бедность считалась пороком. Дисциплина — железная, распорядок — военный; можно легко себе представить, как все это выглядело в конце прошлого века, когда воспитание вообще было значительно строже, чем в наше время. За малейшую провинность детей секли, лишали пищи, запирали в карцер. Казалось, что все сознательные усилия приютского персонала направлены на то, чтобы сломить волю и дух маленьких воспитанников.

Ребенок особенно чувствовал свое одиночество, потому что за два года, которые он провел в приюте, мать редко навещала его. Впрочем, когда ему исполнилось семь лет, она взяла его домой. В приютской регистрационной книге сохранилась запись: «Сидней Чаплин возвращен матери 10 марта 1896 года. Также и Чарльз». По рассказам Сирила Холдена, сына Фреда Холдена, директора театра Кентербери, отец вышел из приюта тихим, вымуштрованным мальчуганом. Сирил и мой отец одногодки. Когда им было по восемь лет, они часто виделись, так как дед в то время работал в театре Кентербери. Мой отец хорошо усвоил правила поведения бедняков. И только его голубые глаза-льдинки — вспоминал много лет спустя мистер Холден — говорили о чем-то затаенном, упорном и настойчивом, о чем-то таком, что было куда сильнее хилого детского тельца...

— Надо верить в самого себя, вот в чем секрет,— сказал мне однажды отец.— Даже когда, когда я жил в приюте, и потом, когда бродил по улицам в поисках пропитания и едва не отдал богу душу, я думал о себе как о величайшем актере на свете. Мне было необходимо то ощущение счастья, которое дает вера в самого себя. Без этого я бы пропал.

Мечты о будущем помогали отцу. Семья Чаплинов недолго благоденствовала, и через некоторое время ребенок снова остался безнадзорным, снова мерз и голодал. Но в приют он не вернулся. Теперь это был почти в полном смысле слова маленький бродяжка: просил подаяние на улицах, спал где придется, делал все — только бы не умереть с голоду. Его худенькое от природы тельце до такой степени высохло, что крупная красивая голова с черными кудрями казалась карикатурно посаженной на жердь. В трущобах, где царят жестокие, грубые нравы, людям свойственно потешаться над всем, что им кажется необычным, так удивительно ли, что внешность маленького Чарли служила поводом для грубых шуток и насмешек. Но, как ни бросала его судьба, он все-таки жил на свободе и по временам, если удавалось найти случайную работу, мог хоть на короткий срок перестать думать о завтрашнем дне. Он прислуживал парикмахеру, подметал полы в мюзик-холле, а иногда, следуя по стопам родителей, выступал в крохотной комической или танцевальной роли в какой-нибудь сценке на эстраде.

Однажды он устроился на довольно длительный срок в юношеский ансамбль «Ланкаширская восьмерка» и был более или менее обеспечен самым необходимым. Но в других отношениях работа была мучительной. Ансамбль долго кочевал по шахтерским городкам Северной Англии. Это были мрачные задымленные городки, вечно окутанные холодным туманом. Пьяные драки считались там обычным явлением, и зрелище их доставляло отцу почти физические страдания. Мучили его также бесконечные госкливые ночи, когда все восемь юношей ложились вповалку в холодной каморке, и одинокий малыш, не в силах заснуть, мечтал о доме. Жизнь сироты — этим, пожалуй, все сказано, и это величайшее испытание отца в детстве.

Впервые отец привлек к себе внимание публики, когда выступил в лондонском зале «Ипподром» с «Ланкаширской восьмеркой». Ему тогда было восемь лет. Публика хохотала до упаду, когда он, изображая собачку, показал —

экспромтом и весьма реалистически — некоторые подробности собачьего поведения сначала под бутафорским деревом, потом — обнюхивая других собачонок. Администрация, панически испугавшись, что полиция запретит представление, поторопилась убрать его со сцены.

Позже мой отец поступил в другую разъездную труппу, ставившую в городах Северной Англии спектакль «Шерлок Холмс», в котором он исполнял роль чистильщика сапог Билли. Много лет спустя, когда я заговаривал о своей работе на сцене, папа непременно вставлял: «А знаешь, ведь твой отец тоже играл на настоящей сцене. Есть и у него сценический опыт!» Первое время я ждал, что дальше последует рассказ о том, что он выступал, скажем, в роли Гамлета или Сирано. А он начнет хвастать: «Да, четырнадцати лет в «Шерлоке Холмсе» я играл Билли-чистильщика». И, чувствуя, как дороги ему эти воспоминания, я невольно думал, уж не жалеет ли он в глубине души, что променял сцену на мимическую игру в кино?

Отцу было около семнадцати лет, когда он поступил в труппу Фреда Карно. В Англии ему не давали первых ролей — только второстепенные. Во время европейского турне труппы Карно, в Париже, в Фоли-Бержер, отец демонстрировал свой «собачий» номер, впервые показанный им девять лет назад в Лондоне, и как тогда лондонцы, так теперь парижане умирали со смеху, глядя на него. Однажды после выступления отца попросили подойти к Клоду Дебюсси, находившемуся в зрительном зале, и тот восторженно поздравил его. Отец всегда считал эти несколько минут, проведенные в обществе знаменитого композитора, одним из самых памятных эпизодов своей театральной жизни. Он мне часто об этом рассказывал, когда я был мальчиком...

Три года отец гастролировал с труппой Карно в Соединенных Штатах. В 1912 году его пригласил к себе известный комик Эд Уинн, с которым у отца впоследствии завязалась прочная дружба. Уинн, имевший свою труппу, увидел отца на сцене и пришел в такое восхищение, что пообещал ему 65 долларов в неделю. Отец попросил 75, Эд Уинн покачал головой:

— Ну нет, столько вы никогда здесь не заработаете!

В 1913 году отец подписал свой первый кинематографический контракт. Находясь в Филадельфии, он получил телеграмму от Адама Кесселя с просьбой связаться с нью-йоркской конторой Кесселя и Баумэна, владельцев «Кистоун-филмз». Эта телеграмма была послана по инициативе Мак Сеннета, случайно увидевшего моего отца на сцене нью-йоркского варьете в роли пьяницы в пантомиме «Вечер в английском мюзик-холле». Вот что рассказывает мистер Сеннет об этом:

— Чарли был великолепен, но все же я считаю, что, не окажись я тогда в нью-йоркском театре, ему наверняка пришлось бы ехать обратно в Англию. Он стал бы великим эстрадным актером, но в кино, я думаю, не попал бы, так как в ту пору в Англии еще не выпускались кинокомедии и Голливуд был единственным местом, где они ставились.

Мой отец придерживается иного мнения насчет того, какую сделал бы он карьеру, если бы его не заметил Сеннет. По словам отца, в то время он и один его товарищ по сцене откладывали деньги, чтобы совместно купить в Арканзасе ферму и выращивать там свиней...

Появление моего отца на студии было встречено с недоумением. Форд Стерлинг, чье место надлежало ему занять, бегло оглядел его и раскатисто захохотал.

— Ну и влипли же вы, Мак,— сказал он мистеру Сеннету.— Околпачил вас этот зеленый юнец, ведь у него нет никаких данных для кинематографа!

Большинство работников студии разделяло мнение Стерлинга. Англичанин с головы до пят, и по манерам и по речи (он даже кино называл иллюзионом), отец вряд ли мог понравиться американцам — так, по крайней мере, думали все. Застенчивый и деликатный, он жил крайне экономно в дешевеньких номерах и мало с кем общался. Как истый «кокни» *, он считал бережливость одной из главных добродетелей. Однажды отец сказал мистеру Сеннету, что, как только заработает свои первые сто тысяч, сразу бросит все дела. Вероятно, тогда он говорил это с полной искренностью, как, впрочем, и в последующие годы. Такого рода разговоры возобновлялись им не раз. Я не помню случая, чтобы, закончив очередной большой фильм, отец не сказал мне, что это — последний, и теперь он прощается навсегда с кинематографом.

Тонкое чувство юмора, присущее моему отцу, было совершенно не к месту в студии «Кистоун», где весь персонал составлял одну шумную семью, все вечно паясничали и «разыгрывали» друг друга...

Отца, вероятно, вообще считали высокомерным, во всяком случае непослушным. Несмотря на свою тихую и вежливую речь, он был упрям и всегда готов поспорить с режиссером насчет трактовки своей роли. В те времена сюжеты комедий разворачивались в стремительном темпе и строились только на действии, поэтому они были вульгарны и грубы.

---

* Прозвище коренных лондонцев из простого народа.

А пантомима отца требовала изящества, тонкости, чуть ли не балетной пластичности. Когда он попытался играть таким образом перед аппаратом, режиссер запротестовал: к чему такая медлительность? Это потребует уйму лишней пленки и не будет иметь успеха у публики. Если судить по первому фильму отца, режиссер оказался прав. Фильм провалился с треском. Все были уверены, что выкопанный Сеннетом «безвестный маленький англичанин» ровным счетом ничего не стоит.

Существует легенда, что актеры киностудии обсуждали сообща костюм Чарли Чаплина: как бы сделать его более фотогеничным, чем английский цилиндр и фрак, в которых он снимался в своем первом фильме. И что якобы из многих предложений возникла идея костюма «маленького бродяги». Однако отец отрицает эту версию; по его словам, костюм родился на много лет раньше. Както вечером, когда он подметал пол в лондонском мюзик-холле, к нему подошел растерянный директор, получивший неприятную весть: заболел главный комик, необходимо его заменить. Не попытается ли Чаплин выручить? Комик был рослый мужчина, и его костюм был отцу непомерно велик: штаны свисали мешком, башмаки валились с ног. Зато котелок оказался мал: у отца голова была крупнее, чем у комика.

— Я напялил все это на себя, и получился костюм бродяги,— рассказывал отец.— Вышел на сцену, и все начали смеяться: сам с ноготок, а штаны с большущего дяди! Я сымпровизировал номер и после исполнял его каждый вечер. В конце номера я падал в бочку с водой. Штаны надувались пузырем и держали меня на поверхности.

Вместе с костюмом бродяги появился и сам бродяга. Это была не выдуманная личность. Она просто вылилась из глубины отцовской души. По существу, это был его alter ego * — мальчуган, которому не удалось вырасти, вечно голодный и мерзнущий в своем тряпье, но все же не теряющий присущего ему задора...

Время принесло популярность отцу, а вместе с тем и уверенность в себе. Он стал все настойчивее проявлять свою индивидуальность в отношении исполнения разных мизансцен. Но спорил он вовсе не из желания оригинальничать. Просто это был не такой человек, который довольствуется тем, что играет свою роль, а создание художественного обрамления передоверяет другому. Едва переступив порог студии, отец принялся изучать технику кино с той страстностью, какую он вкладывает во все — и в работу, и в развлечения.

— По вечерам он всегда уходил из студии после всех актеров,— вспоминает мистер Сеннет.— Он оставался смотреть работу других съемочных групп. И все, все мотал себе на ус. Чертовски был прилежный ученик!

К концу первого года отец уже сам писал сценарии для своих картин и сам руководил их съемкой. В 1914 году он выпустил на студии «Кистоун» 35 фильмов, а в 1915, перейдя в «Эссеней» (при окладе в десять раз большем, чем в прежнем месте), сделал 14. В 1916 году он подписал контракт с «Мьючуэл компани» на следующих условиях: 10 тысяч долларов в неделю и премия 150 тысяч долларов, что составило 670 тысяч в год и вызвало сенсацию во всем мире, создав повод для других киноактеров требовать — и получать — баснословные оклады. В то время отцу исполнилось только 26 лет. За два года до этого он был всего-навсего мимическим актером мюзик-холла.

Поставив в «Мьючуэл» 12 комедий, отец вступил в новую фирму — «Ферст нэшнл экзибиторз серкуит», где он мог самостоятельно ставить свои фильмы. Его заработок по-прежнему выражался в астрономических цифрах. Фирма давала ему миллион долларов плюс 15 тысяч при подписании договора и половину чистой прибыли, за что он должен был выпустить восемь фильмов в течение ближайших полутора лет.

Став продюсером с правом на полную творческую свободу, отец приступил к постройке собственной киностудии в Голливуде, на углу авеню Ла Бреа и бульвара Сансет. На облицовке цоколя можно и сейчас видеть слепок башмака «маленького бродяги» и дату окончания строительства — 1918 год.

Брак моих родителей был неудачен с самого начала, и никакие силы не могли сделать его счастливым. На всем свете вы не найдете людей более разных, чем мои родители. Теперь уже мама научилась философски смотреть на этот нелепый союз антиподов.

— Чувство юмора вырабатывается у людей с годами,— говорила она.— Сейчас я понимаю, как глупа была с самого начала вся эта история. Фарс о супругах, совершенно разных по возрасту, да и по всему...

Нечего было ждать, что такой брак окажется долговечным. И действительно, конец наступил 1 декабря 1926 года, когда Сиду было восемь месяцев, а мне полтора года...

Если бы мои родители были обыкновенной четой, пожелавшей расторгнуть свой брак, они разошлись бы и получили развод — конечно, не без обычной в таких случаях душевной горечи, вызванной самим конфликтом. Но вряд ли

---

* Второе «я» *(лат.)*.

Это фото относится к периоду, когда Чаплин увлекался верховой ездой.

имели бы место вдобавок к их беде какие-нибудь посторонние наслоения. Увы, имя отца сделало его объектом сенсации... Сперва газеты поместили на первой полосе сообщение, что мама ушла от него. Затем были обнародованы выдержки из маминого гневного прошения о разводе, изложенного на 42 страницах. Отец ответил заявлением в печати, что это заговор с целью повредить его репутации.

Отныне то, что являлось сугубо личным делом двух человек, превратилось в нечто подобное веселому цирковому представлению. Все, кому не лень, приложили к нему руку. Адвокаты спорящих сторон спешили делать публичные заявления. Маму и нас, детей, изображали голодающими, а нашего отца — чудовищем, не желающим давать нам на пропитание. Дамы-патронессы из женских клубов весьма торжественно объявили сбор пожертвований в нашу пользу...

Но любопытство публики было не самой худшей бедой, гораздо больше неприятностей принесла моим родителям пресса, предавшая их неудачный брак и развод широкой огласке. Когда газетная травля достигла апогея, отец, находившийся в Нью-Йорке, заболел нервным расстройством и пролежал почти две недели в постели под наблюдением врача. Он не мог переваривать никакой твердой пищи и, ограниченный одной лишь жидкой диетой, потерял за короткий срок 17 фунтов. Теперь он весил всего-навсего 118 фунтов. Это не укрылось от глаз репортеров, которые поспешили оповестить читателей, что Чарли Чаплин осунулся и очень плохо выглядит.

У матери это тоже вызвало нервное расстройство с рецидивом через несколько лет; в первый раз все перипетии неудачного брака отразились бредом в ее больном мозгу. В течение долгого времени она не выносила классической музыки, а услышав Вагнера, в ужасе выбегала из комнаты. Слишком живо это напоминало ей концерты в голливудской ротонде, на которые ее водил отец, и самого отца с его странной самоуглубленностью, пугавшей ее, потому что она не понимала его характера. Кстати, о Вагнере. Для отца он всегда был самым любимым композитором. Маме приходилось настолько часто слышать Вагнера, что мрачная, образная, местами чувственная музыка этого композитора ассоциировалась у нее в мозгу с коротким и несчастливым ее замужеством...

Потянулись дни, недели и месяцы после развода, а отец не делал никаких попыток увидеть нас, хотя для этого требовалось лишь поднять телефонную трубку. У отца очень упрямый характер, вероятно от него я и Сид унаследовали эту черту. Он был, кроме того, еще и зол, настолько зол, что, видимо, потерял к нам всякий интерес. Мамина семья считала себя также глубоко уязвленной и была озлоблена в равной степени. Родственникам было безразлично, увидим ли мы когда-нибудь своего отца или нет. Только прабабушка Карри относилась к этому по-иному. В глубине души она считала, что разногласия между взрослыми не должны лишать нас отца, и не переставала надеяться, что он позвонит и воспользуется полученным им по суду правом свиданий с детьми.

Я не уверен, что отец вспоминал о нашем существовании в тот период. Он был поглощен завершением фильма

«Цирк», и так уж непомерно затянувшимся из-за семейных дрязг. Вряд ли он думал тогда о чем-нибудь ином. К концу года «Цирк» был закончен и в январе 1928 года выпущен в прокат. Он имел громадный успех, Академия удостоила Чарли Чаплина «премией Оскара» за 1927—1928 годы, сформулировав свое решение так. «За гениальную многогранность как автору сценария, актеру, режиссеру и продюсеру фильма «Цирк».

Когда мы стали постарше, отец рассказывал нам, как он получал «премию Оскара». Он даже не пошел на банкет, впервые устроенный по этому поводу 16 мая 1929 года в отеле «Рузвельт» в Голливуде, и комитету пришлось доставить ему «Оскара» на дом. Отец говорил, что считает учреждение этой премии Академии глупейшей затеей.

— Для меня не такая уж честь, если маленькая группка людей выносит решение, что моя картина самая лучшая,— не раз подчеркивал он.— Я хочу, чтобы меня ценил народ. Если народу нравится моя работа, это для меня уже достаточная награда.

По словам отца, вначале он так мало дорожил своим «Оскаром», что подпирал этой статуэткой дверь. Впрочем, в мое время отец уже водрузил «Оскара» на этажерку рядом с собственным скульптурным бюстом и своими любимыми дрезденскими и стаффордширскими статуэтками. И в Веве, в Швейцарии, куда отец теперь переселился, я тоже видел, что «Оскар» занимает почетное место. Что ж, с годами, возможно, отец стал милостивее к премиям Академии.

Окончив «Цирк», отец сразу ушел с головой в создание сценария «Огни большого города». Но в самый канун съемок кинопромышленность потряс кризис. 1928 год стал историческим годом для Голливуда. Звуковое кино к этому времени уже вышло из стадии эксперимента и стало реальностью. Владельцы киностудий должны были оборудовать производственные помещения новой аппаратурой и выбросить всю старую технику. Теперь их заботы уже не ограничивались сюжетом и красивой натурой, надо было думать и о диалоге и об актерах с хорошей дикцией. Это была пора заката многих кинозвезд, пользовавшихся любовью зрителей, и быстрого восхождения новых светил, пока еще безвестных, но зато с красивыми голосами.

У отца были отличные голосовые данные; работая на сцене, он исполнял разговорные роли и даже пел. Но он не был уверен, что его голос годится для экрана, да и вообще скептически оценивал художественные достоинства звукового кино, считая, что это вносит излишний реализм в условный мир кино. Он приостановил работу на студии, намереваясь продумать этот вопрос. Только постановщики, работавшие в тот период, способны понять его страхи и сомнения. Особенно тревожило отца то обстоятельство, что «маленький бродяга», которого зритель успел полюбить, в чей образ отец вкладывал так много своих потаенных чувств, потеряет свою прелесть на звуковом экране. Всю весну и все лето отец переживал это так, словно гибель грозила близкому, хотя и созданному собственной фантазией человеку — его alter ego...

В конце концов отец решил снимать «Огни большого города» как немой фильм. Он объяснял это коммерческими соображениями: мол, «маленького бродягу», говорящего на универсальном языке пантомимы, знает весь мир, ограничиться демонстрацией его в странах, где говорят на английском языке, значило бы лишиться миллионов потенциальных зрителей. Но, зная отца, я уверен, что его решение обусловили причины более глубокие. Он просто не в силах был сделать такой шаг, который мог погубить «маленького бродягу». Итак, «Огнями большого города» отец отсрочил ему приговор.

Остается лишь догадываться, сколько нервов стоило отцу это решение. Он заставлял весь коллектив трудиться день и ночь, «выстреливая» тысячи футов пленки, большую часть которой не пришлось использовать. Сам он работал наряду с остальными, не щадя ни собственных сил, ни сил своих подчиненных. Это так подорвало его здоровье, что, отравившись случайно колбасным ядом, он заболел в начале весны инфекционным гастритом, а вслед за тем воспалением легких. Пришлось прекратить съемки и на целую неделю закрыть студию, пока он не поправился.

Когда отец после болезни снова приступил к работе, прабабушка Карри решила больше не ждать и сама проявила инициативу. В то время Нана уехала с мамой из города, прадедушки Карри уже не было в живых, никто не мог помешать старухе. И вот в один прекрасный день, почти через два года после развода, она позвонила папе по телефону и спросила, не хочет ли он, чтобы мы к нему приехали.

Отец не стал раздумывать. Он попросил ее привезти нас тотчас же. И был поражен, увидев нас. Вместо прежних младенцев, представлявших для него сплошную загадку, перед ним были два мальчугана трехлетнего и четырехлетнего возраста, которые бегали и говорили свободно не только по-английски, но и по-испански.

Лед был сломан. После этого посещения папа часто звонил прабабушке и просил разрешения заехать за нами и повезти нас в студию. Он любил показывать нас, он очень гордился нами...

Полетт Годдар — кажется, пятая по счету из чаплинских героинь, которых отец на протяжении ряда лет чудодейственно делал знаменитыми. Эдна Пэрвианс, Джорджия Хейл, Мерна Кеннеди, Вирджиния Черрилл — все они блеснули на короткий срок благодаря его режиссуре. Полетт единственная из них сохранила известность и после того, как ушла от отца...

Отец обладает поразительной интуицией в отношении людей. Он умеет угадывать те черты, которые определяют их индивидуальность. В Полетт он увидел не просто хористочку, каких пруд пруди. Он увидел девушку, обладающую чрезвычайно смелым и независимым характером, такую, которая бесстрашно, с дерзкой отвагой встречает любые неудачи.

Полетт была наделена всеми качествами, присущими озорной девчонке — главной героине фильма «Новые времена», над сценарием которого отец работал в то время. Фильм этот был задуман отцом как сатира на машинный век, идею подсказал ему экономический кризис, глубоко поразивший его по возвращении из-за границы: в стране колоссального изобилия он увидел миллионы безработных. У отца была намечена героиня в общих чертах, но, для того чтобы этот образ обрел конкретность, ему нужно было прежде найти подходящую актрису. Все актрисы в отцовских фильмах обычно хорошо играют в значительной степени благодаря тому, что он заранее знает, для кого пишет роли.

Познакомившись с Полетт, отец чуть ли не сразу почувствовал, что это — живое воплощение его девушки из «Новых времен». Он дал за Полетт отступного Холу Рочу, с которым у нее был контракт, и, полностью взяв ее под свою опеку, стал заниматься с ней. У отца прирожденный талант педагога, уча других, он тоже утверждает свое «я».

Полетт оказалась восприимчивой ученицей. Она читала книги, рекомендованные отцом, и, кроме них, еще многие другие, ибо, так же как и он, жадно стремилась к знаниям. На этот раз отец нашел себе жену, которая, несмотря на молодость, обладала зрелым интеллектом. Она могла говорить с ним как равная, и это очень сближало их...

Я так хорошо помню день, когда мы с Сидом впервые увидели Полетт, словно это было вчера, а не двадцать пять лет назад. Отец подъехал вместе с Полетт к дому, где мы жили с Нана и прабабушкой, чтобы познакомить нас и увезти с собой до вечера. Он выскочил из машины, обошел ее кругом и, распахнув дверцу, помог ступить на тротуар красавице с льняными волосами. Я и Сид, поджидавшие отца на крыльце, были так ошеломлены, что не могли оторвать от нее взгляд. Блестящие волосы, отливающие серебром, обрамляли задорное личико с заостренным подбородком и лучистыми голубовато-зелеными глазами. Она подошла к нам, и папа важно представил:

— Мои сыновья: Чарльз-младший и Сидней,— а затем обратился к нам: — А это — Полетт Годдар, ребята. Ну, что надо сказать хорошей даме?

Мы подняли головы и взглянули на симпатичное лицо, так и светившееся лукавой, заговорщицкой улыбкой, и с этой минуты Полетт завладела нашими сердцами на все время нашего золотого детства. Догадывались ли вы, Полетт, когда-нибудь, что вы для нас значили? Вы были нам матерью, сестрой, другом. Вы отгоняли мрачные думы отца, вы делали все, чтобы мы чувствовали семейную теплоту в большом отцовском доме. В наших глазах вы были самой прелестной женщиной на свете. И сейчас, когда я мысленно возвращаюсь к прошлому, мне кажется, что мы тоже немало значили для вас, заполняя пустующий уголок в вашем сердце...

Определить нас в закрытое учебное заведение было идеей отца. Он считал, что нас окружает слишком много женщин... Он прислал матери список подходящих, по его мнению, школ и просил ее выбрать ту, которая ей понравится. Мама и Нана остановились на военной школе «Блэк-Фокс». Это учебное заведение находилось в Голливуде, что позволяло брать нас домой на субботу и воскресенье. Многие дети известных кинодеятелей учились там, и мама считала, что военное обучение пойдет нам на пользу, хотя Нана не была с этим согласна. Мама уведомила отца о своем выборе, он был доволен. Наверно, ему даже в голову не пришло, ни тогда, ни позже, что он проявил редкую непоследовательность: такой убежденный противник войны — и вдруг послал собственных сыновей в военную школу...

Целые три недели осваивался я с новой жизнью. По временам я плакал, но тайком, чтобы никто не видел. Однажды я вскочил с постели ночью и пошел бродить во сне; так же было и с Сидом. Воспитательница успокоила нашу прабабушку: мол, с новичками это обычная история.

Труднее всего было привыкнуть к строжайшему регламенту...

Существовала целая система наказаний за нарушение правил: за подсказывание на уроке больно били линейкой по рукам, за болтовню в строю посылали в кабинет учителя гимнастики, который мог тебя отшлепать, за более серьезные проступки вызывал к себе директор, и там тебя ждало нечто похуже, чем

линейка или ремень,— там грозили написать отцу.

Первое время нас словно прогоняли сквозь строй; казалось, что великаны-старшие только и ждут случая подвергнуть детей мучениям за малейшую провинность. Сколь не похоже было все это на женскую ласку и справедливость, к которым мы привыкли дома. Хотя нас с братом поместили в разные комнаты, я знал, что он, как и я, ненавидит эту жизнь.

Легко себе представить, как радовались мы пятнице, да не только мы, но и все остальные воспитанники. Пятница была нашим табельным днем. В этот день мы маршировали на плацу перед публикой, состоявшей из родных и друзей, демонстрируя свои успехи за неделю муштровки...

Однажды отец протиснулся сквозь ряды зрителей и подошел к Нана.

— Знаете, с годами мы становимся мягче,— сказал он ей вдруг в порыве чувства, о причине которого она не догадалась.— Время многое сглаживает. Я уверен, что теперь у нас с вами не будет никаких трений.

И правда, трений больше не было. Эти слова положили конец вражде между родителями. Прекратились судебные процессы и конфликты по поводу того, что каждый из них считал для нас лучшим.

Вспоминаю отца в одно из его редких посещений школьного парада. Вот он стоит, заложив руки за спину, голубые глаза радостно искрятся, на лице довольная, чуть ли не торжествующая усмешка. Тут были, может быть, и удивление, и гордость от сознания, что он способен дать своим сыновьям такую размеренную и обеспеченную жизнь.

Но мне почудилось в его лице и нечто иное, и, помню, у меня больно заныло сердце. Может быть, я почувствовал, как он одинок, и мне захотелось чем-нибудь утешить его? Не знаю, так ли это, но я стал еще четче отбивать шаг, еще внимательнее слушать команду, еще более лихо отдавать честь и более громко щелкать каблуками, видя устремленные на меня голубые глаза-льдинки.

Зато в пятницу вечером мы вознаграждались за всю неделю: тех, кто показал примерное поведение, отпускали домой до понедельника. Одну неделю мы проводили у мамы и Нана, другую — у отца. Теперь нас уже считали достаточно взрослыми и отпускали к нему на оба дня.

О, эти замечательные субботы и воскресенья! Этот дивный, волшебный дом на горе, в котором жил человек, соединявший в себе много лиц! Нам выпало счастье видеть их всех: и строгого ментора, и неподражаемого артиста, и мечтателя, то грустного, то неожиданно веселого, и дикаря с Борнео, со вспышками вулканического темперамента. Этот любимый хамелеон своими переменами цвета раскрасил мое детство и никогда не выпускал из-под власти своих чар...

Теперь мне хочется рассказать об этом незабываемом времени — без малого о двадцати годах, позволивших нам наблюдать отца в интимной обстановке, до сих пор никем не описанной. Теперь, каждый раз проходя мимо старого дома, я с душевной болью думаю о потере чего-то дорогого. Тим Дьюрант, ближайший друг отца на протяжении всех последних лет, признался мне, что и у него такое же чувство. Этот дом, где Чарли Чаплин, достигший апогея влиятельности и славы, по-царски принимал гостей, сейчас стоит, как жалкий склеп, как символ безвозвратно исчезнувшего былого величия кинематографической столицы. Ныне производство фильмов почти утратило творческий блеск, какой был ему присущ на раннем этапе развития, оно теперь меньше похоже на искусство, а больше — на солидный, респектабельный бизнес.

Тает постепенно маленькая усадьба моего отца, шесть с половиной акров, скромная по сравнению с имением верхнего соседа — Гарольда Ллойда и нижнего — Дугласа Фербенкса. Деревья, собственноручно посаженные отцом вдоль горного склона, сейчас почти все вырублены. Значительную часть территории сравняли, разбили на участки и застраивают. На месте любимой теннисной площадки, где отец провел столько счастливых часов, высится теперь чей-то дом.

Я гляжу на это печальное место и вспоминаю слова отца: «Люблю этот дом. Никогда не хотел бы жить ни в каком другом месте. Чего же больше?»

Деревья окружали дом с трех сторон. Ель, сосна, кедр росли по склонам. Узкие лесные тропинки, выложенные как бы небрежно камнями разной величины, петляли меж деревьев. Отец больше всего любил гулять здесь после дождя, когда особенно хорошо пахнут сосны и ели.

Четвертая сторона, фасадная, выходит на газон. Отсюда спускается величественная лестница к теннисной площадке и плавательному бассейну. Когда вода в нем бывала спущена, отец любил прыгать на дно и открывать краны. Это было одной из его домашних обязанностей, правда немногочисленных, поскольку хозяйственными талантами он не обладает.

По полукруглому въезду машины подруливали к самому крыльцу. Внутри вы попадали в просторный вестибюль, который тянулся вдоль всего фасада — из конца в конец, в годы моего детства он был почти на всем своем протяжении

высотой в два этажа. Отец любил простор — видно, крепко запомнились ему тесные каморки, где он жил в детстве.

Винтовая лестница сбоку вела на хоры, выходившие в вестибюль... В нише под лестницей висели старинные доспехи восточного воина и громадный медный гонг в форме чаши, а рядом — молоток с черной ручкой. У отца была тайная дружба с этим гонгом. Бывало, проходя мимо, погруженный в свои мысли, он остановится, легонько постучит по нему пальцем, и терпеливо ждет, пока не раздастся негромкий протяжный звук, точно в ответ на какой-то его вопрос.

Слева от вестибюля находился большой зал с высокими сводами, как в церкви. Здесь стоял орган. Отец частенько подбирал на нем какие-то мотивы, главным образом собственного сочинения. А уж если появлялся кто-нибудь из друзей-музыкантов, то его прежде всего усаживали за орган. Сладкозвучный гул наполнял тогда зал, но отец считал это недостаточным: он включал еще и усилители, чтобы было слышно во всем доме. Этот зал служил также для демонстрации кинокартин. Проекционная камера была оборудована под лестницей, а экран спускали с потолка впереди органа при помощи кнопочного устройства.

Из зала через коридор дверь вела в гостиную, окна которой, до того как пристроили кабинет, выходили на ступенчатый задний газон. Это очень красивая комната с широкими окнами и белыми панелями на стенах. Середину правой стены занимает большой камин, который отец топил не дровами, а только углем, по английскому обычаю.

По обеим сторонам камина высились полки с книгами, представлявшими самую разнообразную тематику и не менее разнообразный круг авторов...

Слева у окна стоял рояль «Стейнвей», возле него было постоянное место Большого энциклопедического словаря Уэбстера, которым отец часто пользовался, сидя рядом за своим письменным столом, когда занимался внизу. У этой же стены близ входа стоял ярко-красный лакированный японский шифоньер, разрисованный причудливыми драконами и разными фантастическими фигурами. В шифоньере отец хранил привезенные им из Страны Восходящего Солнца сувениры: несколько кимоно и церемониальных масок, а также украшенные изумительной чеканкой мечи самураев...

Напротив гостиной находилась столовая, величественная комната с большими окнами, тоже обращенными на красивый газон. По сравнению со всеми остальными комнатами, столовая имела наиболее современный вид. Над камином, почти никогда не топившимся, висело зеркало в раме, в котором отражались газон и деревья, а в торжественные

Дом Чаплина близ Голливуда в Беверли-Хиллз.

дни — нарядные гости вокруг массивного обеденного стола. Когда мы с Сидом подросли и надели мундирчики, нам тоже было предоставлено место за этим столом. Зеркало в столовой — свидетель многих интересных встреч — год за годом отражало постепенное превращение двух мальчуганов в подростков...

Со всеми вещами в доме отец давно успел сродниться, но нигде это так не чувствовалось, как в его спальне. До постройки рабочего кабинета внизу он проводил там почти весь день — писал, занимался. Эта комната больше, чем все остальные, соответствовала его характеру. Много простора и света, красивый камин (на моей памяти никогда не используемый по назначению), но очень строгая обстановка: письменный стол и стул, столик со вторым экземпляром энциклопедического словаря Уэбстера и две кровати с тумбочками.

В нише, где из окон хорошо было видно небо, а если смотреть вниз, то дома соседей и за ними панораму всего города, стоял один предмет, которым отец чрезвычайно дорожил: мощный телескоп на треножнике. Этот телескоп был у него всегда, сколько я себя помню. Мы с отцом проводили много времени около него. Отец увлекался своим телескопом, как ребенок, любил нажимать разные кнопки, регулировать оптику, чтобы все было видно наилучшим образом. По вечерам мы рассматривали звезды и луну. Отец показывал нам Большую Медведицу и некоторые другие крупные созвездия, но в душе он не был астрономом. Он куда охотнее направлял трубу телескопа на улицу, и, благодаря мощным линзам, даже далекое становилось близким.

Иногда он ловил в объектив какую-нибудь одинокую фигуру прохожего и долго следил за ним, высказывая вслух разные предположения и время от времени предлагая нам взглянуть тоже.

— Видите вон того человека? — спрашивал он.— Наверно, возвращается домой после тяжелого рабочего дня. Обратите внимание на его походку, как он устало плетется. Голову втянул в плечи. Он чем-то озабочен. Как вы думаете, чем?

Да, отец питал слишком живой интерес к людям, чтобы с увлечением предаваться созерцанию неба. Не случайно, по-моему, он в своей пантомиме показывает не великолепие небесных светил, а трагикомические черты своих земных собратьев...

Когда наша семья жила еще вся вместе в доме на горе, мы были настолько малы, что не могли ничего знать о домашних делах, зато, став старше, мы вдруг поняли, что нас там считают всего-навсего гостями. Выстроив собственный дом, отец завел в нем и собственные законы, и мама, войдя в него в качестве новобрачной, должна была смириться с ними. И хотя внешне она казалась хозяйкой, но по существу не пользовалась правом голоса, так же, как и мы. Да и как могла она, юная и неопытная, изменить что-нибудь на свой лад в столь превосходно функционирующей машине, как сделала это, например, Полетт Годдар несколько лет спустя? Маме оставалось лишь жаловаться, что ее третируют. Но, несмотря на все ее протесты, жизнь в доме не меняла привычного русла. Это было, пожалуй, единственное, что сохранялось неизменным во время бурной совместной жизни родителей.

И даже после общественного скандала, после того как семейный корабль разбился и отец надолго перешел на положение холостяка, домашний режим не только не пострадал, но даже стал еще строже. Это был режим хорошо поставленного среднебуржуазного английского дома.

Сколько кип бумаги исписано насчет того, что мой отец — любитель наслаждений, не признающий ничего святого, но ни один из критиков не отметил его колоссальный, чуть ли не гротескный культ семьи, его любовь к домашнему порядку и отвращение к иному образу жизни, где все зависит от случайности. Лучшее, самое счастливое настроение у него бывало, когда все шло без перемен и он чувствовал себя только тогда в своей тарелке, когда, встав поутру, твердо знал, что будет делать в четыре часа.

В свободные от работы дни отец вставал между одиннадцатью и часом, потому что накануне ложился очень поздно. Как правило, он до четырех часов занимался у себя в комнате, кроме суббот, когда ездил куда-нибудь с нами. В четыре он спешил на теннисную площадку с кем-нибудь из друзей, а если никого из них не оказывалось в это время, то один гонял по площадке мяч. За теннисом следовало недолгое купание в бассейне, душ или несколько минут в парильне. Затем отец одевался и уезжал обедать, если в тот день не обедал дома.

Домашний стол всегда был прост и даже однообразен. В основном придерживались английской кухни — отец не любил ни подлив, ни жирных соусов. На обед почти неизменно подавали ростбиф с кровью или жареную курицу, баранину, бараньи отбивные с печеным картофелем, а чаще всего с зеленым горошком. Отец сам ничего не заказывал, он все поручал повару, хорошо знавшему его вкус... Обычно после обеда отец уходил к себе читать или писать. До женитьбы на Полетт он очень редко принимал гостей. Каждое воскресенье в четыре часа пополудни пили чай с вареньем и булочками. К этому чаепитию, символизирующему прочный английский достаток, отец относился как к священному обряду.

— Уже четыре часа, ребята,— неизменно возвещал он в день нашего воскресного визита.— Пора пить чай с булочками, в Англии все пьют чай в это время...

Если в дни наших посещений отец не был занят срочной работой, он всегда старался нас развлечь — например, повести в кино в субботу под вечер. Нашими любимцами были комики Лорел и Харди. Отец не мог нам этого простить.

— Ну и сыночки у меня! — говорил он своим друзьям.— Считают, что другие актеры смешнее, чем собственный отец!

Но он знал, что мы любили его картины. Он часто устраивал для нас дома просмотр своих фильмов, разрешая приглашать на эти сеансы наших друзей. Иногда нас, ребят, собиралось человек двадцать.

Чтобы рассадить гостей, сносили в импровизированный кинозал кушетки, диваны и стулья со всего дома. Отец любил присутствовать на этих сеансах. Он ставил свой стул где-нибудь в сторонке и усаживался, скрестив на груди руки, всем своим видом показывая, что намерен вести себя как рядовой зритель. Но лишь только начинали крутить ленту, он вскакивал с места и переходил на другой конец зала к нам, чтобы, стоя возле ребят, наблюдать за их реакцией. Это было для него интереснее, чем смотреть на «маленького бродягу».

Но и здесь отец долго не молчал и начинал давать пояснения к действию:

— Глядите, вон он, маленький человечек, сюда, сюда идет! — восклицал отец, довольно потирая руки.— Вот он уже здесь, а рядом с ним верзила с перевязанной ногой, видите? Ох, что сейчас будет! Не прозевайте, ребята!

Эти взволнованные тирады мы принимали как должное. Нам и в голову не приходило, что в целом мире только нам, детям, выпало счастье слышать живую речь Чаплина в его немых фильмах.

В смешных местах мы хохотали, хохотал и отец вместе с нами. У меня и сейчас звучит в ушах его негромкий заразительный смех. Но смех этот был вызван не грюками «маленького бродяги», а реакцией ребячьей аудитории. И уж если мы хохотали до слез, отец бывал на седьмом небе от счастья.

— По-вашему, это так смешно, да?— спрашивал он и самодовольно добавлял: — А ведь дети — такой народ, что им трудно угодить...

Как многие отцы, он всегда рассказывал нам перед сном какие-нибудь истории, например, о привидениях, всегда захватывающе интересные. Лежа в постелях мы с Сидом замирали от сладкого страха. Иногда отец вспоминал что-нибудь из Диккенса, но, против ожидания, не сентиментальное и не юмористическое, хотя у Диккенса и того и другого очень много. Отец предпочитал страшное. Своим тяготением к страшному он сам походит на Диккенса.

Мне кажется, больше всего он любил «Оливера Твиста», потому что жизнь Оливера в приюте напоминала ему собственное детство. Он часто читал нам сцену знакомства Оливера Твиста с Фэджином... Причем всегда варьировал этот отрывок, пополняя его новыми, выдуманными эпизодами. Мы никогда не знали заранее, что нас ждет. Зато всегда знали, что будет интересно.

Давно уже отец, бывало, уйдет, со смехом пожелав нам покойной ночи, а мы лежим на своих кроватях в кромешной тьме и обсуждаем его рассказ. Впрочем, это мы делали главным образом для того, чтобы напомнить самим себе, что в комнате есть еще кто-то, кроме тебя, ибо отец своим колдовским даром повергал нас в дрожь и холод. Тук, тук, тук,— стучали со всех сторон ветки деревьев в окна нашей спальни, и тоненько и грустно посвистывал ночной ветерок...

В годы моего детства и юности жизнь с отцом напоминала плавание в утлой лодке среди морских валов. Каждые пять лет новый вал, новый мучительный период творчества и как венец его — новый кинематографический шедевр: «Огни большого города», «Новые времена», «Великий диктатор», «Господин Верду» и «Огни рампы». Хоть я не знаю обстоятельств работы над «Королем в Нью-Йорке», поскольку отец заканчивал этот фильм в Европе, полагаю, что в него вложено не меньше души и упорного труда, чем в предшествующие творения

Когда отец поглощен работой, все остальное. в том числе и семья, перестает для него существовать, все приносится на алтарь творчества, которое продолжается бешеным крещендо и обрывается в вихре финала, оставляя творца совершенно без сил. Он сам говорит, что, закончив фильм, должен отлежаться день-другой в постели, чтобы дать отдых нервной системе. И не он один остается без сил. Все, кто связаны с ним в такие периоды в студии и дома, бывают тоже измучены, утомлены и готовы бежать куда глаза глядят. Такова жизнь подле художника, который всегда и во всем ищет совершенства; само собой разумеется, что с гениальным человеком в доме постоянного спокойствия нечего ждать. Кстати, мы с Сидом и не ждали: нам такая жизнь казалась вполне нормальной, пока мы не стали старше.

Все же относительное спокойствие царило у нас дома между двумя волнами: одна уже пронеслась — это были «Огни большого города», другая — «Новые времена» — только поднималась. Этот период был сравнительно тихим, если не считать, конечно, того, что невидимая стихия никогда не утихала и новая волна неуклонно наращивала силу.

Создание сценария «Новые времена» заняло у отца более двух лет. Начал он его в 1932 году, сразу по возвращении из-за границы. Литературная работа никогда не шла у него быстро, особенно вначале казалось, что он даже не работает, а как бы забавляется. Но, независимо от всего, отец любил писать, так же как Диккенс-писатель любил играть на сцене. Однажды отец рассказал мне, что он заставляет себя каждый день занести на бумагу пятьсот слов на любую тему, если не ради дела, то практики ради. Впрочем, когда мы с Сидом начали ездить к отцу, сценарий «Новые времена» был уже почти готов. В октябре собирались пустить его в производство.

В целях самозащиты мы с Сидом довольно скоро научились угадывать отцовские настроения и соответственно избирать форму поведения. Если отец был доволен, он пел. И как чудесно пел! Арии из опер, народные песни, куплеты, которые помнил еще со времен мюзик-холла, и собственные песенки тоже, особенно часто свою любимую «Купите мои цветочки» из «Огней большого города».

Он пел, принимая душ. Пел, собираясь куда-нибудь вечером. Пел таким громким голосом, что было слышно во всем доме, в самых дальних уголках первого этажа и даже снаружи, на самой вершине холма. Это значило, что мы с Сидом мо-

жем не волноваться: нас ждут веселые суббота и воскресенье.

Но бывали и мрачные дни: мы застава́ли отца в одном из свойственных ему приступов меланхолии, так хорошо известных всем, кто близко с ним сталкивался. Отец вообще молчалив, когда работает, разве что иногда проверит на слух какой-нибудь отрывок из написанного. А если он не в духе, то тут уж и звука от него не услышишь. Дурное настроение может появиться у него по любому поводу — подчас из-за газетной заметки о несчастном случае. Но чаще всего — это недовольство собой, ощущение творческого бессилия, когда его жадные поиски новых идей безрезультатны. Словно весь он скован по рукам и ногам и мысли его заточены в темницу. В такие дни карандаш лежал на столе нетронутым, желтый блокнот оставался чистым. Иногда отец отправлялся на прогулку в рощу. Но шел он не своей легкой походкой, а вяло волоча ноги.

Дома он подходил к окну гостиной и подолгу стоял, не двигаясь с места, уставясь вдаль, заложив руки за спину, или же сидел и рассеянно барабанил пальцами по коленям. Если мы входили или выходили, он даже не замечал нас.

В конце концов, измученный самокопанием, отец предпринимал усилие, чтобы стряхнуть с себя хандру. Способ лечения бывал прост. Он звонил по телефону кому-нибудь из друзей и просил поскорей приехать сыграть с ним в теннис. Не знаю, в такой ли спортивной форме отец теперь, но в те далекие времена наблюдать его на теннисной площадке доставляло прямо-таки эстетическое наслаждение. Отец играл левой рукой (правой он только пишет, все остальное делает левой) настолько легко и грациозно, без какого бы то ни было напряжения, что казалось, будто он исполняет тончайшую пантомиму.

Дома отец играл каждый день перед вечером и не пропускал свой теннис даже во время разъездов. Раза два в году он ездил в Нью-Йорк, обычно вдвоем с Тимом Дьюрантом, который прежде жил в Восточных штатах. Они садились в поезд в теннисных костюмах; доехав до Чикаго, где была пересадка, отец договаривался с кем-нибудь по телефону, и они успевали сыграть партию между поездами. И так же бывало в Нью-Йорке. Отец останавливался в гостинице в Приречном клубе; едва успев занять номер, он сразу спешил на корт.

То, чем для других мужчин были вино, женщины, религия, для моего отца — теннис. Эта игра магически преображает его. Мне приходилось видеть, как он плетется на площадку в мрачном, подавленном настроении, подходит и берет ракетку. Но стоит ему перебросить через сетку мяч, как он становится другим человеком, оживленным, энергичным, собранным. Одновременно сосредоточиться на теннисе и размышлять о своих неудачах он не умел. К концу игры дурное настроение исчезало, и отец снова был самим собой, особенно если он выигрывал.

Отец эгоцентричен, но только самые близкие люди понимают, какая чувствительная основа у этого эгоцентризма. Одно слово, один жест способны внушить ему страх, что его творческие силы навсегда иссякли, и привести его в уныние. В такие моменты его спасала победа на теннисном корте. И друзья, которые при других обстоятельствах заставляли его основательно побегать для того, чтобы выиграть, тут уж великодушно поддавались ему.

Солнечные весенние дни становились длиннее. Время шло к знойному калифорнийскому лету. Отец все больше набирал темпы. Теперь заметнее бывало его мрачное настроение, вспышки гнева давали себя знать чаще, чем прежде. Атмосфера тревожного ожидания действовала на всех домашних. Все мы жили одной общей мыслью. Это было так, словно отец готовился к Ватерлоо и заразил нас, свою армию, собственными страхами. Его изводила боязнь провала, извечное проклятие каждого, кто во всем стремится к совершенству.

Заканчивая писать сценарий, отец взял на себя еще одно дело: заниматься с Полетт, которая готовила свою роль. Вспоминаю бесконечные часы его репетиций с ней в гостиной и на теннисной площадке. Это была первая большая роль Полетт, и она ценила такое доверие. А отец был терпеливым учителем.

Конечно, не только желание учить заставляло его заниматься с Полетт. Для этого существовала более важная причина: почти безжалостное стремление к совершенству. Он репетировал с Полетт одну и ту же сцену по десятку раз, пока не добивался желаемого результата. Полетт была готова на все. Она трудилась до изнеможения, а отец, казалось, не знал устали. Насколько мне помнится, он никогда не терял терпения, занимаясь с Полетт, не повышал голоса, даже если приходилось повторять одну и ту же сцену бессчетное число раз, а между тем в других случаях он частенько давал волю своему раздражению. Однако эта вынужденная сдержанность утомляла его, пожалуй, больше, чем бурное излияние гнева. И все же он категорически отказывался принимать то, что считал непервоклассным. Даже если речь шла о почти неприметном жесте или выражении лица.

— Попробуй еще разок, ну-ка попробуй, ну, еще разок!

Вероятно, эта фраза преследовала Полетт даже во сне. Иногда, охваченная отчаянием, она начинала плакать.

— О Чарли, Чарли, я не актриса! — восклицала она.— Что делать, если я не актриса!

А мы, подглядывая за ними из засады, горели желанием выбежать и защитить ее, спасти от жестокой отцовской муштры. Ведь она была такая хохотушка и такая молоденькая — чуть постарше нас, и видеть ее слезы было нам очень больно. К чему ей совершенство? — думали мы. Красота заменяет ей все!

Но отец придерживался иного мнения. И день за днем, неделю за неделей он упорно работал над лепкой полюбившегося ему образа озорной уличной феи из «Новых времен».

Летом 1934 года отец начал готовиться к съемкам своего фильма. Ему не надо было ничего возрождать у себя на студии. Он полностью сохранял свой штат, выплачивая ему жалованье в течение всех четырех лет, когда студия бездействовала.

Мне кажется, стоит отметить, что отец придерживался этой этической практики еще в ту пору, когда в кинопромышленности не существовало профсоюзов и другие студии, закончив очередной фильм, увольняли весь свой персонал и набирали вновь по мере надобности. За его доброе отношение служащие платили отцу исключительной преданностью, о которой знал весь город и писали в то время в газетах.

В свою очередь отец был искренне предан своим сотрудникам, так же как и они ему. Когда Фрэнк Антунез-старший, заведующий транспортным отделом, потерял трудоспособность из-за болезни сердца, отец освободил его, но продолжал выплачивать ему жалованье. Он помогал, насколько мне известно, многим старым своим коллегам, например, Эдне Пэрвианс, своей бывшей партнерше, и Роланду Тотеро, оператору, снимавшему когда-то его немые фильмы. Не знаю точно, сколько людей пользовалось его щедростью, ибо отец никогда не был болтлив на сей счет. Зато я знаю, что контакт между владельцем студии и служащими был в данном случае настолько тесен, будто они — одна семья.

Долгое время отец не мог решить, как делать «Огни большого города» — немым или звуковым фильмом, и этот же вопрос продолжал мучить его, когда он брался за «Новые времена». Он по-прежнему придерживался того мнения, что только немые фильмы представляют подлинное кинематографическое искусство, и чем меньше фильм апеллирует к воображению зрителей, тем ниже его художественные качества. Он считал, что создателей звуковых фильмов интересует не столько искусство, сколько большие доходы.

Это был период, когда кинозритель получал обильные дозы весьма крикливой эксцентриады. В кино пришли новые комики, такие, как Уилер, Улси, Джо Браун. Многие старые комедийные актеры успешно перекочевали с немого экрана на звуковой: Бестер Китон, Лорел и Харди, Гарольд Ллойд. Грандиозный успех Гарольда Ллойда в «комедии положений» дал отцу особый повод для размышлений: неужели зритель навсегда уже отучен от его жанра трагикомической пантомимы?

Но, с другой стороны, отец боялся переключаться на производство звуковых фильмов. Причина заключалась не только в том, что в звуковых картинах уже не будет места для «маленького бродяги», но и в неуверенности отца насчет своего голоса. В конце концов стойкий консерватизм, помноженный на боязнь незнакомого дела, заставил отца отказаться от непосредственного соревнования с Ллойдом и другими комиками, выступавшими в разговорном жанре. Он дал своему «маленькому бродяге» еще одну отсрочку, решив делать «Новые времена» немой кинокартиной.

Весь Голливуд считал отца сумасшедшим. В то время как другие продюсеры — Джесс Ласки, Дэвид Селзник и Сесиль де Милль — изучали новые методы усовершенствования звуковых фильмов, отец продолжал жить прошлым, упрямо цепляясь за немое кино. О нем уже заговорили с некоторой снисходительностью: вот, мол, бывший великий человек Голливуда, чья слава померкла, потому что он не сумел приспособиться к новой технике. На нем ставили крест — весь город считал его карьеру конченной.

Настроение отца всегда зависело от того, доволен ли он отснятыми накануне кадрами. Если да, то он являлся на работу бодрым, и день проходил гладко. Если же нет, то он безжалостно мучил и себя и остальных актеров.

Помню, как мы приезжали в студию вместе с отцом. Я страшно важничал — шутка ли, сын Чарли Чаплина! — и ходил за ним по пятам, в то время как он осматривал декорации и знакомился с планом съемок на этот день. Потом мы шли в гримерную. И тут мы снова получали удовольствие, как в раннем детстве: на наших глазах отец опять преображался в «маленького бродягу».

Загримировавшись и надев костюм, отец уже оставался в таком виде до самого вечера. И только когда рабочий день кончался, его alter ego терял над ним власть. Отец никогда не выходил из своей роли: даже будучи рассержен какими-нибудь делами, он бегал по студии,

шаркая ногами в громадных башмаках, и гримасничал, и жестикулировал, как его герой. Нам с Сидом непривычно было видеть «маленького бродягу», столь философски кроткого на экране, сейчас трясущимся от гнева и говорящим сердитым и громким голосом.

Окончив гримироваться, отец шел в павильон — и мы за ним. Этот павильон пустовал почти пять лет. И вот мы опять в ожившем волшебном царстве! Но теперь мы были старше и могли лучше оценить великолепные декорации. Да и сама главная декорация была более сложной, чем любая, виденная нами в «Огнях большого города». Задний план являл собой как бы уступку отца новому духу кинематографии. Эта декорация изображала внутреннее помещение завода. Но никто на свете никогда бы не догадался, что там производится. Такое нагромождение гигантских механизмов, колес и грохочущих конвейеров могло присниться только в кошмарном сне.

У нас был один любимый эпизод, снимавшийся при этих декорациях: отец делает лихорадочные усилия, чтобы поспевать за конвейером, и начинает безотчетно и неудержимо трястись, как только происходит какая-нибудь задержка на сборке. Мы стонали от хохота, наблюдая сцену с автоматическим фидером, который, вдруг закапризничав, запихивает отцу в рот болты, гайки и кукурузный початок. Мы блаженно визжали, когда на голову отцу валилась доска, каждый раз как он переступал порог хибарки, и, уже еле живые от смеха, глядели, как он, весь извертевшись, под конец летел кувырком в воду и падал на спрятанный под водой защитный матрац.

Когда я стал старше, отец разъяснил мне тайну своего успеха в комедии, вернее, успеха большинства комедий.

— Иногда для того, чтобы вызвать смех, можно прибегнуть к неожиданному,— говорил он.— Но самый верный номер тот, в который зритель посвящен заранее и знает, что должно случиться. Вот почему я люблю пользоваться старыми трюками. Например, прыжок в воду — этот трюк уже столько раз повторялся, что стал всем знаком. Твоя единственная задача — подать эпизод в собственной интерпретации.

Интерпретация отца всегда совершенно оригинальна. Он обладает талантом вылавливать смешное прямо из воздуха, благодаря чему самые древние шутки омолаживаются так, что производят впечатление полнейшей новизны.

Наблюдать съемки со стороны было для нас, ребят, веселым развлечением, но актеры и весь прочий персонал относились к ним как к тяжелой работе. Хотя отец играл роль «маленького бродяги» — доброго, но беспомощного перед грозными силами мира,— он был в то же время знаменитым режиссером, пользовавшимся общим поклонением и державшим в буквальном смысле слова судьбу всей труппы в своих руках. Позже я слышал от многих такие высказывания: «О, я жил в вечном страхе, когда работал у вашего отца!»

Люди были запуганы не столько его славой, сколько магнетизмом его неукротимого стремления к совершенству. Отец мог разбушеваться по поводу того, что стойка оказалась сдвинутой на каких-нибудь два дюйма, или прожекторы не на месте, или ему подали неотточенный карандаш...

В глазах отца неумение работать было главным грехом. Наоборот, если человек проявлял себя как хороший работник, он мог рассчитывать на постоянное место. В этом отношении отец был скрупулезно верен своим служащим.

Если актеру не удавалась какая-нибудь мизансцена, отец бывал с ним более терпелив, чем с неумелым рабочим, но чувствовалось, что в душе он кипит, и это скрытое раздражение приводило актера в большее замешательство, чем резкий выговор. Иногда, стремясь к точному эффекту, отец показывал мизансцену сам — как пройти по комнате, как сесть, какие жесты сделать. И раздражался, если актер не воспринимал этого сразу. В таких случаях отец повторял всю сцену в молниеносном темпе или начинал разъяснять тихой однотонной скороговоркой. Но актер, и без того расстроенный, не понимал, что ему говорят, и по-прежнему не мог повторить отцовскую мимику.

— Да вы смотрите, смотрите! Нет, не так, нет!— восклицал отец.— Попробуйте еще разок, попробуйте еще! Ну, еще разок!— И только когда он уже доходил до полного отчаяния, ему наконец удавалось добиться того, чего он требовал.

Обозревая в целом всю мизансцену дабы убедиться, что она полностью соответствует его сценарному замыслу, отец мгновенно обнаруживал мельчайшие неточности, такие, как неверный наклон головы или положение руки актера. Казалось, ничто не ускользает от его взгляда. Иной раз у меня возникал вопрос, видит ли отец — режиссер, что актеры — живые люди? Я чувствовал, что иногда он обращается с ними как с куклами или статуями, расставляя их по местам для достижения того сценического эффекта, который им задуман. И я пришел к убеждению, что именно это свойство отца придает его фильмам дух почти символической фантастики.

Когда отец был поглощен работой, он терял всякое представление о времени. Наступал обеденный час, а он не обращал внимания, и никто не смел заикнуться насчет перерыва, напомнить ему, что уже полдень. Иногда лишь после двух часов дня он замечал, что пора отпустить

Чарли Чаплин, Полетт Годдар и автор книги Чарльз Чаплин-младший. 1940 год.

людей на часок. Сид и я всегда завтракали с отцом в его артистической уборной.

— Ну, как вам понравилась сегодняшняя работа, а?— спрашивал он, если бывал доволен. Впрочем, мы могли не отвечать: он знал это сам. от него не ускользала наша реакция, даже когда он бывал очень занят. Теперь я лучше, чем в детстве, понимал, что отец внимательно следит за тем впечатлением, которое производит его комедийное искусство на декораторов, операторов, на рабочих сцены, осветителей и плотников. Отец нередко говорил мне, что давно, еще в самом начале своей работы в кино, поставил себе правилом играть так, чтобы это нравилось ему самому, и не думать о других, когда чрезмерно стараешься смешить, юмор пропадает. Но я заметил, что, хотя он считает собственное удовлетворение залогом успеха своих комедий, ему необходим также и смех окружающих — это поддерживает его уверенность в себе и стимулирует работу.

После обеда отец возвращался в павильон и заставлял своих актеров работать всю вторую половину дня, а нередко и весь вечер. Казалось, он не знал усталости· он продолжал проявлять такое же пристальное внимание к каждой мелочи, как и утром. К концу дня, когда все остальные были уже утомлены до предела, энергия отца по контрасту казалась еще более кипучей.

— Господи, что за человек этот Чаплин!— бормотали вокруг.— Какой-то неутомимый...

Тяжелее всего было Полетт. Она подчинялась стремлению отца к совершенству во всех деталях, благодаря чему, собственно говоря, и создала прелестный образ озорной девчонки в «Новых временах». Но Полетт как живая женщина была забыта. Измученная бесконечной муштрой, она, наверно, испытывала желание скрыться от своего сурового учителя и как-нибудь развлечься. По крайней мере в газетах появились заметки, что ее видели в разных местах с другими мужчинами. Это, естественно, вызвало толки о разрыве. Но о разрыве чего? Даже в то время, когда стали поговаривать о конце, репортеры все еще ломали голову над тем, в качестве кого — жены, невесты или просто любовницы — может уйти Полетт от Чаплина.

К счастью, газетные сплетни до нас, детей, не доходили. За эти годы мы сильно привязались к Полетт. Между прочим, когда газеты начали писать о ее охлаждении к отцу, она повезла нас как-то раз в Палм-спрингз на субботу и воскресенье. А вернувшись потом в город, снова стала появляться всюду вместе с отцом.

По его просьбе Полетт 29 ноября встречала Герберта Уэллса на аэровокзале в Глендейле. Отец был гостем Уэллса в Англии, теперь знаменитый писатель платил ему ответным визитом. Он прожил у нас две или три недели. Мне запомнились его моржовые усы и подчеркнуто английские манеры и речь. Мы с Сидом были еще слишком малы, чтобы почувствовать законное почтение к этому человеку: для нас он был просто еще одним литературным знакомым отца и вдобавок нарушителем нашего спокойствия, ибо отец отдал ему нашу комнату. Пока Уэллс жил в доме отца, мы ни разу не могли там ночевать.

Хотя фильм был уже отснят, отец еще не кончил сочинять к нему музыку. Его единственной уступкой миру звуков было то, что он согласился музыкально озвучить «Новые времена» и сопроводить фильм несколькими словами, якобы вылетающими из микрофона, а также шутливой песенкой под занавес в собственном исполнении. Отец признался мне, что эта песенка по существу являлась пробой его голоса на экране.

У себя отец не имел музыкального отдела, поэтому пришлось обратиться к «Юнайтед артистс» с просьбой воспользоваться их оркестром и студией звуко-

записи. Если актеры и служащие отца были мучениками из-за его вечного стремления к совершенству, то уж музыканты, начавшие с ним работать, по-настоящему хлебнули горя.

Не умея прочесть ни одной ноты, отец точно знал, чего хотел, и, если у оркестра этого не получалось, не уступал, пока не добивался необходимого звучания. Самые лучшие музыкальные силы, какими располагала кинопромышленность, были приданы ему в помощь. Альфред Ньюмен, лауреат нескольких «Оскаров», в то время работавший по контракту с Сэмом Голдвином, взял обязательство написать клавир к «Новым временам» и дирижировать оркестром. Дэвид Рэксин, талантливый молодой композитор, со временем завоевавший славу своей песней «Лаура», был приглашен вместе с Эдуардом Пауэллом оркестровать музыку, сочиненную отцом.

Отец извел их вконец. Эдуард Пауэлл так напрягал зрение, записывая отцовскую музыку, что едва не ослеп, и ему пришлось прибегнуть к помощи глазного врача. Что касается Рэксина, то он работал по двадцать часов в сутки и потерял за это время двадцать пять фунтов. После мучительного дня он иногда боялся, что не доберется до дому, и ложился спать на полу студии. Альфред Ньюмен встретил его однажды на улице отцовского киногородка плачущим.

Но Рэксин не сдавался, и у него хватало даже юмора на то, чтобы иногда сыграть с отцом шутку и поднять немного общее настроение.

У отца был звукозаписывающий аппарат типа диктофона, на валике которого он запечатлевал сочиненную им музыку. Это позволяло ему работать по вечерам и «консервировать» свои музыкальные мысли до следующей встречи с Рэксином. Однажды Дэвид шутя записал на валик фрагменты из Третьего концерта Прокофьева и Первой симфонии Шостаковича, чтобы помочь отцу музыкально настроиться. Меньше всего Дэвид предвидел, что в этот день отец будет показывать свою студию нескольким важным гостям, в том числе Александру Вулкотту, Герберту Уэллсу и Кингу Видору. Отец с горделивым видом подвел их к звукозаписывающему аппарату.

— Вот как я сочиняю музыку!— заявил он, включая аппарат, и отскочил на два шага при первых же тактах Шостаковича. Потом пристально посмотрел на Рэксина и погрозил ему пальцем. Больше он ничем не показал, что понял шутку...

Наконец все препятствия были преодолены, и «Новые времена» озвучены. И тут начался для отца последний, самый трудный этап — о том, как он труден, вам может рассказать любой продюсер. Этот этап насыщен тревогой: фильм готов и ждет встречи со зрителем. Такую тревогу испытывает актер на премьере спектакля, да и то не совсем, ибо, играя спектакль, он все-таки сохраняет надежду, что, пока не опустится занавес, у него еще есть возможность расшевелить холодную аудиторию.

Другое дело фильм, это — консервированный продукт. Если зрители смотрят его равнодушно, тут уже поздно чем-нибудь помочь: ни переиграть, ни исправить ничего уже нельзя. В том, что было сделано вами в течение многих месяцев, либо ваше спасение, либо ваша гибель; теперь вы целиком во власти публики, с которой у вас нет физического контакта.

Вот что рассказал мне отец об одном мучительном вечере, который ему пришлось пережить по милости публики. Он организовал неофициальный предварительный просмотр одного из своих впоследствии знаменитых фильмов — не то «Золотой лихорадки», не то «Огней большого города». Местом для просмотра было избрано помещение старого театра Веласко в мексиканском квартале Лос-Анжелеса. Не знаю, почему отец избрал именно этот театр, разве только потому, что круг его посетителей составляли обычно люди самых заурядных профессий, и их реакция позволила бы судить о том, как будет принят фильм массовым зрителем. В начале сеанса всем были вручены чистые карточки с просьбой написать на них свои впечатления о картине.

Отец не стал дожидаться карточек. Он решил отправиться в театр инкогнито и увидеть все собственными глазами.

— Я сел позади трех здоровенных мексиканцев,— вспоминал он.— Они сидели, скрестив на груди руки. Я надеялся, что они изменят позы, когда начнется фильм. Нет, они оставались в том же положении, точно каменные. Мне стало страшно. Я огляделся вокруг. Ни один зритель даже не хихикнул. Спазма свела мне желудок. Я выбежал из зала, в уборной меня вырвало. Но я убеждал себя, что так не может продолжаться, и вернулся в зал. Там по-прежнему царила могильная тишина. Три мексиканца все так же сидели, как истуканы, со скрещенными на груди руками. Я смотрел на них, не в силах оторвать взгляд. Все трое словно застыли. Я снова побежал в уборную. Пока шел фильм, мне делалось дурно четыре или пять раз. И после каждого приступа рвоты я возвращался в зал, надеясь услышать смех моих мексиканцев, общий смех публики. Увы, нет! За весь сеанс ни разу не раздался здоровый нутряной смех, лишь тут и там робкое хи-хи. В довершение всего, примерно за полчаса до конца, мои мексиканцы поднялись, все как один потянулись, зевнули и направились к выходу. Больше я не мог уже терпеть. Я по-

следовал за ними. Домой я вернулся совершенно разбитый. Оставалось только молить бога, чтобы хоть несколько человек похвалили фильм. Ведь я-то ухлопал на него миллион долларов с гаком. Кроме молитвы, ничего уж не оставалось!

Но вот стали поступать карточки, и отец был поражен высокой оценкой, которую зрители давали его фильму. Из этого следовал лишь один вывод, что у мексиканцев нет привычки громко смеяться, когда им что-нибудь нравится. Должно быть, они посмеиваются про себя.

Такие же волнения отец пережил с «Новыми временами». Он неизменно пил шипучую щелочную смесь каждый вечер, пока фильм не приобрел устойчивой репутации. Рецензенты отнеслись к нему без того восторга, какой они проявляли к его прежним фильмам, но публике он нравился. Только в Соединенных Штатах он дал около двух миллионов долларов валового дохода — цифра, надо сказать, немалая, если учесть, что кризис был в разгаре. Это доказывало, что даже на фоне звуковых фильмов «маленький бродяга» способен постоять за себя. Теперь критики, предрекавшие полный провал, начали с умным видом обсуждать причины успеха фильма. Продюсеры и режиссеры обратились к изучению приемов отца, с целью воспользоваться ими в собственной работе. На Чарли Чаплина уже не смотрели больше как на «бывшего». Он по-прежнему оставался «королем комедии».

Не знаю, сколько тем отец перебрал в поисках сценарного сюжета для Полетт, но одну из них я запомнил с очень интересными подробностями. Все началось с любопытной заметки в газете, которую кто-то вырезал и прислал отцу. В ней говорилось, что Адольф Гитлер запретил демонстрацию чаплинских фильмов в Германии по той причине, что Чарли Чаплин чрезвычайно похож на него.

Чтение этой заметки натолкнуло отца на мысль. Действительно, в костюме «маленького бродяги», с приклеенными глупыми усиками, он был похож на Гитлера. Сравнивая далее, отец нашел сходство с германским диктатором не только в этом. Оба родились в один год и в один месяц, с разницей всего лишь в четыре дня; оба сильно бедствовали в детстве. Но судьбы их были противоположны: один принес миллионам людей горе, другой — веселый смех. Отец не мог вспоминать о Гитлере без содрогания, но в этом страшном образе была для него и некая притягательная сила.

— Вы только подумайте,— говорил отец с недоумением,— он безумец, я комик. Но могло же быть наоборот? — и не в силах отказать себе в удовольствии, заканчивал: — Господнею милостью этого не случилось!

Чем больше думал отец о запрете Гитлером его фильмов и о своем сходстве с диктатором, тем сильнее увлекала его идея в целом. Стал уже намечаться сюжет и разные эпизоды, которые наполнили бы его действием... Потом он решил, что Гитлер слишком мрачная фигура, чтобы служить хорошим материалом для комедии.

Настал 1938 год, а у отца все еще не было сценария для Полетт. Дело осложнялось тем, что Селзник настойчиво звал ее работать к себе. Собственно говоря, этим-то долгосрочным контрактом с Селзником, по-моему, она и предопределила разрыв с моим отцом, хотя, впрочем, корни тут были глубже, чем контракт с Селзником. Причиной была карьера — извечная беда голливудских супружеских пар. Отец был доволен своим положением, но Полетт нужно было утвердить себя в качестве самостоятельной величины, доказать миру, что она не только протеже и супруга прославленного Чарли Чаплина.

Отношения между отцом и Полетт настолько испортились, что как-то в феврале он, не говоря ничего, уехал с Дьюрантом в Пебл-бич отдохнуть субботу и воскресенье, но вместо двух дней застрял там на целых пять месяцев...

Отец вращался не только в светском обществе Пебл-бича. Его интересовала и расположенная поблизости в Кармеле художественная колония. Здесь, как и во всякой среде, он судил о людях по их внутренним качествам. Богатство не делает человека скучным, как артистические склонности не делают его интересным. Отец нашел среди богемы Кармела не меньше скучных людей, чем в любой другой среде. Многих из них он считал незрелыми — они были больше заняты болтовней, чем делом. Отец не выносит дилетантства в искусстве. Сам он раб своей музы и требует от каждого, посвятившего себя искусству, чтобы тот служил ему всей душой.

За такое искреннее служение он полюбил замечательного калифорнийского поэта Джефферса, который живет в большом каменном доме на Пойнт-Сэре. Отец познакомился с Джефферсом через общего друга, пригласившего их обоих к себе на обед. После этого он несколько раз был у поэта дома. Отцу очень понравилось его серьезное, честное отношение к творчеству, но все же, мне кажется, Джефферс был несколько суховат для отца, любящего веселье.

Во время своего пребывания в Северной Калифорнии отец не раз покидал Пебл-бич и его окрестности. Как большой поклонник другого труженика литературы — Джона Стейнбека, он ездил к нему в Лос-Гатос.. Отец находил

его произведения замечательными и специально объезжал места, где развертывалось их действие, чтобы представить себе героев Стейнбека в соответствующей обстановке.

Но не только разъезды, визиты и развлечения заполняли время отца. Наибольшую часть дня он отдавал работе. Он проводил по многу часов за письменным столом и в обсуждениях своих замыслов с Тимом. На Полетт он был зол по-прежнему, настолько зол, что даже не подходил к телефону, когда она звонила.

— К черту все эти разговоры! — говорил он, хотя и писал в это время для нее главную роль.

Сюжет сценария был таков: молодой миллионер совершает путешествие в Китай и там встречается с русской красавицей белоэмигранткой, которая служит в дансинге, и влюбляется в нее. Фильм этот был задуман как комедия с социальным смыслом. Отец писал сценарий, имея в виду Гарри Купера на роль главного героя. Он был большим поклонником Купера не потому, что считал его прекрасным актером, а потому, что Купер даже не старался играть. Он неизменно оставался самим собой — и потому абсолютно правдивым. Отец писал свой сценарий с большим воодушевлением.

Но, как ни странно, в это же время заброшенная работа о Гитлере часто приходила ему на ум, причем сюжетным зерном комедии отец считал теперь свое сходство с диктатором. Эти мысли он обсуждал с Тимом, скорее развлечения ради... Внезапно, без всякой логической связи, он извлек из глубин памяти давно задуманный, но не использованный сюжет. Главным героем его должен был стать самозванец, выдающий себя за Наполеона.

Сколько я себя помню, отец всегда хотел поставить фильм о Наполеоне как едкую сатиру на «маленького капрала». Одно время он собирался исполнить главную роль в этом фильме, но потом передумал и решил пригласить Джеймса Кагни, но тот не проявил никакого интереса. Уже после выхода на экран «Великого диктатора» отец снова заговорил о том, чтобы сделать фильм о Наполеоне. Сам он хотел играть императора, а Грете Гарбо предложить главную женскую роль. Режиссером этого фильма должен был быть Жан Ренуар, а автором сценария — ныне покойный Дадли Николс. Невольно думаю, какой бы это был великолепный фильм, с такими звездами, как Грета Гарбо и Чарли Чаплин! Тем не менее из этого ничего не вышло, хотя устраивали несколько совещаний. Мне кажется, что отец так и не сделал фильма о Наполеоне потому, что уже использовал свой замысел в «Великом диктаторе», где вместо Наполеона фигурировал Гитлер.

В конце июня Полетт отправилась к отцу в Пебл-бич, прихватив с собой и нас — пожалуй, как некий символ мира. К ее приезду отец мог уже показать ей почти законченный сценарий. Но все же фильм о Гитлере не давал ему покоя, разрозненные куски складывались в мозгу наподобие чайнворда: самозванец... маленький парикмахер еврей... молоденькая девушка еврейка... Сюжет закручивался быстрее и быстрее.

Впрочем, наш приезд заставил отца забыть все — от Купера до Гитлера,— и с пылом начать нас развлекать. У него с Полетт почти с первой минуты восстановились добрые отношения. Общество Пебл-бича приняло Полетт как его жену, и бдительные репортеры с сознанием своего долга оповестили читателей, что, собираясь участвовать в соревнованиях по гольфу, она записалась как «миссис Чаплин»; это стоило отметить, ибо Полетт почти никогда не пользовалась фамилией отца...

Опять мы были все вместе в доме на горе...

Уверенная, что карьера ее наконец определилась, Полетт была счастлива. Она исполнила небольшую роль в фильме «Юные духом» и имела успех. Студия «Метро-Голдвин Майер» заключила с ней контракт на одну из ведущих ролей в фильме «Драматическая школа» с участием Луиз Рейнер, эта работа должна была занять всю осень. Полетт считали серьезной кандидаткой на роль Скарлет О'Хара. Еще больше воодушевляло ее то, что отец все-таки закончил сценарий, в котором для нее и Гарри Купера предназначались ведущие роли. Можно было начинать производство — впервые за два года. Отец даже имел беседу с Купером относительно роли.

Что касалось отцовских дел, то они подвигались менее успешно, чем это представляла себе Полетт. В Пебл-биче он был отрешен от газет и радио, а вернувшись в город и узнав, что творится в мире, был потрясен. Гитлер, его двойник, протянул свои грозные щупальца за пределы Германии, внутри страны он подвергал чудовищным гонениям евреев. Внезапно отец осознал, что его комедия должна не только смешить публику, но и служить более важной цели. Такая комедия силой своей сатиры может раскрыть людям глаза на ужасы диктатуры. Отец почувствовал, что его долг — поднести кривое зеркало своему alter ego и показать сумасшедшему Гитлеру, что тот всего-навсего гнусный кривляка. Отец отложил сценарий, на который затратил столько труда последние полгода, и опять занялся фильмом о Гитлере, названным в первом варианте «Диктатор».

Теперь мы все очутились с ним на гребне растущей волны. Как и в детстве, мне тоже хотелось участвовать в его труде, помогать отцу по мере сил И мне казалось, что я нужен, когда отец звал меня, крича на весь дом: «Чарльз, где ты? Иди послушай, Чарльз!» Ведь мне только тринадцать, думал я, а он спрашивает мое мнение! Но я понимал, что он нуждался не в моем мнении. Он нуждался, как всегда, в похвале.

По мере того как я выходил из детского возраста, отец утрачивал в моих глазах те мифические черты, которыми я наделял его прежде,— впрочем, теперь он внушал мне еще большее благоговение как человек с мировым именем. Он был знаменит, и его посещали великие люди, многие из них — гении в своей области, а когда он бывал за границей они приглашали его к себе. Среди гостей отца были такие фигуры, как Лион Фейхтвангер, Герберт Уэллс, Жан Кокто. Отец постоянно показывал нам все новые и новые премии, получаемые им со всех концов земли от кинематографических и прочих организаций.

Кроме того, в ряде стран он был удостоен правительственных наград и иногда позволял нам с Сидом рассматривать эти трофеи: грамоты, медали, орденские планки и, между прочим, орден французского Почетного легиона.

Как-то раз отец рассказал нам забавную историю, связанную с его медалями. Находясь в 1931 году в Англии, он подружился с принцем Уэльским (ныне герцогом Виндзорским). Они очень часто виделись, и однажды отец получил от него приглашение на бал.

— Приколите ваши медали,— сказал ему вскользь герцог.— Все, у кого они есть, будут при медалях.

У отца было что-то около пяти громадных медалей. Он нацепил все это на себя и отправился на бал, звеня своим богатством, как средневековый рыцарь латами. Динь, динь, динь — дребезжали медали, подпрыгивая у него на груди Он взглянул вокруг и с ужасом убедился, что у всех остальных гостей только планки. Стараясь, чтобы его не заметили (попробуй при таком звоне всех этих регалий!), отец улизнул оттуда и сменил медали на планки. Теперь уже он знал ценою своего конфуза, что имеют в виду короли, когда говорят: «Приколите ваши медали». Отцу редко приходилось попадать в такое неловкое положение, но потом, со свойственным ему юмором, он любил, посмеиваясь над собой, рассказывать эту историю.

Отец рассказывал нам также, что ему предлагали похлопотать в Англии на счет дворянского титула, но он отказался. Для него не имели значения никакие почетные звания, а только личные достижения каждого.

Показывая нам свои награды, отец никогда не забывал подчеркнуть, что он удостоился их, хотя не получил школьного образования и никто никогда не оказывал ему ни малейшей помощи. Обычно это заканчивалось внушительной нотацией, что мы должны максимально использовать свои возможности и быть хорошими учениками.

Учение давалось мне не совсем легко. Я был левша, как и отец. Заикания у меня не было, но, когда я волновался, я не мог говорить — просто слова застревали в горле. И науки давались мне не так легко, как многим ученикам, и я был вынужден подолгу корпеть над тем, что другие усваивали с завидной быстротой.

Зато внимание отца к моим занятиям компенсировало мой упорный труд. Перейдя в среднюю школу, мы оба, Сид и я, относились к учебе очень серьезно. Бывало, вернусь я из школы, отец отложит свою работу и начнет перелистывать мои книги. Он питал особенный интерес к грамматике и риторике.

— Давай-ка поглядим, чему ты научился за неделю,— говорил он, входя в роль дотошного родителя.— Что вот это, например, сын? — И задаст мне какой-нибудь вопрос по грамматике. Я отвечу, а он иной раз покачает головой и поправит меня. А иной раз, наоборот, кивнет одобрительно:— Превосходно, сынок!

Тогда, шутки ради, я задам ему какой-нибудь вопрос. У нас завязывался дружеский спор, разрешал который обычно учебник грамматики. Иногда отец сам ловил себя на ошибке и, со смущением мотнув головой, говорил:

— Ну конечно нет, как же я так! Дай-ка подумаю. Сослагательное наклонение образуется ведь таким образом...

И на час или два мы углублялись в английскую грамматику. Даже своим детским умом я понимал, что под видом проверки моих знаний отец оттачивает свои собственные. Для меня было странно, что взрослый человек, которому уже нет никакой нужды думать о таких вещах, проявляет столь живой интерес к этому нудному, на мой взгляд, занятию, но отец в течение многих лет старался восполнить недостающие ему школьные знания. У него был старый потрепанный учебник грамматики, который он изучал и всегда держал под боком для справок. Он хотел владеть английским не как-нибудь, а в совершенстве...

Хотя отец сам признает, что он не совсем в ладу с орфографией, его лексикон всегда поражал своим богатством. В детстве мне казалось, что он знает все слова, какие только есть в словаре, и все их производные. Я носил в кармане словарик, по которому тайком проверял отца. Но, сколько я ни старался, я никогда не поймал его ни на одной ошибке.

Еще одной характерной чертой отца, производившей на меня большое впечатление, была его любовь к чтению.

В те годы мне казалось, что отец обладает бесконечным запасом знаний. Он знал библию, Шекспира, «Жизнеописания» Плутарха, «Анатомию меланхолии» Бартона, «Жизнь Сэмюэля Джонсона» Босуэлла. О Джонсоне отец любит рассказывать один анекдот, связанный с интересующей его темой: точным употреблением слов. Джонсон ехал в карете с элегантной молодой дамой. Он был очень неряшливый человек, и юная модница сочла своим долгом сделать ему замечание.

— Доктор Джонсон, от вас пахнет! — сказала она без обиняков.

— Прошу прощения, сударыня,— вежливо ответил Джонсон.— От меня воняет. Пахнет — от вас.

Из всех писателей отец любил больше всего Чарльза Диккенса и Мопассана, пожалуй, за особое сплетение комического и страшного в их произведениях. Любил он также Эдгара По, Оскара Уайльда и Марка Твена. Из философов читал Ницше, Эмерсона, Роберта Ингерсола (последнего он одолел, когда ему было 17 лет), Шопенгауэра и Шпенглера. Помню, когда я уже вышел из детского возраста, отец однажды снял с полки том Шопенгауэра и подал его мне.

— Тебе надо почитать это, сын,— сказал он.— Не обязательно принимать всерьез все, что он пишет, особенно о женщинах. Желчный он и ужасный пессимист, но все же забавный.

На отца произвел сильное впечатление «Закат Европы» Шпенглера. Ценил он очень Олдоса Хаксли и Уилла Дьюранта, которые, кстати, бывали у него в доме.

Об отце существуют противоположные мнения: кто называет его мыслителем, а кто — дилетантом. Говорят даже, что он настолько умело имитирует интеллектуальность, что лишь вне его присутствия бывший собеседник понимает, что все это — внешний блеск. Но каковы бы ни были действительные достижения отца в области наук, в моих глазах он человек, всегда серьезно стремящийся к знаниям, ревностно ищущий возможности восполнить то, чего был лишен в юности.

Отец бывал всегда огорчен, если мы приносили дурные отметки. Однажды, когда я провалился по математике, отец пообещал пригласить мне на помощь профессора Эйнштейна.

— Он один из очень немногих людей на свете, понимающих теорию относительности,— сказал отец, сам не очень-то способный к математике.— Я с ним знаком. Он приезжает сюда играть со мной скрипичный дуэт.

Мне довелось увидеть профессора Эйнштейна всего лишь раз. Он запомнился мне как невысокий человек с добрым лицом и огромной растрепанной седой шевелюрой. Однако я чтил его как божество, ведь он понимал такие математические тонкости, которые были непостижимы ни для меня, ни для моего отца.

(Окончание следует)

Андре Стиль

ГОРЬКИЙ И АВАНГАРД

Если о каких-то книгах говорилось и писалось очень много, это еще не значит, что о них уже сказано все. Перечитывая их в свете требований и задач нынешнего дня, каждый раз обнаруживаешь в них нечто новое. Они неисчерпаемы. Пример тому «Мать» Горького.

Одной из оппортунистических отговорок, которыми сегодня кое-кто в наших рядах пытается замаскировать свою боязнь открыто и честно ввести в роман образ партии, образы коммунистов, одной из таких отговорок является «забота» о воздействии на широкие круги читателей — людей самых разных взглядов, диктующая якобы писателю необходимость в какой-то мере поступаться проблематикой, «специфичной» лишь для авангарда.

Говорить так — это значит не считаться с тем интересом, который может существовать и существует по отношению к этому авангарду в самых разных кругах общества, вплоть до тех, кто от этого авангарда весьма далек. Говорить так — значит не считаться с тем, какое важное место занимает этот авангард даже там, где он еще численно невелик, авангард, чья деятельность столь ощутима в повседневной жизни всей нации и прежде всего на промышленных предприятиях. И говорить так — значит не считаться с уроком, преподанным романом «Мать».

Совершенно бесспорно, «Мать» — один из самых читаемых романов нашего века. А ведь это — книга даже не о меньшинстве нации, а о крохотной горстке зачинателей революционного движения. Замысел Горького состоял не в том, чтобы показать некий спокойный «общий уровень», а в том, чтобы озарить светом правды то, что лишь зрело в недрах рабочего класса и трудового крестьянства, через пятнадцать лет поднявшихся и свершивших Октябрьскую революцию. Больше того, делая центральным персонажем простую женщину, мать одного из этих первых революционеров, Горький предпочел заинтересоваться и заинтересовать читателя фигурой, *исключительной* даже для авангарда, и он сам подчеркнул это свое намерение, вложив в уста одного из героев книги слова: «Она, может, первая, которая пошла за сыном его дорогой, — первая!» Не было еще создано произведения, которое бы лучше, чем роман «Мать», показало, что типическое не есть некое унылое и заурядное среднее, нет, оно часто кристаллизируется из того, что только еще нарождается, что кажется и уму и сердцу необычным, удивительным, тревожащим. Вопрос об авангардной роли литературы, о чувстве нового у писателя — это прежде всего вопрос содержания. Новаторство в области формы — явление вторичное.

Если говорить о *современности* произведения, основанного на художественном вымысле, то и здесь трудно найти лучший образец, чем «Мать».

Сперва — об актуальности сюжета. Когда Горький закончил свой роман, действительным событиям, вдохновившим его на эту книгу, едва исполнилось четыре года. Как известно, речь в нем идет о первомайской демонстрации в Сормове в 1902 году, об аресте революционера Петра Заломова и его товарищей и о суде над ними. Все это были не какие-то малоизвестные факты, которые надо было вытаскивать на свет божий, это было нашумевшим «делом», значение и важность которого подчеркнул тогда же сам Ленин в своей статье, опубликованной в «Искре». Ленин отмечал в связи с заявлениями осужденных: «Замечательно в этих речах простое, доподлинно точное изображение того, как совершается переход от самых повседневных, *десятками и сотнями миллионов* повторяющихся фактов «угне-

тения, нищеты, рабства, унижения, эксплуатации» рабочих в современном обществе к пробуждению их сознания, к росту их «возмущения», к революционному проявлению этого возмущения...» И несколько дальше Ленин настаивал на том, что «обыденность и «массовидность» тех фактов, из которых они делали этот вывод, ручается за то, что к этому выводу могут прийти и неизбежно придут тысячи, десятки и сотни тысяч...»

Вот на материале этой-то «обыденности» создал Горький одно из самых новаторских во всей литературе произведений.

Но прежде всего перед нами самое главное: *актуальность* цели, актуальность намерений писателя. Книга написана сразу после поражения декабрьского восстания 1905 года, в период тяжких правительственных репрессий. Она написана для того, чтобы принести пользу сейчас же, чтобы укрепить духовные силы борцов непосредственно в те дни, когда определенная часть оппозиционно настроенной интеллигенции, охваченная колебаниями перед лицом столыпинской реакции, самым классическим образом устремилась, как с ней часто бывает в период трудностей, в пучину философских «ревизий» и «обходов», которые вскоре Ленин разоблачил в «Материализме и эмпириокритицизме». В той же мере, как и это величайшее произведение Ленина, шедевр горьковский явился, разумеется в иной области, орудием борьбы — той же самой борьбы.

Именно эти качества романа «Мать» приветствовал позднее Ленин, сказав Горькому, что он правильно сделал, поспешив скорее написать книгу (роман был создан за несколько месяцев), и что эта книга очень нужна. И Горький, рассказывая в очерке «В. И. Ленин» об этой беседе, добавляет: «Очень своевременная книга.— Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент».

Но утверждение, что форма — категория вторичная, вовсе не означает, будто она играет последнюю роль. Роман «Мать» захватывает всеми своими литературными достоинствами в целом, включая и достоинства художественной формы. И поскольку речь в статье идет об авангарде, то можно отметить, что не одной творческой находкой Горького в области формы, именно благодаря «современному» характеру этих находок, с радостью поживились бы многие из тех, кто ратует у нас за революцию в романе; дай им только волю, и горьковские открытия, которые сам он использовал лишь мимоходом, будут ими разработаны, применены систематически и многократно и возведены в ранг новой «теории» романа.

Например, обычно принято именовать «американским» метод, сущность которого состоит в том, что психологическому анализу предпочитают внешнюю обрисовку движений, жестов, поведения персонажей. В этой связи можно проанализировать данный Горьким в развитии замечательный портрет Пелагеи. В романе «Мать», как и в трилогии «Детство», «В людях» и «Мои университеты», Горькому удалось раскрыть образ женщины, обрисовав ее манеру двигаться: «ее тело... двигалось бесшумно и как-то боком, точно она всегда боялась задеть что-то». И выражение лица как бы вторило этим движениям: «Над правой бровью был глубокий шрам, он немного поднимал бровь кверху, казалось, что и правое ухо у нее выше левого...» Этот шрам не имеет ровным счетом ничего общего со всякими ненужными подробностями, вроде бородавки на носу, или седой пряди, или нервного тика,— грубыми приметами «физического обследования», отличающими современные романы. Это шрам на душе. Особенно явственным становится это страниц через пятьдесят, когда автор естественно возвращается к той же детали, чтобы передать чувства матери по отношению к жандармам: «Шрам на лице матери побелел, и правая бровь всползла кверху». Или минутой позже, когда она переходит от ощущения своей униженности к ненависти: «...шрам ее побагровел, и бровь низко опустилась». А вот уже признак глубокого изменения, происходящего в ней, когда во время обыска, «стараясь подавить свой страх, она двигалась не боком, как всегда, а прямо, грудью вперед,— это придавало ее фигуре смешную и напыщенную важность».

Не менее современно горьковское искусство пауз. Вспомним, например, как мать, лежа на кровати, слушает разговор сына с одним из товарищей.

Наконец, если даже в кино метод съемок caméra-sujet* кажется еще слишком смелым и поиски романистами таких углов зрения,

---

* Воспроизведение событий с точки зрения не режиссера, а одного из действующих лиц.

которые были бы новаторскими и одновременно несли бы в себе большое значение, почему-то с легкостью относят за счет вклада кинематографии в искусство романа,— многое можно было бы сказать о том, как все, что изображено в этой книге, показывается не глазами автора, а глазами самой матери. Вот, например, мы вместе с нею присутствуем при одной из бесед Павла с товарищем, но в романе сказано: «Они заспорили о чем-то непонятном»,— и читатель так же, как она, не знает, что же было темой этого разговора. Несомненно, что именно в результате выбора автором такого угла зрения роман обладает двумя неотделимыми друг от друга качествами: человеческой теплотой и народностью.

Это Горькому обязаны мы захватывающим показом того, как преломляется в душе слабой, суеверной и неграмотной женщины самая ясная и самая мужественная на свете борьба. В душе женщины, для которой вначале все, что касается борьбы ее сына, начиная с самого слова «социализм», несет в себе «что-то таинственное и страшное», что-то «непонятное», связанное с миром неясным, как кошмар, полным «тревоги», где живут «странные» существа. Отсюда и тот факт, что все в этой книге становится понятным даже самому необразованному читателю, даже такому читателю, чей уровень вначале ненамного выше уровня матери. И в конце концов все озаряется чувством простым и огромным, с которым имеют дело все сердца, одним из тех больших чувств, которые называют «вечными», но которые обновляются и возвышаются с каждым шагом человечества вперед. Это материнская любовь. Такая материнская любовь, которая вскоре распространяется не только на сына, но и на всех людей — и прежде всего на всех тех, кто борется. «Милые вы мои»,— говорит о них Пелагея. Качеством и взволнованной силой этого преломления измеряется вклад романтизма в социалистический реализм.

А потом — стиль и образы, не менее новаторские: «Когда мысль была ясна ей, мать, вздохнув, брала из прошлого своего что-нибудь, всегда тяжелое и грубое, и этим камнем из своего сердца подкрепляла мысль». Или — образ толпы, собирающейся вокруг революционера, как «железные опилки, притягиваемые магнитом».

Но писатель вовсе не выставляет эти новшества напоказ, не составляет из них каталог забавных приемов, призванных завлечь читателя, как это нередко случается теперь с «новым романом». Все это для Горького лишь средства, поставленные на службу большому содержанию. А большое содержание никогда не бывает неблагодарным по отношению к форме, которая ему служит.

Но великие книги — это книги, которые вызывают желание говорить не только о литературе. И среди них мало можно назвать таких, которые бы так же, как «Мать», способствовали формированию людей, создающих облик нашей эпохи. Сколько рабочих-борцов почерпнули в ней или увидели в ней подтверждение, почерпнули добрую часть своей классовой гордости («какое великое дело делаем мы»), даже тогда, когда они выполняют дела малые, незаметные; почерпнули добрую часть своего интернационализма, своей непоколебимости перед лицом врага (вспомним пример хохла, который запрещает полицейским говорить ему «ты»); почерпнули добрую часть своей веры в человека, даже когда он унижен нищетой и мракобесием. Хороший человек не может быть одиноким: «...пройдет немного времени, увидишь ты, что хороший кусок твоей души и в других грудях не хуже» И это доверие требует не снисходительности, а понимания человеческих слабостей· «Ну,— сказал хохол, усмехаясь,— когда человеку сорок лет, да он сам долго боролся с медведями в своей душе, трудно его переделать». Что бы ни произошло, эта вера делает сильным народ, который боролся за свои права. И если он должен пролить кровь своих врагов, «каждая капля их крови заранее омыта озерами народных слез...» Именно эта вера позволила революционеру во мраке 1902 года — или Горькому во мраке столыпинской реакции — сказать о молодых рабочих· «Смотришь на них и видишь — Россия будет самой яркой демократией земли!»

«Юманите», 30 марта 1961 г.

П. Топер

ПО ТУ СТОРОНУ ФРОНТА

(Заметки об антивоенной немецкой литературе)

День 22 июня 1941 года никогда не изгладится из памяти советских людей — ни тех, кто пережил его, ни тех, кто знает о нем из книг и школьных учебников; этот день стал рубежом в жизни народа. Как ни привычна была для того времени мысль о неизбежности военного нападения на нашу страну, переход от мирной жизни к войне был неожидан и воспринимался как трагедия — и для всей страны, и для каждого человека. Время ничего не изменило в этом восприятии. Советский человек, думая о прошедшей войне, вспоминает прежде всего ее начало, тот день, когда мирный советский народ оказался перед лицом навязанного ему кровопролития, когда вражеские бомбы рвались на улицах спящих городов, а пограничники умирали в неравном бою. Все трудные годы войны, вплоть до победы, закономерной, но стоившей так много, советские люди ждали возвращения к мирной жизни, к созидательному труду.

И герои всех советских книг о Великой Отечественной войне, как бы они ни были различны по характеру, едины в основном — все они оторваны войной от мирного труда, они сражаются и умирают с мыслью о свободе социалистической Родины и о счастье своих детей, они возвращаются после войны на родное пепелище, чтобы, преодолевая боль утрат, строить и жить заново.

О событиях второй мировой войны уже создана огромная литература чуть ли не на всех языках мира; у каждого народа она отражает особенности его исторического развития, и это относится даже к странам, которые не участвовали в войне непосредственно Недаром молодой шведский писатель Ян Мюрдаль начинал свою первую повесть «Возвращение» словами: «Это книга о стране, которая избежала войны, но все же несет на себе следы войны и ее великих бедствий».

Особый характер носит литература о второй мировой войне в Германии, народ которой позволил своим преступным правителям увлечь себя на путь агрессии. Принеся миру неисчислимые страдания, немецкий народ сам заплатил за нее огромными жертвами, оказавшись в результате несправедливой войны на грани национальной катастрофы.

Последствия войны коренным образом изменили исторические судьбы Германии. Разгром германского фашизма был поворотным пунктом не только в истории немецкого народа, но и в истории всей Европы.

И вряд ли случайно то обстоятельство, что немецкие писатели чаще обращаются в своих книгах к катастрофическому для фашистской Германии последнему периоду войны, к дням горького похмелья, когда на развалинах гитлеровского рейха решался вопрос о будущем немецкого народа. Именно в эти годы совершалась великая ломка в сознании миллионов немцев, выходили на поверхность никогда не умиравшие в глубине народа его гуманистические, революционные силы.

Национальный комитет «Свободная Германия» в своем обращении к немецкому народу писал тогда: «Война должна иметь по крайней мере одну положительную сторону: конец прошлому, конец вечно жаждущей войны немецкой реакции!» Полтора десятилетия послевоенной истории показа-

ли, что этот призыв имел под собой реальную почву. К лучшим сынам немецкого народа, тем, кто вместе с Советской Армией или в антигитлеровском подполье сражались за освобождение своей страны от фашизма, тянулось все, что было в Германии духовно здорового. Сегодня мечта лучших сынов Германии о социалистическом немецком государстве стала реальностью. Исторический урок гитлеровского господства и военного поражения не прошел напрасно.

Но возможности демократического, миролюбивого развития были использованы только на Востоке страны. Усилиями западных держав побежденная Германия была разорвана на две части, и Западная Германия, собирающая все силы немецкой реакции, которая ничего не забыла и ничему не научилась, давно уже стала очагом военной опасности, угрозой миру в Европе.

В книгах немецких писателей о второй мировой войне немалый интерес представляет их герой — то есть вопрос о том, каким встает с их страниц гитлеровский солдат, тот рядовой фашистской армии, который был послан преступными правителями своей страны убивать и умирать ради неправого дела.

Для солдата сражающейся армии противник — всегда незнакомец, всегда нечто неведомое, что надо познать. Воины Советской Армии познавали его в бою; и даже в самые тяжелые дни войны они понимали, что среди немецких солдат были разные люди и мера их ответственности за злодеяния гитлеризма различна, что по ту сторону фронта не только совершались преступления, но и разыгрывались трагедии. Гитлеровский вермахт не был спаян моральным единством, как и любая другая захватническая армия,— тем более к концу войны. Каким был внутренний мир его солдат, воспитанных на мысли, что война есть высшее благо, что они вправе грабить и убивать? Когда и как приходило к ним отрезвление? Рассказать об этом с наибольшей достоверностью может, конечно, их соотечественник, писатель, видящий всю глубину заблуждений своего народа. Понятен поэтому интерес советского читателя к тому, каким рисует немецкого солдата современная немецкая литература.

Естественно, однако, что в книгах разных писателей мы найдем разные ответы на этот вопрос, и дело тут не просто в различии творческих манер. Изображение второй мировой войны в немецкой литературе давно уже стало объектом ожесточенной идейной борьбы. И если реваншисты от литературы на Западе Германии, стремясь любыми средствами объяснить и оправдать военный разгром, пытаются создать героический ореол вокруг солдата гитлеровской армии, то гуманистическая немецкая литература, делая выводы из сурового исторического опыта, стремится утвердить идеал человека, отвергающего преступные кровопролития. Но и в антивоенных книгах немецкий солдат предстает перед нами в разном свете, и это зависит от глубины идейной позиции писателя, от его взгляда не только на прошлое, но и на будущее немецкого народа.

Впервые, пожалуй, мы встречаемся в послевоенной немецкой литературе с немецким солдатом второй мировой войны в пьесе Вольфганга Борхерта «За дверью», написанной еще в 1946 году. Герой этой условно-аллегорической драмы (она была написана для радио и не предназначалась для сцены), унтер-офицер Бекман, инвалид войны, возвращается из плена в Германию. Ребенок его погиб под бомбежкой; свою жену он находит с другим. Женщина, которая полюбила его, оказалась женой солдата, искалеченного в годы войны из-за его, Бекмана, приказа. Мучительные вопросы гонят Бекмана к его полковнику, но тот не чувствует ни угрызений совести, ни ответственности за жертвы. Родители Бекмана отравились газом, потому что соседи преследовали их как нацистов, хотя вина их была, надо думать, неизмеримо меньше вины тех, кто продолжают благоденствовать. В послевоенной Германии Бекман, это «привидение войны, временно отремонтированное для мира», никому не нужен; у него нет ни дома, ни хлеба; «его смерть будет неотличима от его жизни: бессмысленная, незначительная, серая»; остается одно — самоубийство.

Заметим — в этой страстной антивоенной пьесе нет ни слова о том, что побежденная Германия оккупирована войсками стран антигитлеровской коалиции; тем самым в ней обойден вопрос о том, что означала еще недавно для порабощенных народов Европы гитлеровская оккупация. Бекман вернулся из советского плена, он был под

Сталинградом, воевал и в других местах России. Этот «маленький человек», у которого «слишком тихий голос»,— обманутая жертва, он не желает больше «умирать и убивать»; но когда кошмар войны персонифицируется для него в определенных образах, он видит немецкого военачальника, предающего своих солдат, или тех своих подчиненных, которых он сам посылал в разведку. А те, в кого они стреляли? А их жертвы? Бекман хочет знать правду, но в эту правду не входит мысль о страданиях, которые германский фашизм принес другим народам.

Бекман — первый «ищущий» герой в немецкой литературе о второй мировой войне; его страстный крик «Разве нет ответа???» не находит отклика, и не мудрено, коль скоро мысли Бекмана вращаются в замкнутом кругу тех сил, которые развязали или поддерживали войну. «Добро» он одинаково — и безуспешно — ищет и в гитлеровском полковнике, олицетворяющем для него весь ужас войны, и в обывательнице гитлеровских времен, жалеющей о газе, которым отравились его родители.

Что делал унтер-офицер Бекман на фронте, думал ли он о том, что можно отказаться воевать, как сам Вольфганг Борхерт, проведший долгие месяцы в тюрьме, приговоренный однажды к смерти и побывавший в штрафном батальоне за «пораженческую пропаганду и разложение вермахта»,— мы не знаем. Надо думать, однако, что если бы писатель ввел мысль об отказе стрелять в свое произведение, пьеса наполнилась бы иными, более глубокими конфликтами.

Все, написанное Вольфгангом Борхертом, было создано им в течение двух лет, когда он уже был смертельно болен. Бессмысленно задаваться вопросом, как сложилось бы дальше творчество этого писателя, сумевшего выразить и отчаяние, и трагические вопросы, волновавшие миллионы немцев, сумевшего в своих последних произведениях с поразительной силой сформулировать многие идеи послевоенного движения за мир. Его творчество дало начало значительному течению послевоенной западногерманской литературы,* ее антивоенному крылу, хотя некоторые писатели, называя Борхерта своим духовным отцом, делают это без достаточных на то оснований.

Среди книг о второй мировой войне, которые наводняют сегодня книжный рынок Западной Германии, большую часть составляет литература, о которой Иоганнес Бехер сказал, что послевоенной она является только внешне, «а по существу — это предвоенная литература, подготавливающая третью мировую войну».

Чуть ли не сразу же после поражения гитлеризма в Западной Германии стали появляться милитаристские книги; любимые писатели гитлеровских времен — Гримм, Юнгер, Двингер, Боймельбург — снова были в почете. История повторялась: как и в двадцатые годы, в Веймарской республике, книжный рынок чем дальше, тем больше стал наполняться мемуарами битых генералов, планами реванша, «военными романами», описаниями «большевистских зверств» и т. п.; литературная милитаризация шла рука об руку с политической. Вторая мировая война стала предметом спекуляции для тех, кто хотели бы ввергнуть немецкий народ в новую бойню.

Вся эта литература, по большей части стоящая далеко за пределами искусства, в том или ином виде оправдывает гитлеровскую войну как «немецкое дело», снова вдалбливает в массы немецкого народа идею реванша. Напрасно было бы искать в этих книгах хоть намек на сомнения в ценности морального кодекса солдата-наемника захватнической армии — воевать, не спрашивая, с кем и за что, убивать и грабить «неполноценные расы», находить счастье в удовлетворении самых низменных инстинктов.

Откровенно реваншистская литература давно уже стала реальной опасностью; но еще более опасна милитаристская литература замаскированная, скрытая; она высмеивает Гитлера, осуждает эсэсовцев, обвиняет фашизм в падении Германии и... готовит пушечное мясо для третьей мировой войны. Ее самый частый и самый опасный прием — изображение войны с точки зрения «простого солдата». Этого солдата не интересует политика (следовательно, он не связан с идеологией фашизма), он не ищет высоких постов и богатства (следовательно, он не грабитель), он воюет потому, что таков приказ. О противнике в таких случаях

* О западногерманской антивоенной литературе см. статью И. Фрадкина «Вольфганг Борхерт и «поколение вернувшихся» («Иностранная литература» № 2, 1958 г.), а также книгу И Фрадкин, «Литература новой Германии». М., «Советский писатель». 1959.

говорится, как правило, с уважением, и война — даже если в ней много ужасного — превращается в род «равной игры», одинаково справедливой или несправедливой, честной или бесчестной, с той и другой стороны. Таинственным образом такие книги всегда в той или иной степени содержат апофеоз немецкого солдата-профессионала, который все-таки лучше, умнее, находчивее своего противника (в поражении виноваты начальники!), и это справедливо даже для книг антимилитаристского звучания, если антивоенный пафос их непоследователен,— например, роман «Реактивные минометы» Герта Ледига, «Сыновья, которых предали» Михаэля Хорбаха и другие. Тем самым и эти книги вносят свою лепту в возрождение старой легенды о «побежденном непобежденном» * немецком солдате, который, если им хорошо командовать, завоюет весь мир.

Но мотив «равной игры» может появиться и там, где писатель всеми силами души отвергает гитлеровскую войну — если он не поднимается до ясного осознания исторической справедливости действий тех, кто боролся за свержение гитлеризма.

Одна из ранних книг Генриха Бёля «Где ты был, Адам?» пронизана ненавистью к войне как чудовищной, противоестественной бессмысленности. Наиболее ясно эта идея раскрыта, может быть, не в описаниях боев, а в небольшой главе, где говорится о простой словацкой женщине Зузан, потерявшей мужа в первую мировую войну. Она содержит кабачок около моста через реку. Партизаны взорвали мост — и ей это кажется «смехотворным», потому что через мост ездили главным образом крестьяне, а редкие немецкие грузовики будут спокойно ездить по другому мосту, расположенному неподалеку. Теперь же ей стало много труднее, поскольку прекратился проезд крестьян. Однако скоро к ней на постой пришли немецкие солдаты, и она снова зажила хорошо. Через три года мост неожиданно для нее был выстроен заново. Вдруг стала слышна стрельба русских и немецких пулеметов; фронт приближался; был дан приказ отступать («Контрнаступления не будет!»), и мост был в течение нескольких минут снова взорван, теперь уже самими немцами.

Герой этой книги, архитектор Файнхальс, ставший против своей воли солдатом, гибнет на пороге родного дома от немецкого снаряда, выпущенного ретивым командиром по белому флагу. Так отвечает автор на вопрос о том, кто виноват в трагедии немецкого народа. Но Файнхальс — жертва, и только. К нему относится эпиграф, объясняющий название этой книги: «Мировая катастрофа может служить многому. Также и тому, чтобы найти алиби перед богом: «Где ты был, Адам? Я был на войне». В этой книге нет мысли о том, что немецкие солдаты, пусть даже внутренне они и были противниками фашистского режима, на фронтах второй мировой войны становились не только жертвами, но и орудиями преступлений. И — одно с другим неразрывно связано — в ней нет мысли о том, что с «мировой катастрофой» надо бороться, что война не может служить оправданием перед своей совестью для человека, участвующего в ней на неправой стороне.

В последующем творчестве Генрих Бёль далеко ушел от концепции повести «Где ты был, Адам?», и его романы приобрели не только антивоенное, но и более определенное антифашистское звучание. Однако, вспоминая в своих новых книгах о годах войны, он и здесь предпочитает вовсе обходить вопрос о том, что делали немецкие солдаты на завоеванной территории. Между тем, только поставив вопрос о вине и ответственности за соучастие в преступлениях гитлеризма, немецкий писатель может поднять самый глубокий пласт противоречий второй мировой войны и показать ее по-настоящему правдиво; только в этом случае «добрые» моральные качества героев, противопоставленных фашистскому злу, будут проверены перед лицом подлинной жизни, перед лицом истории.

Дело не в том, как это нередко утверждается, что антивоенные писатели на Западе Германии не знают тайны происхожде-

---

* Потерпев полное поражение в первой мировой войне, немецкий генеральный штаб сумел все же предотвратить сражения на территории Германии, что удалось ему благодаря помощи Антанты, сохранившей немецкую армию для борьбы с немецкой революцией. Это обстоятельство было использовано позднее милитаристами для доказательства того, что немецкая армия, состоящая из «лучших в мире» солдат, якобы не потерпела поражения в бою и война была проиграна Германией только из-за «удара ножом в спину» — то есть из-за немецкой революции. Современные реваншисты на Западе Германии снова, вопреки исторической истине, возрождают эту старую легенду.

ния войн, не видят социальных сил, порождающих войну. Это теоретическое положение, справедливое для пацифистской литературы о первой мировой войне, сегодня, по большей части, уже не применимо. Книги антивоенных писателей Западной Германии чаще говорят о другом — об уходе их авторов от ясного ответа на этот вопрос, потому что сегодня он неразрывно связан с принятием действенных путей борьбы с германским милитаризмом и, следовательно, требует определить свое отношение к социалистическому развитию, которое избрал народ первого в истории Германии рабоче-крестьянского государства к востоку от Эльбы.

Читая некоторые романы западногерманских писателей о второй мировой войне, можно подумать, что гитлеровская армия состояла из нескольких закоренелых преступников и людей, с самого начала, по соображениям человечности, не согласных с фашистским режимом. При таком изображении снимается вопрос об *осознании происходящего* героем книги, о поисках путей борьбы с социальным злом. В действительности, конечно, дело обстояло много сложнее, и раскрыть эту сложность можно только в том случае, если показать реальные процессы, которые, нарастая, шли в немецком обществе и в сознании немецкого народа по мере того, как гитлеровский рейх рушился под ударами Советской Армии.

Подлинно реалистическое произведение должно показать, что даже по отношению к гитлеровской войне, преступной из преступных, справедливы слова В. И. Ленина, сказанные им еще в 1915 году:

«Опыт войны, как и опыт всякого кризиса в истории, всякого великого бедствия и всякого перелома в жизни человека, отупляет и надламывает одних, *но зато просвещает и закаляет других,* причем в общем и целом, в истории всего мира, число и сила этих последних оказывались, за исключением отдельных случаев упадка и гибели того или иного государства, больше, чем первых».*

Рисуя войну как проклятие прошлого, утверждая необходимость для немецкого народа мира — «категорического императива нашего времени», по выражению Томаса Манна,— антивоенные писатели Западной Германии выражают самые насущные национальные интересы своего народа. В этом гуманистическая литература по обе стороны Эльбы едина. Но непоследовательность западногерманских антивоенных писателей заметно сковывает их возможности, ограничивает реализм даже самых талантливых из них.

Журнал «Эйнхейт», теоретический орган Социалистической единой партии Германии, писал в 1957 году: «Те западногерманские писатели, которые в своих романах попросту избегают *последовательного* расчета со своей собственной позицией, позицией гитлеровских солдат во второй мировой войне, рассматривая их только как «жертвы» нацизма, существенно облегчают свою задачу».

Антивоенная литература Германской Демократической Республики ставит во главу угла вопрос об ответственности за соучастие в преступлениях гитлеризма. Она идет труднейшим путем. Она не обходит тот основной для понимания второй мировой войны вопрос, что в ходе ее фашизм был побежден силами социализма и мира. Ее герои из среды гитлеровской армии, противостоящие преступному фашизму, тоже «человечны» в первом, непосредственном смысле этого слова. Но как только их природная честность, порядочность, бескорыстие проявляются в конкретном поступке, они тотчас же закономерно и в соответствии с жизненной правдой оказываются в непримиримом конфликте с окружающей преступной средой. И первое, подчас даже неосознанное душевное движение становится началом трудного и сложного, далеко не всегда победного пути разрыва со всем миром фашизма. Тем самым литература ГДР получает возможность показать исторический перелом, который произошел в массах немецкого народа под воздействием разгрома гитлеризма.

* * *

В недавно вышедшей в ГДР книге Дитера Ноля «Приключения Вернера Хольта» есть такой эпизод.

Вернер Хольт, молодой солдат гитлеровской армии, попадает в Словакию; его подразделение несет патрульную службу в одном из населенных пунктов так называемого «Протектората». Дочь хозяина дома, где расквартированы немецкие солдаты, защи-

---

* В. И. Ленин. Сочинения, т. 21. стр. 191.

щаясь от насилия, убивает топором унтер-офицера Шульце, садиста, которого ненавидят все его подчиненные. Скрыться ей не удается; вместе с отцом ее отводят в подвал, чтобы позднее допросить и расстрелять. Конвоировать их приказано Вернеру Хольту. «...Хольт шел в двух шагах позади нее. Руки ее, скрещенные на затылке, дрожали, волосы падали на руки и плечи. Он держал взведенный карабин, палец лежал на спусковом крючке. «Если она побежит, я должен буду выстрелить. И я выстрелю». Он поискал глазами точку между лопатками. «Взять чуть левее,— подумал он,— тогда она ничего не почувствует...»

Ночью на городок нападают партизаны. Вернер Хольт получает приказ немедленно расстрелять девушку и ее отца. Вместо этого он, пользуясь суматохой боя, предлагает им бежать. Заключенные не понимают его. «Стреляй же скорей, фашист!» — кричит ему девушка. Наконец, смысл его слов дошел до них, поняли они и то, что ему в эту ночь грозит смерть от карающей руки партизан. Девушка предлагает ему бежать вместе: «Убейте своих командиров! Мы скажем, чтобы вам ничего не сделали!» Но эти слова вызывают в Вернере Хольте недоумение: «Да она с ума сошла!»

Тяжело раненный Вернер Хольт лежит в госпитале, и мысли о происшедшем не дают ему покоя. Он все время видит перед собой спину девушки и себя самого, выбирающего точку для пули — «между лопатками, чуть левее». «Если бы мне приказали: «Застрели!»,— думает он,— я бы застрелил ее... А если такой же приказ я получу завтра... я тоже буду стрелять?»

Вернер Хольт в этом эпизоде уже понял, что фашизм несовместим с его представлением о морали, но у него и мысли нет о дезертирстве из гитлеровской армии, которое он воспринял бы как предательство. Он сам не может до конца разобраться в себе и ответить на вопрос, что заставило его спасти партизан.

Советскому читателю, следящему за книгами немецких писателей о второй мировой войне, эта ситуация должна показаться знакомой. В самом деле, схожий эпизод уже встречался в романе Эриха Марии Ремарка «Время жить и время умирать», и даже дважды — в начале и в конце книги.

В первой главе этого романа его герой, двадцатитрехлетний солдат Гребер, принимает участие в расстреле мирных жителей. Гребер в душе ненавидит войну и понимает, что расстрел русских, подозреваемых в том, что они партизаны,— преступление. Тем не менее он целится не мимо (как кое-кто из его товарищей), а в грудь стоящего перед ним безоружного человека, цинично рассуждая, что если он выстрелит в воздух, это ничего не изменит — просто русскому придется вторично пережить расстрел.

На последних страницах книги вернувшийся из отпуска Гребер сторожит запертых в подвале русских, которые должны быть расстреляны как партизаны. Русские предлагают Греберу бежать вместе с ними, обещая ему жизнь, но он отказывается. Немецкая армия отступает, и фашист Штейнбреннер хочет во что бы то ни стало убить русских; Гребер не соглашается выдать пленных без приказа. Штейнбреннер грозит Греберу оружием, и тот убивает Штейнбреннера и отпускает русских на свободу, отбросив в сторону винтовку, чтобы показать, что он не будет в них стрелять. Русские убегают, и один из них стреляет в безоружного Гребера. Гребер умирает с мыслью о чем-то очень важном, решающем, но еще не понятом и не высказанном им.

Конец этого романа вызывает законное недоумение советского читателя. Мне часто приходилось принимать участие в читательских конференциях, посвященных новинкам зарубежной литературы, и каждый раз, в самой различной аудитории, как только речь заходила о книгах Ремарка, возникал вопрос: почему партизаны убили Гребера? Почему Гребер не ушел вместе с ними?

Те читатели, которые видят не столько печатный текст, сколько стоящую за ним реальную жизнь, говорили, что Гребер, отказавшийся последовать за партизанами, стал для них только солдатом гитлеровской армии, захватчиком, убийцей, то есть врагом. Те же, кто склонны додумываться до основной мысли автора, удивлялись, почему Гребер, поднявший оружие на фашиста, должен был погибнуть от русской пули, то-есть от рук тех, кого он спас?

Но дело в том, что жизнь, которую читатель видит за этой ситуацией, не подчиняется логике, навязанной ей Ремарком.

Гребер — типичный герой Ремарка, которого можно встретить почти во всех его книгах, человек, бесконечно уставший от трагедий современности, одинаково отвер-

гающий и реакционное насилие, и сопротивление этому насилию. Его выстрел в Штейнбреннера — не результат осознания своего места в жизненной борьбе, а своего рода акт отчаяния, потому что тем самым он вступает на путь, который не приемлет и в истинность которого не верит,— гибельный, по его мнению, путь.

И все же в выстрел, которым Гребер убивает Штейнбреннера, автор вкладывает глубокий смысл активного расчета своего героя с фашизмом; но пуля, посланная партизанами, несет в себе не только смерть Гребера, но и ложную мысль о невозможности справедливой войны, о невозможности для простого человека найти счастье на земле. На протяжении книги герой Ремарка не меняет своего отношения к жизни и сам не меняется — если не считать его последней предсмертной мысли, которую он не успел додумать, но даже намек на которую очень важен в этой книге.

Роман «Время жить и время умирать» создавался Ремарком после войны, в годы общественного подъема, вызванного разгромом гитлеризма и его безоговорочной капитуляцией. В этой книге Ремарк сказал о нашей современности многое такое, до чего он не поднимался ни в предыдущих, ни в последующих книгах. Любопытно отметить, что в сегодняшней западногерманской антивоенной литературе, избегающей ставить вопрос о преступлениях гитлеровцев по отношению к другим народам, мы не встретим такой ясно очерченной и столь богатой возможностями ситуации. Зато часто встретим ее в молодой литературе ГДР (не только в книге Дитера Ноля), смело идущей в разработке этого сложнейшего жизненного материала по самому трудному пути. При этом сходство здесь чисто внешнее, формальное, поскольку в книге Ремарка эта ситуация дана «в статике», как нечто вечное, неизбежное, поскольку жизнь в его изображении искажена в угоду ложной схеме. Писатели ГДР вкладывают в этот сюжетный «треугольник» (фашистский преступник — исполнитель его приказа — жертва преступления)) принципиально иной смысл; он становится в их книгах основой для поисков ответа на вопрос о верном пути, ведущем в будущее. По своей проблематике их книги восходят к творчеству передовых немецких писателей старшего поколения, прежде всего к замечательному творению немецкой литературы — монументальному роману Анны Зегерс «Мертвые остаются молодыми», к драме Иоганнеса Бехера «Зимняя битва», написанной еще в 1942 году.

Толчком для создания этого произведения Иоганнеса Бехера, в котором он описывал солдата, отказавшегося в дни битвы под Москвой 1941 года участвовать в гитлеровской войне, послужило письмо, найденное у убитого на фронте немца. В этом неотправленном письме немецкий солдат писал, что ищет смерти, ибо его гнетет мысль о преступлениях, свидетелем которых он был,— «после этого нельзя больше жить человеку». Бехер говорил по этому поводу: «Да, он был против, всем своим существом он был против, но ему не хватало мужества предпринять что-нибудь — он нашел в себе лишь мужество приговорить себя *после этого* к смерти. В этом потрясающем письме, источающем боль и страдание, я увидел прообраз трагедии, позднее разразившейся над многими немцами».

Случаи неповиновения преступным приказам, дезертирства из фашистской армии, прямых выступлений против начальников возникали все чаще и чаще по мере приближения фронта к немецким границам; однако массовым явлением они не стали, даже когда бои шли на немецкой земле. Гитлеровцы все время находили тех, кто готов был умирать ради не только неправого, но уже и безнадежно проигранного дела Лживая гитлеровская пропаганда, демагогия «крови и почвы», «единства народа и фюрера», страх перед справедливым возмездием — все это оказалось сильнее и действеннее, чем можно было предполагать. И крепче, чем думалось, оказался выработанный долгой историей династических войн пруссаческий моральный кодекс чести, который глубоко сидел в сознании немецкой молодежи вместе с преклонением перед псевдогероизмом беспрекословного послушания, стоической позой обреченности и «подвига ради подвига».

В романе Анны Зегерс «Мертвые остаются молодыми», этой поразительно богатой идеями книге, где подняты едва ли не все вопросы немецкой истории между двумя мировыми войнами, нарисованы и фронт второй мировой войны, и оккупация гитлеровцами чужих земель, и зверства нацистской

армии. Ганс, молодой герой этой книги, сын расстрелянного в Ноябрьскую революцию рабочего Эрвина, мучается мыслью, что он «упустил время», «не мог выскочить из общего ряда, как одна волна не может выскочить из потока». Он хотел перейти к партизанам, но его удержала мысль, что дезертирство одного ничего не изменит. И вот для того, чтобы остаться жить, он стреляет в людей, носящих значок с серпом и молотом. Ганс пытался успокоить себя тем, что стреляет не он один, но тут же отбрасывал эту мысль: «Нет, все-таки он один; если бы пуля попала — это была бы его пуля. Две с половиной тысячи человек выстрелили в одну и ту же секунду. Но в того, кто лежал бездыханный на земле, смертельная пуля, была послана им, Гансом. Пусть убитый был совсем изрешечен пулями, но только одна из них, только одна пуля, оборвала нить жизни. И на этой пуле было вырезано: Ганс».

Критика не раз отмечала, что образ Ганса в конце книге становится неубедительным; действительно, в нем есть двойственность. Его революционная ненависть к фашизму, его преданность делу рабочего класса и вера в Советский Союз, наконец, его сюжетная роль носителя неумирающих революционных традиций немецкого народа не вяжутся и не могут вязаться с его поведением на фронте, безразлично, в силу каких обстоятельств он вел себя именно так. Двойственность эта проистекает, очевидно, из стремления автора и здесь, как и во всей книге, ставить жгучие проблемы немецкой жизни, создавая ситуации обобщенного, почти символического плана, а трудно представить себе действительность, которая меньше бы подходила для создания единого символа, чем история немецкого народа в середине нашего века. Ганс на тех страницах, где он стреляет в советских людей, как бы «принял на себя» вину своих товарищей по классу, которые на полях сражений гитлеровской войны изменяли и делу пролетариата, и своим национальным интересам. Его мучительные раздумья — это раздумья немецкого антифашиста, революционера над той долей исторической вины, которая ложится на каждого его соотечественника, позволившего своим преступным правителям развязать агрессивную войну.

Изображена прошедшая война и в книгах Вилли Бределя, Фридриха Вольфа, Боде Узе и других представителей «старой гвардии» передовой немецкой литературы.

И все же в первое послевоенное десятилетие писателей ГДР сравнительно мало занимала военная тема. Они стремились решить задачу изображения того нового, что совершалось на немецкой земле,— свободного труда рабочих на народных предприятиях, воздействия земельной реформы, изменившей лицо деревни. Складывались новые отношения между людьми, возникали предпосылки для социалистических преобразований, и немецкая литература старалась запечатлеть эти приметы времени и активно участвовать в рождении нового сознания немецкого народа. Все больше и больше мы узнавали о подпольщиках, участниках антифашистского Сопротивления в самом логове фашистского зверя, узниках концлагерей, сохранявших мужество и боровшихся несмотря ни на что,— о всех тех, чья совесть, как говорил Эрнст Тельман в своем последнем письме товарищу по заключению, ничем не запятнана по отношению к немецкому трудовому народу. В издательствах ГДР выходили в свет и с каждым годом все больше и больше читались книги немецких писателей-антифашистов, та большая гуманистическая немецкая литература двадцатого века, которая была совершенно неизвестна немецкому читателю того времени. Немецкий народ приобщался к своей собственной великой культуре, которая долгие годы была скрыта от него, или — еще хуже — извращена фашистской лженаукой.

Однако вскоре отсутствие книг, которые показывали бы гитлеровскую армию «изнутри», стало ощущаться как заметный пробел. Первым свидетельством этого была статья известного немецкого писателя и общественного деятеля Людвига Ренна «Почему нет литературы о войне?», которая была опубликована в журнале «Нейе дейче литератур» в январе 1956 года. Людвиг Ренн обращал внимание на то, что изображение войны требует глубокого понимания и большого мастерства, так как речь идет не о пацифистской литературе, а о книгах, которые будут действенно служить борьбе против новых поджигателей войны.

Он писал: «У нас нет достойной упоминания литературы о войне, то есть нет литературы поколения, которое Гитлер заманил, повел или заставил идти на фронты второй

мировой войны и которое могло бы поведать о «фронтовых переживаниях» совершенно особым образом — а именно, рассказать, как война воспитывает людей, заставляет их становиться противниками войны, доискиваться до ее причин, а затем и бороться против нее».

О своевременности статьи Людвига Ренна свидетельствовал тот факт, что примерно в это же время в ГДР стали появляться произведения о гитлеровской армии и читатели встретили их с огромным интересом. Первый успех выпал на долю двух повестей — «До последнего солдата» Карла Мундштока и «Однополчане» Франца Фюмана.

Действие небольшой повести Карла Мундштока, которая и до настоящего времени остается одним из лучших произведений этого писателя, происходит на немецком пограничном посту на востоке Норвегии, высоко в горах. Солдат Кольмайер хочет дезертировать через шведскую границу, его ловят и по приказу командира заставы Вайса вешают. Друг Кольмайера, двадцатишестилетний рабочий из Берлина Холлерер, тоже давно уже хочет бежать: он враг гитлеризма, с преступным режимом его связывает только то, что он шел ради него умирать. Застава — маленький узкий мирок, солдаты все знают друг о друге, знают и о ненависти Холлерера к их командиру, негодяю Вайсу. Холлерер бежит к русским; Вайс отправляется с шестью солдатами в погоню за ним. В снежных горах трудно спрятаться — все тропинки видны как на ладони. По дороге Холлерер теряет патронную сумку, у него остается шесть патронов — по одному на солдата. Спрятавшись в пещере, он по очереди убивает своих товарищей, проклиная их глупость и трусость. Делает он это с мучительной болью, потому что считает, что сам виноват в их смерти — он должен был поговорить с ними, заставить их перейти на его сторону, вместе с ними выступить против Вайса: «Каким простым все казалось, ведь каждый солдат про себя ругает нацистов и войну. Но повиноваться и умирать проще». Холлерер проклинает свое одиночество. Уже зная, что ему не спастись, он ножом убивает Вайса, на котором сосредоточилась вся его ненависть к фашистскому режиму, но тот успевает смертельно ранить его — «снег покрыл мертвого и спящего, который уже никогда не проснется, чтобы все исправить».

Читатели этой яркой повести, конечно, понимали, что перед ними не просто рассказ об одном из многочисленных трагических эпизодов войны. За напряженной мыслью героя, ищущего ошибку в своей личной судьбе, ясно чувствуется мысль автора о судьбе всего народа — об упущенных возможностях антифашистской борьбы, о страшном проклятии разобщенности и пассивности народных масс перед лицом наступающего фашизма, об ошибках, которые должны быть исправлены теперь, после горького исторического урока фашистского господства.

Повесть Франца Фюмана «Однополчане» («Kameraden») написана в совершенно другой, «аналитической» манере и ближе к той литературе о гитлеровском солдате, проходящем «воспитание войной», о необходимости которой говорил в своей статье Людвиг Ренн. Действие повести, в отличие от большинства немецких книг о второй мировой войне, происходит не в конце ее, а в 1941 году. Трое солдат из части, расположенной на советско-германской границе, во время прогулки, охотясь, нечаянно убивают дочь командира их батальона. Опасность заставляет раскрыться подлинную сущность каждого из «камрадов» — грубого и привычного к убийствам старого солдата Карла, насквозь лживого и готового на любое предательство фашиствующего интеллигента Иозефа и молодого выученика «гитлерюгенда» Томаса. И Карл, и Иозеф по отношению друг к другу готовы на любое предательство и убийство, лишь бы избавиться от свидетеля. Только Томас, человек честный и мягкий, «белая ворона» в своей среде, наивно продолжает верить в дружбу и делает все, чтобы его шансы на спасение были не больше, чем у других, хотя ему одному ничего не грозит (он не успел выстрелить). Иозеф находит способ рассказать обо всем своему отцу, видному гитлеровцу; на другой день убийство дочери майора объявлено «большевистским зверством»; в тот же день начинается нападение Германии на Советский Союз. Друзья — в том числе и Томас — счастливы: теперь им ничто не грозит. Но в первом же русском селе немцы по приказу майора вешают двух девочек в отместку за «зверство большевиков». Честная в основе своей

натура Томаса не может этого вынести. Он заявляет, что убийцей был он. Никто ему не верит, тем более что он не может поклясться в этом. Его принимают за помешанного, «друзья» жестоко избивают его. Ночью он бежит из части, и по нему открывают огонь.

Образ Томаса, потрясенного варварством, которое скрывается на деле за гитлеровской демагогией, рвущего с фашизмом из смутного и неосознанного чувства человечности,— первый набросок героя, который получит дальнейшее развитие в книгах молодых писателей ГДР, изображающих гитлеровскую армию.

Почти одновременно с повестями Карла Мундштока и Франца Фюмана вышел в свет большой роман Герберта Отто «Ложь».

Действие этой книги начинается в 1944 году. В селе Ремановка, в десяти километрах западнее Днестра, гитлеровцы захватили в плен трех партизан, среди них — молодую девушку. Их караулит немецкий солдат Альфред Хаверкорн; он становится свидетелем истязаний, которым майор Кребс подвергает партизан во время допроса. Альфред Хаверкорн давно уже чувствует сомнения в справедливости войны и в победе немецкого оружия; к партизанам он относится не с ненавистью, а с сочувствием. Тем не менее, когда Вайс, человек коммунистических убеждений, предлагает Альфреду Хаверкорну бежать к русским вместе с ним, он в ужасе отказывается. На утро Альфред Хаверкорн назначен вместо Вайса в команду для расстрела партизан; руководит расстрелом сам майор Кребс. Во время первого залпа Альфред Хаверкорн не выстрелил; девушка осталась жива — в нее никто не решился целиться Команда раздалась вторично; теперь Альфред Хаверкорн не может не стрелять — это погубит его. Он целится в дерево позади партизанки и видит, как от ствола отлетает кусок коры; следовательно, его пуля не попала в нее — но девушка убита другими, и вид ее трупа потрясает Альфреда Хаверкорна.

Герберт Отто доводит ситуацию, лежащую в основе его книги, до предельной простоты. Альфред Хаверкорн прибыл на советско-германский фронт незадолго до расстрела партизан и не участвовал еще ни в одном бою. Следовательно, пуля, отбившая от дерева кусочек коры над головой партизанки, была единственной пулей, выпущенной им в советских людей. Именно в одной этой пуле заключена вся тяжесть вопроса о вине и ответственности, который ставит автор,— виноват ли Альфред Хаверкорн и если виноват, то в чем его вина?

Может показаться, что в завязке этой книги есть искусственность; правомочно ли на одном выстреле строить сюжет книги, которая должна ответить на вопросы о путях целого поколения немцев? Ведь гитлеровская армия совершила на советской земле миллионы куда более тяжких преступлений. Однако именно таков был замысел автора; он хотел сделать книгу как можно «бескровнее», чтобы картины войны, потрясающие читателей, не помешали раскрыть смысл судьбы героя.

Созданная здесь коллизия позволяет ему исследовать природу гитлеровской войны с большей полнотой, чем изображение вопиющих зверств и кровопролитий, и если подчас, особенно во второй половине романа, действия героев не всегда психологически убедительны, то виной тому неопытность молодого писателя, выступившего со своей первой книгой на столь сложную тему.

В день расстрела партизан Альфред Хаверкорн попадает в плен. Таким образом, сцена расстрела служит как бы завязкой, прологом к описанию нравственного переворота, происшедшего с гитлеровским солдатом Альфредом Хаверкорном за годы пребывания в Советском Союзе. Этот процесс происходит нелегко, даже мучительно. Боясь, что советские люди не поверят ему, Альфред Хаверкорн скрывает свое участие в расстреле. Одна ложь тянет за собой другую, он запутывается все больше и больше, наконец он оказывается в зависимости от фашистского преступника майора Кребса, который скрывается в плену под именем своего денщика, им же зверски убитого.

Смысл событий становится ясным Альфреду Хаверкорну, когда он понимает — вина его заключалась в том, что он не выступил против преступников в своей собственной стране, ибо именно они были врагами и его, Альфреда Хаверкорна, и советских людей, которых он, Альфред Хаверкорн, должен был расстреливать, исполняя преступные приказы. В тот момент, когда он принимает решение сказать советским властям всю правду о себе и одновременно разоблачить подлинного преступника, май-

ора Кребса, он заново переживает сцену расстрела: «...Кребс дал приказ начинать... Раздалось: «На изготовку!» Затем: «Огонь!» Между двумя этими командами и лежало упущение. Альфред видит: вот они направляют винтовки на Кребса... Альфред слышит свой собственный голос: «Огонь!» Вот что имело бы смысл! Только теперь, когда дело близилось к концу, нашел Хаверкорн начало. Бездеятельность между двумя командами — вот где начало! Не в том, что он тайно не выполнил приказ,— а раньше; на один вдох раньше».

Книга Герберта Отто была отмечена премией имени Теодора Фонтане; она имела большой успех среди немецких читателей и вызвала горячую дискуссию. Немалые споры возникли и вокруг других книг о войне, которые стали появляться в последующие годы.* В октябре 1957 года Союз немецких писателей по решению своего IV съезда созвал специальную теоретическую конференцию. посвященную проблеме изображения второй мировой войны в современной немецкой литературе. Газета «Берлинер цейтунг», проведшая с января по март 1958 года на своих страницах читательскую дискуссию о новых книгах, изображающих вторую мировую войну, отмечала, что эта дискуссия прошла необычайно «оживленно и содержательно».

И читательский интерес, и внимание литературной общественности доказывают, что книги молодых писателей ГДР о годах войны, в основе которых лежит мысль о решительной ломке сознания в массах немецкого народа, находят широкий отклик у читателей Германской Демократической Республики.

Читая книги писателей ГДР, посвященные военным событиям, легко заметить любопытную особенность: герой их становится моложе. Томасу из повести Франца Фюмана «Однополчане» восемнадцать лет, то есть он родился в первые годы Веймарской республики; Альфред Хаверкорн родился в 1925 году и пошел в школу в год прихода Гитлера к власти, герой повести Вольфганга Нейхауза «Украденная юность» ** пошел в школу в 1936 году, когда фашизм уже полностью торжествовал в Германии. В дни боев за Берлин, описанных в этой книге, ему всего 16 лет. Это изменение в возрасте влечет за собой и существенные перемены в облике героев: Альфред Хаверкорн сравнительно легко расстается с гитлеровской ложью; герой же книги Вольфганга Нейхауза еще в мае 1945 года подбивает советский танк и счастьем для себя считает, что его будет награждать орденом сам Гитлер.

* * *

Герою романа Дитера Ноля «Приключения Вернера Хольта» * тоже шестнадцать лет. Эта книга больше других позволяет заглянуть в историю молодости того поколения немцев, которое в ГДР называют «enttäuscht» — то есть «прошедшее через разочарование», «вырвавшееся из обмана».

Книга Дитера Ноля отличается по своему композиционному построению и от «Лжи» Герберта Отто, где в основе действия лежит четкая завязка, и от «Украденной юности» Вольфганга Нейхауза, где автор сталкивает своего молодого героя с заправилами фашистской Германии, самим Гитлером. С последовательностью хроникера рассказывает Дитер Ноль о жизни своего героя, школьника в одном из небольших городков Германии. Перед нами возникает картина гитлеровской школы, построенной на муштре военного образца, где все преподавание проникнуто идеями солдатчины и расизма, поставлено на службу милитаризму.

«...Вольцов стоял рядом с партой и отвечал:

— История — это войны. С 1469 до нашей эры по 1930 год нашей эры было только двести шестьдесят четыре мирных года, зато три тысячи сто тридцать пять лет войны...

— Не забудьте расовый момент,— добавил учитель Кнак.— Качественные различия между народами, расовые импульсы...»

Вне школы ученики разговаривают так:

«— ...Из наших девушек выйдут матери биологически лучше и нравственно вовсе не хуже, чем матери предыдущего поколения.

— Да брось ты,— сказал Вольцов,— ведь

---

* Horst Beseler. „Im Garten der Königin" (1957); Harry Thürk. „Die Stunde der toten Augen" (1957); Günter Spranger. „Stützpunkt Rokitno" (1957); Martin Müller. „Zwöltender" (1957) и др.

** Опубликована в журнале «Иностранная литература» №№ 2 и 3, 1961 г.

* Dieter Noll. „Die Abenteuer des Werner Holt. Roman einer Jugend" 1960 Роман отмечен премией имени Генриха Манна.

мы германцы. А у германцев женщины всегда должны были рожать детей да помалкивать!»

В этой школе нет телесных наказаний, но есть вполне заменяющая их система постоянных унижений, ругани, арестов и т. д. Ученики мстят учителям, что обычно для школ с палочной, казарменной дисциплиной во всех странах и во все времена, но здесь эти детские проделки носят какой-то варварский, извращенный характер:

«— Представь себе,— сказал Вольцов,— ты кладешь бомбу с динамитом где-нибудь в школе, да ведь от нее камня на камне не останется! — Эта идея привела его в восторг.— А если привязать бомбу к заду учителя Мааса!..»

Вернер Хольт — порождение своего времени и своей среды. Мать он не любит, отца, лишенного родительских прав за «неарийское поведение», он почти не знает. Он соперник Вольцова, «самого наглого и самого ленивого ученика школы», ее некоронованного короля. Он добивается авторитета среди товарищей хулиганскими выходками, одна другой грубее, становится другом Вольцова. Под их предводительством школьники, скрываясь от принудительных летних работ, прячутся в лесной пещере, живут там, браконьерствуя и грабя. Вернер Хольт рассказывает позднее: «...шли с компасом через лес. Для чего же мы учились этому? И стрелять, и брать препятствия... Вот мы все это и попробовали».

Среди любимых книг Вернера Хольта «военные романы» — «Семеро под Верденом», «Огонь и кровь», «В урагане стали». Идеология насилия и войн пропитала его насквозь, и даже мысль о первом поцелуе связана для него с мыслью о насилии: «Никто не видит... Будет она сопротивляться, если я ее поцелую? Да пусть сопротивляется, я сильнее ее!»

Гитлер говорил, что он воспитает молодежь, перед которой содрогнется мир. Об этой молодежи и рассказывает роман Дитера Ноля. Действительно ли она была едина? Или, как писал Генрих Манн еще в годы войны, и в этой молодежи, воспитанной в фашистских школах, Гитлер не может быть уверен до конца?

Все мечты этих школьников — о том времени, когда их, наконец, призовут в действующую армию, и они смогут вырваться из «затхлой атмосферы» обычной жизни. Даже в 1943 году, после Сталинграда, после капитуляции Италии, им и в голову не приходит, что Германия может потерпеть поражение. Правда, если у Вольцова стремление на войну связано с мыслью о том, как он будет жить на оккупированной «восточной территории». то Вернер Хольт не строит каких-либо определенных планов; он ждет от войны «настоящей» жизни, свободы, мужественных «приключений». Автор подчеркивает в своем герое инстинктивное, неосознанное чувство справедливости; за его верой в лозунги гитлеровской пропаганды не скрывается ни расчета, ни корысти. «Мы — не какие-нибудь,— говорит он.— Разве в нас нет чести?.. Дело идет о справедливости!» И он готов вступиться за обиженных, хотя и мстит за них бесчеловечно, жестоко, варварски — чувство справедливости в нем тоже извращено.

Школьная жизнь описана в первой, сравнительно небольшой части, названной «Пролог». В следующих двух частях шестнадцатилетние школьники уже призваны в армию, сначала — в зенитные войска, защищающие немецкие города от воздушных налетов (часть первая), затем — в действующую армию, умирающую на востоке за обреченный фашистский режим (часть вторая).

«Приключения» оказываются не такими, какими их представлял себе Вернер Хольт. Бессмысленная казарменная муштра, смерть друзей, напрасные жертвы из-за бездарности начальства, все более ясные признаки неизбежного военного разгрома, шепотом передающиеся рассказы о зверствах гестапо — все эти впечатления, непривычные и страшные, словно волны, одно за другим захлестывают Вернера Хольта, живущего в вечном напряжении непрекращающихся бомбардировок. В нем неукротимо растет сознание, что жертвы немецкого народа напрасны, он перестает верить в искренность окружающих («все выдумано, все — театр»). Но когда Вернер Хольт пытается понять: «В чем моя задача на земле?», то на ум ему приходят старые, вбитые в него слова: быть солдатом, защищать Германию. Он с детства помнит наизусть «красивое» место из книги «военного писателя» Эрнста Юнгера: «...но высочайший закон исполнит тот, кто падет в одинокой ночи и на потерянном посту. Его не забудут там, где знают горечь гибели и где постигли высокий смысл, недоступный никакому огню».

Эта «стоическая мудрость» милитаризма, дешевая приманка, на которую попалось не одно поколение юношей и не только в Германии, все больше и больше становится последней опорой в душе Вернера Хольта.

Основная мысль книги заключена в эволюции Вернера Хольта, его разрыве с Вольцовым, отпрыском древнего офицерского рода, воплощением прусского духа. Не все в романе достаточно органично связано между собой. Размышления героя перемежаются пространными описаниями казарменной жизни или боев, в которых напряжение психологического действия ослабевает. Работа мысли, идущая в Вернере Хольте, подчас кажется искусственно замедленной, зато в конце книги момент решительного поворота все же недостаточно психологически мотивирован (подобная слабость свойственна не только книге Дитера Ноля, но и, например, роману Герберта Отто «Ложь»). Немецкая критика, высоко оценив это первое большое произведение писателя, указывала на наличие длиннот в книге, ее растянутость.

Наряду с буднями солдатской жизни подробно описаны и любовные увлечения Вернера Хольта, и здесь, следует признать, автору часто изменяют вкус и чувство меры. Эти увлечения, по мысли автора, были для Вернера Хольта тоже школой жизни. Наибольшее значение в его судьбе имела встреча перед зачислением в армию (уже после службы в зенитных войсках) с молодой девушкой по имени Гундель, дочерью погибшего в концлагере немецкого коммуниста. От нее он услышал слова, которые он потом не раз повторяет: «в тебе тоже есть что-то от этого» — то есть от фашизма.

В день вступления Советской Армии в пределы Силезии Гитлер объявляет среди молодежи призыв добровольцев, которые будут немедленно отправлены на передовую для борьбы с русскими танками. Еще до первого боя выясняется, что ближайший товарищ Вольцова и Хольта, их однокашник Зепп Гомулька, вызвался добровольцем только для того, чтобы перейти на сторону Советской Армии. Он говорит Вольцову в лицо все, что он думает о гитлеризме, он проклинает самого Вольцова «с его военными добродетелями». Взбешенный Вольцов называет его предателем и хочет застрелить, но Гомулька тоже держит в руках взведенный автомат. Вернер Хольт с гранатой в руках бросается между недавними друзьями.

Так единое поколение гитлеровской молодежи распалось на непримиримых врагов, готовых стрелять друг в друга, так рухнул миф о «товариществе».

Вернер Хольт не нашел в себе силы вместе с Зеппом сдаться в плен, и не из страха, а следуя своему пониманию долга. «Когда-то я во все верил, потому что ничего не знал. Теперь, когда я все знаю, и знаю, что все было лживо и напрасно, теперь я уже не могу верить. Я погибну или стану преступником, пусть так, мне все равно. Одного только не будет — я не проснусь однажды, чтобы увидеть, что я предал Германию в ее самый тяжелый час».

Мне пришлось однажды видеть кинохронику, снятую в последние дни гитлеровского рейха, показывающую Гитлера, который раздавал ордена школьникам, сражавшимся на улицах Берлина против Советской Армии. Эти кадры оставляют гнетущее, тяжелое впечатление. Гитлер, с оплывшим лицом, вытянув вялую, уже какую-то неживую руку, вглядывается остановившимися глазами в лица подростков, стоящих перед ним в военной форме, словно гипнотизируя их. И стоящие перед ним школьники, которые взяли оружие, когда уже никто ни на что не мог надеяться. Одни из них горды выпавшей на их долю честью, готовы умереть ради фюрера, другие, их больше, полны смешанного чувства ужаса и обреченности.

Вернер Хольт мог бы быть среди них; он участвует в оборонительных боях на немецкой земле, и все это время в сумятице отступления живет как во сне. Он не может додумать свои мысли до конца, он ищет смерти и — бешено сражается за фашизм, преступность которого давно понял. Медленно зреет в нем гнев, пока он не осознает, кто его подлинный враг, и тогда, уже в апреле месяце — то есть незадолго до полной капитуляции фашистской Германии,— он направляет оружие на эсэсовцев.

Таким образом, и Вернер Хольт прошел путь от инстинктивного чувства справедливости, вполне уживавшегося с фашистской идеологией, до осознания того, что он дал превратить себя в преступника и что враг его — в собственной стране. Он поздно понял то, о чем всегда говорили немецкие коммунисты. «В победе Красной Армии —

спасение немецкого народа... Все честные немецкие патриоты в германской армии, все верные сыны немецкого народа должны перейти на сторону Красной Армии».*

* * *

Немецкий критик Ева Штриттматтер в статье о романе Дитера Ноля «Приключения Вернера Хольта» высмеивает некоего ученого схоласта, протестовавшего против книг, в которых смешаны жанры «военного романа» и «романа воспитания». Затронутый здесь вопрос имеет немалое принципиальное значение для современной немецкой антивоенной литературы.

Ни в одной стране мира литература о войне не занимала такого большого места, как в Германии последних сорока лет. Трудно, однако, говорить о каком-либо особом жанре «военного романа», потому что книги немецких писателей о войне носят самый разнообразный характер и по форме и по содержанию. Можно даже сказать, что отношение к войнам, понимание войн служило в немецкой литературе двадцатого века ясным водоразделом между силами реакции и прогресса. И все лучшее, что было создано немецкой литературой в этой области, рисовало думающего, ищущего, изменяющегося героя; только такой герой и может в наше время служить основой для большого повествования об армии и государстве, ведущем войну.

Книги Иоганнеса Бехера, Арнольда Цвейга, Людвига Ренна рассказывали о судьбе «молодого человека» двадцатого столетия, о его поисках на полях сражений первой мировой войны смысла происходящих событий, о его нравственном росте, душевном и политическом прозрении, пробуждении к революционному действию. В их творчестве не трудно проследить связь с традиционным для немецкой реалистической литературы «романом воспитания», предполагающим широкое исследование судьбы личности в ее неразрывной связи с жизнью общества.

Именно эта линия и составляет самую плодотворную традицию немецкой антивоенной литературы, и на нее опираются молодые писатели ГДР, стремящиеся воплотить в книгах о второй мировой войне свой жизненный опыт, понятый в перспективе поступательного, социалистического развития немецкого народа.

Немецкая антивоенная литература наглядно показывает гибельность военной агрессии; она учит немецкий народ не становиться исполнителем замыслов военных преступников, сбросить с себя, наконец, вековое проклятие милитаризма.

Арнольд Цвейг, открывая в 1957 году конференцию, посвященную книгам о второй мировой войне, отмечал их активную воспитательную роль: «И в атомный век машина войны не сможет быть приведена в движение, если люди этого не захотят».

В Германии больше, чем в какой-либо другой стране, книги о второй мировой войне — не предмет праздных исторических изысканий, а дело ожесточенной сегодняшней идеологической борьбы, вопрос будущего. В кабинетах штаба бундесвера давно разработаны планы новой войны, и будет ли начата эта безумная авантюра — зависит не в последнюю очередь от немецкого народа, от сыновей тех, кто позволили гитлеровцам превратить себя в соучастников преступления и о чьем пути, трагическом и страшном, но не прошедшем напрасно, рассказывают сегодня писатели.

---

* В. Пик. Избранные произведения. М., 1956, стр. 184.

С. Шерлаимова

ЖИВЫЕ, НЕ ЗАБУДЬТЕ!

В страшные дни 1942 года, когда после убийства гитлеровского наместника в Праге по всей стране прокатилась волна террора, первым в списке казненных фашистами чешские патриоты с болью прочли имя Владислава Ванчуры.

...Прямая, ровная улица Владислава Ванчуры выводит из Праги на шоссе, по которому вдоль берега Влтавы можно за четверть часа доехать до Збраслава, маленького живописного городка. В конце переулка, что взбирается от шоссе вверх по крутому склону,— дом, где жил и работал Владислав Ванчура — коммунист, врач по профессии, один из самых замечательных чешских писателей XX века. Здесь он создавал свои многочисленные романы, рассказы, пьесы, киносценарии, книги для детей. Здесь же он был арестован гестапо.

Ванчура был человеком долга, подвига. В литературу он принес упорство ученого и страсть первооткрывателя. Он создавал новую чешскую революционную прозу — вместе с Гашеком, Ольбрахтом, Майеровой. Ванчура был художником неустанного поиска. Именно поэтому его богатейшее наследие вызывает живые дискуссии, горячие споры. И когда в прошлом году вышла в свет первая книга о Ванчуре — «Искусство романа» М. Кундеры,— посвященная узкоспециальным литературоведческим вопросам, она разошлась с быстротой, которой могли бы позавидовать новинки художественной литературы.

Ванчура вступил в литературу в начале 20-х годов вместе с блестящей плеядой молодых поэтов, ставших на сторону коммунистической партии. Вместе с И. Волькером, В. Незвалом, К. Библом он входил тогда в группу «Деветсил». Он был старше своих собратьев по «Деветсилу» — в 1921 году ему исполнилось тридцать.

Среди предков Ванчуры — мелкопоместных дворян — были бунтари против католической церкви и немецкого засилия. В семье любовно сохранялись предания о прапрадедах — «чешских братьях», о том, как в эпоху «тьмы» они прятали запрещенные чешские книги. Любовь к истории, к старой чешской письменности с детства сопровождала будущего писателя.

Окончив медицинский факультет, Ванчура стал работать врачом, но его все больше влекла к себе литература. В годы мировой войны и Октябрьской революции решилась судьба Ванчуры. Он стал коммунистом. Он стал писателем.

В Чехословакии начало 20-х годов было периодом подъема революционного движения. В эти бурные дни рождается новая литература. На рабочих митингах звучат «Красные песни» С. К. Неймана, посылавшего «из мира, где воздуха не хватает», горячий привет «святой советской Руси». «Захлебываясь дымом рабочих предместий», поет о «городе в слезах» молодой Ярослав Сейферт. Комиссар Красной Армии Ярослав Гашек, пройдя фронты гражданской войны, посылает на борьбу с бюрократической машиной буржуазного государства своего бравого солдата Швейка. Талантливейший из молодых поэтов Иржи Волькер провозглашает программу «пролетарского искусства», и она сразу же оказывается в центре всех литературных споров. В дискуссии о новом направлении искусства решительно высказал свое кредо Ванчура: «Новая, новая, новая звезда коммунизма!

Объединенный ею труд созидает новый стиль и вне его нет «модерности». В коммунистической печати он публикует первые новеллы, похожие то на сказки, то на притчи, то на стихотворения в прозе. Пролетарским сразу же признали и друзья и враги первый роман Ванчуры «Пекарь Ян Маргоуль» (1924), принесший писателю широкую известность.

Это роман-притча о маленьком человеке, который гибнет в мире, где царит война всех против всех, из-за своей безграничной доброты и доверия к людям. «Если бы бедность и боль могли кричать, вихрь стенаний взвился бы к небу до самых границ темноты»,— так начинает Ванчура свой рассказ о несчастном пекаре. Маленький современный донкихот — Маргоуль терпит поражение за поражением, не теряя веры в людей, в силу добра. Но, горячо сочувствуя своему герою, писатель чем дальше, тем беспощаднее показывает его беспомощность. Для победы того самого добра, которое превращается у Маргоуля в нелепость, нужно идти другим путем. «О, если бы быть рабочим! — восклицает автор вслед за своим героем.— Но Ян Маргоуль никогда им не будет, у него нет твердости людей этого сословия... Исполненный какой-то дурацкой доброты, он сам не ведает, что творит... Он не сможет быть рабочим ни одной минуты, ибо тот, кто наймет его, сразу же сделает его своим прислужником». Страстная полемика с судьбой и образом Маргоуля проходит через весь роман. Именно в ней ярче всего сказалась позиция Ванчуры как пролетарского писателя.

С еще большей силой воплотилась ненависть Ванчуры к звериному миру капитализма в романе «Поля пахоты и войны» (1925), который вслед за «Бравым солдатом Швейком» Гашека называют в числе лучших чешских произведений о первой мировой войне. Война «превращала людей в подручных палачей-правительств, в алкоголиков крови». Если в «Пекаре Яне Маргоуле» показано столкновение чистого и благородного героя с миром капитализма, то в «Полях пахоты и войны» предстают мрачные образы хозяев и жертв этого мира. Перед читателем проходят судьбы обитателей богатой усадьбы барона Дановитца, скряги и развратника. Это разные судьбы. Но и каждая из них в отдельности и все они вместе отражают одно — абсурдность мира, породившего кровавую и бессмысленную войну.

Безумие империалистической бойни ярче всего олицетворяется в романе гротескным образом батрака — идиота Ржеки. Все его поступки бессмысленны, ему все равно, кем быть — убийцей, вором или солдатом. Ржека погибает, изуродованный до неузнаваемости, не уразумев ни на секунду, против кого и за что он воюет, и его с почестями хоронят как героя войны — Неизвестного солдата.

В картине, созданной Ванчурой, не было ни единого светлого блика. Но писатель ясно ощущал: мировая война — агония буржуазного общества, а не всего человечества. Завершающий роман эпизод похорон идиота Ржеки перерастает под пером Ванчуры в символическое изображение похорон старого мира, вслед за которыми начинается новое летосчисление: «Двери храма раскололись, и кончается период ветхого завета... Без нации рабочих мир был бы пуст. Да утихнут песнопения, поднимающиеся из бездны, насмешки, проклятия и дикие вопли! Пусть уляжется взлохмаченная грива мира, пусть будет сметена воздымающаяся к небесам Голгофа, пусть ничто старое не перешагнет порог Первого года».

Известный чешский критик Ф. К. Шальда писал о «Полях пахоты и войны»: «Они величественны как поэма, но еще более величественны как правда». Шальда восторженно приветствовал появление в чешской литературе нового яркого таланта: «О тайнах слова Ванчура знает больше, чем мы все вместе взятые, господа. Шапку долой перед ним!»

К середине 20-х годов Чехословакия вступает в полосу относительного спада революционного движения. В атмосфере затишья временного отступления революции ряд писателей, выступавших недавно под знаменем пролетарской литературы, переживают период серьезных колебаний. В их числе оказывается и Ванчура.

Писатель отходит от компартии (1929). В его творческих исканиях начинают доминировать вопросы формы. «Художнику,— провозглашает теперь Ванчура,— дается одна-единственная ценность, в использовании которой он обязан отчитаться. Это — родной язык. В остальном он

располагает свободой выбора, и все грехи ему отпускаются».

Но сколь ни увлечен был писатель формальным экспериментированием, оно не могло подчинить целиком его большой талант. Ванчура продолжал искать новое не только в языке. Он одним из первых в чешской литературе обратился к теме Закарпатья, рассказав в романе «Страшный суд» (1929) о трагедии богатыря — русина Пилипанинца, который не может ужиться в непонятной и чуждой ему Праге.

В романе «Уголовный процесс или пословицы» (1930), читатель найдет целые россыпи пословиц — распространенных и редких, извлеченных из недр словарей и созданных самим писателем. Но Ванчура не только блистал и жонглировал пословицами. Один из персонажей романа — судья Скочдополе, сердечный, отзывчивый человек, щедро наделенный чувством юмора, так говорит о себе и своих друзьях: «Мы дармоеды, чревоугодники, бабники, дебоширы, пьяницы, болтуны и насмешники Мы стары и подохнем от своих пороков. Это справедливо...» Писатель горячо симпатизирует тоске Скочдополе о лучшем устройстве мира. «Пейте! — провозглашает судья.— Каждому овощу свое время. Однажды наступит новая эра, которая повернется к нам спиной. Черт побери! Хотел бы я видеть тот славный момент, когда на свете начнется сбор урожая. Хотел бы я быть при этом, хотя бы и с опаленными усами!»

Сильные, волевые характеры создает Ванчура в исторической повести «Маркета Лазарова» (1931), интересные типы своих современников — в «Бегстве в Буду» (1932) — «романе о любви и только о любви». Однако ни одно из его произведений этих лет не стало действительно крупным явлением в развитии чешской литературы. Недюжинному таланту Ванчуры не хватало цели по плечу. Писатель раскрылся полностью лишь тогда, когда он снова всем сердцем почувствовал: «Жизнь — это исходная точка и цель литературы, а искусство само для себя — отвратительно».

В годы, когда Чехословакия переживала жестокий экономический кризис, Ванчура вместе с другими передовыми писателями поддерживает борьбу компартии за революционный выход из кризиса. Видный деятель компартии Чехословакии Вацлав Копецкий в своей книге «ЧСР и КПЧ» вспоминает. «В 1930 году мы снова сблизились с писателем Владиславом Ванчурой. Помню, как мы вместе с Иваном Секаниной (адвокат и журналист, бессменный защитник коммунистической печати на всех судебных процессах, погиб во время оккупации в концентрационном лагере.— *С. Ш.*) пригласили Ванчуру встретиться с нами в одном из ресторанов на Французской улице на Виноградах (район Праги.— *С. Ш.*). Он пришел с большой охотой и сразу же откликнулся на наше предложение, чтобы он как выдающийся писатель и врач встал в первые ряды антифашистского движения, которое мы тогда начинали организовывать. С этого времени мы снова сотрудничали с Владиславом Ванчурой как с нашим товарищем-коммунистом». В 1932 году он был в группе писателей, посетивших район шахтерских забастовок и выступивших в поддержку горняков. Во время предвыборной кампании Ванчура призывал голосовать за коммунистов.

«В отличие от лицемеров и людей без вкуса, я утверждаю, что каждая повесть должна быть заправлена любовью и ненавистью»,— так определил Ванчура свое новое понимание долга писателя во вступлении к роману «Конец старого времени» (1934), который явился крупной победой писателя на пути большого реалистического искусства. Действие романа происходит вскоре после создания Чехословацкой республики В центре повествования — трагикомическая фигура русского эмигранта, полковника белой армии Мегалрогова. Он бредит подвигами во имя восстановления в России царизма, а пока что ест курицу, которую мальчик Марцел крадет для него в соседней деревне. Заглавие романа не только определяет судьбу Мегалрогова, но и оттеняет главное направление сатиры. Новая чешская знать — владелец замка Стокласа, который, перестраиваясь на новый лад, создает из своей родни «земледельческий кооператив», делец-адвокат Пустина и другие — изображена еще с большим сатирическим накалом, чем Мегалрогов.

Актуальность критики Ванчуры станет особенно очевидной, если учесть, что она была направлена против наиболее реакционной части чешской буржуазии — против аграрной партии, которая в 30-е годы в Чехословакии стала оплотом фашизма. В этом политически остром произведении получили

новое осмысление оригинальные приемы ванчуровского стиля, освободившегося от оттенка нарочитости. Красочное смешение книжного стиля с грубоватым острословием мотивируется характером библиотекаря Сперы — зубоскала и великого любителя изощренного литературного языка, от лица которого ведется повествование.

Наряду с острейшей критикой отживающего строя, Ванчура в 30-е годы обратился к теме революции, к утверждению своего идеала в конкретных положительных образах. Герои протестующие, не боящиеся жизни и не желающие мириться с ее несправедливостью стали в центре романа Ванчуры «Три реки» (1936). В основе романа история Яна Костки, сына чешского крестьянина, который стал студентом университета, а затем австрийским солдатом, сдался в русский плен, прожил в России первые годы революции и вернулся на родину убежденным революционером. Совершенно поиному, чем десять лет тому назад в «Полях пахоты и войны», раскрывает Ванчура тему мировой войны. Если тогда изображение судорог гибнущего мира поглощало все внимание писателя, то теперь он реалистически показывает рост народного протеста, с восхищением описывает революционные бои России.

В 1927 году Ванчура вместе со Зденеком Неедлы побывал в СССР. В архиве писателя хранится сделанная им тогда фотография: красноармейцы на Красной площади. Теперь люди в буденовках стали героями «Трех рек».

Ванчура по-прежнему остро чувствует гнилостность отживающего строя. С блестящим мастерством сатирика изображает он кронпринца Франца-Фердинанда, русского интеллигента-фразера Ебердина, который предает революцию ради карьеры. Но главное место в романе занимает иной мир — мир дружбы и веры в людей. Его героев — Яна Костку, самоотверженного сельского врача Гуго Манна, бесстрашного и жизнерадостного русского матроса-партизана Фомку, мужественного слепого паренька из Сибири Петрушку — Ванчура рисует с самой горячей симпатией.

Показывая грандиозность революционного переворота в мировой истории, писатель стремился к возможно более широкому охвату действительности, к ее многоплановому изображению. Судьбы героев переплетаются, сливаются с судьбами народа. «Три реки» — реалистический роман-эпопея. Большой эпический жанр оказывается теперь наиболее привлекательным для Ванчуры. Он начинает работать над трилогией «Лошади и повозка», посвященной расслоению чешского общества в период первой мировой войны. В 1938 году вышел в свет роман «Семья Хорвата», представлявший своего рода экспозицию трилогии, дописать которую Ванчуре уже не пришлось.

Не было ничего более ненавистного для Ванчуры-художника, чем штамп, литературное клише. «Каждое слово в речи писателя,— утверждал он,— должно воздействовать так, будто оно произносится впервые». В поисках новых изобразительных средств он предпринимал буквально научные экспедиции в древнюю чешскую литературу и труды лингвистов, но неизменно руководствовался при отборе превосходным чутьем живого разговорного языка. Б. Вацлавек — известный чешский критик-марксист — писал о языке Ванчуры: «С одной стороны, он напоминает язык старинных религиозных сочинений, из которых писатель словно черпает множество сильных и ярких слов, а с другой стороны — грубоватый, необычайно сочный и эмоциональный язык простонародья». Стиль Ванчуры отличается высокой эмоциональной напряженностью, необычайной экспрессивностью. Милан Кундера остроумно заметил: «...открой Ванчура лавочку по продаже метафор, и он снабдил бы ими несколько поколений чешских поэтов».

Но с еще большей настойчивостью искал Ванчура хорошее в людях. Его приводила в отчаяние судьба добрейшего Маргоуля. Словно в отместку за несчастья своего героя, писатель клеймил погубивший его мир в «Полях пахоты и войны». Подлинно реалистическое и глубоко жизненное воплощение положительный идеал Ванчуры находит лишь в зрелых произведениях 30-х годов, в первую очередь в образах революционеров из «Трех рек». Любимые герои Ванчуры — это люди широкого размаха, сильных чувств, большого и доброго сердца, люди, умеющие жить радостно, с юмором переносить невзгоды и — оставаться верными до конца.

Непреклонную верность своим идеалам обнаружил и сам Ванчура — человек большого мужества — в смертельной борьбе с фашизмом.

Писатель Карел Новый, близко знавший Ванчуру, вспоминает: «Он как художник был исполнен чувства собственного достоинства, но только, я сказал бы, в рамках гражданской скромности. У него никогда не кружилась голова от славы, и он панически боялся каких бы то ни было проявлений почитания по отношению к себе. Этот прямой человек, этот мужественный характер в действительности отличался стеснительностью, и официальные встречи с незнакомыми людьми приводили его в смущение. Он был счастлив, когда ему удавалось затеряться среди простого народа, где его никто не знал. И тем не менее этот художник с его склонностью к уединению всегда был во главе или принимал активное участие во всех культурных мероприятиях периода первой республики С момента возникновения угрозы фашистского нашествия он стоял на переднем крае социалистической, коммунистической баррикады. Он подписывал протесты и сам писал их, выступал на митингах. Чем реальнее была опасность, тем с большей страстью работал он, тем решительнее становились его атаки». Он выступает против расизма — в драме «Озеро Укереве», рассказывающей о самоотверженной борьбе французского врача Форде против сонной болезни в Африке В 1960 году постановка этой пьесы была возобновлена в Праге — она звучала вновь свежо и актуально в «год пробуждения Африки». Для сборника, посвященного борющейся Испании, Ванчура пишет новеллу о сражающемся Дон-Кихоте.

Когда над Чехословакией нависла угроза фашистского нашествия, святым долгом литераторов стало стремление не допустить отчаяния, укрепить в народе волю к борьбе

Только не страх. Забудьте страх
Фуги такой не создавал сам Себастьян Бах,
Какую сыграем,
Когда наступит час. когда наступит час,—

(Перевод И. Гуровой)

предсказывал Франтишек Галас В этот трудный час чешские патриоты искали поддержку в славной истории своей родины Йозеф Гора писал:

О страна моя тебя терзали,
И века, за годом год,
Грубые, чужие руки рвали
В клочья все, чем был богат народ.
И за веком век — ты рождалась
утром рано
Петушиной песнею, сохой,
Танцем женщин, запахом тимьяна
Девичьей застенчивой мечтой!

(Перевод Б. Лейтина)

Владислав Ванчура в этот трагический период создает «Картины из истории чешского народа» — крупнейшее патриотическое произведение. Ванчура работал над книгой, опираясь на помощь группы историков — Гусы, Хорвата, Пахты. Грандиозное по своим масштабам произведение было написано в поразительно короткие сроки. В 1939 г. вышел первый том «Картин», уже в 1940 — второй, в архиве писателя сохранился план третьего тома.

Свой поэтический рассказ о чешской старине Ванчура строил на строго научной основе. В «Картинах» подробно освещена извечная тяжелая борьба чешского народа против чужеземной экспансии. Особый колорит повествованию придает легкий элемент стилизации под древние чешские хроники. «Картины» Ванчуры учили гордиться славным прошлым, не идеализируя его, учили не сгибаться, не страшиться превосходящего по силе врага: «Горе им, горе чужестранцам из далекого края! Высоко над головой толпы сверкает меч Сватоплука. Его поднимает победа».

В 1942 г. автор «Картин из истории чешского народа», член нелегального антифашистского «Культурного совета» чешской интеллигенции был арестован гестапо. Он никого не назвал на допросах. Он вообще отказался отвечать на вопросы палачей. В книге Ю. Фучика «Репортаж с петлей на шее» мы читаем следующие строки:

«Поздно вечером возвращаюсь с допроса. Внизу у стены стоит Владислав Ванчура, у ног его маленький узелок с вещами. Я хорошо понимаю, что это значит. Понимает и он. Мы пожимаем друг другу руки. Поднявшись наверх, я вижу его еще раз из коридора, как он стоит, слегка наклонив голову, и глядит куда-то вдаль..»

1 июня 1942 г. фашисты расстреляли Владислава Ванчуру...

...Возле дома в Збраславе среди цветов — памятник Владиславу Ванчуре, писателю герою, которому в народно-демократической Чехословакии было посмертно присвоено звание народного художника Открывая в 1959 г. этот памятник, В. Копецкий от имени ЦК КПЧ говорил: «...наша партия, Коммунистическая партия Чехословакии, с глубочайшим уважением склоняется перед светлой памятью товарища Владислава Ванчуры и всегда будет высоко чтить ее вместе с бессмертной памятью Юлиуса Фучика».

Марьян Юркович

ПОЭТ-ПАРТИЗАН

Год рождения «Ямы» — год смерти ее автора. И поэтому последующие поколения, с гордостью вспоминая появление в нашей литературе этой словно из бронзы вылитой поэмы,— одновременно с болью вспомнят и гибель поэта.

«Яма» еще не весь Горан. Голос «весельчака и бунтаря», как однажды назвал себя поэт, прозвучал еще раньше. Первые бури, первые печали юноши... Их доверил молодой поэт небольшой тетрадке, которую он закопал перед уходом в партизаны. Для нас эти стихи родились только тогда, когда рука, написавшая их, уже была мертва.

В книге «Огни и розы» запечатлены картины безрадостного детства поэта в Луковдоле. Но в стихах больше солнца, чем грусти, больше девушек, виноградников и светлых старцев, чем гробов и могил («Сквозь мое сердце тихо течет ручей и уносит слезы былого счастья и былой печали...»). В них горит еще обманчивая надежда, что тучи над родиной разойдутся, что сын вдовы найдет путь в большой мир. Выбившись из «дремучих лесов нищеты» родного Горского Котара, он стал студентом, журналистом, поэтом.

Ему удалось увидеть напечатанной только одну свою книгу. Остальные семь были подготовлены к печати руками его друзей. Он ушел как журналист, затерявшийся среди ротационных машин, корректор ночной смены, вечный студент. В журналах, газетах, рукописях им оставленных — проза, стихи, блестящие заметки о книгах, о писателях, которых он любил, умело выбранные переводы из английской, французской и русской поэзии от Шекспира и Шелли до Рембо и Есенина. Но все это, свидетельствуя о наличии таланта, тонкого и зрелого литературного вкуса, большой эрудиции, не может объяснить неожиданное появление «Ямы», произведения, в котором поэтическая мысль Горана выражена с невиданной глубиной, а язык приобрел неповторимый мрачный отблеск. Горан, поэт «Ямы», рожден великой и суровой эпохой — временем трагических испытаний народов Югославии, судьбы которых в черную ночь оккупации потрясли его как человека и поэта.

«Яма» относится к тем произведениям высокой поэзии, которые принадлежат будущему, как «Двенадцать» Блока и поэмы Маяковского. Она могла быть написана только среди свободных людей, среди партизан. Поэма выполнила свою самую поэтическую, а это значит и революционную задачу, став воплощением, глашатаем свободы. Понимая именно так назначение поэзии, Горан не мог не перейти на сторону свободы. И он сделал это вместе с другим талантливым поэтом, Владимиром Назором. Они не хотели изменить поэзии. Они знали, что революция даст поэзии то, чего она всегда ждала: поэзия приобретет силу революции, станет частью этой силы, частью ее всем понятного и близкого языка. Иногда говорят о Горане, что он был писатель-коммунист, но его величие, как и величие Назора заключается именно в том, что они, беспартийные, почувствовали необходимость участвовать вместе с коммунистами в общей борьбе и без колебаний пошли за ними. Нелегко было тронуться в путь в те тяжелые дни туберкулезному

юноше Горану и старику, приближавшемуся к семидесятилетию, Назору.

Итак, «Яма» написана в то время, когда поэт уже стал на сторону свободы. «Яму» — подлинно большое художественное произведение — нельзя охватить сразу, одним дыханием. Эта поэма — протест против кровавой резни, учиненной хорватскими фашистами, восстание против войн, против человеческих боен, это гуманизм, который не умирает в человеке даже тогда, когда он стоит под пулями, и наконец, «Яма» — это вера в победу над тьмой.

Многомерность своей поэмы Горан дает почувствовать уже в ее начальном стихе, в первой же строфе:

Кровь — это мой свет и моя тьма.
И вырвали из моих глазниц
Со счастьем зренья блаженство ночи;
А капли дня кровавую зеницу
Сжигают бешеным огнем.
Мои глаза потухли на моей ладони.

Кровь мучеников — начало и конец. Угасание жизни и постижение ее исконного смысла, того, ради чего нужно жить: ради гуманности, ради войны против тьмы. Только наступление ночи — потеря зрения — пробудило внутреннее зрение, которое лучше, острее, безошибочнее отделяет добро от зла.

До Горана в югославской литературе ни один писатель не сумел с такой силой изобразить человека, переставшего быть человеком,— фашистского зверя. Гневные и трагические стихи поэта незабываемы:

Последним светом пред страшной
ночью
Был, молнии подобный, блеск ножа.
И вопль, белый даже в слепоте,
И белая, белая кожа палача:
Обнажены по пояс были все,
И обнаженные выкалывали нам глаза.

Фашистским убийцам никуда не уйти от обвинений поэта:

...устав, они в тени присели;
И слышалось воды холодной клокотанье
В разгоряченной глотке. Они громко
ели,
Как после тяжкого труда; потом
Друг с другом шутки грубые шутили,
Как будто бы они о нас забыли...

Яма, в которую бросали ослепленных людей,— олицетворение всех ям, всех могил жертв фашизма. Это мольба стонущего «человеческого месива», залитого негашеной известью, мольба «мешка с мясом», который валится на другие окровавленные тела, это мольба мертвых:

Чувствую: трупы корчатся голые,
как мертвые рыбы, когда их солит
повар.

Но никакие зверства, никакая свирепость не могут уничтожить в человеке гуманного начала: человеколюбие пробивается, как искра, во тьме бесчеловечности. Искра человечности во мраке смерти — одно из значительных поэтических открытий Горана. В самые страшные минуты отчаяния, ужаса, когда кажется, что зверь задушит в человеке даже тень его бессмертия,— человек остается человеком. Когда палач кладет на ладони своей жертвы выколотые глаза, слепой не думает о своей страшной судьбе, он думает о горе матери, он думает о том, как ему оплакать ее боль. («И я почувствовал тогда на своей ладони скользкие глаза и сказал. «Я слеп, дорогая матушка, как же мне оплакать тебя...»). Когда убийцы прокалывают уши жертв одной проволокой, никто не думает о себе («И никто из нас головой не шевельнул, чтобы боли злой не нанести слепому другу»). Тот, кого пощадила смерть, плачет о тех, кто уходил навеки («Всех мертвецов я молил о прощении»). В самом столкновении двух миров, мира человеколюбия и бесчеловечности, звериного и человеческого, Горан отчетливо выражает свой гуманистический идеал.

Вера в победу над тьмой — последний завет поэмы Горана. Только потому, что сам поэт носил винтовку, он мог с таким подъемом закончить «Яму». Только с винтовкой он мог уже тогда услышать песнь народа о Свободе и Мщении. Там, в партизанском краю, и мертвые и слепые мечтали об оружии:

Я зарыдал и сейчас еще плачу —
Только грудью, ведь глаз нет у меня,
Только сердцем, ведь слезы мои
в последний раз
Текли по ножу палача.
У меня нет глаз, чтобы вас видеть,
и нет силы
О, как хотелось бы мне — о горе! —
о, как хотелось бы в бой идти с вами

Обращаясь к будущему, Горан видел и настоящее. Он не боялся лозунга, как не боятся его все подлинные поэты революции. А таковым он и был. Революция рождает своих поэтов, как и своих героев, в вихре бури, без которой и вне которой они ими никогда бы не стали. Горан не боялся открыто сказать, за что, на чьей стороне он боролся («Я услышал нежный голос: «Партизаны, товарищ!»).

Недолго уже оставалось жить поэту... Тяготы партизанской жизни все больше разрушали его здоровье. Сохранившиеся

заметки одного из партизан рассказывают о последнем пути Горана: «Мы шли... пробиваясь через огромные, необозримые леса Зелен-Горы, голодные, босые, измученные... Я заметил возле себя высокого парня с буйной шевелюрой, в белой домотканой одежде. Он нес небольшое ружье и торбу, на которой висела пара опанков из грубой кожи, заскорузлых и корявых. Сам он шел босиком... Вечером, когда мы остановились у какой-то речушки, я позвал Горана в свою группу, к нам. Ведь у него не было ни котелка, ни ножа, и он не мог бы раздобыть себе чего-нибудь поесть. Ужинали мы вареной травой и крапивой.. На другой день мы продолжили путь. Шел сильный дождь. После дня марша, измученные и голодные, добрались до каких-то хижин. Здесь и остановились. Поблизости нашли павших лошадей... Мы отрезали куски мяса, жарили их на костре и ели... Вечером продолжили разговор, так как спать не могли от голода и вшей. Говорили с ним обо всем. О литературе, музыке... Рассказывал Горан мне и о «Яме»...»

Последние стихи поэта-партизана до нас никогда не дойдут: они исчезли в огне печурки в хижине села Врбница, где были написаны. Сохранились случайно лишь несколько стихотворений, чтобы рассказать нам о Горане, чтобы напомнить об утрате, о том, как обеднела югославская поэзия.

Мы никогда не узнаем, о чем думал великий поэт в тот июльский день 1943 года, когда четники вели его в горы копать самому себе могилу. Быть может, он шептал слова, которыми слепой герой «Ямы» в свой последний час встречал партизан-мстителей: «О, как хотелось бы мне — о горе! — о, как хотелось бы в бой идти с вами».

г. Белград.

ДОКУМЕНТЫ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА — ДЕЙСТВЕННОЕ ОРУЖИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ

Ниже мы печатаем с незначительными сокращениями тезисы теоретической группы по вопросам культуры при ЦК Венгерской социалистической рабочей партии «О некоторых недостатках нашей литературной критики», опубликованные в теоретическом органе ВСРП «Таршадальми семле» № 2 за 1961 год.

Учитывая важную роль литературной критики в идейном и художественном развитии литературы, редакция журнала «Иностранная литература» считает необходимым ознакомить своих читателей с этим документом.

I

В идейном и художественном развитии нашей литературы, в повышении культурного уровня народа важная роль принадлежит литературной критике. Социалистическое развитие страны открыло путь самой прогрессивной, единственно последовательной научной эстетической теории — марксистско-ленинской. Сегодня при оценке художественных произведений решающими требованиями все в большей степени становятся глубокое идейное содержание и совершенная форма, объективные интересы общественного прогресса, реалистическое изображение действительности.

Несмотря на первоначальные затруднения и проявлявшиеся в отдельные периоды ошибки, марксистская литературная критика достигла больших успехов в нашей стране. Уже вскоре после 1945 года наряду с прогрессивными теоретиками литературы выросла когорта молодых критиков. Марксистская литературная критика в значительной степени помогла росткам социалистической литературы, победному распространению реализма, вытеснению буржуазного принципа искусства для искусства из теории и практики литературы.

Однако атмосфера культа личности, догматизм в литературной жизни и в области критики мешали этой полезной работе. После 1953 года в литературной критике стали все сильнее проявляться не только ревизионистские, но и открыто буржуазные взгляды. Эта эстетико-идеологическая атака против социализма была частью антимарксистского наступления по всему фронту. Она ослабляла позиции социалистической литературы, вызвав идейный разброд и шатания у части критиков: некоторые из них выступили против марксизма.

В период, непосредственно предшествовавший контрреволюции 1956 года, и даже некоторое время спустя буржуазные и мелкобуржуазные взгляды, как традиционного, так и ревизионистского толка, отравляли культурную жизнь Венгрии. Однако в последующие годы, участвуя в политическом и идеологическом контрнаступлении партийных и социалистических сил, марксистское ядро нашей литературы не только нашло себя, но и значительно повысило свой идейный и художественный уровень. В результате появились новые черты, которые служат прочной основой подъема литературы и литературной теории.

Значительная часть критиков и историков литературы, верная идеям социалистической литературы, смело выступила против ревизионистских и догматических тенденций в культурной жизни, против разного рода буржуазных и мелкобуржуазных направлений. Заметные результаты дала критика ревизионистских эстетических концепций Дёрдя Лукача и его последователей, в оценке националистических взглядов «народных писателей» и их иллюзий «третьего пути», в разоблачении иррационалистских, декадентских тенденций, скрывающихся под вывеской «современности».

Налицо большие успехи в борьбе против схематизма: утверждается более дифференцированное истолкование социалистического реализма, стремление к более разностороннему отображению действительности, к художественному совершенству, принципиальная поддержка новаторства. Марксистская критика гораздо шире, диалектичнее подходит к достижениям литературы прошлого, современной западной буржуазной литературы и к творчеству венгерских писателей-немарксистов. Марксистская критика стремится тем самым обога-

тить сокровищницу нашей культуры, укрепить и расширить союз социалистической литературы со всей прогрессивной реалистической литературой.

Некоторые критики, проявившие колебания в 1956 году, сегодня под влиянием фактов действительности все тверже усваивают марксистские взгляды.

Наши успехи обнадеживают. Вместе с тем дальнейшее развитие критики тормозится рядом существенных недостатков. Все еще имеют место примиренчество и либерализм в отношении неправильных взглядов. Часто появляются ничего не говорящие рецензии, посредственные или беспринципные статьи. Это объясняется довольно широким распространением групповщины, приятельских отношений, не содействующих принципиальности.

Бывает, что в деятельности одного и того же художника или критика проявляются как «правые», так и «левые» извращения. Источник у них общий: мелкобуржуазные взгляды, забвение интересов рабочего класса и трудового народа, уход от научной, материалистической точки зрения. Это выражается как в сектантской, ультрарадикальной нетерпимости и субъективизме, так и в правооппортунистической уступчивости. Взгляды, оправдывающие буржуазный декаданс и левацкие оценки, кажутся далекими друг от друга, но на деле и те и другие препятствуют развитию социалистической литературы.

Наш век — век величайшего исторического поворота в жизни человечества: эпоха осуществления социализма и коммунизма. Венгерский народ, реализуя возможности, которые открывает перед ним социализм, изо дня в день достигает все больших успехов. Новые литературные произведения показывают, что число писателей, готовых поддержать строительство социализма, непрерывно возрастает. Даже те из них, которые до сих пор были далеки от интересов трудящихся или отошли от народа во время контрреволюционных событий, проявляют стремление к сближению, к активному участию в социалистическом строительстве. Существует, следовательно, возможность широкого развития венгерской литературы социалистического реализма.

II

Развитию эстетического вкуса, развитию венгерской литературы более всего препятствует то, что не ведется должной эстетико-идеологической борьбы с буржуазными и мелкобуржуазными течениями в литературной жизни. Литературная критика во многих случаях занимает примиренческую позицию в идейной борьбе и часто даже поддерживает и оправдывает неправильные тенденции.

Не случайно, что в недалеком прошлом некритически ссылаясь на венгерских лидеров буржуазного эстетизма, некоторые противопоставляли партийной, принципиальной критике буржуазный объективизм как нечто более высокое или, по крайней мере, равноценное ей. По-прежнему существует в практике нашей критики абстрактное понимание искренности как центрального принципа эстетики. Некоторые критики отказываются от анализа идейного содержания под тем предлогом, что в разбираемом произведении «много искренности», стало быть, излишне требовать от автора прогрессивного мировоззрения, правды жизни.

Часто критики оправдывают беспринципность и капитуляцию перед буржуазными и мелкобуржуазными взглядами тем, что определенная, недвусмысленная критика может якобы отпугнуть писателя и воспрепятствовать его идейному росту. Они считают, что сотрудничество с несоциалистическими писателями может строиться не на последовательно принципиальной основе, а на отказе от принципиальности. В интересах «благородной, умной писательской педагогики» критика подобного рода избегает марксистской оценки таких произведений, которые можно и нужно критиковать.

В тесной связи с литературной псевдопедагогикой оформилось стремление к якобы «комплексной», «дифференцированной» критике, невзыскательной в принципиальных вопросах. Критика действительно должна быть комплексной, всеохватывающей, дифференцированной, она должна принимать во внимание индивидуальные особенности творческого пути писателя и конкретную литературную ситуацию. Это, однако, не означает, что критика должна быть заискивающей, конъюнктурной и беспринципной. Критик-марксист должен чувствовать ответственность за весь литературный процесс, за будущее литературы и в соответствии с этим оценивать отдельные литературные произведения.

Под предлогом «писательской педагогики», «комплексного критического метода» объективная научная принципиальная критика вольно или невольно подменяется критикой формалистической, импрессионистской, субъективной. Серьезный вдумчивый анализ уступает место простому пересказу содержания, появляются извращения, свойственные буржуазно-декадентской критике: пустопорожняя эстетская восторженность, ничего не говорящая, бессмысленная заумь. Этот стиль сплошь и рядом характеризует литературно-критические выступления Венгерского радио, газеты «Мадьяр немзет», журналов «Нёк лапья», «Кёньвташ», «Иродаломтертенет» и «Непмювелеш».

Буржуазное эстетство проявляется и в попытках прикрыть марксистской терминологией немарксистские, а иногда и прямо антимарксистские по своей направленности произведения. Пользуясь подобным методом, объявляют, например, критическими реалистами таких противоречивых представителей европейского декаданса как Франц Кафка, Герман Брох, Альбер Камю и др.

Другим характерным проявлением беспринципности критики является двойственность оценок. Критика уподобляется двуликому Янусу: она отмечает в произведении идейные, политические ошибки, но, испугавшись своей смелости, начинает «для равновесия» возвеличивать его художественные достоинства. Порой в дебрях рассуждений «с одной стороны — с другой стороны» теряется суть дела, утрачивается принципиальность. Так появляются в статьях — но только в них — «шедевры с ошибками» — произведения, якобы мастерские «по совершенству и отделке», «по силе внушения», «по достоверности атмосферы», но имеющие один-единственный недостаток: их идейное содержание сомнительно, а иногда является «абсолютно декадентским» (см., например, отзыв газеты «Мадьяр немзет» о сборнике стихов Пилинского, отзывы газеты «Элет эш иродалом» о пьесе Эндре Иллеша «Нетерпеливые влюбленные» и о произведении Дьюлы Хернади, а также о романе Ласло Боки «Трон Каролингов»).

Оправдание буржуазного декаданса

За последние годы в нашей литературе получил распространение и часто находит защитников буржуазный декаданс, который прячется за неправильно толкуемые понятия «современности», «модерности». Это не специфически венгерское, а международное явление. Ревизионистская критика, капитулирующая перед буржуазным декадансом, и на международной арене борется против прогрессивной и социалистической культуры, ссылаясь на необходимость быть «современным».

Часть нашей критики правильно реагировала на это явление. В частности, при анализе произведений молодых поэтов и прозаиков неоднократно говорилось о подстерегающей их опасности декаданса. Однако некоторые критики высмеивают тех, кто якобы «гальванизируют» опасность различных давно изжитых «измов». Они забывают о том, что эти «измы» не только «дела давно минувших дней», а главная линия и питательная среда сегодняшнего западного декаданса. Снова вошло в моду обвинять в «консерватизме», «провинциализме» тех, кто поднимают слово протеста против распространения буржуазного декаданса под лозунгом современности.

Современность, модерность — непременное требование социалистической эстетики. Стремление к современности — это правильная реакция на косность и схематизм. В этом стремлении проявляется тяга к более глубокому художественному освоению нового жизненного материала, к многосторонности в искусстве; органическая потребность писателя социалистического реализма найти для нового содержания наиболее полно выражающую его форму. Марксистская критика обязана относиться с пониманием к подобным поискам и поддерживать их. Но необходимо объявить самую решительную войну тем взглядам, которые под флагом «модерности» стремятся завуалировать противоположность буржуазной и социалистической идеологий, под предлогом «современности» пытаются реабилитировать буржуазный декаданс. Один из ходовых аргументов трубадуров буржуазного декаданса, вводящий в заблуждение писателей и критиков,— то, что XX век создал новую действительность, «содержание, изменяющее самые основы эпохи». Эта аргументация сама по себе привлекательна. Многочисленные завоевания нашего века, технический прогресс действительно обогатили и обогащают литературу множеством новых тем и средств выражения. В венгерской литературе пример этому — Аттила Йожеф. Однако марксистская критика при рассмотрении вопроса о художественных завоеваниях XX века не может упускать из виду самое главное — классовую позицию. Ведь общество состоит из классов, наряду с мировой социалистической системой существует и мировая капиталистическая система. Но отечественные поборники декадентской «модерности» стараются не замечать этих фактов; у них XX век выступает как духовно-историческая категория, как единая, духовно однородная эпоха.

Поборники буржуазного декаданса своей аргументацией пытаются дискредитировать великое прогрессивное наследие писателей XIX века — критический реализм и самое прогрессивное художественное завоевание нашего века — реализм социалистический, продолжающий лучшие традиции критического реализма. Они пытаются представить буржуазный декаданс как главное направление в развитии искусства.

В XX веке возникла высшая форма реализма — реализм социалистический. Об этом свидетельствует творчество таких, сегодня уже ставших классиками, писателей, как Горький, Маяковский, Шолохов, Алексей Толстой, Элюар, Арагон, Пабло Неруда, Аттила Йожеф. Новый подъем переживает в наш век и критический реализм, обязанный этим не в последнюю очередь социалистической революции и социалистическому реализму. Достаточно вспомнить имена Ромена Роллана, Анри Барбюса, Генриха Манна, Бернарда Шоу, Мартена дю Гара, Лакснесса, Хемингуэя и других, а также многих писателей колониальных и бывших колониальных народов. Эту весомую реалистическую литературу XX века глашатаи декаданса считают фактором второстепенным, которым можно пренебречь. Эти воззрения и могли породить такие искажающие действительность и не считающиеся с фактами утверждения, будто бы до 1956 года «из Венгрии была изгнана мировая литература».

Чаще всего при подобном понимании «современности» упоминают имена Джойса, Кафки, Камю, Хименеса, Элиота, Мишо. Хименес фигурирует у некоторых критиков

как образец «современного человека, осужденного на одиночество». Ануй вырастает в выдающегося представителя «современной, ищущей новых путей» литературы. Свойственный части критиков снобизм служит благоприятной почвой для подобных тенденций.

Для нашей критики сегодня уже не характерны ни вульгаризация, ни односторонность в оценке отдельных явлений современной буржуазной литературы. В то же время часто можно наблюдать, что произведения типичных представителей буржуазного декаданса XX века не подвергаются тщательному марксистскому анализу,— декадентское в этих произведениях не отделяется от действительно ценного, они односторонне, безоговорочно восхваляются как «модерн» и «современность».

Часть нашей критики под вывеской «модерности» популяризирует творческий метод и философию декаданса. Верное отображение действительности требует выдвижения на первый план взаимосвязей личности, общества, человека и мира. Декаданс, наоборот, изображает человека вырванным из общества; игнорируя опыт, наблюдение, закономерности развития, он требует от литературы «ви́дений», откровений, толкает ее к мистике и иррационализму. Согласно принципам декадентской эстетики, подлинно современный писатель может «построить свой поэтический мир» лишь из интуитивных ощущений, лишь «измеряя просторы своего внутреннего я». Передача «субъективных ощущений», видений, уход из логической сферы в «алогическую» становятся главной целью художественного изображения.

Эта философия искусства, основанная на теории познания субъективного идеализма, пытается оправдать мистическую декадентскую литературу, которая дает человеку «возможность» «возвыситься над реальностью», приблизиться к «непостижимому миру звезд», которая позволяет писателю сказать нечто такое, чего нельзя выразить «низменным отражением действительности» и что якобы создает литературу «космического пространства», передающую «вневременной пафос вечной космичности ощущения».

Основное содержание антигуманистической поэзии, изолирующей себя от общества, от действительности и от всех связей между людьми,— страх, ужас. Декадентская эстетика восхваляет Камю как писателя, запечатлевшего бессмысленность жизни, восхваляет за то, что своим пессимизмом он создал «современный миф бессилия и беззащитности нового человека».

Речь идет не о противоречии между неким консерватизмом в искусстве и поисками новых форм, а о противоречии между жизнеутверждающим реалистическим искусством и декадансом. В подобных эстетических взглядах отражается враждебность реализму той части интеллигенции, которая не принимает борьбы и победоносных революций угнетенных классов и угнетенных народов. Эти взгляды направлены на то, чтобы с помощью искусства внушить человеку безразличие к действительности, к общественным интересам. Поэтому проповедники этих взглядов представляют жизнь непонятным и непостижимым хаосом. Точно так же, как в наши дни контрреволюция именует себя «революцией», и буржуазная декадентщина тоже вынуждена перекрашиваться в «модерность» и «новый реализм».

Декаденты, прикрывающиеся маской «современности», не ограничиваются абстрактным провозглашением своих эстетических принципов, некритическим восхвалением отдельных явлений западной буржуазной литературы, стремясь повлиять на развитие нашей литературы, но и проводят их в оценке явлений и произведений современной венгерской литературы.

Распространению буржуазной декадентщины способствуют те критики, которые беспринципно превозносят отдельные произведения последних лет, выражающие декадентские взгляды. Так, например, повесть начинающего писателя Шандора Тота «Перелом позвоночника» была объявлена «шедевром», равным истории Жюльена Сореля и «Детству» Горького. Говоря о романе Магды Сабо «Косуля», критик газеты «Мадьяр немзет» сомневается, «есть ли в мировой литературе другое, столь основательное, чистое и страстное исследование» определенных психологических проблем. Неумеренное и необоснованное восхваление иногда очень средних и сомнительных произведений вольно или невольно превращается уже в определенную политическую линию в литературе.

Под вывеской «модерности» и «современности» иногда стремятся ревизовать марксистскую оценку нашего литературного наследия. Насколько правильно стремление наших издательств восполнить пробелы прошлых лет и как можно полнее представить читателю литературу эпохи «Нюгата» и межвоенного периода, настолько неправильна тенденция в связи с новыми изданиями оправдать буржуазный декаданс. Была необходимость в новом издании произведений Бабича и Костолани. Но нельзя согласиться с теми, кто говорит о первом поколении «Нюгата» вообще, не делая разницы между плебейско-демократическими писателями, подобными Ади и Морицу, и так называемым эстетским крылом этого журнала. Те, кто называют бессмертным искусством, «чудом» и поднимают на уровень Ади и Морица творчество таких писателей, как Эрнё Сеп, Дежё Сомори и Ференц Молнар, не учитывают различия между буржуазной литературой и подлинно прогрессивной, подлинно революционной литературой. Правильно, что наши издательства заново открывают таких противоречивых, но значительных писателей и критиков, как, например, Ласло Феньо, Карой Папп, Дёрдь Шаркёзи, Енё Джида, Антал Серб, Габор Халас. Но когда

этим писателям поют осанну, не указывая на отдельные декадентские черты их творчества, и ставят их чуть ли не в один ряд с Аттилой Йожефом и Жигмондом Морицем,— такая «критика» является вредной.

Возрождение антагонизма «урбанизма» и «народничества»

Многие из тех, кто переоценивают представителей межвоенной буржуазной и мелкобуржуазной литературы, ссылаются на то, что они стремятся восстановить справедливость в сравнительной оценке писателей, нарушенную во время литературной гегемонии «народных писателей». Ссылаются на то, что нельзя примириться с «узким национально-народническим толкованием, с готовностью исключающим из венгерской литературы как чуждый элемент интеллектуальную литературу с европейским кругозором, зародившуюся в городе». Подобная аргументация является фальшивой, сбивающей с толку, потому что она снова протаскивает в литературную критику уродливый антагонизм «урбанизма» и «народничества».

Наша критика должна противопоставить как «урбанизму», так и «народничеству» единственно правильную, последовательно прогрессивную точку зрения. «Урбанизм» и «народничество» возникли как направления, имевшие положительные прогрессивные черты. Но совершенно ясно, что мы не можем стать на позиции ни того, ни другого направления. Оценивая заслуги и заблуждения этих направлений, сегодня важно подчеркнуть не то, что их разделяет, а то, что в них есть общего. В период фашистской диктатуры Хорти представители обоих направлений составляли более или менее сильную литературную оппозицию общественному строю. В большей или меньшей степени они являлись тогда критическими реалистами. Однако в то же время ни то, ни другое направление не признавало исторического значения и роли рабочего класса, и их оппозиция, по существу, не выходила в конечном счете за рамки мелкобуржуазной точки зрения «третьего пути». Не случайно после освобождения Венгрии писатели, оставшиеся на позициях «урбанизма» или «народничества», выступали против интересов народных масс, против дела социализма.

Марксистская критика противостоит и будет противостоять всем попыткам оживления и некритического оправдания «народнической» идеологии, но в то же время она не может примириться и с извращениями «урбанистического» толка.

Отдельные критики ждут обновления нашей литературы от слияния «народных впечатлений» и «современного европейского ощущения жизни», как они называют декаданс, от слияния «народного голоса» с «великими творческими завоеваниями XX века», как они называют сюрреализм. Эти критики, склонные приписывать идейный кризис отдельных молодых писателей, вышедших из народа, исключительно политическим ошибкам, допущенным до 1956 года, отделяют идею партийности от идеи народности, односторонне истолковывают понятие народности. Считая для себя необязательным недвусмысленное и определенное осуждение буржуазных и мелкобуржуазных влияний, проявляющихся у писателей, переживших идейный кризис, они беспринципно превозносят, выдают за образец произведения таких писателей, как, например, Ференц Юхас или Ласло Надь, по-настоящему талантливых, но попавших на одном из важных этапов своего пути под влияние декаданса.

Возрождение антагонизма «урбанизма» и «народничества» особенно опасно в том случае, когда оно сочетается с противопоставлением друг другу писателей различных поколений. Даже у критиков-марксистов еще сказывается тенденция считать «молодых писателей плебейского происхождения, представляющих все более крупную силу», чуть ли не единственным возможным базисом будущего развития венгерской литературы, тенденция противопоставлять их пожилым и молодым писателям, не вышедшим из народа, тенденция обеспечивать им привилегированное место в литературной жизни. Речь идет не о том, что классовая принадлежность не играет значительной роли в формировании индивидуальности писателя; но необходимо ясно видеть, что прогрессивное произведение литературы является прежде всего результатом определенного мировоззрения, выражающего интересы прогрессивных классов, интересы общественного развития.

Ревизионистские тенденции в литературной критике

Наиболее опасны и вредны для прогресса нашей литературы те эстетические концепции, которые подделываются под марксизм, выдавая антимарксистские, ревизионистские, по существу, взгляды за марксизм «прогрессивный» и «творческий» Проповедники ревизионистских взглядов сегодня уже не осмеливаются открыто вступать в единоборство с социалистическим реализмом и идеей партийности, но по сути дела они придерживаются принципов буржуазной эстетики в оценке произведений социалистического искусства.

Отдельные критики снова извлекают из литературной жизни кануна 1956 года недоброй памяти «антисхематизм», выдвигающий на первый план изображение ошибок и отрицательных явлений. Эти критики ищут обновления нашего искусства не в воплощении положительных героев, не в раскрытии перспективы будущего, не в утверждении новой жизни, а прежде всего в углублении критического начала.

Партийность литературы, естественно, предполагает разоблачение пережитков прошлого, раскрытие моральных слабостей человека, прошлых и настоящих ошибок, их критику. Но ленинский принцип партийности означает, прежде всего и главным образом, не нигилистическое отрицание, он обязывает художника содействовать прогрессивным явлениям социалистического развития. За последние годы социалистическое искусство и критика, в соответствии с требованиями реализма, многосторонне подходят к образу положительного героя, и мы видим в их творческой практике отрадные результаты. Однако, по мнению сторонников «негативистских» теорий, возникших под влиянием ревизионизма, утверждение положительного в перспективе неминуемо ведет к серости и схематизму. Эти теории отождествляют гармоничного, цельного человека — представителя нового — с наивным и примитивным существом. Их идеалом является не действующий и борющийся человек, а «мятущаяся» личность, «никогда не удовлетворенная собой», с «сомневающейся душой».

Когда критическая позиция и эстетический идеал недостаточно последовательно определяются принципами социалистического реализма, критика почти неминуемо превращается не только в поверхностно-пренебрежительные суждения по поводу слабостей социалистической литературы, но и в злопыхательство, направленное против основных положений социалистического реализма. За социальный фон, за историческую конкретность атакует произведения Эмиля Коложвари-Граньера — кстати сказать, не отличающиеся слишком глубоким изображением общества — автор статьи в журнале «Нек лапья». Этот автор с издевкой говорит о критике, которая ищет в литературных произведениях «картин в духе Фести» (Фести — венгерский художник XIX века.— *Прим ред.*).

Можно положительно оценивать произведение Иштвана Чурки «Лжесвидетель», но все же нельзя сказать, что автор приближается в нем к партийному изображению сегодняшней венгерской действительности. Поэтому очень сомнительной выглядит следующая похвала: «Вдумчивость и чувство меры предохранили писателя от конъюнктурной дани современной теме». Невольно возникает вопрос: не партийное ли изображение действительности отождествляет этот критик с «конъюнктурной данью современной теме»?

Общеизвестно, что Дёрдь Лукач вместе с чрезмерной идеализацией критического реализма принижал достижения реализма социалистического. Ошибочные взгляды Лукача недвусмысленно высказаны им в книге, вышедшей недавно в Западной Германии,— «Против ложно понятого реализма». Отзвук его ложных теорий можно уловить, когда в критике с помощью нарочито преувеличенной требовательности, используя как критерий шедевры классики, принижаются достижения социалистического искусства. Выдвигая в качестве эталона классиков буржуазного реализма, такие критики третируют как натурализм, как сентиментальный «бидермейер», как «пустую романтику» свежие ростки социалистической литературы.

Наша литература, наша издательская политика полностью порвали с сектантскими, догматическими взглядами на критический реализм XX века. Если литературу критического реализма прошлого мы расцениваем как непосредственную предшественницу социалистической литературы, то критический реализм капиталистических стран XX века мы считаем своим товарищем по оружию. Издательства одно за другим выпускают романы Ромена Роллана, Генриха Манна, Томаса Манна, Фейхтвангера, Мартена дю Гара, Сартра, Стейнбека, Хемингуэя, Ремарка, Моравиа, Грэхема Грина, Веркора, Генриха Бёля, Кёппена и других. В театрах постоянно идут пьесы Миллера, Осборна, Дюрренматта и др. Лучшие реалистические фильмы западной кинематографии — в репертуаре наших кинотеатров. При оценке отдельных произведений критика совершенно справедливо принимает во внимание сложные и противоречивые условия их появления, высоко оценивает выразившееся в них мужество писателей. Наша критика знает, что эти произведения направлены против сил, подготовляющих империалистическую войну и реставрацию фашизма, и созданы вопреки этим силам. Никак нельзя, например, согласиться с косным и односторонним взглядом, будто было ошибкой ставить пьесу Дюрренматта «Визит старой дамы». Подобная позиция, догматически все отвергающая с порога, не отвечает политике партии в области литературы.

Признание ценности современного критического реализма не может означать, однако, его некритического восхваления. Правильный тезис о том, что критический реализм — союзник социалистической литературы, нельзя истолковывать так, будто они почти тождественны. Наша критика не может забывать о том, что большая часть современных представителей критического реализма — бунтарей буржуазного общества — в той или иной степени сохраняет иллюзии «третьего пути», что на них оказывают влияние декаданс, нигилистический пессимизм. Можно высоко оценивать творчество Хемингуэя, не объявляя его, однако, маяком «нового реализма XX века» и не приравнивая его произведений к социалистической литературе (послесловие к роману Хемингуэя «За рекой, в тени деревьев» в журнале «Надьвилаг»). Пьеса Артура Миллера «Смерть коммивояжера», продолжающая традиции Ибсена, действительно является одним из ценнейших произведений современного критического реализма. Однако некоторые чересчур восторженные критики безоговорочно ставят Миллера рядом

с Шекспиром и Мольером, а пьесу его зачисляют чуть ли не в обязательный для социалистической литературы образец для подражания, называют ее классическим шедевром эпохи и восклицают: «Наконец-то в театре можно увидеть настоящее искусство!» Неправильно оценивается характер критического реализма в рецензиях, где о произведениях Дюрренматта, писателя весьма противоречивого, говорится, что «и социалистические писатели до сих пор не заклеймили с такой силой буржуазную культуру». Подобная некритичность характерна для некоторых предисловий и послесловий, которые часто подменяют глубокий анализ беспринципным восхвалением (например, послесловия к произведениям Моравиа, Дюрренматта, Фриша и др.). Этой некритичностью страдает иногда и газета «Непсабадшаг», один из рецензентов которой выступил, пусть не прямо, против тех критиков, которые справедливо отмечали ограниченность и внутренние противоречия пьесы Фриша.

Марксистская критика не может отказаться от самостоятельной позиции. Если речь идет о произведениях критических реалистов, она обязана отмечать и анализировать не только их достоинства, но и внутренние противоречия. Позиция критика, упускающего из виду эту истину, неверно ориентирует нашу литературу, означает отказ от ее социалистической перспективы.

Ревизионистские взгляды отражают те критики, которые говорят о «течениях натурализма, примитивизма, схематизма» вообще, и все развитие литературы после освобождения Венгрии определяют как «период схематизма», умалчивая, что наша литература в целом сделала в то время решающий поворот к социалистическому реализму.

Иногда критики не только не одобряют писателей, взявшихся за решение социалистических задач, но, напротив, по существу отговаривают их от этого. Один критик, например, отмечая удачный, по его мнению, перевод стихотворений Арагона и Неруды, заявляет, что этих поэтов прежде всего волнуют проблемы «любви, смерти, бытия», и упрекает переводчика в том, что он выбрал для перевода стихи политические, «далекие от индивидуальностей авторов». Критик журнала «Кортарш» ставил в вину молодым поэтам-коммунистам то, что главным содержанием их поэзии являются идейные и политические проблемы.

III

Буржуазные и мелкобуржуазные эстетические взгляды, являющиеся главной опасностью в нашей литературной жизни, сегодня уже не выражаются открыто и агрессивно. Не случайно, что большая часть упомянутых критических статей и заметок, содержащих ошибочные высказывания, появилась не в самое последнее время и в значительной части принадлежит перу тех критиков, которыми написано много правильных, марксистских по своему духу рецензий. Ошибочные взгляды проявляются теперь главным образом не в цельных, законченных критических концепциях, не как оформившиеся течения, а эклектически, наряду с марксистскими оценками. Это своеобразное положение не означает, однако, что подобные взгляды и тенденции не представляют больше серьезной идеологической опасности. Их влияние не исчезло, изменились лишь формы его проявления. Нельзя забывать, что неправильные взгляды еще не уничтожены, они влияют на литературную жизнь Венгрии.

Примиренчество в принципиальных вопросах, уступчивость по отношению к мелкобуржуазным, ревизионистским, декадентским тенденциям можно наблюдать даже у ведущих критиков-марксистов, у ответственных деятелей литературы. Особенно вреден либерализм в работе литературных органов — «Элет эш иродалом», «Кортарш», «Надьвилаг» и журналов Института истории литературы. Из неверно понятого уважения к авторитету эти органы предоставляют свои страницы не только для поверхностных, но и прямо ошибочных статей, а помещая эти статьи, не заботятся о том, чтобы дать им принципиальную оценку.

Развитию нашей марксистской критики препятствует не только уступчивость правым тенденциям, но и отсутствие последовательной борьбы с пережитками догматических, сектантских воззрений и методов, также мелкобуржуазного происхождения. Опыт политической борьбы последних лет и развитие нашей литературы доказывают, что эффективно бороться с правыми взглядами с догматических, сектантских позиций нельзя. Победа социализма и социалистической литературы может быть достигнута только последовательной борьбой на два фронта.

Одно из проявлений сектантско-догматических взглядов состоит в том, что критики марксистского толка порой проявляют известную нетребовательность к качеству художественных произведений. Исходя из интересов развития социалистической литературы, пренебрегать ее художественным уровнем нельзя. Мнение, что служение социалистическому строю освобождает социалистическое искусство от обязанности искать наилучшую форму воплощения высокого идейного содержания, непонимание, насколько важно для дальнейшего развития социалистической литературы художественное совершенство, являются «левым» псевдорадикализмом.

Помимо недооценки художественного уровня, сектантские взгляды выражаются также в определенной тенденции к сужению горизонтов критики. Между тем марксистская критика должна быть сознательным, заботливым хозяином всей прошлой

и настоящей венгерской литературы, всех ценностей, накопленных ею.

Нельзя согласиться с заявлением газеты «Эшти хирлап», которое вольно или невольно наводит читателя на мысль, будто важно развитие только молодых писателей-коммунистов, а беспартийными молодыми писателями можно пренебречь. Эстетический тезис, выдвинутый в этой связи и гласящий: «Прекрасно то, что соответствует нашим интересам»,— является вредным тезисом. Сектантство противоречит линии партии. Партия опирается прежде всего на писателей, утверждающих в своем творчестве коммунистические идеи. Но вместе с тем она стремится привлечь на свою сторону и всех честных прогрессивных писателей.

Из нашей критики надо окончательно изгнать подмену убедительной аргументации резкостью тона и подозрениями. Марксистская критика должна апеллировать к чувству справедливости, к здравому смыслу людей, избегать всякого высокомерия и не предполагать заранее, что имеет дело с врагом. Пусть критика будет недвусмысленной и принципиальной, но пусть в ней чувствуется искреннее желание помочь, внимание и уважение к работе писателя. Критик должен исходить из того неоспоримого факта, что у значительной части венгерских писателей возросло желание изучать и изображать нашу социалистическую действительность. Всесторонняя, дифференцированная, заботливо учитывающая эволюцию и возможности отдельных писателей критика отнюдь не противоречит требовательности и принципиальности.

Зачастую в литературной критике можно наблюдать «осторожничание» в политических вопросах и идеологическую поверхностность. В наших газетах и литературных журналах много критических выступлений (включая театральную и кинокритику), которые удручающе скучны, так как в них нет определенной позиции, самостоятельности марксистского мышления. Безликость значительной части критических статей свидетельствует о недостаточной профессиональной подготовленности, о неудовлетворительной редакционной работе, рутине. Часто эта безликость объясняется стремлением уклониться от определенного политического вывода.

Критики-марксисты не могут примириться с подобной беспринципностью. Центральная задача нашей критики состоит в том, чтобы вести принципиальную, научно обоснованную последовательную борьбу на два фронта.

На критику ложатся большие задачи в деле развития вкуса нашего народа, его литературных интересов. Критика должна пробуждать у нового человека нашего общества интерес к здоровым, позитивным произведениям и учить распознавать идейные и художественные недостатки, содействовать тому, чтобы возрастающие культурные потребности общества, строящего социализм, удовлетворялись из действительно чистых источников. Надо позаботиться о том, чтобы произведения социалистического реализма и прогрессивной литературы стали близкими читателю, раскрыть их идейные и художественные достоинства, правдивость и красоту. Важная задача венгерской критики сегодня — помочь расцвету нашей литературы на новом этапе, ее идейному и художественному обогащению, рождению ценных произведений социалистического реализма.

Для того, чтобы критика успешно развивалась в идейно-теоретическом отношении и могла помочь победному распространению социалистического реализма в венгерской литературе, ей помимо усиления принципиальности настоятельно необходимо осовременить свое оружие. Надо бороться не только против буржуазных и мелкобуржуазных тенденций, но и поддерживать социалистическую литературу, повышать ее уровень. Марксистская критика сумеет выполнить свои задачи лишь в том случае, если она будет глубже исследовать эстетическое своеобразие произведений, изучать идейное содержание и его художественное воплощение — композицию, стиль — в их единстве, если она будет помогать совершенствовать средства художественного выражения. Даже наши ведущие критики-марксисты нередко упускают из виду, что нужно вдумчиво изучать новые ростки венгерской социалистической литературы. Часто отсутствует глубокий анализ наиболее интересных новаторских начинаний — конкретная критика подменяется пустым восхвалением. А ведь именно в связи с такими произведениями меньше всего может удовлетворить так называемая «протокольная», поверхностная критика, именно здесь нужно заботиться о том, чтобы глубоко проникнуть в идейный замысел и художественную форму произведения, оказав помощь как писателю, так и читателю.

Углубленный анализ социалистических по своему духу произведений требует, чтобы критика больше занималась общими вопросами эстетики.

Мы должны уделять больше внимания теоретической глубине критики — ведь без этого не только критические статьи, но и художественные произведения будут поверхностными, импрессионистичными, провинциальными.

На современном этапе развития нашей литературы наряду с поддержкой произведений социалистического реализма марксистская критика должна обратить особое внимание на то, чтобы еще больше приблизить к идеям социализма художников, чье мировоззрение не является пока последовательно социалистическим. Критика должна замечать любой прогресс в этой области и помогать всякому движению вперед. В то же время в ее задачи входит полемика с идейной и художественной отсталостью. Наша критика должна содействовать дальнейшему

укреплению литературного единства на основе строительства социализма; под знаком всемирной борьбы за мир и прогресс человечества, следить, чтобы вражда или равнодушие к делу социализма не отравляли литературу и общественную жизнь.

Особенное внимание необходимо уделять творчеству молодых писателей. Правильное идейное и художественное воспитание их является решающим для будущего всей нашей литературы. Необходимо покончить с поверхностно-похвальными рецензиями, не приносящими никакой пользы; заботливо, внимательно, но открыто и прямо указывать на те художественные слабости и ту идейную шаткость, которые характерны для творчества некоторых молодых писателей.

Марксистская критика должна сотрудничать с критикой еще немарксистской, причем таким образом, чтобы последняя могла сослужить добрую службу нашей социалистической культуре. Критики-марксисты могут многому научиться у более старых, опытных критиков — но это не означает, что мы хотим предоставить трибуну в литературной критике буржуазному эстетизму как направлению. Условия сотрудничества с критиками-немарксистами — верное служение социалистическим целям нашего народа, поддержка прогрессивной реалистической литературы, квалифицированная профессиональная работа на научных основах.

Литературной критике нужно более эффективно воспитывать эстетические вкусы трудящихся масс. Она должна быть понятной, избегать аристократической вычурности стиля, препятствующей формированию литературной культуры все более широких читательских масс.

Оздоровление атмосферы и расцвет критики не только будут содействовать дальнейшему развитию нашей литературы и искусства, нашей культурной революции, но и помогут решению общих идеологических задач. Помогут быстрее и эффективнее побороть вредные буржуазные и мелкобуржуазные влияния, которым нет места в идеологии социалистического общества. Венгерские критики в своей работе должны еще больше проникнуться чувством ответственности, которая ложится на все общество в наступающий важный период, когда мы закончим закладку основ социализма и сосредоточим все силы и способности нашего народа на решении великой исторической задачи — построении социализма.

Б. Борисов

СЛАВНЫЙ СЫН ФИЛИППИНСКОГО НАРОДА

(К 100-летию со дня рождения Хосе Рисаля)

Это был необычайный человек. В восемь лет он написал драму, в пятнадцать — стал известен всей стране как поэт, художник и скульптор, а в восемнадцать — награжден первой премией на национальном поэтическом конкурсе за свою знаменитую оду «К филиппинской молодежи». В двадцать четыре года — получил в Манильском и европейских университетах дипломы врача, естествоиспытателя, философа и лингвиста. Он знал двадцать один язык, в том числе русский... Его звали Хосе Рисаль.

В тридцать пять лет он был казнен палачами филиппинского народа, испанскими колонизаторами.

Люди, подобные Рисалю, не умирают. Короткая биография великого филиппинца — лишь начало его жизни, его бессмертия в памяти народной. Заветные, сокровенные мечты Рисаля о полном и подлинном освобождении родины от власти чужеземцев еще не сбылись сегодня, хотя владычество испанской короны на Филиппинах свергнуто и ныне страна официально не является колонией США. Но не стала она еще краем, где, как мечтал Рисаль, «воцарится разум и свет». Как прежде, этой «жемчужиной южных морей» еще торгуют «чужие, ненасытно жадные и жестокие люди»: колониальный гнет Соединенных Штатов Америки принял форму экономического.

Имя Хосе Рисаля является теперь в стране знаменем для всех патриотических сил в их борьбе за достижение полной независимости.

Во многих странах до сегодняшнего дня по существу еще не определено и не оценено до конца все значение творчества этого замечательного борца за свободу своей родины, страстного защитника народа, пламенного публициста, интересного и значительного художника.

В Советском Союзе интерес к творчеству Рисаля возник довольно давно. Об этом свидетельствует опубликование в русском переводе в 1937 году романа Рисаля «Флибустьеры», а также выход монографии о Рисале, написанной А. Губером и О. Рыковской.

Издательство восточной литературы приняло решение издать наиболее интересный роман Рисаля «Не тронь меня». Готовится к печати том его избранных произведений.

* * *

Творчество Рисаля неразрывно связано с судьбой родины, со страданиями и надеждами народа. Произведения великого филиппинца запечатлели во всей их силе и слабости тенденции развития прогрессивной

общественной мысли его времени. В романах и сатирических памфлетах, в любом, даже самом маленьком произведении воплощены заветные стремления и чаяния филиппинского народа.

Трехсотлетнее испанское господство на Филиппинах в конце XIX века становится особенно невыносимым. Самое страшное зло испанского колониализма — католические монашеские ордены, помогавшие колонизаторам грабить народ, истреблять лучших его представителей. Монахи были всюду — они фактически руководили государством, отнимали у крестьян землю, отравляли сознание молодежи. Рисаль всю жизнь боролся против клерикальной тирании колонизаторов. В 1882 году, будучи студентом в Мадриде, он предложил группе филиппинцев, входивших в «Испано-филиппинский кружок», написать книгу о произволе и издевательствах испанских монахов на Филиппинах. Так родился замысел романа «Не тронь меня». Идея Рисаля не встретила поддержки, и он решил написать книгу один. Работа над романом была начата в 1885 году, когда он переехал в Париж. Черновой вариант романа он закончил почти за год и впоследствии, уже находясь в Германии, а затем в Бельгии, значительно переработал его.

Правдиво и страстно нарисована в романе трагедия Филиппин. В основе сюжета — подлинные исторические события, некоторые из эпизодов носят автобиографический характер.

Герой романа молодой филиппинец Хуан Крисостомо Ибарро во многом напоминает самого Рисаля. Получив образование за границей, Ибарро возвращается на родину, полный надежд добиться счастья и свободы для народа путем мирных реформ. В Маниле Ибарро ожидает невеста, с которой он обручен с детских лет. Злоключения молодого филиппинца начались сразу, как только тот вступил на родную землю. Трагическая судьба его отца, брошенного в тюрьму клерикалами, трагическая судьба его невесты, жестокость и коварство монахов, их алчность, глупость, невежество — все это постепенно разбивает многие иллюзии юноши, хотя, выступая против насилия, он по-прежнему не теряет веры в действенность реформ. Главное для него — это борьба с невежеством. Просветительские, пацифистские иллюзии самого Рисаля пока не позволяли ему увидеть, насколько безнадежны подобные методы на Филиппинах.

Роман был напечатан в 1889 году в Генте. Монахи-колонизаторы объявили его «скверной книгой, которую не должны читать, ибо, читая ее, они (филиппинцы.— *Ред.)* совершают смертный грех, впитывая в себя еретические идеи, противные нашей священной религии, которыми упомянутая книга переполнена».

Но, несмотря на запрет, друзья и единомышленники Рисаля нелегально перевозили через границу экземпляры его книги.

Роман произвел необычайно сильное впечатление на прогрессивные круги филиппинской общественности. Поэтому против Рисаля ополчились и испанская администрация, и судебные органы, и католическое духовенство. Рисалю были отрезаны пути на родину, преследовались даже самые дальние его родственники.

Известный филиппинский ученый Т. Х. Пардо де Тавера, характеризуя воздействие романа Хосе Рисаля на общественную и политическую жизнь того времени, писал: «Темные стороны испанской администрации были обрисованы с такой силой, что зашаталось все здание колониального господства на Филиппинах, а уважению к испанской цивилизации, которое глубоко коренилось в умах филиппинцев, был нанесен смертельный удар». Роман принес широкую популярность Рисалю. Он стал признанным вождем прогрессивных слоев интеллигенции.

После романа «Не тронь меня» Рисаль выступает с рядом публицистических произведений. В эти годы он публикует свои блестящие памфлеты «Видение брата Родригеса» и «По телефону» — уничтожающую сатиру на клерикалов и их расистские доктрины.

Памфлет «По телефону» написан в форме диалога. Манильский поверенный в делах ордена августинцев в Мадриде беседует по телефону с главой ордена августинцев в Маниле. Святые отцы озабочены поисками новых средств, которые помогут сделать еще покорнее и без того униженных и задавленных филиппинцев, способных, как они уверены, «лишь ухаживать за буйволами, молиться да слепо следовать наставлениям монахов». Жалкими и ничтожными рисует Рисаль тех, кто безраздельно господствует на Филиппинах, кто глумится над народом этой страны.

Не менее остро написан антиклерикальный памфлет «Видение брата Родригеса».

В июне 1889 года Рисаль написал серию статей «О «Тагальском театре» Барранте-са» в ответ на выступление одного из испанских сенаторов, долгое время жившего на Филиппинах и полагавшего себя знатоком культуры филиппинского народа. С высокомерием представителя «высшей расы» третирует этот колонизатор «цветных индио» — коренных жителей Филиппин (за счет которых он живет и приобретает баснословные состояния), обнаруживая полное невежество в вопросах филиппинской истории и культуры. И Рисаль дает ему достойную отповедь. С великолепной иронией (написаны эти статьи от лица защитника Баррантеса) Рисаль показывает ничтожество «полубога»-невежды, обнаруживая при этом блестящие и разносторонние познания в области истории мировой культуры.

Полемический характер носит и статья «О праздности филиппинцев». Нищету и бесправие народа колонизаторы объясняют «леностью» и «врожденной ограниченностью» туземного населения. Рисаль разбивает эти клеветнические измышления расистов.

Хосе Рисаль умел вглядываться в будущее. В конце восьмидесятых годов он опубликовал серию статей, которая называлась «Филиппины через 100 лет». В них Рисаль предсказывал, что иго испанских угнетателей неизбежно падет, и призывал решительно перестроить всю общественную и политическую жизнь своей родины. Хотя он при этом имел в виду только реформы, однако в его статьях звучали и более решительные ноты: «Если те, кто распоряжаются судьбами Филиппин,— писал он,— противятся... и, вместо того чтобы проводить реформы, хотят усугубить положение в стране, довести до крайности ее страдания, продолжать преследовать тех, кто страдает и ищет выхода,— они добьются того, что последние отважатся рискнуть тяготами своей неспокойной, полной лишений и горести жизни в надежде добиться какой-либо перемены. Что им терять в борьбе?»

Несколько публицистических произведений Рисаля написано в жанре «открытых писем». В одном из них он обращается к женщинам с призывом отказаться от рабского повиновения церкви. призывает воспитывать детей не рабами, а борцами за свободу.

В 1892 году Рисалю наконец удалось вернуться на родину. Он сразу же окунулся с головой в кипучую политическую деятельность. Им была основана филиппинская лига — патриотическая организация филиппинской интеллигенции, устав которой предусматривал сплочение архипелага в единое жизнеспособное государство, солидарность граждан, сопротивление всякому насилию и несправедливости, поощрение образования, прогресс сельского хозяйства и торговли, проведение социальных реформ.

Деятельность этой лиги не получила широкого размаха. Испанские колониальные власти арестовали ее основателя и выслали его в форт Дапитан на острове Минаданао. Здесь в изгнании Рисаль пишет свое второе крупное прозаическое произведение — роман «Флибустьеры».

«Флибустьер» на Филиппинах — всякий «неблагонадежный» человек, всякий, кто посягает на государственные устои колониальных властей. Человек, названный флибустьером, был обречен на гонения, преследования, ссылки и даже казнь.

Герои этой книги — в основном те же, что и в первом романе. Ибарро возвращается на Филиппины под видом ювелира Симона. Он сказочно богат и, никем не узнанный, решил мстить за все горе, причиненное ему, его невесте и друзьям. На этот раз Ибарро решил действовать путем заговора. Он странствует по Филиппинам и ведет тайную пропаганду против колонизаторов. Повествуя о странствиях героя, Рисаль развертывает перед читателем широкое обличительное полотно филиппинской действительности, рисует целую галерею реалистических портретов.

Один из героев романа — студент-медик Василио. Симону не удается поначалу убедить его отказаться от позиции непротивления и бездействия. Но когда Василио, подобно многим другим филиппинцам, стал жертвой властей, он в конце концов примкнул к тайным последователям Симона. В финале заговор раскрыт и многие его участники гибнут.

Роман «Флибустьеры» обычно рассматривают как новую попытку Рисаля осудить революционный путь борьбы, показать обреченность всякого насилия. В этом есть доля истины, ибо, как это видно из его последних высказываний да и из его фактической позиции во время восстания 1896 года, Рисаль оставался пацифистом. И все же мысль о неизбежности революции все настойчивее звучит в подтексте его произведений.

Именно поэтому испанские палачи-колонизаторы казнили его, именно поэтому Рисаль стал национальным героем филиппинского народа.

За несколько часов до казни Хосе Рисаль завершил пламенную патриотическую поэму «Мое последнее прости» — свидетельство его непреклонной веры в грядущее освобождение родины.

Я скоро умру, чуть только прохладный рассвет
Пробьется сквозь тьму, возвещая пришествие дня;
Если будет он бледен, ты увидишь, что ярости нет,
Возьмешь мою кровь — это мой последний завет —
И раскрась его в яркие краски огня.

...Любимая родина, рана на сердце моем,
Земля Филиппин, прими мой последний привет.
Тебе отдал все: родных, и друзей, и свой дом,
Теперь ухожу я туда, где никто еще не был рабом,
Где веру не гонят на смерть, где царствует разум и свет. *

Замечательный гуманист, талантливый поэт и ученый, Хосе Рисаль мучительно искал путей освобождения родной земли, он предвидел победу сил прогресса, его книги стали боевым призывом к действию для многих поколений борцов за свободу и независимость Филиппин.

Короткая пламенная жизнь Хосе Рисаля — пример для миллионов простых людей Востока, преисполненных решимости навсегда сбросить с себя тяжкие колониальные оковы и выйти на путь свободы, независимого развития.

Вот почему советская общественность торжественно отмечает в июне нынешнего года столетие со дня рождения этого замечательного человека, одного из выдающихся деятелей мировой культуры.

---

* См. М. Крус «Филиппины в борьбе за свободу». Издательство восточной литературы, Москва, 1958.

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

Подлинное искусство — всегда оружие

«Заявление Совещания представителей коммунистических и рабочих партий с предельной ясностью намечает грандиозные контуры нового этапа в развитии социализма. Борьба за претворение в жизнь идей мирного сосуществования двух систем по-новому ставит все старые вопросы общественного развития в эпоху перехода от капитализма к социализму. Необходимость раскрыть возможности преобразования мира преимущественно мирными средствами и борьба за реализацию этих возможностей в соответствующих новых экономических, политических, бытовых, культурных и прочих областях захватывает художественную сферу».

Так писала газета **«Литературен фронт»** в статье, посвященной трехдневной теоретической конференции на тему «Художественное мастерство», которая состоялась в конце марта в партийной организации Союза болгарских писателей.

Конференция стала большим общекультурным событием. В прениях по докладу **Богомила Райнова** выступило свыше сорока человек, обсуждавших самые различные стороны профессионального писательского труда — от изучения жизненного материала и роли мировоззрения до тончайших деталей поэтического языка и психологии творчества. Примечательно, что писателей интересовали «не просто вопросы художественного мастерства вообще». Как отмечалось в цитировавшейся статье:

> «Их волновала и волнует прежде всего необходимость повышения художественного качества нашей литературы как литературы, борющейся за дело социализма, за укрепление и развитие подлинных социалистических взаимоотношений между трудящимися в нашей стране. Их волновала и волнует стоящая перед нашей литературой задача повышения художественного качества литературы, ратующей за победу мира, демократии и социализма на всей земле».

«Искусство тогда оружие, когда оно искусство». Эта мысль словно рефрен проходит через весь доклад Богомила Райнова, который начал с большого, требовательного разговора о профессиональной культуре. Непосредственное постижение жизненных явлений, широкое знакомство с отечественной и зарубежной литературой, непрекращающаяся идеологическая подготовка, рабочая дисциплина, требовательность к себе — вот из чего складывается писательская культура.

> «Писатель, который считает, что он научился всему и отныне ему не остается ничего, кроме как поучать других, бесспорно и очень скоро окажется в числе отставших. Сегодняшняя действительность развивается в таком ритме, что если стремление знать больше и больше не перерастет в ежедневную привычку, то ты никогда не будешь знать достаточно для того, чтобы быть действительно современным писателем».

Коснувшись в этой связи проблемы влияний и заимствований, Б. Райнов сказал:

> «Влияния, как правило, не являются результатом всестороннего и глубокого знакомства с иностранными авторами, наоборот, они порождаются лишь отрывочным, поверхностным «открытием» некоторых из них».

Другая необходимая сторона художественного мастерства это умение ощу-

щать дыхание времени, видеть действительность в движении, искать новые средства выразительности.

> «Современный писатель,— говорит Райнов,— должен быть на высоте современного мастерства, связанного с мироощущением современного человека, который думает и чувствует не так, как думали и чувствовали люди полвека назад или даже перед второй мировой войной. Те, кто продолжают писать так, как писали у нас Вазов или даже Елин Пелин и Йовков, тешат себя иллюзиями, если думают, что таким образом учатся у них. Ибо первейшим уроком, вытекающим из творчества Вазова и Елин Пелина, является то, что эти писатели были *новаторами* на тогдашнем этапе нашего литературного развития, что писали они не так, как их предшественники. Тот, кто говорит по-старому, не просто выражает себя, но так или иначе и чувствует по-старому, и потому голос его не в состоянии глубоко взволновать сердца новых людей».

С новаторством связывают вопрос о творческой свободе, право писателя на эксперимент. Эксперимент, опыт в искусстве, как отметил докладчик, непременно должен быть подчинен определенному замыслу, не противоречить логике жанра, как это случается у иных молодых писателей. Маяковский и Хлебников оба стремились к яркому, самобытному стиху. Но если Маяковский не отделял эксперимент от содержания и доводил его до «высот поистине революционной поэзии», то у Хлебникова эксперимент часто оставался игрой.

> «Само собой разумеется, что эксперимент необходим,— сказал Б. Райнов.— Но хороший актер не идет на эксперимент во время спектакля, не пробует тот или иной костюм или жест на глазах у зрителей. ...В противном случае это становится уже игрой в эксперименты... От творческой свободы меньше всего выигрывает тот, кто использует ее для творческого своеволия».

Экспериментаторство как самоцель не имеет ничего общего с настоящими поисками нового, с истинным новаторством. Об этом отлично сказано в цитировавшейся выше статье Райнова.

> «...подлинное, здоровое новаторство, присущее социалистическому реализму, начинается с открытий в самом художественном предмете, в художественном содержании; поиски новой выразительной формы могут дать положительные результаты именно как выражение в конечном счете новых требований художественного содержания, художественной идейности. Мы не можем включить «модернизм» в социалистический реализм, так как он связан прежде всего с буржуазной, декадентской идеологией, с ее крайним субъективизмом, с ее отрицанием и «разрушением» действительности, хотя отдельные стилевые и технические выразительные средства и могут использоваться».

Естественно, что в разговоре о мастерстве нельзя пройти мимо того чудесного свойства, именуемого талантом, без которого немыслимо создание художественных ценностей. Талант — непременное условие создания большой литературы. Вместе с тем выступавшие на собрании справедливо подчеркивали, как сообщает «Литературен фронт», что

> «...художественный талант не есть просто способность к формальному художественному вышиванию, а умение прежде всего глубоко вникать в сущность, в логику жизни, человеческих взаимоотношений, способность к глубокому художественному познанию, типизации, обобщению, исследованию действительности... В эпоху решающей борьбы между силами мира, демократии и социализма, с одной стороны, и силами империализма, колониализма и человеконенавистничества — с другой, нельзя рассматривать роль таланта в литературе в отрыве от его направленности и места, которое он занимает в этой борьбе».

Во второй части своего доклада Б. Райнов затронул некоторые вопросы теории и практики социалистического реализма, его неисчерпаемые возможности. Литература всех времен и народов отражала развитие человека и общественных отношений, отметил он.

> «Но литература социалистического реализма рождена такими изменениями в этих отношениях и призвана отразить такие моменты исторического развития, которые *принципиально* отличаются от всех предшествовавших. Ибо как ни различны сами по себе этапы прошлого, это всегда были этапы развития общества, основанного на эксплуатации человека человеком...
>
> В принципиально новых человеческих отношениях при социализме, в принципиально новом общественном идеале социалистического общества — источник глубокого революционного новаторства социалистической литературы. Это литература, чья классовость и партийность равнозначны подлинной народно-

сти, чья романтика есть не утопия, а прозрение в будущее, чьей основной задачей является не только глубокое познание жизни, но и дальнейшее ее изменение».

Большая литература всегда бичевала отжившее, консервативное, учила любить и ненавидеть. Такая же задача, заметил докладчик, стоит и перед нами.

«Есть, однако, писатели, которые иногда забывают, что борьба против старого — это не самоцель, а лишь момент в общей, основной задаче социалистического реализма — борьбе за укрепление и развитие *нового в жизни*. То ли потому, что отрицательные явления кажутся иным авторам более живописными, более сложными, более благодарными как тема, то ли потому, что такие сюжеты, имея в виду огромный опыт литературы прошлого, легче для разработки... но так или иначе — они чаще привлекают определенных авторов, нежели положительные явления нашей повседневности. При этом, как уже не раз отмечалось, даже при добросовестном стремлении показать старое и новое в их сложной противоречивости, некоторые писатели обретают живость слога именно в изображении старого, тогда как новое предстает как бледное отражение не столько действительности, сколько определенного тезиса.

Пора понять, что новое в нашей жизни представлено значительно ярче, более распространено, более закономерно, чем это показывает наша литература. А это означает, что многие из нас все еще не овладели одной из основных сторон мастерства социалистического реализма — умением глубоко проникнуть в мир тех героев нашей действительности, которые по праву должны стать также и героями литературы,— новых людей, творцов истории».

Б. Райнов говорит о богатейшем опыте советской литературы. Произведения Горького и Маяковского, А. Толстого и Шолохова, Фадеева, Федина и многих других писателей воздействуют на миллионы людей земного шара и остаются непреходящими образцами. Вместе с тем докладчик подчеркивает:

«...одна из основных особенностей метода социалистического реализма состоит в том, что он не терпит никакого застоя, не терпит превращения достижений в шаблон, не терпит академизма.

Именно поэтому достигнутые успехи, хоть и облегчают дальнейшее движение вперед, вовсе не отменяют, не снимают ни одной из тех задач, которые были решены классиками социалистического реализма. Не отступаясь от нашего метода, нам предстоит решать эти задачи своими силами, опираясь на нашу жизнь, в духе высоких принципов партийности.

Только так наши книги станут насущно необходимыми нашему читателю. Только так, проникнув в сознание людей, они станут материальной силой, взрывающей старое в жизни, и вдохновенным провозвестником нового».

Старые мехи пусты

Сегодняшний английский театр немыслим без молодых драматургов, таких, как Джон Осборн, Арнольд Уэскер, Шейла Делани, Брендан Биэн и другие. Вокруг спектаклей этих авторов кипят страсти, ломаются копья, сталкиваются мнения. Английская сцена стала ареной жарких споров по вопросам эстетики. Даже многочисленность названий — «сердитые молодые», «левые драматурги», «новое движение в театре», «новая волна» и т. д.,— которыми стараются определить то новое, что появилось в театре с постановкой «Оглянись во гневе», свидетельствует о том, что пьесы молодых драматургов никого не оставляют равнодушным.

Новым поводом к дискуссии явилось выступление **Ноэла Кауарда**, признанного автора популярных, но теперь сходящих со сцены мелодрам и комедий. Маститый драматург словно под занавес решил подарить читающей публике серию статей в еженедельнике **«Санди таймс»**.

Статьи эти характерны откровенной апологией коммерческого, буржуазного театра и не менее откровенным неприятием новых веяний. Н. Кауард не скупится на нелестные эпитеты в адрес молодых драматургов и, говоря об их творчестве, не стесняется в выражениях: «кухонная драма», «школа импровизированной трескучей болтовни» и т. д.

Н. Кауард обрушивается и на «несчастных» критиков, на «горстку журналистов, отягощенных социальными и политическими предрассудками», которые, дескать, толкают неискушенных юнцов на создание «пропагандистских» пьес. Не называя фамилий, драматург безуспешно пытается полемизировать с видным театральным критиком **Кеннетом Тайненом**, выступившим в еженедельнике **«Обзёрвер»** в поддержку молодежи.

Но предоставим слово самому Ноэлу Кауарду:

Первый упрек, который он бросает «новым драматургам», заключается в том, что они якобы игнорируют публику (читай: буржуазную публику). Он пытается выставить пьесы молодых драматургов как беспомощные, слабые, не пользующиеся успехом.

> «Я не хочу казаться пристрастным,— пишет Кауард,— и тем не менее должен со всей откровенностью заявить, что, прочитав и увидев большую часть горячо обсуждаемых сочинений драматургов «нового движения», я нисколько не удивлен прохладным приемом публики. В них я, за редкими исключениями, не обнаружил и намека на подлинное драматургическое мастерство Мне довелось видеть неплохую игру, умелую режиссуру, а раз или два — даже хорошее освещение, но ни разу среди потока слов, пропаганды, жалоб, брани, претенциозных вывертов и надуманного реализма я не нашел оригинальной, хорошо выраженной идеи или точно сформулированной проблемы».

Цену «беспристрастности» Н. Кауарда в отношении молодых его коллег остроумно показал К. Тайнен:

> «Мистер Кауард обвинил молодых драматургов в том, что они не добились главного — не привлекли на свою сторону широкую публику. Обвинение, что и говорить, рискованное, если учесть, что оно предъявлено в тот момент, когда «Вкус меда» Делани и «Заложник» Б. Биэна гремят на Бродвее, когда «Сторож» и «Лжец Билли» имеют успех в Лондоне и когда последняя пьеса самого мистера Кауарда снята, как сообщается, с постановки, не продержавшись на сцене и полгода. Палуба тонущего корабля — не слишком подходящее место для поучений о том, как держаться на поверхности...»

«Помните о публике!» — вот боевой клич Н. Кауарда, его, так сказать, кредо и напутствие тем, кто рискует отправиться в плавание по бурным водам театрального искусства.

Но для Кауарда публика — не более чем «курица, которая несет для вас (то есть для авторов) золотые яйца». И невольно создается впечатление, что этот клич следует понимать более прозаически — «Помните о кассовых сборах!»

Впрочем, Кауард к тому же приписывает подобные мотивы молодым драматургам:

> «Я сильно подозреваю, хотя, быть может, и ошибаюсь, что их теории, направленные против классовых привилегий и торгашеского духа, претерпели бы разительные перемены, если бы им удалось пристроить свою пьесу в какой-нибудь театр для постановки в течение полутора, скажем, лет и получить 10 процентов со сбора».

Но более всего, очевидно, раздражает Н. Кауарда тот факт, что пьесы драматургов «новой волны» имеют определенное содержание и резко отличаются от столь любезной его сердцу «well-made play», то есть от традиционной, хорошо построенной мелодрамы или комедии, какую так жалуют в Уэст-энде.

> «Утомлять публику пропагандой, пугать политическими идеями, мучить классовыми предрассудками и, что хуже всего, раздражать намеренной беззаботностью в области драматургической техники — такая тактика может привести лишь к разочарованию и неудаче... Ни критики, ни нынешние первооткрыватели не хотят понять, что политическая и социальная пропаганда в театре — дело, за редчайшими исключениями, невероятно скучное. Хотя иные интеллектуалы хотят думать, что это не так, театр был, есть и, я искренне надеюсь, будет преимущественно местом развлечения».

Н. Кауард, очевидно, запамятовал, что сам же, хотел он того или нет, не раз прибегал на подмостках к полемике, бичевал благоглупости, бросал перчатку отжившим установлениям — словом, занимался тем, что сейчас высокомерно называет «пропагандой». В сатирической комедии «Обнаженная со скрипкой»* он безжалостно высмеял абстрактную живопись и тех, кто спекулирует на моде. Пьеса была бы невозможна, если бы автор не считал, что искусство непременно должно иметь определенное содержание, «заставить думать», а не только развлекать, как утверждает нынче Кауард.

---

* См. журнал «Иностранная литература» № 5, 1959 г.

По Кауарду, выходит, что цель драмы отнюдь не в том, чтобы будоражить зрителя картинами современности. Нет, цель драмы и искусства вообще — поддерживать буржуазно-обывательское «довольство жизнью». Мэтр рекомендует молодым писателям держаться подальше от театра, если они «возмущены социальной несправедливостью и крайне нетерпимы к идеологическому «статус кво».

> «Молодой драматург,— пишет Кауард,— прежде всего должен быть верен своему таланту, а не политическим взглядам и не моральным или социальным убеждениям...»

Кауард упрекает молодых драматургов в пристрастии к картинам «пошлым и вульгарным», а их интерес к жизни простого человека называет «снобизмом наоборот»:

> «В своих пьесах,— пишет Кауард,— они имеют дело исключительно с низшими слоями общества, из чего можно сделать вывод, что представители этих слоев — единственные, по их мнению, люди, которые достойны изображения. Это неверная и догматическая точка зрения...» И в другом месте: «Одной из гнетущих особенностей современного переходного этапа в театре, который переживает цивилизованный мир, является нудное, однообразное внимание к судьбе Простого Человека; дело в том, что, с драматургической точки зрения, Простой Человек вовсе не так интересен, как кажется, если только не изображен с настоящим талантом..»

На это несуразное, претендующее на обобщение высказывание о теме и героях драмы ответил Кауарду молодой, приобретающий ныне известность драматург **Р. Боулт:**

> «Из-за того что старый театр игнорировал три четверти общества — некоторые из нас избирают местом действия Сэлфорд-элис (рабочие кварталы.— *Ред.*). Старый театр был приличным и вежливым — поэтому некоторые из нас склонны к грубости. Он был ровным, без сучка и задоринки — поэтому мы скручиваем себя в запутанные узлы. Он был умело построенным — поэтому мы вовсе не заботимся о композиции. Но все это лишь побудительные мотивы...»

Развивая свою мысль, Р. Боулт недвусмысленно заявляет, что судьбы искусства связаны с важнейшими проблемами современности.

> «Мы считаем, что театр — важная сторона человеческой деятельности, хотя далеко не самая важная. А человечество пребывает сегодня в исключительном и крайне опасном положении. Мы знаем, что предшествующие поколения тоже считали, что находятся в исключительном положении, но наши страхи приняли конкретную форму ужаса перед атомной бомбой...»

Людям, в том числе и драматургам, не уйти от проблем, встающих перед ними, продолжает Боулт. Театр может по-разному реагировать на перемены, совершающиеся в мире.

> «В крошечном мире театра один из ответов — создать развлечение, чтобы люди забыли об опасностях. Мы уважаем этот вид театра, возникший в эпоху Реставрации и дошедший через Шеридана и Уайльда к некоторым драмам Моэма, Кауарда и Рэттигана... Однако развлекательная пьеса — это преимущественно комедия нравов... А комедия нравов — не более чем арабеска на металлической поверхности уверенного в себе общества...»

Теперь же английское общество никак нельзя назвать уверенным в себе. Драма «Оглянись во гневе» пробила брешь в фасаде коммерческого театра, и развлекательная пьеса может только «на короткое мгновение вернуть память об утраченном довольстве»,— продолжает Боулт.

Роберт Боулт никак не может согласиться с тем, что маститый писатель пытается выставить его коллег какими-то анархистами, отрицателями всего и вся, которые нисколько не заботятся о том, к кому и с чем они обращаются.

> «Мы предполагаем, что перед публикой стоят те же самые эмоциональные, интеллектуальные и социальные проблемы, что и перед нами...— пишет Боулт.— Дело просто в том, что живой, легковесный, удивительно рафинированный стиль, образец которого обнаруживаем, например, в пьесах мистера Кауарда, не годится для того, что мы хотим сказать...
>
> Нам искренне жаль, что молодое вино первого нашего урожая не имеет изысканного вкуса. Нам и самим оно не всегда нравится. Но тут уж ничего не поделаешь. Старые мехи пусты, совершенно пусты. Мистер Кауард выжал последнюю каплю».

Еще более определенно и резко, хотя и не без полемических преувеличений, высказался на этот счет театральный художник **Син Кенни** в статье **«Освободить театр!»**, опубликованной в еженедельнике **«Обзёрвер».**

Кенни утверждает в своем выступлении искусство живое и гуманистическое. Краски, линии, звуки — словом, все средства, имеющиеся в распоряжении художника,

> «...следует соотносить с человеком, со стремлением сделать жизнь более легкой, счастливой, полной... Живое слово не потеряло могущества и обладает еще волшебной силой. Оно еще в состоянии указать разницу между тем, что есть, и тем, что должно быть».

Не остались в стороне от дискуссии о новом направлении в английском театре и критики-марксисты.

Некоторые из них рассматривали как недостаток пьес Осборна, Уэскера и других молодых драматургов отсутствие в них своего рода «положительной программы», конструктивного решения проблем современности. Принимая эту точку зрения, следует, однако, сказать, что еще более верными представляются соображения, высказанные **Майклом И. Коэном** в журнале **«Марксизм гудей»**.

> «Мысль,— пишет Коэн,— будто произведение искусства должно непременно предлагать готовое решение проблем, которые там поднимаются,— есть устаревшее ошибочное представление, неоднократно опровергавшееся марксистами в эстетических дискуссиях. Если бы была возможность решить все острые проблемы на сцене театра, то коммунистам следовало бы заделаться драматургами-любителями. Нельзя забывать, что задача изображения положительных прогрессивных сил в искусстве, развивающемся в условиях империалистической, находящейся в упадке Великобритании, коренным образом отличается от задачи, что стоит перед советскими писателями».

В итоге своих рассуждений о творчестве драматургов «новой волны» М. Коэн приходит к следующему выводу:

> «Мы не склонны переоценивать эти пьесы или движение, которое они представляют... Однако, несмотря на недостатки таких произведений, они знаменуют движение вперед, равно как и рост числа театров, которые будут их ставить. Сегодня на английской сцене гораздо больше реализма и понимания общественной жизни, чем, скажем, лет пять назад».

Мораль или фиговый листок?

Недавно читатели **«Нью-Йорк таймс»** и более сотни других американских газет увидели пространное, на полосу, обращение под заголовком: «Американскому народу: Час пробил. Мы предлагаем ответ. Проснись, во имя господа нашего!»

Далее следовал текст:

> «Америка находится в состоянии войны... Идеологической войны. Мы проигрываем эту войну, потому что не сражаемся. Не сражаются ни республиканцы, ни демократы. Мы слишком беззаботны и беспечны, у нас нет идеологии, с помощью которой мы могли бы встретить идеологического врага. Над Америкой нависла опасность потерять жизнь, над свободным миром — опасность потерять свободу...
>
> Америке нужна идеология. Недостаточно только переменить направление политики. Надо переменить мотивы и характер политики. Нашей нации нужна великая целительная и объединяющая сила.
>
> Мы судим о себе по нашим идеалам. Другие судят о нас по нашему образу жизни. Неверность в семье, извращенность в высших и низших сферах, декаданс в искусстве, классовая война, расовая война, бесчестность становятся отличительными чертами американской жизни. И мы в ответе за это...»

Это обращение написано группой, носящей громкое и маловразумительное название «Моральное перевооружение» и возглавляемой небезызвестным Фрэнком Бухманом. Что ж, надо отдать справедливость сторонникам «Морального перевооружения», в критической части своего обращения они довольно откровенно характеризуют то состояние упадка в сфере идей, политики и экономики, которое сейчас переживает Америка.

Но какой же выход предлагают американскому народу бухманисты? Какими новыми идеями собираются они заполнить идеологический вакуум, образовавшийся в капиталистическом мире, в том числе — в США? Эти «идеи» можно выразить двумя словами — воинствующий антикоммунизм.

Вот что пишет по этому поводу амери-

канский журналист **Д. Мейсон** в статье **«Разжигатели ненависти из «Морального перевооружения» и их ангелы-хранители»**, опубликованной в нью-йоркской газете **«Уоркер»:**

> «Основная тема бухманистской пропаганды состоит в том, что мир с социалистическими странами будет означать гибель Запада. Их пугает самое слово «сосуществование». Они пытаются утверждать, что любое действие в капиталистических странах, имеющее целью запрещение термоядерного оружия, или признание народного Китая, или даже развитие торговых отношений с социалистическим лагерем, содействует осуществлению коммунистического «стремления к мировому господству».

Нетрудно заметить, что единственное содержание и оружие этой новейшей мертворожденной «идеологии» — патологическая ненависть к делам и стремлениям, которыми живет треть человечества, другими словами, неприкрытый, воинствующий антикоммунизм.

> «Мое самое горячее желание,— изрек как-то Бухман,— состоиг в том, чтобы каждый американец под водительством бога свободно сражался за Америку, сражался, чтобы Америка освободилась от тирании греха, от невидимой, но вездесущей силы... Я хочу, чтобы наши сыны, особенно сыны-воины, знали ответ... Да очистит нас от греха нашего кровь Иисуса Христа. Вот открытие, которого жаждут все. Вот ответ, который мы предлагаем».

Не станем вдаваться в вопрос о грехах, о которых толкует Бухман — ему, как говорится, и карты в руки,— но ссылка на «сынов-воинов» и другие подобные намеки звучат зловеще. Что уж там говорить, если даже весьма умеренная «Манчестер гардиэн» охарактеризовала идейки сторонников «Морального перевооружения» как «религию НАТО и СЕАТО». Не случайно также бухманисты, по-видимому, отнюдь не склонны ограничивать свою деятельность пределами США. Мечты уносят их в иные дали, щупальца этого «движения» тянутся к другим континентам — к Европе, к Африке, к Азии, теснейшим образом переплетаясь с колониалистской политикой империалистических государств. Но, кичливо хвалясь своими мнимыми успехами и поддержкой «влиятельных» общественных деятелей, бухманисты поневоле снимают маску и показывают свое истинное лицо. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»,— гласит пословица. Среди «друзей» Бухмана и его приспешников обнаруживаются бесславно кончивший свою карьеру Киси, предатель конголезского народа Касавубу (заявивший, между прочим, что идеология «Морального перевооружения» «дает ключ к освобождению Африки»), Чан Кай-ши и ему подобные.

«Поначалу Фрэнк Бухман занимался эдакой евангелической игрой,— пишет далее Д. Мейсон,— спасая преимущественно души молодежи из буржуазии. Но к середине тридцатых годов, когда капиталистический мир переживал кризис, когда вышел на сцену фашизм в его наиболее реакционной форме, шеф «Морального перевооружения» от спасения душ перешел к спасению мира от коммунизма. Его кумиром стал Гитлер. «Нью-Йорк уорлд телеграмм» от 26 августа 1936 года приводит следующее высказывание Бухмана: «Я благодарю небо за то, что есть такой человек, как Адольф Гитлер, который воздвиг передовую линию обороны против коммунистического антихриста...» После второй мировой войны, говорится в статье, Фрэнк Бухман и «Моральное перевооружение» не забыли своих друзей тридцатых годов. А друзья не забыли их.

В 1953 году западногерманский канцлер Конрад Аденауэр, выразитель устремлений неонацистских милитаристов и монополий, вновь набирающих силы, самолично удостоил Бухмана «Большого креста за заслуги». 10 декабря 1960 года Аденауэр объявил днем сбора средств для «Морального перевооружения». В 1956 году японское правительство наградило Бухмана орденом Восходящего Солнца. В июне прошлого года, после демонстрации протеста против военного договора между США и Японией, Киси заявил: «Если бы не «Моральное перевооружение», Япония была бы сейчас под контролем коммунистов».

Таковы друзья и вдохновители Фрэнка Бухмана, этого новоявленного мессии, пишет «Уоркер». Это по их заказу бухманисты развивают бурную деятельность: созывают конференции, устраивают пропагандистские автопробеги, финансируют кинофильмы и театральные представления, распространяют литературу... В прошлом году бухманисты состряпали брошюрку «Идеология и сосуществование» и разослали ее 60 миллионам американских семей. Это мероприятие обошлось по меньшей мере в 4 миллиона долларов, отмечает «Уоркер».

«Откуда же поступают деньги, которыми оплачиваются колоссальные, исчисляющиеся ежегодно миллионами долларов, расходы? — спрашивает Д. Мейсон.— «Моральное перевооружение» пытается утверждать, что организация «существует на добровольные пожертвования людей всех слоев общества». Но общеизвестно, что «Моральное перевооружение» не имеет достаточного количества членов или сторонников среди народных масс капиталистических стран, чтобы окупить эти огромные капиталовложения.

Поэтому есть все основания согласиться с Бернардом Харрисом, который писал в хорошо информированной лондонской «Санди экспресс»: «Среди организаций, оказывающих финансовую поддержку бухманистам, может быть и государственный департамент».

Том Дриберг, выступивший во влиятельном еженедельнике **«Нью стейтсмен»**, считает, что средства, по-видимому, «поступают из Федерального бюро расследований или из ведомства мистера Аллена Даллеса, которые имеют значительные ассигнования на антикоммунистическую пропаганду; кроме того, возможно, как это не раз случалось в прошлом, что значительные средства поступают от крупных промышленников...»

Не странно ли, что в то время, когда все разумные люди земного шара настойчиво ищут путей к разоружению, к общему миру, бухманисты, прикрываясь маской христианской морали, упрямо твердят о перевооружении? Поистертое же и захватанное словечко «моральное» никого не введет в заблуждение — оно не что иное, как фиговый листок.

Полемика

Алексей Сурков

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ

Двенадцать лет назад литературная общественность на Западе была взбудоражена шумным «делом» о присуждении премии Йельского университета американскому поэту Эзре Паунду. Оно состоялось несмотря на резкое противодействие тех, кто считали этот акт вызовом общественности всех стран мира, боровшихся против фашизма.

Воспеватель Муссолини, все годы второй мировой войны открыто выступавший против союзников как автор фашистских радиопередач для Америки, был посажен своими соотечественниками в клетку, потом перемещен в сумасшедший дом и, находясь там... удостоен в конце концов одной из важнейших литературных премий США.

Но апологетам Эзры Паунда показалось мало того, что этот проповедник истребления миллионов людей прощен, реабилитирован и награжден. До сих пор время от времени в американской печати воздается хвала то поэтическим, а то и... человеческим достоинствам военного преступника. Дело дошло до того, что года два назад в статье, опубликованной журналом «Рипортер», Эзра Паунд выставлялся уже в качестве образца для подражания современной американской молодежи. «Самый молодой из молодых» — так назвал эту статью известный американский критик А. Кейзин. Эзра Паунд — «носитель вечно мятежного духа неувядающей юности», «вечного юношеского нонконформизма», Эзра Паунд — «старый битник»,— так представлял Кейзин Паунда молодым людям Америки, сокрушаясь, что они его мало знают.

Что касается текстов тех самых людоедских радиоречей, где прославлялись гитлеровские конвейеры смерти, то они включаются в издающиеся ныне в США сборники статей и выступлений Паунда без каких-либо оговорок (если не считать рекламную аннотацию на обложке книги, рекомендующую «ум великий, уникальный в нашем поколении»).

В начале нынешнего года свою лепту в «эпопею Эзры Паунда» решил внести и английский критик Ф. Тойнби. Газета «Обзёрвер» опубликовала его статью «Награда по достоинству», которой, как уведомила редакция, открывается дискуссия на тему «Идеи и книги».

В этом до предела путаном и противоречивом выступлении Ф. Тойнби с глубокомысленным видом возвращается к истории награждения Эзры Паунда. Возвращается затем, чтобы не только поддержать сторонников присуждения премии, но и подвести под это постыдное решение, так сказать, теоретический фундамент, поставить вопрос об особой, избирательной морали, по которой якобы действуют люди литературы.

Прежде всего Ф. Тойнби, конечно, декларирует намерение быть предельно объективным и потому начинает с изложения аргументов противников награждения Паунда.

«Поэт — прежде всего человек. Категории поэта, вне его человеческой сущности, не существует. Он не только несет равную со всеми ответственность гражданина — мо-

ральную, социальную и политическую, но и остается человеком даже в процессе творчества». Значит, Паунд не заслуживал премии, тем более что «он был не просто предателем, но предателем-фашистом», а «фашизм не только жестокая, но и вульгарная, ничтожная, ложная доктрина».

Такова довольно убедительно сформулированная Ф. Тойнби позиция тех, кто возражал против присуждения премии Паунду.

Больше того, уже от себя Ф. Тойнби утверждает, что не существует ни одного значительного литературного произведения, вдохновленного фашизмом, отмечает, что поэзия Паунда «хотя и не вдохновлена фашизмом», но «безусловно проникнута отвратительным фанатизмом». И тут же развертывает аргументацию сторонников награждения Паунда, к которой присоединяется и сам.

С величайшей легкостью отрывая автора от его стихов, Тойнби пишет: «хотя премию получает человек, однако должное воздается не ему, а его стихам».

А так как «много прекрасных стихов и романов явились результатом ложного и аморального восприятия жизни», то правы те, кто присудил премию Паунду.

Чтобы основательнее утвердить Паунда на пьедестале лауреатской славы, Тойнби то прячет его за широкие спины Данте и Шекспира, то противопоставляет его Льву Толстому.

И все это делается лишь для того, чтобы в итоге сказать:

«Если в самых трагических обстоятельствах жизни не следует искать злодея, то еще меньше нуждается в изобличении злодеев трагическое искусство».

Мне кажется, что именно в этой куцей «мысли» — квинтэссенция статьи Ф. Тойнби. Мне кажется, что он и обратился к «делу о присуждении премии Паунду» только для того, чтобы (в который раз в истории литературы!) утвердить за писателем право обо всем писать «без похвалы и порицания».

Я ни на минуту не думаю, что Ф. Тойнби получил специальный заказ написать свою статью именно в то время, когда политические «амуры» между правящими кругами Англии и реваншистами из ФРГ дошли до предоставления на территории Соединенного Королевства аэродромов, танкодромов и тренировочных полей для люфт-ваффе, танковых корпусов и пехоты бундесвера.

Никто господину Тойнби такого заказа, наверно, не давал. Но, как истинный выразитель интересов участников политической сделки, он «интуитивно», подспудно почувствовал необходимость на литературном фронте возвратиться к вопросу о реабилитации поэта-фашиста. Косвенно насыщающая статью Ф. Тойнби проповедь забвения и прощения, рекомендации отказаться от самой идеи осуждения «виновника и злодея» и в жизни и в литературе — это как бы амортизационные подушки, призванные смягчить удары, наносимые морали и памяти англичан, еще не забывших ужаса бомбардировок, еще оплакивающих дорогих покойников, погибших у Дюнкерка, Тобрука, Эль-Аламейна и в Арденнах от руки друзей поэта-лауреата.

Господа, подобные Ф. Тойнби, любят противопоставлять свои интуитивные «прозрения» железным закономерностям хода истории.

Если бы они хотя бы на минутку встали на почву сопоставления фактов литературной жизни с соответствующими им фактами общественной и политической жизни, то они бы увидели не только обусловленность возвращения к теме Эзры Паунда в 1961 году. Они бы особо оценили то обстоятельство, что премия Йельского университета была присуждена фашистскому подпевале-предателю как раз в ту пору, когда в так называемом «свободном мире» обнаружилось стремление объединить под эгидой НАТО и немецких фашистских недобитков-реваншистов, и испанских и португальских фашистов, и всякую иную черную шваль со свалки истории.

Выступление Ф. Тойнби — отнюдь не единичная в культурной жизни Западной Европы последнего времени попытка вознаградить «достоинства» фашистов. Так, недавно известный английский кинорежиссер Дж. Ли Томпсон снял в США картину, возвеличивающую убежденного фашиста, создателя самолетов-снарядов «Фау-2», разрушавших во время войны города Англии и унесших жизни тысяч англичан,— Вернера фон Брауна.

Возмущение английской общественности поступком режиссера было настолько велико, что Дж. Ли Томпсону пришлось выступить на страницах журнала «Филмз энд филминг» с открытым письмом, в котором он объяснял соотечественникам свои мотивы.

Смысл этих объяснений сводился к тому, что Браун — гениально одаренная личность, таких людей не судят, гений имеет право на «эксперимент», не задумываясь над его последствиями.

Как видим, урок Дж. Ли Томпсона ничему не научил Ф. Тойнби. В своих рассуждениях об Эзре Паунде он воспроизводит точно ту же схему реабилитации — то же утверждение безответственности и неподсудности «гения», его права стоять выше человечности и человечества, выше морали, по ту сторону добра и зла.

В нашей печати уже комментировалась скандальная история присуждения очередной Гонкуровской премии во Франции сбежавшему из Румынии фашисту, железногвардейцу Винтиле Хориа, нашедшему убежище во франкистской Испании. Этот фашистский ублюдок при режиме Антонеску возносил до небес «победы» и «достижения» Гитлера и Муссолини, поносил противников фашизма, в том числе и Францию. И вот в 1960 году, когда на французскую землю в Мурмелоне вступили первые подразделения бундесвера, жюри Гонкуровской премии, присуждаемой, как правило, французским писателям, отдает ее литературно ничтожной книжке румынского эмигранта-фашиста.

После того как «Юманите» разоблачила новоявленного «лауреата», даже самая реакционная пресса, вплоть до «Орор» и «Фигаро», вынуждена была выступить против «вызывающих отвращение» писаний Винтилы Хориа. Тогда жюри, добившись окольными путями отказа фашиста-лауреата от оказанной ему чести, успокоилось на том, что в 1960 году Гонкуровская премия никому не была присуждена.

В свете этого «прискорбного события» понятна яростная реакция франкистского еженедельника «Эстафета литерариа», обрушившего на голову незадачливого жюри поток почти площадной брани.

Все это, как говорится, было бы смешно, если бы не было грустно. До какой же степени моральной неприхотливости надо было дойти некоторым членам жюри Гонкуровской премии и поборнику «чистого» искусства Ф. Тойнби, чтобы через пятнадцать лет после окончания второй мировой войны, в обстановке, когда побежденные в этой войне силы наглеют не по дням, а по часам, вылезти с прямой поддержкой литературных подпевал реваншистских кругов!

Конечно же, те, кто сегодня во имя размещения своих военных баз на территории Испании морально и материально поддерживают гнилой режим Франко, были довольны решением о присуждении Гонкуровской премии фашисту Винтиле Хориа и возмущались неожиданным скандальным оборотом этого грязного дела.

Конечно же, политикам во Франции и Англии, широко открывающим объятия перед гитлеровскими недобитками из штабов НАТО и бундесвера, приятно читать в статьях г-на Ф. Тойнби и ему подобных аргументы в защиту Эзры Паунда и заклинания о вреде «поисков злодеев».

Социальный заказ и в том и в другом случае исходил от темных сил, которые хотели бы лишить человечество памяти о недавних преступлениях фашизма, притупить в молодых сердцах протест против смертельно опасного для человечества заигрывания с теми, кто дважды на протяжении жизни старшего поколения европейцев втягивали его в гибельные военные авантюры во имя циничных интересов исторически изживающего себя капитализма.

Не рядитесь, господа тойнби, в белоснежные одежды защитников свободы воли художников и всяческих причуд их морали. Очень уж заметны причины вашего рвения.

Мы, советские писатели, воспитаны в святом чувстве единства художнической и общественной морали. Высоким образцом цельности морального и гражданского облика писателя для нас остаются люди, подобные Николаю Островскому и Дмитрию Фурманову. Сегодня, накануне двадцатилетия начала Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками, нам особенно противно читать ваши предательские разглагольствования. Светлая память о Юлиусе Фучике и Мусе Джалиле, казненных гитлеровскими палачами, живет в наших сердцах. Как высокий образец выбора и дей-

ствия стоит перед нами судьба чудесного советчика миллионов советских детей Аркадия Гайдара. Мальчиком ушел он на Гражданскую войну. С первых дней Великой Отечественной войны Гайдар был среди защитников родины и, оказавшись во вражеском окружении, вступил в партизанский отряд, доблестно сражался и погиб на боевом посту у пулемета, отбивая огнем вражеские атаки.

Юрий Крымов, Захар Хацревин, Сергей Диковский, Борис Лапин, Борис Левин, Владимир Ставский, Джек Алтаузен — больше трехсот наших друзей, с которыми мы, тысяча советских писателей, ушедших на фронт с первых дней войны, вместе работали и воевали, погибли на поле боя. Мы помним их и как зеницу ока храним в сердцах слова, завершающие «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика: «Люди, я любил вас, будьте бдительны!»

Мы можем простить раскаявшегося и разоружившегося вчерашнего врага, пересилив свои горькие воспоминания. Но мы никогда не забудем того, что может сделать нераскаявшийся, затаившийся враг, и мы никогда не забудем, вслед за господином Тойнби и ему подобными, что друг есть друг, а враг есть враг. Мы будем считать своей непременной обязанностью искать злодея-виновника до тех пор, пока он живет на земле и ждет не дождется момента, когда вновь сможет напасть на простодушных обывателей, убаюканных псевдогуманистическими разглагольствованиями адептов забвения и всепрощения.

Бэзил Дэвидсон

АФРИКА ПРОБУДИЛАСЬ

Да, Африка пробудилась, это настолько очевидно, что даже говорить так — значит повторять избитую истину. Тем не менее множество людей у меня на родине (а вероятно, и в некоторых других странах) неверно понимают смысл этих слов. Такие люди как будто говорят себе: «А-а! Значит, африканцы пробуждаются, давно пора!» Говорят так, словно африканцы никогда прежде не бодрствовали, а изо дня в день, из века в век лежали, растянувшись на теплой африканской земле среди термитов и пауков, и спали, спали, спали...

В наши дни нетрудно понять, почему столько людей за пределами Африки рисуют себе пробуждение национального сознания африканцев и их стремление к независимости именно так. Ведь идея «оцепенелости Африки» лежала в основе всех представлений об этом континенте, которые культивировал европейский империализм: она, так сказать, была «подтекстом» авантюрного империалистического романа. Эта идея заключается в том, что африканские народы так и не стали «взрослыми», что они —«дети», далеко отставшие от остального человечества в гонках, где призом служат цивилизация и главенство на земле. Короче говоря, африканцы объявлялись «первобытными и дикими» людьми, которые не способны сами помочь себе, а потому нуждаются в империалистической «опеке» (за каковое благо они «по справедливости» должны платить дешевой рабочей силой и подчиненным положением). Бывший британский губернатор восточноафриканской колонии Кении недавно очень четко сформулировал эту мысль, написав, что африканцы «столь первобытны, что по отношению к цивилизации они представляют собой чистый лист бумаги». Таких высказываний можно было бы привести еще много. С подобной точки зрения, задача Европы заключалась в том, чтобы вписать в этот девственно чистый лист европейские идеалы.

Это империалистическое толкование опиралось на глубочайшее искажение истории Африки. Империалисты попросту ставили истину с ног на голову. Разрешите сослаться на характерный пример. Пятьдесят лет назад британский империалист сэр Гарри Джонсон так изложил свое мнение о прошлом Африки и о роли в нем португальцев. «Бесспорно,— писал он,— португальское влияние вызвало немало замечательных перемен по всему западноафриканскому побережью и в южной части бассейна Конго: благодаря ему возникли организованные королевства, оно стимулировало торговлю, а его последствия для населения были, пожалуй, менее ужасны, чем анархия, господствовавшая в племенах дикарей-людоедов». Однако в наши дни не приходится сомневаться, что на самом деле все обстояло как раз наоборот. Португальцы вовсе не «стимулировали» образование в Конго государств, а открыли их в пору расцвета и затем уничтожили.

Таким образом, хотя Африка действительно пробудилась, ее сон отнюдь не тянулся «с незапамятных времен». Современная Африка пробуждается, словно человек, который приходит в себя после того, как его ударил кастетом по голове бандит или же

сбил в канаву сумасшедший шофер-лихач. Американский поэт негр Лэнгстон Хьюз, обратившись к более мягкому сравнению (что вполне естественно, так как Африка — удивительно кроткий континент, вопреки всем легендам, утверждающим обратное), прекрасно сказал в своем знаменитом стихотворении об Африке: «Сонный великан, прилегший отдохнуть...» Другими словами, пробуждение, свидетелями которого мы являемся,— это лишь пробуждение от недолгого сна. Вот почему оно сопровождается не только жгучим негодованием против несправедливости, от которой так долго страдали и все еще страдают африканцы, но также яркими и славными воспоминаниями о прошлом, когда у Африки не было иного хозяина, кроме нее самой.

Для современных африканцев история континента приобретает все большее значение, так как она дает им в руки сильное оружие против империалистических утверждений о «неполноценности» африканцев. Ложь, говорят они, будто мы пришли к цивилизации с пустыми руками. Ложь, будто у нас не было ничего своего. Миф, будто мы никогда прежде не встречали жизнь лицом к лицу, не принимали ее вызов и не решили победоносно задачу — как выжить на этом континенте и освоить его. Наоборот, именно мы засслили этот безграничный край буйных лесов и убийственных лихорадок, пылающих степей и суровых равнин. Это мы научились взращивать съедобные злаки в здешних тяжелых условиях. Это мы первыми открыли недра Африки и стали добывать золото, медь и железо, которыми потом завладели вы, европейцы. Это мы нашли наши собственные решения задач, которые жизнь ставит перед человеческим обществом...

Именно это осознание прошлого Африки, которое достойно ее настоящего, и лежит в основе таких, казалось бы, неясных терминов, как «африканская личность». Это — представление об африканце как об «исторической личности», а не о безликом дикаре, как о мужчинах и женщинах, чье право на равенство с остальным человечеством опирается не только на биологические или философские категории, но и на их собственные достижения.

Я считаю, что, только помня об этом, можно понять истинный смысл слов «Африка пробудилась». Иначе все то, что теперь думают, говорят и делают африканцы, покажется неожиданным и необъяснимым. Я убежден, что, не постигнув этой особенности современной Африки, нельзя «настроиться на волну» современной национальной мысли и политики этого континента. Кроме того, можно ли дать иное объяснение быстроте, с которой Африка находит решение труднейших проблем в новых и острых ситуациях, целеустремленности и мощи африканских массовых организаций, гибкости и действенности африканских переговоров как с друзьями, так и с врагами? Вот почему я утверждаю, что разумная переоценка истории Африки приобретает в наши дни первостепенное значение, все равно, идет ли речь об историках, археологах или антропологах. Ибо современную (а следовательно, и будущую) Африку следует рассматривать не только в свете ее европейского прошлого, то есть колониализма, но также и в свете ее африканской доколониальной истории.

Признаюсь, я сам очень долго не мог этого понять. Когда я впервые посетил Африку, у меня, так же как у многих моих соотечественников (да, наверно, и у жителей любой другой страны), голова была набита всякой чепухой. Мне казалось, что я понимаю, какое это зло — колониализм (как для колонизуемых, так и для колонизаторов), но тем не менее я еще свято верил в существование некой абсурдной «дикарской Африки». «Наша величайшая задача — оказать африканцам дружескую поддержку,— думал я,— ибо, к несчастью, они не способны сами помочь себе. Мы должны помочь им. Показать им путь. Облегчить его, ибо они еще нетвердо стоят на ногах и только-только учатся ходить». Да, я честно признаюсь, что думал именно так. Но если уж на то пошло, кто не был грешен?

Однако личное знакомство с Африкой научило меня другому. Я бродил по Африке, пытаясь на практике «оказывать дружескую поддержку и показывать путь», но с грустью обнаружил, что эти мои идейки не встречают ласкового приема. Постепенно я пришел к выводу, что дело, пожалуй, не так просто, как мне казалось. Не то чтобы африканцам нечему было учиться или они не хотели учиться — наоборот, им пред-

стояло учиться весьма многому, и они первые были готовы это признать. Так в чем же я был неправ? И вот однажды, находясь в Медном Поясе Северной Родезии, я наконец понял все.

Не случилось ничего особенного. Я хотел увидеться с одним моим африканским другом, который принадлежал к числу руководителей тогда еще только зарождавшегося национального движения в Северной Родезии. Но он работал под землей на одном из медных рудников, и поэтому его было нелегко застать дома. Наконец с помощью множества посредников мы уговорились встретиться в «локации» (так на местном жаргоне называются африканские поселки, в которых европейцам жить не разрешается и которые они обычно не посещают) днем, перед тем как он уйдет в вечернюю смену.

Мы встретились в условленном месте и пошли рядом по грязной дороге. Это было не особенно удобно: при существовавшей ситуации приезжему англичанину и рудокопу африканцу незачем было ходить вместе по дорогам, «если только они не замышляли что-нибудь преступное». Поэтому мы отправились в дом его зятя, в прохладную тихую хижину с соломенной крышей и чисто подметенным глиняным полом, и уселись там в деревянные кресла с холщовыми сиденьями, которые в Европе называются «шезлонгами». Мы обсуждали с ним сложившуюся ситуацию: растущую силу профсоюза африканских рудокопов и одновременный рост национального движения, которое в один прекрасный день должно было стать базой для организации демократического управления страной. Я тут же пустил в ход свои излюбленные идеи. Он некоторое время слушал, улыбаясь моей наивности, а потом стал говорить сам. И вот, слушая его, я наконец понял все.

Что именно — вы уже знаете. Все это я рассказываю, чтобы объяснить эволюцию моих собственных взглядов. Этому силачу с изрезанным морщинами лбом не нужно было ни руководство, ни «показывание пути». Он понимал положение лучше меня. Он видел, чего не хватает его соотечественникам, он понимал, в чем они нуждаются, он и его друзья создали профсоюз рудокопов, теперь они возглавляли национально-освободительное движение. И от меня и мне подобных им были нужны не советы, а активная поддержка, которая помогла бы свободно идти к целям, для них совершенно ясным. Моя задача — «показывать путь» не африканцам, а европейцам. Беда заключалась не в том, что африканцы погружены в дремоту, а в том, что европейцы упорно закрывают глаза на факты XX века. Когда наша беседа окончилась, я вышел из полумрака хижины под палящее, ослепительное солнце Центральной Африки и заморгал глазами — наверно, я тоже наконец проснулся.

С течением времени я узнал, в частности, какие трудности и препятствия стоят на пути Африки к пробуждению. Я узнал, например, сколько приходится африканцам расходовать внутренних резервов, сил и умственной энергии, чтобы установить связь с внешним миром. Как это происходит, я хотел бы показать на двух примерах. Первый случай имел место в Бельгийском Конго (тогда оно еще было бельгийским), а второй — во Французском Судане, который теперь стал независимой республикой Мали. Происшествия, о которых я расскажу, для африканцев были только частью повседневной жизни колониальной Африки, но мне они открыли многое.

Несколько лет назад я путешествовал по Бельгийскому Конго. Как всем известно, это — обширная страна с относительно небольшим населением. Она раскинулась в Экваториальной Африке на огромной территории, примерно равной пространству от Польши до западного берега Франции. Но две трети ее четырнадцатимиллионного населения рассеяны по глухим лесным деревушкам и речным рыбачьим поселкам. Добраться до них нелегко. Приходится долго путешествовать. Можно, конечно (теперь это просто), лететь самолетом, но тогда вы увидите далеко внизу только окутанный туманной дымкой зеленый ковер лесов Конго, прорезанный серебристыми нитями множества рек. По земле же вы можете какое-то расстояние проехать по лесным дорогам — при условии, что дожди будут к вам милостивы, — или же по железной дороге, трясясь в старых вагончиках за паровозом, который отапливается дровами. Но и таких дорог очень мало. И наконец (этот способ наиболее приятен) вы можете пуститься в путешествие на речном пароходике — при условии, что располагаете достаточным

временем (впрочем, если вы им не располагаете, вам вообще не удастся путешествовать по Конго) — и проводить долгие дни и ночи на узкой палубе под тентом, пока тупой нос потешного старичка «Барона Дельбека» или одного из его братьев неторопливо режет коричневые воды реки, словно поездка эта будет длиться вечно.

Я испробовал все эти способы и таким образом многое повидал в Конго и на суше и на воде. Я видел рудники и фабрики. Я проезжал через деревни. Я беседовал со многими европейцами. Но через несколько недель я почувствовал себя обескураженным, потому что мне не удалось побеседовать с африканцами, если не считать нескольких случайных разговоров. Конголезцы жили в мире, отделенном стеной от того, по которому путешествовал я. Их можно было видеть, можно было наблюдать, но завязать с ними разговор оказалось необыкновенно трудно.

Вот, скажем, десятник на руднике, командующий глубоко под землей группой забойщиков, или крановщик в маленькой будочке высоко над рудником, или покрытый пылью водитель на могучем бульдозере — с ними было бы интересно поговорить, но как их зовут? «О, так-то и так-то»,— отвечал сопровождающий бельгиец (рядом со мной почти всегда бывал сопровождающий бельгиец). Мне хотелось бы с ними познакомиться. «Разумеется, это совсем не трудно». Сперва такие ответы меня очень обнадеживали, но потом я узнал им истинную цену. Да, вы могли познакомиться с десятником и забойщиком с рудника, с крановщиком. Могли пойти к ним домой. Сидеть с ними за столом и задавать им вопросы (и даже язык не создавал непреодолимых трудностей, так как обычно они могли объясняться по-французски). Да, конечно, но все это время рядом, словно ядро, привязанное к ноге каторжника, присутствовал бельгиец, европеец, правительственный служащий... В конце концов я сдался, а ведь я вовсе не искал каких-нибудь секретных сведений — нет, я мечтал только об откровенном и правдивом разговоре. Но эта мечта так и осталась мечтой.

Когда я наконец добрался до Леопольдвиля, я сказал главе департамента по туземным делам (африканцев тогда еще называли туземцами): «Это нелепо. Я должен хотя бы познакомиться с людьми интеллигентного труда. Нельзя ли хоть это устроить?» Ну, разумеется, устроить это было можно. «Нет,— ответил я,— только не так, на этот раз я хочу отправиться в туземную «локацию», где живут африканцы, и побродить там в одиночестве». Такая неслыханная мысль их несказанно шокировала. Невозможно! Ведь для этого требуется пропуск. А пропуск выдают, только когда соблюдаются правила. Но о каких правилах можно говорить, если приезжий европеец, да еще писатель, намерен бродить где ему вздумается?

Однако они это все-таки устроили. И то, что произошло в тот вечер, может, я полагаю, рассматриваться как символ всей системы колониального управления, в данном случае бельгийского. На мой взгляд, этот эпизод как в капле воды отражает всю нелепость ситуации, сложившейся в Конго в 1960 году непосредственно перед дарованием ему «независимости». Итак, я попал в эту туземную «локацию», но, разумеется, не один — о, совсем нет! Меня сопровождали два чиновника и одетый в штатское полицейский. Встреча была в полном смысле слова «устроена». Она произошла в жалком домишке, который с бюрократической наглостью именовался школой. Нас ждало там человек двенадцать африканцев (их сумели привести туда «вовремя»).

Мы сели. Африканцы тоже сели на скамьи, которые днем занимают школьники, а три бельгийца и я вместе с ними расположились за столом учителя. Мы смотрели друг на друга — африканцы и европейцы, «взрослые» и «дети»,— и мне предложили задавать интересующие меня вопросы. Я приложил все силы, чтобы этот глупый фарс кончился как можно скорее. Я, разумеется, не мог задавать вопросов, которые в какой-то мере бросили бы тень на бельгийский колониализм, и уж конечно у африканцев не было возможности ответить на них откровенно, даже если бы я их задал. А что еще могло представлять интерес в такое время и в таком месте?

Сопоставьте этот эпизод, который дал мне возможность воочию увидеть стену, воздвигнутую между конголезцами и внешним миром, и следующее заявление одного из руководителей крупнейшей бельгийской горнопромышленной компании — и проблема станет вам ясна во всем ее объеме. Я спросил у этого человека в Брюсселе, почему

Бельгия не разрешает конголезцам учиться в Европе. Он ответил: «Я решительно против того, чтобы они приезжали сюда. Дело в том, что здесь (в Европе) с этими африканцами будут обходиться как с друзьями, тогда как в Конго ничего подобного нет. А потом они станут политическим бременем... Африканцы еще не готовы для независимости, они — дети, которым еще надо вырасти». А всего лишь несколько лет спустя в Конго вдруг оказалось множество африканцев, которые отлично знали, что им нужно, и хорошо понимали свое положение в мире.

Этот постоянный рост африканского политического сознания и готовности к действию вопреки всем трудностям и препятствиям может быть проиллюстрирован и вторым примером. В этом случае мне удалось проломить стену колониализма.

Произошло это далеко к западу от Конго, в Бамако, тогдашней столице французской колонии Судан, и тоже несколько лет назад. Бамако — великолепный город народа бамбара, построенный в среднем течении реки Нигер. Он тесно связан с великими городами старого Судана — с Дженне, Тимбукту и Гао. И там вы можете встретить людей из любого района Западной Африки — одетых в белое бамбаров и малинке, хауса из Нигерии, жителя Сахары — туарега в голубом одеянии, фуллаха с миндалевидными глазами, добравшегося сюда с южных гор Фута-Джаллона и равнин Масины,— представителей множества народов и племен, история которых с незапамятных пор сплелась в один клубок здесь, в Западном Судане. И повсюду в этом широко раскинувшемся городе из желтых домиков можно бродить по улицам и без конца разговаривать о прошлом, настоящем и грядущем.

Так было даже в дни колониализма, но только при двух условиях: во-первых, если вам удавалось найти людей, с которыми вы хотите говорить, и, во-вторых, если вам удавалось поговорить с ними, не привлекая нежелательного внимания полиции. То есть те же самые условия, что и в Конго, где они оказались для меня невыполнимыми. На этот раз, однако, как я уже сказал, мне повезло. Но это целая история, и она послужила для меня еще одним уроком.

К счастью, мне была известна фамилия ведущего профсоюзного деятеля, который жил в Бамако, и я вез с собой рекомендательное письмо к нему от его друга в Дакаре. Кроме того, я знал фамилию одного суданца — видного деятеля национально-освободительного движения. Отлично, можете вы сказать, значит, оставалось только выбрать удобное время и отправиться к ним.

Однако погодите, это было совсем не так просто. Во-первых, в те дни в Бамако не существовало названий улиц и нумерации домов, если не считать небольшого европейского квартала в центре города. Что же оставалось делать? Взять такси? Но в ге дни шоферы такси были не слишком надежны. Обратиться к колониальным властям? Да, конечно, но ведь тогда они дали бы мне провожатого, и моя затея снова свелась бы к напрасной трате времени.

На этот раз я мог провести в Бамако лишь несколько дней и поэтому был зол и обескуражен. Как-то утром я отправился в кафе, заказал бутылку вина и стал разглядывать прохожих. Должен же быть среди всех этих людей человек, который может объяснить мне, как найти тех, кого я искал. Но кому можно довериться в подобном случае? Однако в конце концов, видно, без этого не обойдешься. Официант производил симпатичное впечатление.

— Послушайте, мне нужно увидеться с Абдуллой Диалло.

Официант повернул ко мне каменное лицо. Глаза у него были совсем пустые. Я сказал:

— У меня к нему письмо. Если хотите, прочтите.

Он взял записку и прочел ее. Она была написана по-французски и лишь коротко меня рекомендовала. Кончив читать, официант снова бросил на меня ничего не выражающий взгляд, но записки не вернул, а сказал только:

— Подождите.

После чего он вышел на улицу и остановил первого попавшегося велосипедиста. Заметьте — первого попавшегося. Он что-то сказал этому велосипедисту, который затормозил так резко, что прямо упал на руль, а затем отдал ему записку. Потом он вер-

нулся в кафе, молча прошел мимо меня и начал мыть грязные стаканы. Шли минуты. Протекло полчаса. Миновал час. Я совсем приуныл — очевидно, еще один просчет. Но тут я поднял голову и увидел, что в кафе вошли трое африканцев. Среди них — тот велосипедист. Они подошли к моему столику. Теперь настал мой черед сделать каменное лицо, но они заулыбались, и один из них сказал:

— Вы хотите встретиться с Диалло?

— Да.

— Тогда, может быть, вы согласитесь немного пройтись?

Мы шли минут двадцать, миновали европейский квартал, пошли по пыльным улочкам африканского города, то и дело поворачивая; мои спутники обменивались приветствиями то с одним, то с другим прохожим, мы проталкивались сквозь толпу рыночных торговцев и покупателей. Было невыносимо жарко. Наконец мы оказались перед одноэтажным глиняным домиком и вошли в полутемную комнату. Из-за стола поднялся какой-то человек.

— Диалло,— представился он.— Садитесь. Вы, наверно, очень устали от прогулки по такой жаре.

Вот так я вышел или, вернее, так африканское национальное движение помогло мне выйти из затруднения в Бамако. Мне еще не приходилось встречаться с таким блестящим подтверждением старой истины: когда весь народ поднялся на борьбу, можно доверять почти каждому встречному. Конечно, в пределах благоразумия, ибо история эта имеет продолжение. На следующий день я отправился повидать руководителя африканского национального движения, чья фамилия также была мне известна. Теперь это оказалось очень просто: у меня были хорошие провожатые. Они зашли за мной в гостиницу, и мы поехали дальше на такси. Мамаду Конате, депутат от Бамако, принял меня в своем доме в африканской части города, и между нами завязалась беседа. Очень приятная дружеская беседа, во время которой Конате, крупный деятель Демократического объединения Африки — главной партии африканского национально-освободительного движения во франкоязычной Западной Африке,— рассказывал мне о политике своей партии и о ее целях. Я вернулся в гостиницу очень довольный. Теперь, по крайней мере, я знал, что думают в Бамако африканские политические деятели об основных вопросах политической жизни и национальной независимости своей страны.

Когда, вернувшись в гостиницу, я шел через вестибюль, меня окликнула девушка, сидевшая за конторкой.

— Вам звонил полицейский комиссар, он был бы рад видеть вас. Когда вам угодно, но лучше бы сегодня.

Лучше бы! Я отправился туда немедленно. Бывает хуже, если этих людей заставляешь ждать.

Комиссар оказался пожилым человеком с усталым лицом и седыми волосами. На нем были чистая белая рубашка и шорты и, конечно, надлежащие знаки его высокого чина.

— Мой друг,— начал он,— я знаю, где вы были. О, пожалуйста, не беспокойтесь и не рассказывайте мне, о чем вы говорили с этими людьми,— он постучал по своему письменному столу.— Это все у меня вот здесь. Я все это знаю. Я хотел бы предупредить вас, мой друг, чисто по-дружески, что вы зря тратите время. Эти люди только собьют вас с толку. То, что они говорят и делают, не имеет ни малейшего значения.

Чтобы избежать возможных недоразумений относительно того, кто, что и кому говорил, я позволю себе досказать эту историю до конца. Я уехал дня через два — так или иначе мне все равно надо было уезжать — и, прощаясь с двумя-тремя африканскими друзьями в аэропорту, сообщил им о моем разговоре с комиссаром:

— Я считал, что вам следует это знать — кто-то шпионил за нами.

Они засмеялись:

— Да, да, мы знаем. Мы знаем, кто это был. Один из тех, кто стоял перед домом Конате, когда вы там находились. Не беспокойтесь, это не имеет никакого значения.

Я с некоторой обидой заметил, что они могли бы по крайней мере предупредить меня. Но мои провожающие только снова засмеялись.

— Извините нас,— сказали они,— но мы дорожим шпионами, которые нам известны...

В прошлом году я снова посетил Бамако, теперь уже столицу независимой республики Мали. Какая колоссальная разница! Внешне город остался прежним: все та же мозаика из глиняных домиков на берегу сверкающего Нигера, все те же толпы покупателей и продавцов на рыночной площади, словно никто и не уходил оттуда за все эти годы. Но на самом деле многое изменилось. На этот раз мне не довелось встретиться ни с Абдуллой Диалло, ни с Мамаду Конате. Первый стал постоянным представителем в Гане и имеет ранг посла. Это умный, проницательный человек, который предпочитает простоту роскоши. Я встретился с ним за несколько дней до этого в Гане, и мы весело посмеялись над историей моего первого посещения Бамако.

Мамаду Конате, к несчастью, уже умер, однако новое правительство в Бамако, куда входят его старые товарищи по Демократическому объединению Африки, его не забыло. О нем вспоминают с гордостью, в его честь названа улица в Бамако. Он — один из основателей независимой республики Мали. А всего несколько лет назад колониальный чиновник назвал Диалло и Конате «людьми, не имеющими значения».

Я мог бы рассказать еще много подобных историй, но это было бы утомительно. Кроме того, и рассказанные два эпизода достаточно иллюстрируют мою мысль, что возрождение Африки пришло из самой Африки — к тому же вопреки множеству искусственных препятствий, создаваемых колониалистами. Стоило африканцам увидеть возможность такого возрождения, стоило им добиться хоть некоторой свободы для развития своих идей, они воспользовались этим в полной мере. С моей точки зрения, факты подтверждают, что успехи и развитие Африки сейчас, во второй половине XX столетия, лишь восстановление тех достижений и успехов эпохи независимости, которые были попраны колонизаторами. Вот почему, как я уже говорил в начале этой статьи, правильное понимание прошлого Африки совершенно необходимо для верной оценки ее настоящего. Без такого понимания нельзя получить точное представление ни о сильных, ни о слабых сторонах африканского национального движения. Кто стал бы оценивать какое-нибудь европейское политическое движение, не рассматривая ни его истории, ни истории народа, с которым оно связано?

Нельзя также забывать еще один важный момент. Если верно, как я утверждаю, что национально-освободительное движение в современной Африке представляет собой не только борьбу за человеческое достоинство и самоуважение, но и возвращение к эпохе независимости доколониальной Африки, значит верно и то, что этому движению приходится вносить поправки в свои идеалы, учитывая уровень развития современного мира, в котором африканцы по праву требуют для себя равенства и независимости. Но это не всегда просто. Слишком долго были африканцы отрезаны от остального человечества барьером колониального режима. Разумеется, империалистическим странам очень хотелось бы убедить (или заставить) африканские народы, так недавно добившиеся независимости, по-прежнему «следовать примеру» Англии, Франции или Бельгии. Так, история Конго за последний год с чрезвычайной наглядностью показывает, как отчаянно старались и стараются бельгийцы сохранить за собой свои особые права и привилегии, свое влияние в этой стране.

Можно с полным основанием сказать, что большинство населения Конго хочет лишь одного — законности и правительства, достойного уважения, иными словами африканского правительства, которое предусмотрит в определенных рамках местную автономию и уничтожит последствия удушающего правления бельгийских колонизаторов.

Стенливильские сторонники Лумумбы — единственная политическая группировка, стоящая за подлинную политическую независимость, во имя которой Лумумба (каковы бы ни были его просчеты) не прекращал борьбы до последнего часа своей жизни. Независимость была и остается делом первостепенной важности для большинства конголезцев. Именно потому и убили Лумумбу, что, если бы он остался жив и сумел

соединиться со своими сторонниками или они успели бы его спасти, планам бельгийских колонизаторов грозил бы неминуемый провал.

Вот каково в общих чертах соотношение сил в Конго: в одном лагере сторонники Лумумбы, защитники подлинной независимости страны. В другом — Чомбе и Касавубу (и более мелкая сошка вроде Калонжи), прямо зависящие от бельгийских субсидий и «советов». Между ними мечется и весьма двусмысленно действует миссия ООН в составе нескольких советников-специалистов по африканским вопросам и совсем небольшого числа высших должностных лиц. При сложившемся положении вещей можно ждать лишь продолжения и дальнейшего углубления кризиса.

Африканское — в том числе конголезское — национально-освободительное движение не примет «опеку» колонизаторов, как бы ни маскировали ее вежливыми словами и денежными дарами. Сила этого движения именно в том, что африканцы поняли: необходимо сломать все колониальные барьеры.

Вот почему многие мыслящие африканские националисты говорят: «У нас есть свои собственные идеи, унаследованные от прошлого. Но мы должны также научиться новым идеям индустриального мира, в который теперь завоевали право вступить. Поэтому нам нужно хорошенько осмотреться. Мы должны понять, как решали эти проблемы другие народы. Мы должны выбрать решение, которое нам больше всего подходит». Именно это лежит в основе африканских заявлений о «нейтральности и неучастии в союзах» да еще мысль о том, что Африка с ее долгой историей достойна такого авторитета, имеет такое влияние, что может решать свою судьбу сама.

И она решает.

Я снова вспоминаю Бамако, каким видел его в прошлом году. Он лежит в глубине Западной Африки и почти со всех сторон окружен странами, в которых Франция все еще сохраняет сильное и даже господствующее влияние. Однако Мали, избрав путь не только политической, но и экономической независимости, не сходит с него. Утверждения, что этому государству следует «брать пример» с кого-либо, отброшены и забыты. В гостинице «Гранд-отель» в Бамако я встретил в прошлом году американскую экономическую миссию, а первый этаж этого отеля уже занят американским посольством. Но в том же самом отеле и в то же самое время находилась также и советская экономическая миссия, а министры правительства Мали, отвечая на вопросы о своих намерениях, говорили: «Сосуществование. Сосуществование на практике. Мы верим в сосуществование».

Кто рискнет сказать, что Африка не пробудилась?

Лондон

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Казнь в развалинах гетто. Акварель.

М. Силич

КАМНИ КРИЧАТ

Города, как страны и люди, их населяющие, имеют свой облик. В искусстве каждого народа запечатлен этот облик его городов; оно показывает, как меняются города в зависимости от перемены настроений природы, от смены событий в человеческом обществе.

Мы знаем величаво-добродушную Москву Юона и настороженно нахмурившуюся Москву Дейнеки, гневный, горящий Великий Новгород Кукрыниксов, выстоявший военный Сталинград...

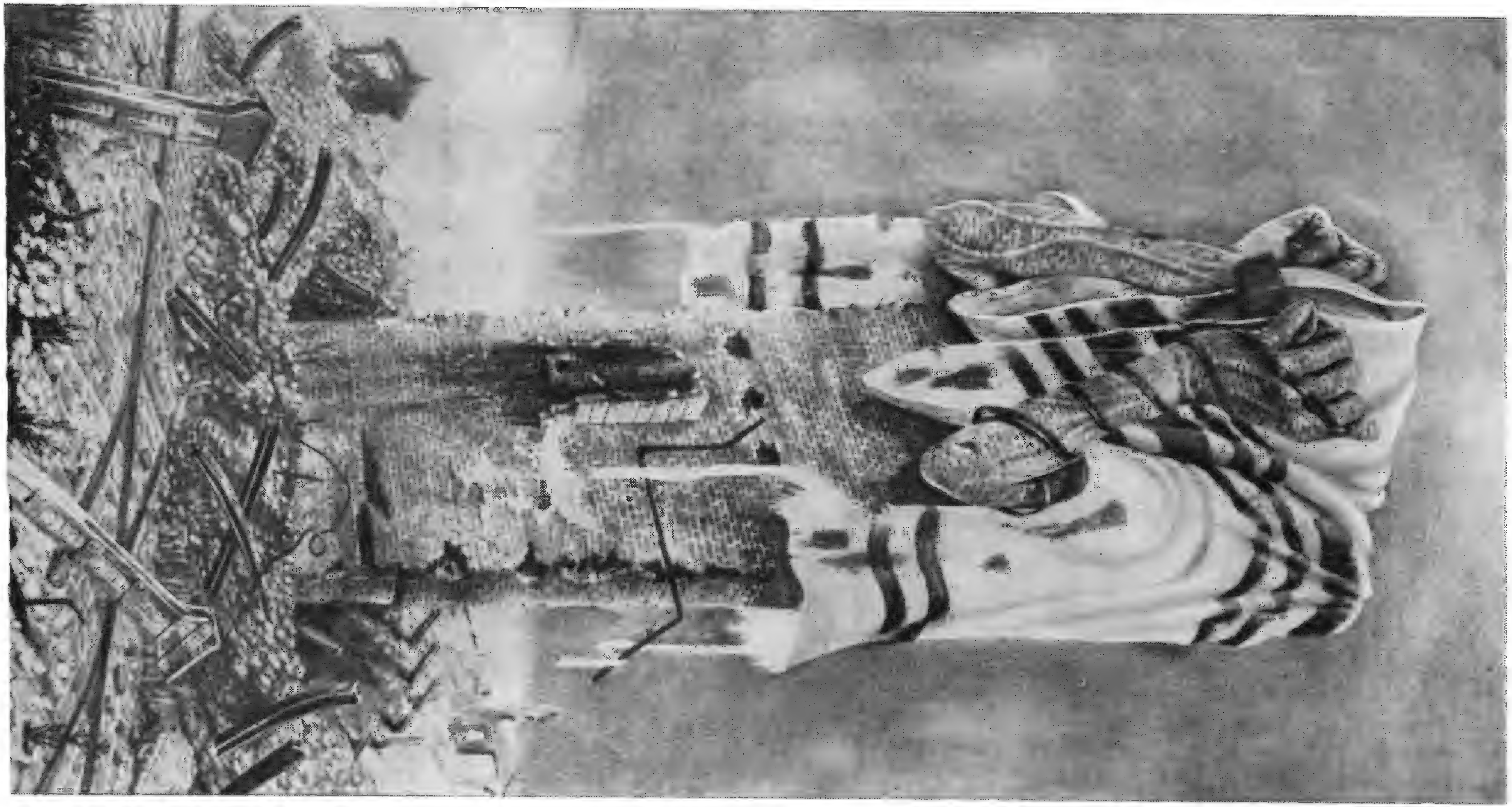
Польский художник Бронислав Линке в серии акварелей и рисунков тушью «Камни кричат» показывает лицо Варшавы, которая сражается, страдает и возрождается из руин.

Изувеченное тело города — его камни — и борющуюся, несдавшуюся фашизму душу — жителей Варшавы показывает нам Линке. И в его изображении камни Варшавы кричат: «Люди, помните! Люди, будьте бдительны! Не допустите больше войны!»

В своих произведениях Линке пользуется приемом очеловечивания развалин Варшавы и расчеловечивания людей.

Чтобы показать звериный облик нацизма, художник прибегает к фантасмагориям, создавая чудовищные до неправдоподобия образы («Люфтваффе»).

Молитва. Акварель.



Возвращение. Тушь.

Но рядом с фантастическим Линке изображает и реальное — детали развалин с надписями на разных языках: «Мин нет», «Отомстим за Павяк», с расклеенными немецкими приказами, афишами, обрывками газет, горящие книги («Лицо трагедии»), картину Джорджоне, висящую на стене разрушенного дома («Дома-бойцы»), объявление «хиромантки» на стене дома, который восстанавливают каменщики.

Линке охотно прибегает к символике, чтобы оттенить художественный и идейный смысл своих акварелей. Нередко жертвы фашизма в изображении художника («Варшавская елка», «За души замученных») заставляют вспомнить чудовищные «рвы смерти», о которых мы читали в документах комиссий по расследованию фашистских преступлений.

О многих особенностях творчества художника, как они предстали в варшавском цикле, можно спорить, их можно принимать или отвергать, но одно несомненно — художник силой своего гражданского гнева захватывает зрителя и подчиняет своему видению мира.

У Линке вовсе не поэтичны ни «Балет», искареженных металлических башен электропередачи, ни хоровод варшавян вокруг «Варшавской елки». Многие его акварели достигают высокого трагизма, например «El mole rachmim» с фигурой молящегося старика еврея над развалинами варшавского гетто.

Говоря о творчестве художника в период фашистской оккупации, его соотечественница Мария Домбровская пишет в предисловии к альбому Линке «Камни кричат»:

«Зло, наиболее ярко воплотившееся в насилиях и преступлениях гитлеризма, Линке обнажает с яростной беспощадностью, клеймит и осуждает».

Художник прекрасно владеет мастерством графики, техникой акварели и как бы заставляет ее превзойти свои возможности и во многом сравняться с живописью маслом.

«...Бронислав Линке,— пишет Домбровская,— пользуется рисунком, светотенью и только ему присущим цветным пятном так безошибочно, что мог бы быть мастером в любом жанре живописи. Об этом говорят его пейзажи, так отличающиеся от бичующих рисунков, полные такой невыразимой тонкости и безупречной точности, что их можно было бы сравнить только со старинными пейзажами китайской живописи. Говорят об этом и лица в его больших композициях, сосредоточенные и выразительные. Но Бронислав Линке не придает значения ни своим пейзажам, ни мастерским портретам, хотя они могли бы его прославить. Для него имеет значение только собственное видение мира, который представляется ему обращенным к людям не своей парадной стороной, а грубой, сложной, жестокой изнанкой».

По духу «Камни кричат» ближе всего к циклу «Хиросима» Маруки Ири и Маруки Тосико, хотя по форме и манере они оригинальны.

Нет в акварелях Линке живых бойцов. Они пали. Но камни Варшавы, с которыми смешан их прах, кричат у Линке живым человеческим голосом, бессмертным голосом искусства, живут человеческим отчаянием и надеждой. Они требуют, чтобы не только Варшава, но и любой другой город на земле не знал больше разрушений.

Память людей-борцов, воплощенная в камне, требует от нас — боритесь против войны, не дайте себя обмануть и разъединить. Говоря стихами Джо Уоллеса:

Безбожники, евреи,
христиане,
Кто различал вас в
боевом тумане?
Один пред смертью
был у вас завет:
Живые, сделайте светлее
этот свет!

Убежище. Тушь.

ЧТЗ под гвинейским небом

Из путевого альбома

Б. Преображенский

В независимой Гвинее

Я уверен, что побывать в странах Африки — желание каждого советского человека. Но художнику особенно интересно увидеть эту часть света, да еще в такой исторический момент, когда там происходит могучий процесс национального освобождения, когда народы Африки становятся хозяевами своего континента.

Мое знакомство с Африкой началось с Марокко; я побывал в Рабате, Касабланке, Танжере, Тетуане. Для художника в Марокко очень много интересного: люди, архитектура, пейзаж. Но здесь я был только проездом — меня интересовала прежде всего тропическая Африка и в первую очередь Гвинея.

Гвинея — это новая независимая Африка. Ей немало еще предстоит сделать, чтобы уничтожить наследие колониального режима, но республика уже вышла на верный путь.

Прекрасен город Конакри, столица Гвинеи. Нигде не приходилось мне видеть такой красивой набережной. По всему берегу тянется сплошная аллея высоких пальм, склонивших свои вершины над дышащим прохладой океаном. Как крепостные башни, над всем зеленым массивом возвышаются гигантские деревья секкьи с причудливым разлетом сучьев.

Улицы Конакри вообще очень тенисты. Здесь много зелени — могучие секкьи, пальмы и густолистые манговые деревья. Кажется, будто вся жизнь города проходит на улицах. Прямо на тротуаре портные шьют и продают разнообразную одежду, тут же парикмахеры могут побрить вас: садитесь на циновку, ноги калачиком и — все готово. Жители с большой теплотой относятся к советским людям. Нас знают в Африке, да и как не знать: в порту, где стоят под разгрузкой и погрузкой суда, разгружается и наш краснотрубый теплоход «Урицк». В соответствии с торговым соглашением он привез грузовые ЗИЛы, мощные тракторы ЧТЗ и нарядные «Москвичи». Гвинейцы народ способный и быстро осваивают технику. По дороге в одну из деревень мы остановились около аэродрома, где стояли самолеты, среди них и знакомые

ИЛ-18 с опознавательными знаками Гвинейской республики. Гвинейцы с увлечением изучают летное дело, и скоро подготовленные летчики будут сами водить пассажирские и транспортные воздушные корабли.

От сильного солнечного света все краски в Гвинее кажутся особенно насыщенными: яркие цветные одежды женщин и мужчин, темный цвет кожи, сочная зелень и крупные цветы всевозможной формы и окраски... Особенно поражают яркостью красок базары. Представьте себе ряды всевозможных овощей, груды апельсинов, ананасов, огромные грозди бананов, а также плоды манго, кола и многих других не известных нам деревьев. Сами продавцы в своих пестрых одеждах, точно гигантские цветы, возвышаются над грудами овощей и фруктов.

В рыбных рядах шевелятся огромные лангусты и какие-то другие диковинные рыбы. На базаре продают всевозможные посудины — глиняные и сделанные из половинок тыквы, яркие плетеные циновки, корзины, женские украшения: бусы, браслеты, серьги.

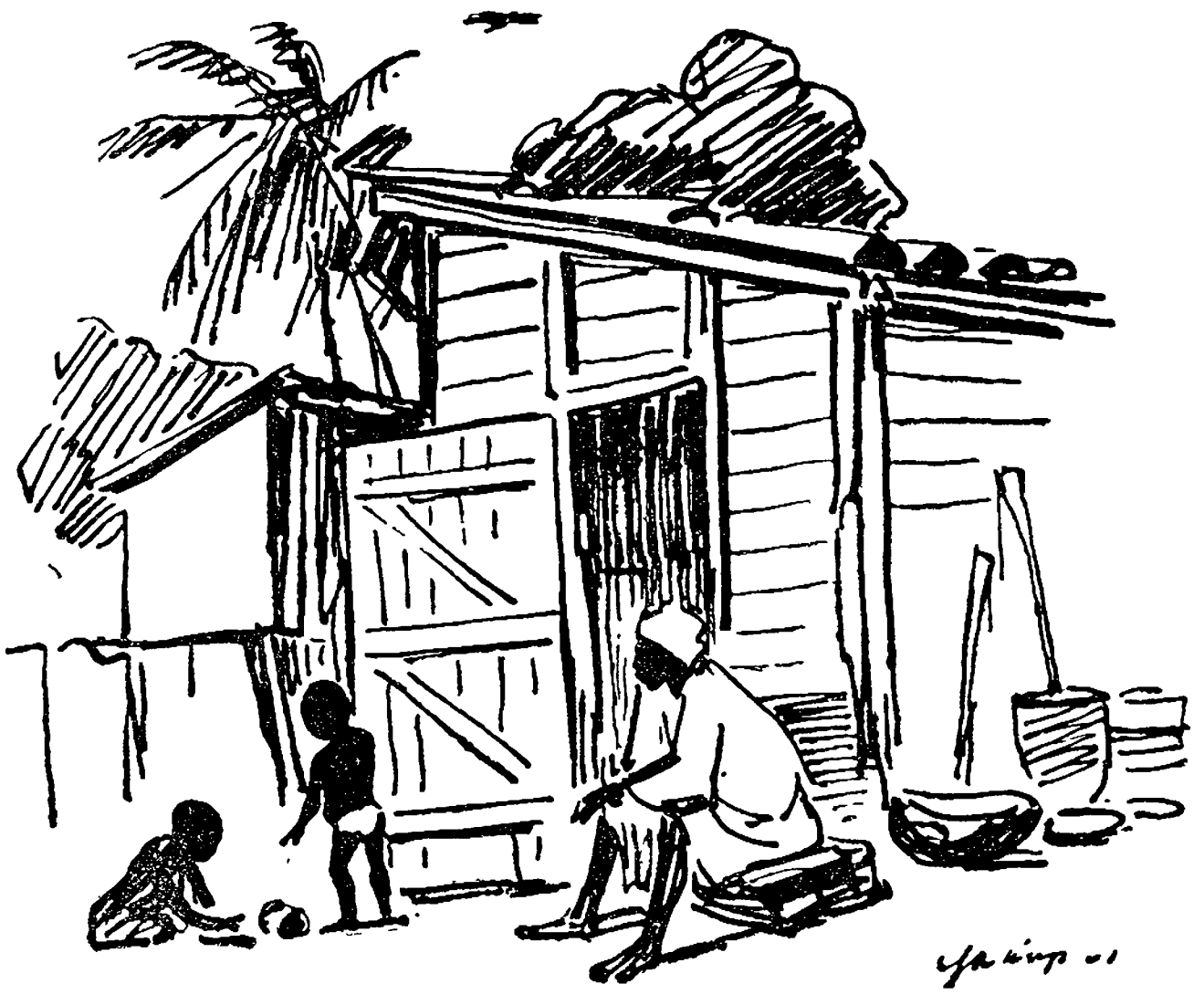
На улицах Конакри большое движение на велосипедах и мотоциклах. Много юношей и девушек с книгами в руках идут на занятия в школы и в университет.

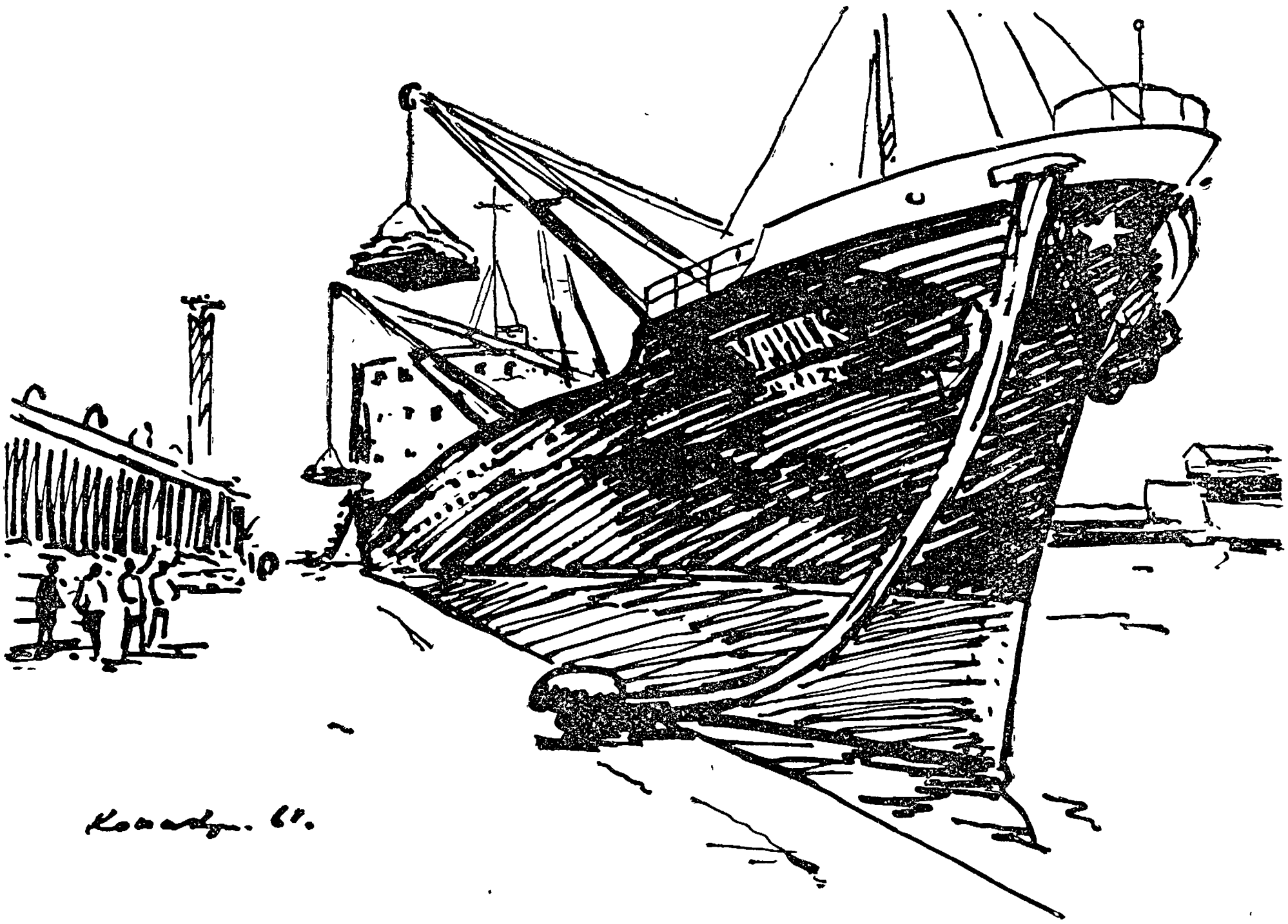
Новая жизнь пришла не только в столицу, но и в гвинейскую деревню. Я побывал в одном селении километрах в семидесяти от Конакри. Ехал туда автобусом. По дороге встречались подготовленные под пашню участки, банановые плантации. А скоро нас догнали огромные платформы, на которых гордо возвышались наши ЧТЗ. Они уже поехали в деревни, где на смену примитивному земледелию приходит новая техника. Селение, где я побывал, очевидно, типично для Гвинеи: среди множества кокосовых пальм стоят группами круглые с коническими камышевыми кровлями глинобитные дома. Зерно толкут в ступе, пищу готовят прямо на костре. Девочки лет 8—10 носят младших братьев и сестер за спиной, все вещи, иной раз даже довольно тяжелые, переносят на голове.

И здесь — как и в столице — к советским людям относятся с большой симпатией и сердечностью. Пожимают руки, угощают кокосовым молоком и орехами, просят на память советские значки. Как и повсюду в Гвинее, здесь ясно ощущаешь, что народ молодой республики почувствовал себя хозяином своей земли, своих богатств, своей судьбы.

Набережная в Конакри

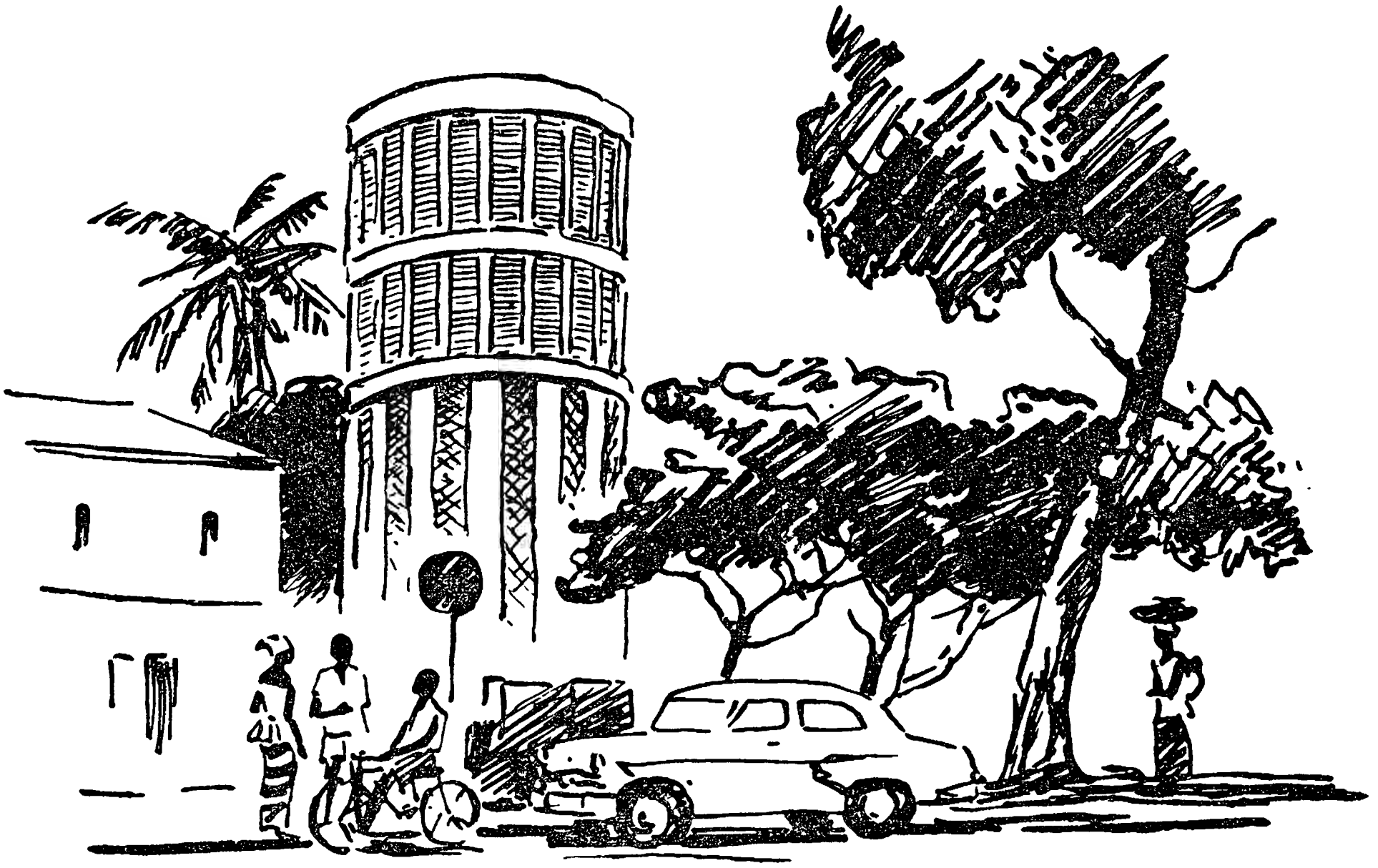
На окраине города





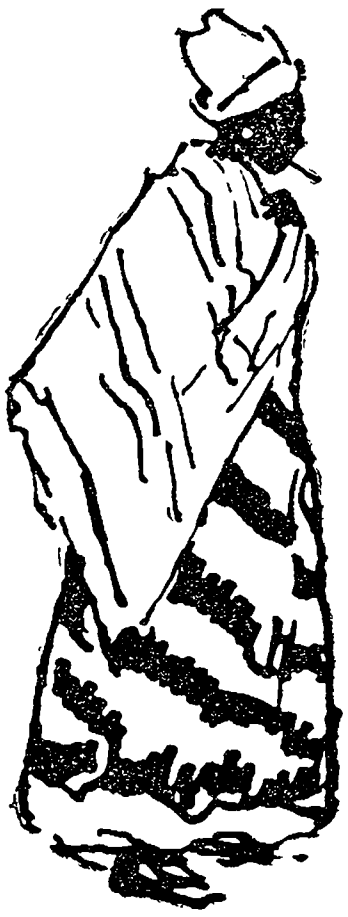
«Урицк» разгружается в порту Конакри

«Москвич» чувствует себя здесь неплохо...



Дары благодатной гвинейской земли

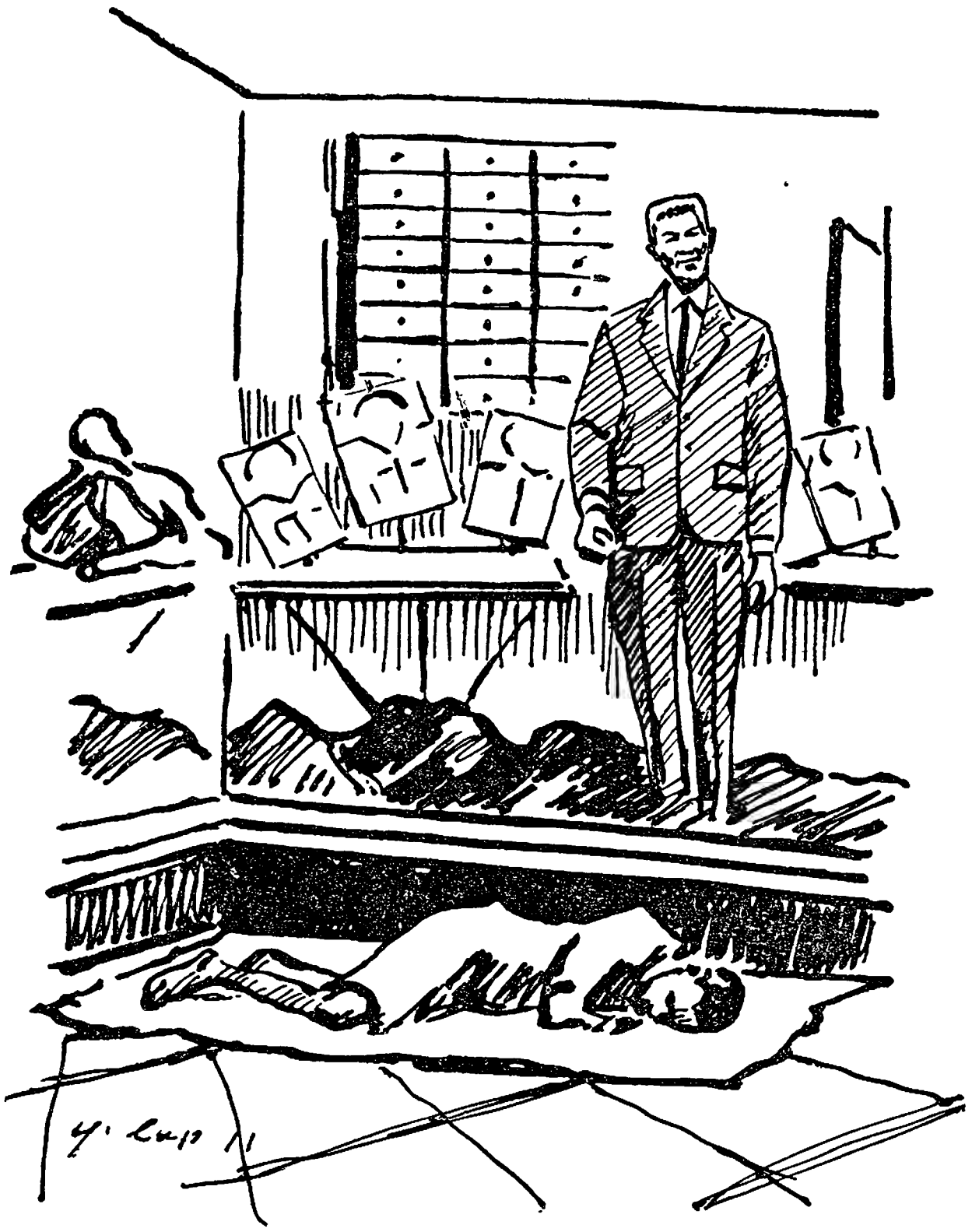
Заказ выполняется прямо на улице...



Уличные зарисовки

В Тетуане (Марокко)

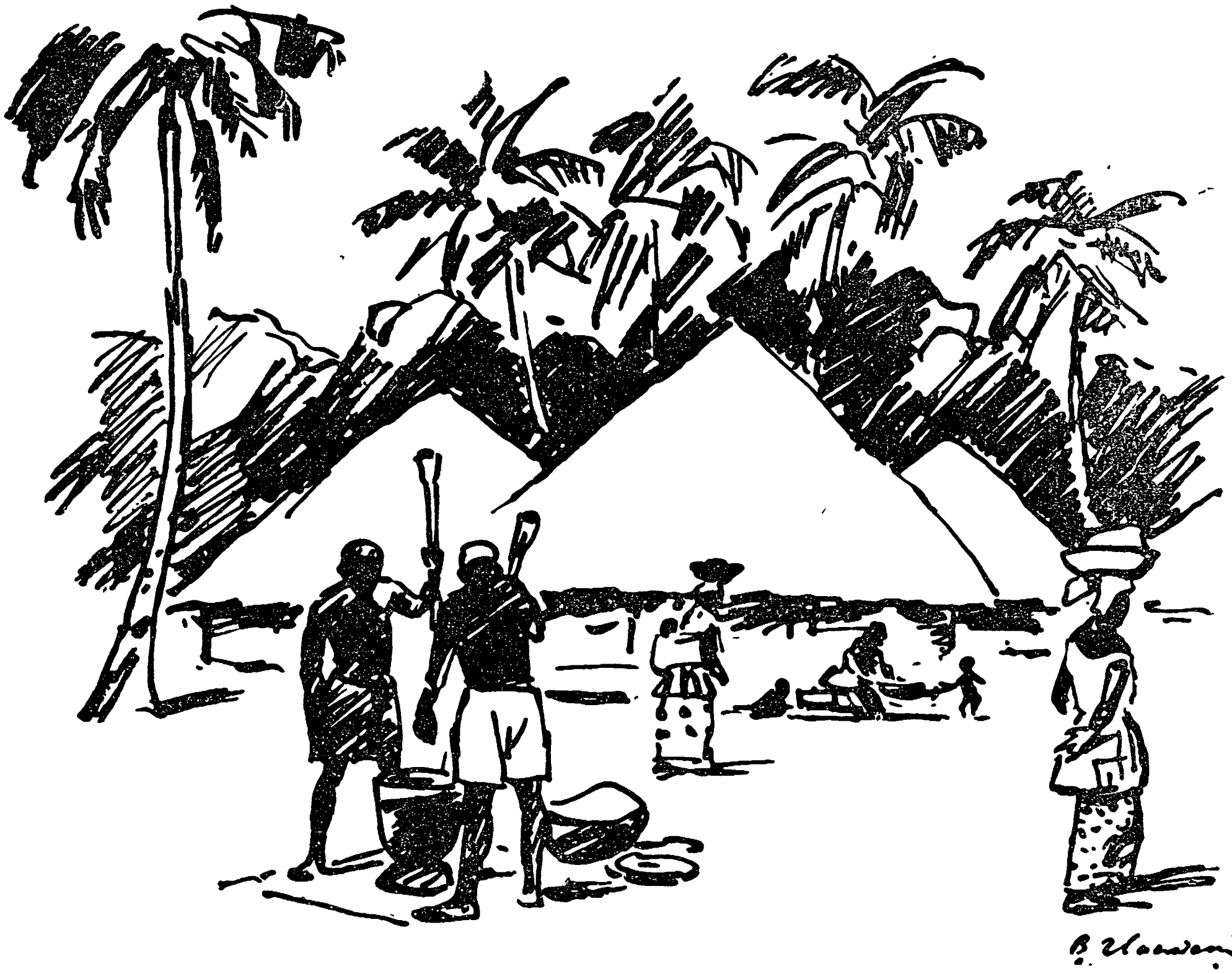
С бананами



Дакар. Ночью у витрины магазина

На рынок

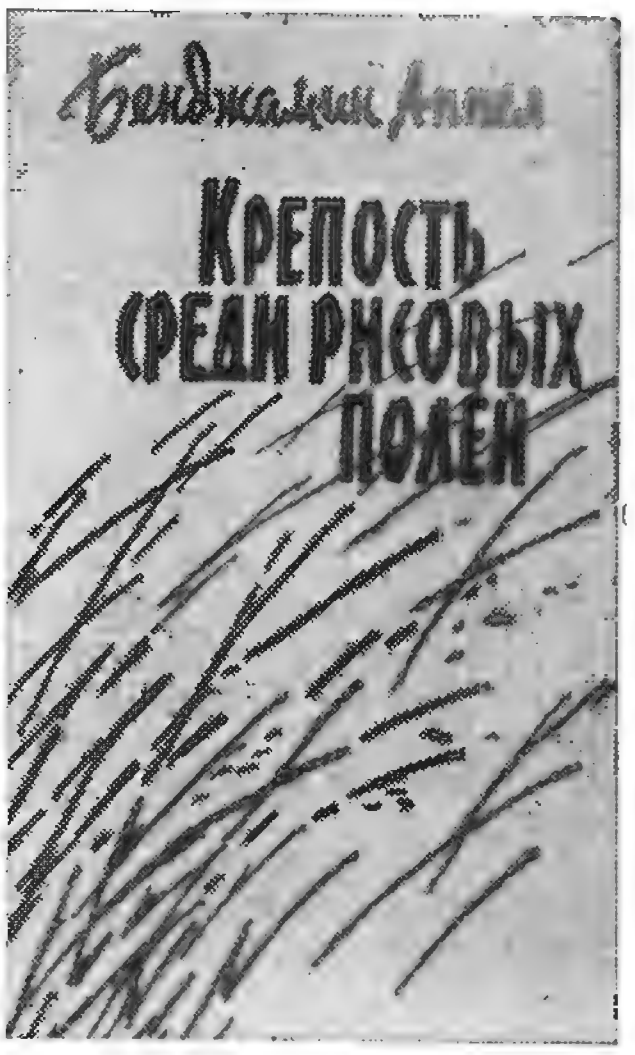
В Гвинейской деревне



КНИГИ О ВОЙНЕ, КНИГИ ПРОТИВ ВОЙНЫ

Филиппины в огне

Бенджамин Аппел. Крепость среди рисовых полей. Перевод с английского и послесловие Н. Васильева. Редактор Н. Асмолова. Москва, Издательство иностранной литературы, 1960. 533 стр.



Душной ночью тропического декабря 1941 года министр внутренних дел Филиппин Нарсисо Феррер был разбужен телефонным звонком — из Манилы сообщали, что японские самолеты бомбят филиппинские города.

Так начинается роман американского писателя Бенджамина Аппела «Крепость среди рисовых полей».

«Кто же теперь защитит нас?»— горько сетует растерявшийся министр.— «Горстка солдат Мак-Артура в Маниле? Отжившие свой век американские миноносцы в Кавите? Или филиппинские части, обучавшиеся военному делу на деревянных винтовках?»

«Можно ли сражаться против танков, имея в руках лишь боло?» * — спрашивает себя другой герой романа, партизанский командир Мануэль Карео, и отвечает: «Да, если оно окажется в руках людей, сражающихся за свою землю. Да, мы будем крепостью среди рисовых полей!»

Так сразу произошла расстановка сил в романе: с одной стороны — герои филиппинского Сопротивления, с другой — трусливая филиппинская знать, которая скатится к самому позорному, самому черному предательству своего народа.

На грозном фоне трагических событий, освещенные заревами военных пожарищ, проходят перед нами герои романа — люди с трудными жизненными путями, люди сложной индивидуальности.

Среди многочисленных сюжетных линий этой сложной эпопеи следует особо выделить историю молодого американца Дэйва Мак-Вея, который, не став у себя на родине «мистером Важная Персона», приезжает искать счастья на Филиппины.

«Прежде всего усвой, что ты белый и что ты на Дальнем Востоке»,—поучает Дэйва его соотечественник, манильский старожил. «Здесь существует нечто вроде невидимой ограды, и белые живут только внутри нее. Американцы — это альфа и омега здешней жизни. Мы сидим на верхушке флагштока...»

Вскоре Дэйв совершил головокружительный прыжок с этого «флагштока» — он стал женихом филиппинской девушки Тереситы.

Неожиданное вторжение японцев разлучило влюбленных: отец Тереситы Нарсисо Феррер увез девушку в оккупированную японцами Манилу, а Дэйва увели с собой филиппинские партизаны.

Подожженное крестьянами, запылало поместье продажного политикана Феррера, и «пламя пожара стало для Дэйва дверью в новый мир — мир филиппинских баррио *». В этом суровом мире ветеран борьбы против испанских и американских колонизаторов Вирей делит с Дэйвом Мак-Веем кров и пищу. В этом мире Дэйв сражается рядом с бесстрашным Мануэлем Карео. В мире филиппинских баррио молодой американец впервые встречается со скромными безымянными тао — тружениками из «страны согнутых спин».

В этом же мире Дэйв

---

* Вид холодного оружия у филиппинцев.

* Селение, состоящее из нескольких хижин.

Мак-Вей встретился и со своим соотечественником — моряком Джо Трентом, человеком, усвоившим одну лишь заповедь: «Позаботься о себе сам! Хватай все, что можно схватить! Хватай монету, работу, девок! Надо быть жестоким, ведь вопрос стоит так: или ты побьешь, или тебя побьют».

Прямой потомок киплинговских «сверхчеловеков», он так высказывается о местных жителях: «Они же не люди. Они все равно что наши черномазые...»

В образах Дэйва и Джо на страницах романа столкнулись две Америки — Америка честных, порядочных людей и Америка махровых расистов.

Дэйву глубоко чужд и противен Джо с его животной философией. Он хорошо понимает, что прелестная утонченная Тересита для Джо тоже лишь «черномазая», и, презирая себя за малодушие, выдает ее за белую, испанку... Так Дэйв делает первую уступку Джо, так Америка честных, порядочных людей делает первую уступку Америке расистов.

В одной из гостеприимных хижин моряк «отплатил» за добро тем, что изнасиловал жену хозяина. Дэйв бросается на Джо с кулаками, но тот зверски избивает его. Нельзя остаться спокойным, читая эту сцену: «Закусив губы, чтобы не застонать, Дэйв встал на четвереньки, затем медленно поднялся и, не глядя на Джо, подошел к женщине. Полураздетая, в изодранной юбке, она в ужасе прижалась к стене. Дэйв протянул к ней руку, словно говоря: «Успокойся, я не такой, как он. Ты же видела. Я не такой». Но женщина смотрела на него с прежней ненавистью. Для нее он был кано*; пришедший к ней в хижину с тем рыжебородым. Дьявольское отродье. Она боялась их, как диких зверей одной породы. Неожиданно, как испуганный ребенок, женщина накрыла разорванной блузкой голову. Дэйв понял, что в ее глазах он такой же насильник: ведь он тоже американец.

— Идешь ты со мной? — услышал Дэйв голос Джо...»

И Дэйв... пошел. Пошел потому, что в тех обстоятельствах это было линией наименьшего сопротивления, а всю свою двадцатишестилетнюю жизнь Дэйв всегда шел по тому пути, на который его толкали.

Это было второй его уступкой... Сделки с совестью следовали одна за другой, и Дэйв докатился до того, что оказался в шайке бандитов, грабящих, насилующих и убивающих женщин и детей. Правда, сам он не грабил, не насиловал, не убивал, правда, в душе он ни на минуту не переставал казнить себя — но что толку? Дэйв был среди бандитов, потому что не мог взбунтоваться против Джо, которому разбойничья жизнь пришлась по душе.

Постепенно с Дэйвом происходит страшное превращение — он становится все больше и больше похожим на Джо. Этот процесс завершается символической сценой. Дойдя до предела человеческого падения, Дэйв сближается с любовницей Джо, атаманшей Сисой... «Дэйв поднялся на локте. Джо продолжал спать. Он почувствовал, что связан теперь с Джо теснее, чем раньше, и до боли закусил губу. Ему никак не удавалось избавиться от ощущения, что там на песке лежит его собственное тело, он сам, его второе я. Он стал Джо! «Ты — Джо,— мысленно повторял Дэйв,— ты — Джо!»

Казалось бы, восторжествовала Америка джо трентов. Но случилось другое — потрясенный страшным сознанием, что «он стал Джо», Дэйв нашел, наконец, в себе силы для бунта — он уходит от бандитов, уходит от Джо, он поворачивается «лицом к самому себе». Никогда больше Дэйв не будет заключать сделок со своей совестью, никогда больше он не будет лгать — ни другим, ни себе. Над трупами десяти героев Сопротивления, расстрелянных наймитом помещиков-коллаборационистов майором Ортала, над трупом своего друга Мануэля Карео, он клянется: «Вам не удастся уйти от ответа! Я расскажу обо всем! И здесь, и у себя на родине! Я поведаю правду всему миру!.. Меня никто не остановит, Мануэль! Клянусь в этом господом богом!»

Дэйв Мак-Вей сдержал клятву. Он рассказал правду о мужественной стране трудолюбивых тао, маленькой стране, героически выступившей против «гиганта Азии, закованного в алюминиевую броню», против фашистской Японии.

У этой Правды окровавленное лицо — пылают убогие баррио, рыдают женщины над обезглавленными трупами мужей, предатели расстреливают героев Сопротивления...

У этой Правды гордое лицо — лицо Мануэля Карео, лицо юного партизана Рафаэля, добровольно ставшего рядом с ним к стенке...

У этой Правды честное лицо полковника Райкера, сына Америки, отдавшего жизнь за Филиппины. С уважением перечитываешь его откровенное, по-солдатски грубоватое признание: «У нас нет больше никаких оснований кичиться своим превосходством — ни как солдатам, ни как американцам. Мы так долго считали себя высшими существами, что даже теперь, когда япошки дали нам коленом под зад, под наш мягкий американский зад, кое-кто из нас еще никак не может этому поверить»...

«Крепость среди рисовых полей»— первое художественное произведение о Филиппинах, изданное в Советском Союзе. Этот страстный, умный, сложный роман написан большим и честным художником. Вольно или невольно Бенджамин Аппел становится беспощадным обвинителем колониализма и войны. И, перелистывая страницы его романа, невозможно остаться равнодушным.

Юлия Друнина

---

* Прозвище американцев.

Когда молчание нарушено

Hans Lebert. Die Wolfshaut. Hamburg, Claassenverlag, 1960.

Австрийский писатель Ганс Леберт обращается в своем романе «Волчья шкура» к теме, сегодня чрезвычайно актуальной. Со смелостью, которой мы не встречаем ни в одной из появившихся в Австрии до этого романа книг, он пишет о заповеднике для уцелевших оборотней третьей империи.

Австрийская печать подробно рецензировала роман Леберта и отмечала его высокие художественные достоинства. Однако о главном в этих рецензиях не упоминалось: книга эта — страстное обвинение неонацизма, существование которого замалчивают австрийские власти.

Маленькое селение в Альпах, где происходит действие романа, носит символическое название — Молчание. В основу очень острого сюжета положена история о том, как в 1945 году в последние дни войны местные заправилы зверски убили шестерых рабочих, пригнанных нацистами из оккупированных восточных районов, а трупы своих жертв спрятали в бездействующей печи кирпичного завода.

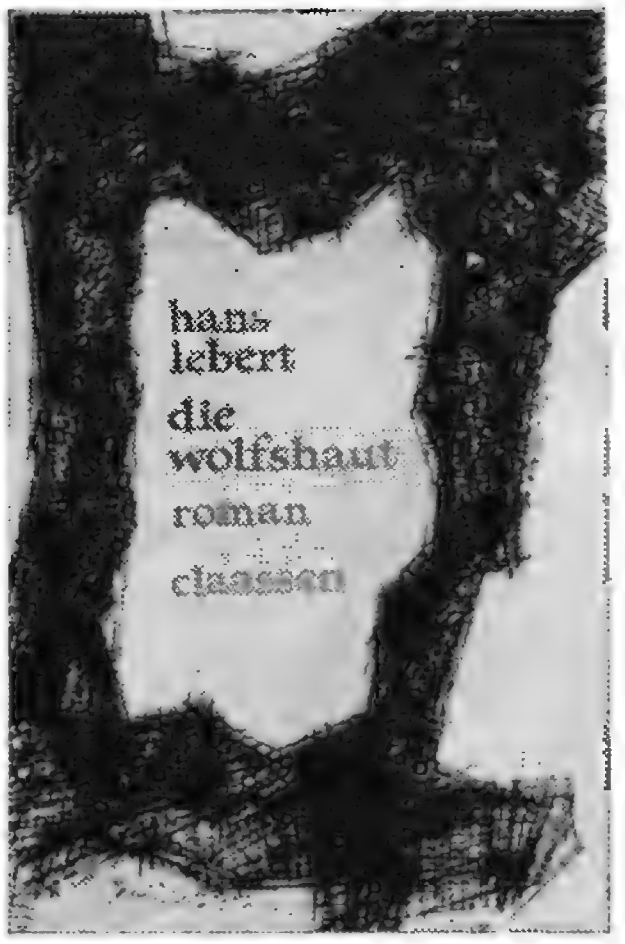
Война окончена, идут годы, но в деревне ничего не меняется, будто здесь никогда не было совершено преступление. Власть бывших нацистских главарей над простыми людьми все еще столь значительна, что кажется, будто эти люди насильно соединены друг с другом невидимыми нитями злосчастного прошлого. Селение Молчание обречено хранить молчание о тайне убийства. И горе тому, кто попытался бы облегчить свою совесть и сболтнул лишнее! Ему угрожает месть из-за угла.

Не хочется верить, что спустя столько лет после разгрома гитлеровской Германии коричневые оборотни, ушедшие по приказу своих главарей в подполье, могут еще учинять кровавые расправы над «предателями». Тем не менее это так. Да и не только в селении Молчание. Страшные события этого романа отражают реальную действительность. В Австрии уже отмечались десятки случаев безнаказанных и тщательно скрываемых актов мести, жертвами которых были антифашистские борцы Сопротивления, патриоты, советские солдаты и даже соучастники нацистов, если они не желали больше молчать.

Матрос, возвратившийся в Молчание после долгих лет отсутствия, пытается раскрыть мрачную тайну. Тем самым он неминуемо вступает в единоборство с власть имущими. Это все те же лица, что и во времена немецкой оккупации: бывший нацистский группенлейтер Хабергейер (от слова Geier — стервятник), ныне выдвинутый в депутаты ландтага от клерикальной партии, и беспринципный, всегда служивший сильным мира сего жандармский вахмистр Хабихт (Habicht — ястреб). Именно Хабергейер оказывается подстрекателем и организатором убийства шестерых рабочих, а также ряда других политических убийств в послевоенное время. Когда его разоблачают, от него остается лишь жалкая волчья шкура, говорит автор. Так раскрывается смысл названия романа.

Здесь вкратце пересказан сюжет романа. Ганс Леберт создал произведение, значение которого, на мой взгляд, выходит за рамки австрийской литературы.

Образы преуспевающих сегодня главарей и палачей третьего рейха, картины поднимающего голову неонацизма нарисованы Гансом Лебертом с потрясающей силой.



Действие романа порой пронизывает своеобразная символика. Однако эта символика никогда не вырождается в формализм, потому что целью автора прежде всего является рассказать правду. Так, например, погоня, устроенная жандармерией за беглым арестантом, осужденным за кражу курицы, воскрешает в памяти немало фактов лживого нацистского правосудия. Когда этот мелкий воришка сам сдается в руки жандармов, его истязают до тех пор, пока он не признает себя виновным в преступлении, которого не совершал, — предательском политическом убийстве.

Произведение Ганса Леберта ценно прежде всего той силой обобщения, с которой изображено в нем фашистское подполье. Да, действительно коричневые оборотни все еще бесчинствуют в альпийских долинах Австрии, и не только там, но и в городах и даже в самой Вене.

Через несколько недель после выхода в свет «Волчьей шкуры» были арестованы такие нацистские оборотни, как СС-фюрер Франц Новак — один из ближайших сподручных фашистского палача Эйхмана, эсэсовец Герман Хёфле — палач варшавского гетто и ряд других нацистских пре-

ступников. Выяснилось, что долгие годы все они могли уютно и в полной неприкосновенности проживать в Австрии, считаясь благонадежными гражданами и не скрывая своих настоящих имен.

«Убийцы среди нас начинают наводить ужас»,— писал известный публицист Вальтер Хакер в правительственном органе «Нейес Эстеррейх». Он выразил негодование сотен тысяч честных австрийцев тем, что подобные факты возможны.

Объяснение этому давалось уже неоднократно. Ведь вместо того чтобы провести грань между заблуждавшимися, мелкими попутчиками нацистского режима, и его главарями, обманывавшими народ, вместо того чтобы амнистировать первых и изгнать навсегда из общественной жизни вторых, обе группы были, так сказать, брошены в общий котел. Мало того, с гестаповскими и эсэсовскими молодчиками обошлись более снисходительно, чем с рядовыми нацистами. Помимо амнистии военных преступников, была легализована и сама неонацистская идеология, вплоть до агрессивного шовинизма «Великой Германии». А в лице нацистской партии («Свободная партия Австрии»), руководимой бывшими министрами гитлеровского правительства, эсэсовскими офицерами и геббельсовскими идеологами, была создана надежная охрана для заповедника убийц.

В равной степени и литераторы геббельсовского ведомства, вроде Бруно Брема, Блунке, Кольбенхейера, Штюбера и иже с ними, снова процветают в Австрии. Их «произведения», наряду с «откровениями» гитлеровских генералов и коллаборационистов, красуются на полках школьных и молодежных библиотек.

С горькой иронией Леберт пишет: «Мы живем в стране мастеров малярного дела. Здесь постоянно что-нибудь закрашивают или перекрашивают. Ставни в зеленый, стены в розовый цвет — все так радует глаз! А в саду стоит разноцветный лакированный гномик. Но порой цвета могут сыграть скверную шутку: если, например, красный и черный вдруг смешаются, то получится кошмарный коричневый цвет...»

Вена *Леопольд Грюнвальд*

Они отстояли свободу

Хван Ген. Остров в огне. Рассказы. Перевод с корейского Л. В. Журавлевой. Москва, Воениздат, 1960. 95 стр.

Корейский писатель Хван Ген — мой друг. Я знаю остров Вольми недалеко от Инчона, описанный в его книжке, помню события, о которых идет в ней речь.

Рассказ «Остров в огне». Один из эпизодов корейско-американской войны 1950—1953 годов.

Вот скупые строки из дневника, записанные мною в те дни в Сеуле. Я привожу их потому, что именно этому событию посвящен рассказ «Остров в огне».

«Двести шестьдесят военных кораблей соединенного англо-американского флота под командованием контр-адмирала Джеймса Доэра произвели высадку морской пехоты в районе Инчона. Эта операция далась оккупантам дорогой ценой.

Особенно сильное сопротивление оказали артиллеристы скалистого острова Вольми, запирающего вход в Инчонскую бухту. Они продержались шесть суток, расстреляв все свои снаряды, подбили шесть американских эсминцев и потопили свыше тридцати десантных судов.

Скалы на острове превратились в порошок, а гарнизон его продолжал отбиваться. Остров был захвачен после того, как на нем не осталось ни одного защитника».

Хван Ген, бывший тогда военным корреспондентом, находился на острове Вольми среди его защитников и написал об их стойкости в партийной газете «Нодон синмун». Эта корреспонденция стала основой для правдивого повествования,— строгого, даже несколько суховатого, но из него ни одной фразы не выбросишь и ни одной в него не добавишь.

«Остров в огне» — рассказ о подвиге командира береговой батареи Ли Тэ Хуна, о храбрости радистки Мен Хи, об их нежной, зародившейся в бою, но так и не успевшей расцвести любви. Последние защитники острова, они погибли от американских пуль. Никогда не мечтавшие о битвах и военной славе, они погибли героями. Но герои не умирают — их подвиг вдохновляет других...

Хван Ген создал не реквием мертвым. Это оптимистическая новелла о людях, воспитанных Трудовой партией, произведение, которое помогает понять, почему самая молодая в мире Народная армия стала армией массового героизма, почему в неравной борьбе корейский

народ с помощью братьев — китайских добровольцев победил американские полчища.

Сюжет другого рассказа, «Жена», предельно прост. В цветущее село врываются американские и лисынмановские банды. Народ восстает против поработителей, вместе с народом и маленькая корейская семья: муж, жена Тхан Силь и ребенок.

Вначале Тхан Силь помогает мужу расклеивать листовки. Но вот муж гибнет. Тхан Силь продолжает борьбу, только «теперь ею руководила не любовь к мужу и сыну, а убежденность в правоте своего дела».

Когда она подожгла американский склад, враги схватили Тхан Силь. «Ее били, обливали ледяной водой, вгоняли под ногти иголки, пытали электричеством...

Затем спросили, не хочет ли она повидать своего сына. Его можно сюда привести. Ведь только от нее зависит — жить ему или умереть. И ее жизнь тоже в ее руках. Вот муж не послушался их, и его пришлось повесить вон на той сосне. Ведь ей это известно, не так ли?»

Но стойкость корейской патриотки оказалась сильнее страданий. Женщина вышла победительницей потому, что была не одна. Она чувствовала за своей спиной весь народ.

Рассказ «Максим-156» — несколько полных страсти и гнева страниц, посвященных храбрости и несгибаемому упорству бойцов Народной армии. Смелость погибших не только учит, но и ко многому обязывает. «Оба прежних «владельца» «Максима-156» были героями, поэтому и от Ким Хак Су вся часть ждала подвига».

Мастерски нарисована писателем картина величественной корейской природы, созданы образы мужественных людей: они умирали, но не сдавались.

Освобождению Кореи советскими войсками в 1945 году от полувекового ига самураев посвящен лирический рассказ «15 августа». В нем большой запас наблюдений. Хорошо передана благодарность тем, кто принес свободу корейскому народу, кто возвратил им солнце, дал рисовые поля...

Чудесное превращение совершается в душе освобожденного человека. Он думает уже не только о своем поле и своей семье, но и об интересах всего народа, говорит писатель.

Четыре новеллы Хван Гена рассказали о войне в Корее, которая продемонстрировала силу свободного народа, развеяла миф о всемогуществе американского империализма.

Томик новелл Хван Гена «Остров в огне», напоминая о суровых уроках истории, знакомит советского читателя со свободолюбивым корейским народом, с чертами его характера, с особенностями быта. Герои книги близки нам по духу. Это люди, ставшие подлинными хозяевами своей страны, сознающими свою ответственность за ее рост и процветание.

Герой Советского Союза
С. Борзенко

Роман о немецком Сопротивлении

Бодо Узе. Искры во мгле. Перевод с немецкого и предисловие В. И. Стеженского. Москва, Воениздат, 1960. 451 стр.

Иоганнес Бехер вспоминал в своих дневниках об одной из важных задач, стоявших в годы эмиграции перед писателями-антифашистами: возвестить всему миру, «что существует не только эта одна нечестивая гитлеровская Германия — есть и другая Германия, она втайне живет, действует, страдает и умирает, и мир должен... не отказать ей в признании и помощи». Эта задача — рассказать правду о немецком Сопротивлении и сейчас стоит перед немецкими писателями, и среди тех, кто деятельно содействует ее разрешению, хочется назвать прежде всего Бодо Узе.

В маленькой статье, написанной двадцать лет назад — «Это никогда не забудется»,— Бодо Узе рассказал о том потрясении, о том глубочайшем волнении, которое он испытал, когда в Мексике в книжной лавке держал в руках три свежих номера журнала «Интернациональная литература» за сентябрь и октябрь 1941 года и январь—февраль 1942. Гитлеровцы стояли под Москвой, а в типографиях столицы на немецком языке выходил журнал «Интернациональная литература. Немецкие листы». «Сначала я не поверил своим глазам... осторожно, кончиками пальцев коснулся я журналов. Они действительно существовали, они лежали передо мной в обычных желтых обложках». Журнал, который Бодо Узе называет «нашей гордостью», в котором «убиваемая, преследуемая, изгоняемая и сжигаемая» у себя на родине литература нашла пристанище, был для немецкого писателя-эмигранта вдвойне драгоценен как прямое свидетельство уважения советского народа к подпольной, борющейся Германии. Об этой Германии впоследствии Бодо Узе напишет книгу.

Роман «Искры во мгле» вышел на немецком языке в 1954 году. Он был с интересом принят читателями ГДР и явился предметом оживленных дискуссий. Выступая во время этих дискуссий, Бодо Узе рассказывал, как много папок, досье из архивов гестапо он изучил, с какой тщательностью собирал устные свидетель-

ства и рассказы подпольщиков.

Центральная тема романа — немецкое движение Сопротивления в последний период войны. Это роман о лучших представителях немецкого народа, в ожесточенных схватках с гитлеровской государственной машиной спасавших честь Германии. Эта тема жива в произведениях Анны Зегерс, Стефана Хермлина, Бодо Узе, Бруно Апитца и многих других писателей.

Сопротивление! Не случайно в музее Бухенвальда основное внимание уделяется не только страданиям и мучениям узников концлагеря, которые показаны на леденящих кровь экспонатах, но и тому, как во мгле, рядом со смертью, рождалось и крепло сопротивление бесчеловечной жестокости, варварству фашизма. И памятник узникам концлагеря Бухенвальд, созданный Фрицем Кремером, тоже подчеркивает их несгибаемое мужество, необычайную выносливость, железную выдержку, их устремление к борьбе и победе. Да, и к победе, потому что пленники Бухенвальда освободили себя еще до прихода союзных войск, подняв восстание под руководством подпольной организации.

Бодо Узе посвятил проникновенные строки этому памятнику, назвав искусство скульптора Фрица Кремера «искусством преодоления трудностей». В этих словах и ключ к пониманию творчества самого Бодо Узе — все его романы («Наемник и солдат», «Лейтенант Бертрам», «Мы сыновья») рисуют пути преодоления неверного, фальшивого представления о жизни, преодоления ложных идеалов, словом, преодоления трудностей, тягот. Эта тема занимает важное место и в романе «Искры во мгле».

Одиннадцать лет назад Анна Зегерс в статье «Рождение человека», говоря о задачах писателей, подчеркивала, что «новый человек не сваливается в демократию с неба», что писатель должен

считать своим долгом изображение сложного процесса рождения нового человека. В лучших представителях немецкого народа этот процесс начался не после краха гитлеровского государства, а до него. Образы Мартина Штейнвега и его жены Кэте в романе «Искры во мгле» как раз и служат раскрытию этого процесса.

Война разлучает супругов. Когда Мартин попадает в плен к русским, фашистское командование приказывает сообщить его семье, что он убит. Получив извещение о гибели Мартина, Кэте пытается покончить с собой. Возвращенная к жизни усилиями врачей, она влачит жалкое существование до тех пор, пока подпольщики не сообщают ей, что ее муж жив и каждый вечер выступает по московскому радио.

И вот, разделенные сотнями километров и войной, Кэте и Мартин идут к познанию новой правды жизни. Сначала Кэте занимается подпольной деятельностью только из любви к Мартину. Она слушает московское радио и по указанным адресам рассылает открытки с информацией о переданных им новостях. Московское радио для нее пока только лишь живой и бесконечно дорогой голос мужа. Но когда она, уже не слыша его голоса, продолжает порученное ей дело, читатель верит: Кэте не сойдет с избранного пути.

Ценность романа Бодо Узе заключается в том, что он на очень конкретном материале сумел показать жизнь немецкого подполья в годы войны, жизнь, полную постоянной опасности, ежедневной, ежечасной борьбы с многочисленным врагом.

Писатель создает замечательные образы борцов-антифашистов. Это Петер Виткамп — один из организаторов немецкого Сопротивления, человек прошедший суровую школу революционной борьбы. Он ведет большую работу, расширяя круг участников движения Сопротивления, восстанавливая оборванные связи между подпольными группами.

Это Мария Холтхузен, организовавшая побег из концлагеря одного из руководящих деятелей компартии. Она вынуждена проводить ночи в поездах дальнего следования, так как только там может чувствовать себя в безопасности. Другого ночлега у нее нет.

Это восемнадцатилетний Гельмут Виглер, сын видного немецкого коммуниста. Порывистый, смелый, решительный, как бы созданный для открытых сражений, он долгие дни проводит в тесной и темной каморке, собирая радиоприемник. Полный юношеской романтики подвига, он выполняет в немецком тылу сложнейшее задание партии.

Это руководитель гамбургской подпольной группы Бруно Диттмар, человек высоких моральных принципов.

И писатель показывает, как, несмотря на нацистский террор, ряды Сопротивления росли.

Роман Бодо Узе посвящен «искрам во мгле». Но эти искры освещали темную фашистскую ночь, звали к рассвету, учили, говоря словами Узе, «искусству преодоления трудностей».

А. Русакова

Их подвиг бессмертен

Иван Зурлов. Они были не одни. Авторизованный перевод с болгарского В. Легентова. Москва, Воениздат, 1961. 304 стр.

Каждая честная, хорошая книга о минувшей войне напоминает: да, все это было, вот какой дорогой ценой куплена победа над силами мрака, фашизма, но еще дороже придется заплатить человечеству в нынешний, атомный век, если не восторжествует разум.

Воспоминания бывшего комиссара партизанского отряда Ивана Зурлова — это книга о коммунистическом подполье и его борьбе в Видинском крае, о подъеме народного движения в Болгарии против фашистов, «своих» и немецких, о счастье встречи с Советской Армией, с долгожданной свободой. Это книга о судьбах, о делах людей, чьими именами сегодня названы в Болгарии колхозы и новостройки.

Неимоверные страдания выпали на долю тех, кто первыми вступили в открытую вооруженную схватку с жестоким режимом болгарского царя, опиравшегося на немецкий фашизм. Этими первыми были, конечно, коммунисты. Трудность заключалась не только в том; что военное преимущество долгое время было на стороне противника, но прежде всего в том, что жестокими репрессиями, а где и демагогией, используя темноту людей, власти старались заставить крестьян помогать им.

Но коммунист знал: эти люди — завтрашние союзники, завтрашние партизаны. Дело лишь во времени. Ведь борьба — не на жизнь, а на смерть — ведется во имя их же счастья.

Автор книги хорошо чувствует степень правоты и неправоты тех, о ком пишет. И партизаны и те, среди кого они действуют,— живые люди. В глубоком понимании не только целей борьбы, но и поступков каждого человека в отдельности главная привлекательность и произведения Ивана Зурлова и самого образа повествователя комиссара Славчо — Зурлова.

«Вспоминал холодные подвалы, пыльные чердаки, затемненные комнаты, где нам приходилось скрываться. И, что греха таить, расширенные от страха глаза женщин, боявшихся за своих детей, за свои дома.

Справедливость требует признать, что это были неплохие женщины, и к партизанам они относились с большим сочувствием, уважением и даже материнской заботой. Часто хозяйки брали взаймы муку, чтобы испечь для партизан хороший хлеб, а сами с детьми ели круглый год одну кукурузу. Рискуя жизнью, они носили нам в лес продовольствие.

Но, когда мы приходили к ним в дом, женщины боялись.

— Сожгут дом — детей не успеем спасти,— тихо плакали они ночами, упрекая своих мужей.

А нам оставалось молчать. Сидишь, бывало, в комнате и как будто ничего не слышишь и не видишь. Другого выхода не было».

С большой любовью пишет автор — комиссар — о своих боевых друзьях, героически погибавших в неравной борьбе. Пожалуй, самые волнующие страницы книги — о гибели отряда. Один за одним уходят из жизни партизаны, и в этот момент еще ярче вспыхивает человеческая красота каждого из них. Вот Стоянчо — горячий, неуравновешенный Стоянчо. Он погиб в момент, когда враг преследовал окруженных партизан:

«...Упал смертельно раненный Стоянчо.

— Лазар, возьми карабин, добей меня! — едва слышно позвал он товарища...— Стреляй! — настаивал он.

Рука Лазара затряслась, на глаза навернулись слезы. Но он должен был выполнить суровый партизанский долг. Не мог же он оставить Стоянчо врагу!..

Как выстрелил карабин, Лазар не помнил... Первым он догнал Крыстю. Лазар виновато взглянул в его синие глаза. Крыстю понимал состояние товарища. Он хотел что-то сказать, но слова застыли на губах — его настигла шальная пуля.

Схватившись рукой за рану, он крикнул:

— Убейте меня или дайте оружие — я сам покончу с собой!

Лазар бросился поднимать его, но Крыстю уже был мертв.

Рассказывая позже о смерти Крыстю, Веселин несколько раз повторил его последние слова: «Убейте меня или дайте оружие — я сам покончу с собой!»

— Откуда взялись силы у этого ребенка?.. Ну Стоянчо понятно — рабочий, долгие годы боролся, много испытал, достаточно поварился в котле жизни! А Крыстю? Ребенок! К тому же — единственный у родителей...»

И когда приходит победа, когда, узнав о приближении долгожданной Советской Армии, народ, поднятый коммунистами на восстание, берет власть, мы вместе с автором вспоминаем всех их, отдавших жизнь, но,

благодаря книге Ивана Зурлова, ставших для нас живыми: Крыстю, Маузера, Стоянчо, Димо...

Читая книгу Ивана Зурлова, испытываешь совершенно то же чувство, которое охватывает советского человека, когда он приезжает в Болгарию. Самое сильное и волнующее ощущение: тут все знакомо, близко тебе, все родное, и ты, русский, советский, тут близок всем.

Когда Гитлер напал на Советский Союз, говорит автор, «все были потрясены, будто только теперь, а не два года назад началась мировая война». Болгарские монархисты и фашисты так и не осмелились объявить войну Советской России. Они были вынуждены считаться с историей, с традиционными чувствами болгарского народа.

Это чувство братской любви к нашей стране звучит во многих живых эпизодах и деталях книги. Вот один пример.

«Как обычно, быстрый и энергичный, с тросточкой, которую он никогда не выпускал из рук, Ножаров шел по главной улице к себе на работу. Завидев высокую фигуру адвоката, кто-то из односельчан язвительно крикнул:

— Эй, бай Крыстю, похоже, что твоим русским придется чистить лошадей у немецких офицеров!..

— Никогда этому не бывать! Не будут русские чистить немецких лошадей! — уверенно возразил старик.— А вот немцы русскую землю унавозят! Это должно быть ясно, как божий день, всякому, кто знает матушку Россию...»

Все в наше время большое: скорости, достижения, надежды, тревоги... Память народов о вчерашнем дне, о героической борьбе против коричневой чумы XX века — фашизма сегодня мешает тем, кто хотел бы развязать новую войну. Вот почему так нужны книги, правдиво свидетельствующие о дне вчерашнем.

Александр Адамович

Грустные свидетельства

Р. Юнг. Ярче тысячи солнц. Повествование об ученых-атомниках. Сокращенный перевод с английского и предисловие В. Н. Дурнева. Москва, Атомиздат, 1960. 280 стр

Время, когда ученые казались чудаками и монстрами, прошло. Новое отношение к ним возникало в разных странах по-разному. В Соединенных Штатах, например, один физик выразился об этом так:

«До войны нас считали за людей, далеких от мира сего. Но теперь на нас смотрят, как на непререкаемые авторитеты во всех областях — от нейлоновых чулок до самых совершенных форм международной организации».

По-видимому, горечь этого высказывания происходит от сознания причин такой перемены: чудовищных бедствий, принесенных взрывами атомных бомб в Японии.

Только Хиросима и Нагасаки заставили обывателей увидеть в ученых не чудаков, надевающих правый ботинок на левую ногу, а людей серьезных, с которыми следует считаться. Это чего-нибудь да стоит...

Цитированное высказывание ученого приведено в книге американского писателя Р. Юнга «Ярче тысячи солнц». Это одна из самых страшных книг, какие довелось прочесть за последние годы. Там нет убийств, если не считать упоминания о Хиросиме и Нагасаки, там нет детективных ужасов, там нет трагической любви... Но там повествуется о вещах не менее мрачных.

Капиталистические властители при помощи бездушных чудовищ, состоящих у них в услужении, превращают людей в организаторов убийств и в предателей. Кто эти превращаемые люди? Это люди, одаренные гениальным умом, поставившие целью своей жизни раскрытие законов природы и самоотверженно, не жалея сил, работающие для высокого дела. Они не интересуются ни карьерой, ни славой, ни благополучием, в их братстве «несть ни эллина, ни иудея» — все равны, если они преданы науке. Но оказывается, что именно эти люди могут быть использованы для изготовления самого чудовищного и самого гнусного орудия убийства, какое когда-либо создавалось на земле.

И вот начинается препарирование ученых, их вивисекция, перед которой опыты уэллсовского доктора Моро — ничто. Властители делят их на семитов и арийцев. Первые бегут, потому что им грозит смерть. Вторые остаются, раздираемые угрызениями совести, отвращением, стыдом... Они, как повествует Р. Юнг, начинают действовать нелепым для ученого способом: стараются *не открыть* чего-либо, что могло бы способствовать созданию атомной бомбы. Они поставлены в те же условия, в какие Павлов ставил своих собак, когда ему надо было вызвать признаки неврастении: противоположные мотивы сшибаются в их сознании, цели нарочно не осуществляются. Начальниками над учеными поставлены тупицы, для которых наука с детских лет — только причина неприятностей.

Властители другой страны перехватывают тех, кто бегут от фашизма. Одного из замечательнейших физиков мира Нильса Бора они грузят как сверхсекретный материал в бомбовый отсек самолета. «Достаточно было одного поворота рукоятки, чтобы он был сброшен в море. В случае немецкой атаки так немедленно и было бы сделано».

В Америке их помещают в условия казарменного ре-

жима, окружают запретами, ставят над ними генерала, видящего в них дураков. И начинаются их моральные муки. Тут создается обстановка доносов, подозрений, слежки; обстановка дешевого детектива, которым занимаются существа, ничего не знающие, ничего не умеющие, искусные лишь в одном: выставлять всех негодяями, внушать честным людям, что они подлецы, и — если возможно — делать их подлецами, вернее, так подстраивать события и так подтасовывать отношения между подопытными людьми, чтобы те начали предавать друг друга.

Самое чудовищное начинается после победы над гитлеровскими полчищами, когда Япония была уже накануне капитуляции. Вдруг оказывается, что ее города будут подвергнуты атомной бомбардировке. Уже нет никаких оснований продолжать возню с атомными бомбами, уже можно, наконец, заняться мирным научным творчеством, но военные работы продолжаются, ученые остаются в ловушке Пентагона, душевная раздвоенность их достигает предела... Генералы и заплечных дел мастера смеются над их колебаниями, их спорами, их неуверенностью, над их попытками как-то оправдать свои поступки или как-то предотвратить дальнейшее развитие событий...

Тут и возникает Пах. Неважно, какова его настоящая фамилия, сын ли он русского попа или не сын, красивый ли он брюнет или обаятельный шатен... В книге чехословацкого писателя Ярослава Путика «Совесть»* сообщается, что он был учителем физкультуры, прославился многочисленными любовными авантюрами, поступил в американскую разведку и там получил признание после одной операции во французской зоне оккупации. Операция состояла в том, что Пах украл у французских властителей для американских

властителей несколько «высокоценных объектов», в том числе:

1. Отто Гана, открывшего совместно с Ф. Штрасманом деление атомных ядер урана под действием нейтронов;

2. Макса Феликса Теодора Лауэ, открывшего дифракцию рентгеновских лучей и положившего начало новому направлению в физике рентгеноструктурного анализа, лауреата Нобелевской премии 1914 года.

Наряду с такими «удачами» в области науки в досье Паха имеются и глупейшие провалы и странные, на первый взгляд, промахи, как, впрочем, всегда бывает у любых услужающих животных, пусть даже отлично дрессированных. Писатель Путик допускает ошибку, считая, что «по убеждениям Пах... относится к самой реакционной группе правых». Дело в том, что у Паха и ему подобных (из широко известных можно вспомнить Дантеса, Мартынова) не бывает и не может быть убеждений, у них есть только рефлексы алчбы. В противоположность обезьянам человекообразным их надо отнести к обезьянам «человековидным», причем весьма часто, по иронии природы, они имеют даже черты красивости, за которой не всякий может увидеть, что они только питеки *.

Главные особенности питеков очень удобны для использования их в качестве услужающих животных. Как все животные, они не реагируют на страдания себе подобных. Поэтому из них составлялись своры эсэсовцев, ими комплектуются банды парашютистов в Алжире. Это они сажают обнаженного человека на бутылку и нажимают на его плечи. Им же принадлежит честь применения электротока для воздействия на половые органы людей: человек сходит с ума от боли, и не остается никаких следов истязания... В пределах предложенной им узкой задачи питеки проявляют некоторую инициативу, однако без кнута и пряника превращаются в неуправляемые системы, опасные даже для их владельцев. Очень удобна их «храбрость», то есть отсутствие страха, происходящее от редукции воображения.

Автор просит читателя простить его за отступление, но эпизод, который он собирается привести, может лучше всяких рассуждений характеризовать этих, с позволения сказать, «людей» и объяснить ненависть, которую они возбуждают, будучи узнаны.

В дневнике известного русского литератора, академика А. В. Никитенко за 1876 год есть такая запись из Шинцнаха, курорта в Швейцарии:

«(Июнь) 20. Воскресенье. Проходя под колоннадой кургауза, я часто встречаю человека, наружность которого меня постоянно поражает своей крайней непривлекательностью. Во всей фигуре его что-то наглое и высокомерное. На днях, когда мы гуляли с нашей милой знакомой М. А. С. и этот человек нам снова встретился, она сказала: «Знаете, кто это? Мне вчера его представили, и он сам мне следующим образом отрекомендовался: «Барон Геккерен (Дантес), ко-

---

* См. «Иностранную литературу», №№ 1, 2, 1961.

* От греческого pithekos — обезьяна.

торый убил вашего поэта Пушкина». И если бы видели, с каким самодовольством он это сказал,— прибавила М. А. С.,— не могу вам передать, до чего он мне противен!»

Да, несомненно, питеки жили и живут среди нас. Они без надбровных навесов и без четырех рук, они с шиком носят костюмы, и особенно мундиры, в пределах своих возможностей они могут «обаять», особенно дур... Холод проходит между лопатками у людей, когда вдруг питеки оказываются рядом.

Питеки ничего не любят, хотя и алчут, ничего не ненавидят, хотя и убивают... Впрочем, есть одна ненависть и в них. Это — их единственная, пожирающая их нутро, останавливающая их дыхание, подлинно звериная страсть: ненависть к людям творчества. Если они не могут сразу перегрызть им шейные позвонки, они будут поступать так, как поступал Пах с Робертом Оппенгеймером.

Властителям стал неудобен Оппенгеймер. Они видели в нем человека прогрессивных взглядов, не чурающегося даже коммунистов, кроме того, они заподозрили в нем совесть. Может быть, это тяжкое подозрение возникло тогда, когда, придя к Трумену после Хиросимы и Нагасаки, ученый расплакался и в бессильной ярости стал проклинать свои руки, создавшие атомную бомбу. Способен к раскаянию? Способен к сомнению? Хлюпик? Значит, опасен.

Может быть, тогда, а может быть, и раньше, было прошептано: «Пах, возьми!»

Так встал против ученого человека обученный питек.

Независимо от того, каков был Оппенгеймер — был ли он добр или нет, тверд или нет, легкомыслен или нет,— он был Человек! Открыватель, мыслепроходец, труженик. Уже в 24 года, когда Пах гусарствовал среди проституток и разведчиков, он вместе с Максом Борном разработал теорию строения двухатомных молекул, именем Оппенгеймера и Филипса назван процесс, проходящий при соударении дейтронов с атомным ядром. Работы по гамма-лучам, по каскадной теории ливней, по образованию пара и другим вопросам физики микромира принадлежат Роберту Оппенгеймеру, но это не имеет никакого значения для Паха. Его интересы далеки от тайн строения вещества. Его специальность — подозревать.

«— Подозревать можно каждого,— говорит он со смаком,—...даже Эйнштейн не является святым».

И со смаком Пах рассказывает о том, как он и его свора рыскали за ученым, применяя все хитрости своей жалкой «науки».

«Мы решили сделать Оппенгеймера своим сотрудником, чтобы постепенно компрометировать его до тех пор, пока он не станет обыкновенным доносчиком, перед которым навсегда будет закрыта возможность вернуться в свой круг». «Эту операцию начал полковник Лэндсдейл...» «Рыбка клюнула». «Мы знали, что он от нас никуда не уйдет».

Пока ученый продирался к тайне атома, создавал лаборатории, объединял усилия исследователей, а в часы досуга изучал для развлечения санскрит,— полковники и капитаны паховского подразделения подслушивали, магнитофонили, провоцировали, пугали, заманивали и, наконец, заставили его наговорить вздора о своем лучшем друге — Хааконе Шевалье, т. е. сделали, наконец, предателем. Ведь для питеков Оппенгеймер был только «рыбкой», которая должна «клюнуть»!

Впрочем, не совсем так, не только рыбкой! Ученый, конечно, знал, что они ползут за ним, нюхают его следы, путают его пути. Возможно, он не представлял себе, как они опасны, но он хорошо видел, как они тупы, их наседания были несносны, но вместе с тем и смешны.

И он издевался над ними. Для полковников и капитанов это было хуже выстрелов, хуже гауптвахты. Питеки считали, что их занятия — самые важные на свете, они хвастались, что их каста и есть государство.. И вдруг — этот высоколобый смеется!

«От его язвительных нападок инструкции органов безопасности превращались в фарс!» — скрежетал Пах, заканчивая свою речь на суде над Оппенгеймером.

Их инструкции! Их «творчество»! Их авторитет! На какие-то минуты даже их обезьяньи мозги вдруг понимали всю свою ничтожность перед мыслительным аппаратом ученого. И тут уж в них возникали бешенство, злоба, ярость, и ученый был обречен.

Ярослав Путик, представитель страны чистых душ, страны творцов и тружеников, где, встречаясь, люди приветствуют друг друга словами: «Честь труду!», написал свою книгу «Совесть» со всей ненавистью созидателя к питекам — к дантесам и пахам.

Оппенгеймер был осужден. В 1953 году он был снят со всех правительственных постов и обвинен в «нелояльности», в «симпатиях к коммунизму». Он был против создания водородной бомбы, выступал за применение атомной энергии в мирных целях. Как видно, столь широко рекламируемая демократия идей и действительность, в условиях которой живут ученые США,— разные вещи!

Советские читатели знакомы со многими произведениями зарубежной литературы об ученых, о положении науки на Западе. Вспомнить хотя бы роман Дж. Дайса «Крупная игра»*, который рассказывает о том, как «американский образ жизни» превратил талантливого ученого в администратора, и целью его стало не искание истины, а поиски благополучия.

И в США, и в некоторых других капиталистических

---

* См. «Иностранную литературу» №№ 1, 2, 3, 1960.

странах, где наука стоит на большой высоте, есть немало замечательных ученых, которым человечество обязано многими великими открытиями. Однако они работают не благодаря, а вопреки режиму. Наука там не стала всенародным делом, она там — не всеобщая любимица, как у нас, в мире социализма. Если ею и интересуются люди рядовые, то скорее со стороны всевозможных сенсаций. Пропаганда же там использует науку главным образом как орудие страха перед будущим, страха перед коммунизмом.

Борис Агапов

Это было в Праге

Ян Отченашек. Ромео, Джульетта и тьма. Перевод с чешского В. Петровой. Предисловие И. Зузанека. Москва, «Молодая гвардия», 1960 г. 122 стр.

Маленькую повесть «Ромео, Джульетта и тьма» талантливого чешского писателя Яна Отченашека читаешь не отрываясь. Да она и написана как будто бы на одном дыхании, вся, как песня о трагической любви двух юных сердец, о любви, которая сверкнула в непроглядной тьме, окутавшей в годы второй мировой войны многие европейские страны и города. Несложен сюжет этой повести. Трагична судьба героев. Чешский юноша, почти мальчик, встретился в оккупированной немцами Праге с еврейской девушкой по имени Эстер, спас ее от смерти и полюбил. Но тьма все-таки поглотила ее. Вот, собственно, и все. Печальная история современных Ромео и Джульетты, подстерегаемых со всех сторон фашистскими оккупантами и их соглядатаями.

Единственное убежище Павла и Эстер — тесная комната-коробка в старом пражском доме. Пять шагов туда и пять обратно. Но и оно ненадежно. Разве можно за этими стенами укрыться от тьмы? Укрыться, не слышать хриплых выкриков, долетающих с улицы, свистков, пьяной ругани и угроз, беспорядочных выстрелов, плача детей, разбуженных среди ночи, топота кованых сапог. И в комнатку Павла, из тьмы на свет, уже заглядывают через мутные стекла чьи-то подстерегающие глаза, чья-то не знающая жалости рука рисует мелом на дверях каморки шестиконечную звезду. В конце концов гонимая страхом Эстер сама бежит из своего убежища на улицу, прямо под пули фашистских патрулей. Она предпочитает погибнуть, чтобы не подвергать смертельной опасности любимого человека.

Все это случилось в разгар войны. Шел 1942 год, когда Павел привел в каморку на окраине Праги спасенную им девушку. В том же году и почти в то же самое время на другом конце Европы 13-летняя Анна Франк поднялась в «убежище» на чердаке амстердамского дома, где голландцы целых двадцать пять месяцев скрывали и все-таки не смогли спасти семью Франк от гестаповских ищеек.

Мне вспоминается печальный и суровый рассказ русского советского писателя Валентина Катаева «Отче наш» о том, как еще в одном уголке мира, в оккупированной Одессе, блуждала по улицам города молодая женщина, ведя за руку усталого, замерзшего ребенка. Стоял жестокий мороз, небывалый даже для северных городов и тем более для Одессы. Но женщине с ребенком нельзя было возвращаться домой. Она кружила по городу, избегая наиболее людных улиц, совсем как Эстер, надеясь уйти, укрыться, чудом вырваться из кольца облавы. Это маленький рассказ, всего несколько страничек. Но его трагические краски так густы, так правдивы, что для меня он стоит в ряду самых сильных произведений о минувшей войне.

В те годы мы еще не знали во всех подробностях, какие трагедии разыгрывались в занятых гитлеровцами странах — за колючей проволокой концлагерей, в потаенных каморках, где заживо замуровывали себя преследуемые фашизмом люди. Будущее целых народов решалось тогда на Волге — у стен Сталинграда, в предгорьях Кавказа, в битвах за Украину. О трагических судьбах жертв фашизма рассказали после войны не только те, кто вышли живыми из лагерей смерти, из погребов и подвалов, но и те, кто были сожжены в печах крематориев, расстреляны и замучены гестаповцами. Это от их имени говорят сегодня книги многих писателей мира.

Как ни различны произведения, о которых я вспомнил, читая повесть Яна Отченашека, есть между ними и нечто общее. Рассказывают ли они о трагедии матери, преследуемой фашистами, о детях, которых война лишила детства, о бедных влюбленных, разлученных тьмой,— их объединяет одна простая и ве-

ликая мысль: люди родятся для того, чтобы жить и быть счастливыми, и любить, и видеть синее небо и звезды, и слушать пение птиц и звонкий смех детей. А если всего этого нет? Если дышать стало нечем и всюду тьма — зачем тогда жить, думает Павел.

Разными путями приходят люди в ряды борцов с фашизмом. Павла возвышает любовь к Эстер. Она делает его душевно богаче. Она внушает ему чувство человеческого достоинства, и гневный протест против расизма, и страстную жажду борьбы. «Вокруг была тьма, но свет был в нем. В лучах этого света он казался себе сильным. Прежний Павел, который не знал Эстер, заурядный, ничем не примечательный юнец, вызывал в нем жалость». Испытывает ли страх этот 16-летний мальчик? Да, конечно. «Только камни ничего не боятся,— говорит Эстер.— Они неживые». Но любовь и тревога за судьбу любимого человека помогают Павлу победить страх.

И не только Павел становится решительней, тверже. Ему тайно сочувствует отец, который дрожал за свою жизнь, за свою портновскую мастерскую и Павлу внушал, что «в такие времена осторожность не повредит». Помогает Эстер и портновский подмастерье Чепек. Что могут сделать эти люди? Пока еще очень немного. Они робки, неопытны. Но придет время, они будут готовы и на большее.

А что станет с Павлом после гибели Эстер? Найдет ли он в себе силы жить и бороться? Писатель как будто отвечает на этот вопрос утвердительно. В душе героя повести закладываются основы нового отношения к жизни, нового поведения. И дело здесь не в судьбе одного только Павла.

Для нас, читателей, эта лаконично написанная повесть дорога своим страстным протестом против фашистского изуверства, против войны. Вот почему и через шестнадцать лет после окончания войны она звучит так остро и актуально.

Б. Галанов

Прозревающие во тьме

Norman Lewis. Darkness visible. London, Pape. 1960.

Седьмой год продолжается «грязная война» в Алжире. Седьмой год официальная французская печать правого толка кричит об «охранительной миссии» солдат Иностранного легиона, о защите ими французских поселенцев в стране. Седьмой год передовые люди Франции и всего мира требуют от французского правительства прекращения алжирской авантюры и предоставления независимости бывшей колонии.

О «грязной войне» в Алжире писали многие видные литераторы Франции. Однако проблема эта настолько важна и актуальна, что к ней начинают обращаться художники слова и других стран. Алжирскому вопросу посвятил свой последний роман «Зримая тьма» английский писатель Норман Льюис.

Поисковая партия смешанной американо-европейской компании обнаруживает в Алжире крупное месторождение нефти и начинает его разработку. В это время члены полуфашистской организации зверски убивают переселенца итальянца и его семью. Виновники остаются неизвестными, а правые газеты охотно сваливают всю ответственность за преступление на арабских националистов.

Толпа линчевателей, состоящая из фашистских молодчиков и «беззащитных» белых поселенцев, пытается учинить резню в арабском городе Эль-Милия, поджигает арабские кварталы и совершает нападение на лагерь нефтяников с целью уничтожить рабочих-арабов. Только бдительность и решительные действия служащих разработок помешали погромщикам осуществить свои замыслы. Таков сюжет «Зримой тьмы».

Страна сегрегации, страна нищеты, страна, требующая свободы,— таким показан Алжир в романе.

В Эль-Милии имеется район европейский и район, где живут «цветные», кафе для белых и кафе для арабов, больницы для белых и больницы для местного населения. За городом расположен лагерь, где за колючей проволокой медленно умирают от голода арабские дети, старики, женщины, которых пригнали сюда из разоренных районов. С удивительной силой и выразительностью написаны страницы, повествующие о бесчинствах и глумлении «цивилизованных варваров» над местными жителями. Писатель без обиняков говорит о том, что самые разнузданные проявления расизма со стороны французов, убийства и погромы происходят при явном попустительстве официальных властей. Так, например, власти даже «не слышали» о нападении линчевателей на нефтяной городок: начальник гарнизона находился далеко, шеф полиции «болел», а губернатор был «в отпуске».Таким образом, ни о каком наказании виновных не может быть и речи.

Льюис рассказывает читателю об арабских женщинах, пешком отправляющихся за город, чтобы обработать клочки земли «величиной с носовой платок»; проводит его по узким улочкам арабского гетто с их грязью, скученностью, зловонием и старым тряпьем; заставляет заглянуть в арабскую «больницу» — гнусную клоаку, где пациенты, которых врач не решается и не смеет называть людьми, погибают в собственных нечистотах на земляном полу.

Вот разговор двух солдафонов из Иностранного легиона, цинично смакующих воспоминания о насилиях

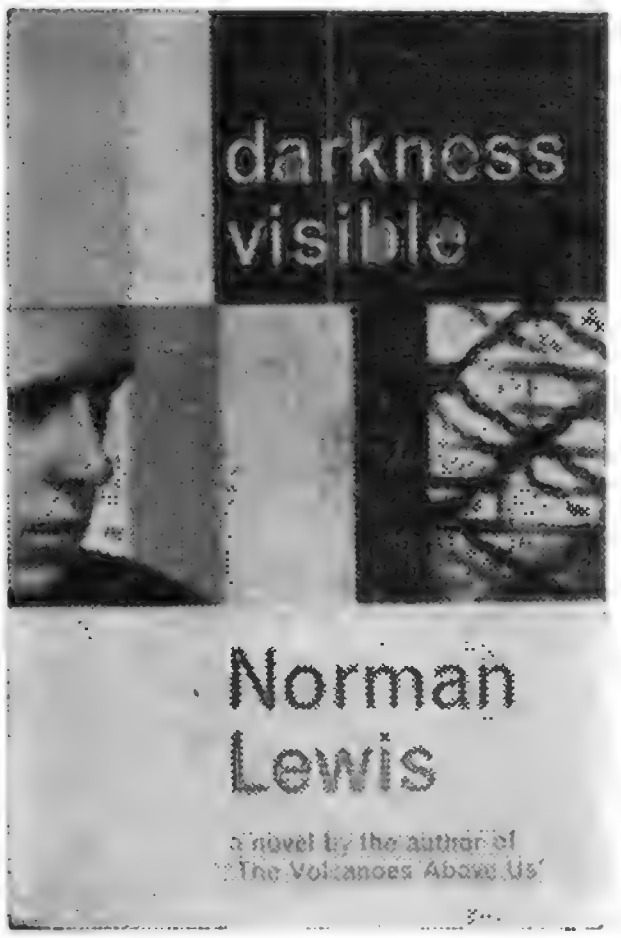
над мирным населением; вот рассказ об изощренно садистских пытках, которым французские парашютисты подвергли случайно попавшего к ним в руки араба рабочего; вот картина пустынных дорог и сожженных деревень, где одичавшие свиньи и кошки да привязанные к колышкам скелеты подохших от голода коз напоминают о том, что здесь жили люди. И перед читателем встает трагедия, в которую ввергли колонизаторы коренное население Алжира.

Норман Льюис вскрывает глубокие корни алжирского конфликта, показывая деятельность тех, чьи интересы защищает наемное «славное воинство». За многими событиями, происходящими в романе, стоит некая «Организация». Ее возглавляет Бланшон — крупный землевладелец, финансист, хозяин двух газет правого толка. «Организация» занимается тем, что насаждает расизм, провоцирует резню арабов, поддерживает французские войска, убивает инакомыслящих и ведет охоту за лидерами Фронта Национального Освобождения (ФНО). Основная цель Бланшона и «Организации» — «превратить Алжир в бесперебойно функционирующий рабовладельческий штат».

Все это увидел Норман Льюис во французском Алжире. Вот почему назвал он этот Алжир царством «зримой тьмы». И он попытался показать, как прозревают люди в царстве тьмы.

В центре событий романа автор поставил трех человек, каждый из которых, будучи субъективно честным, питает определенные иллюзии, но под давлением жизненной правды вынужден с этими иллюзиями расстаться.

Полковник Латур—француз. В начале романа он искренне убежден, что конфликт между алжирцами и французами может быть устранен путем миссионерской деятельности. С группой единомышленников объезжает он арабские деревни, оказывая населению помощь медикаментами, про-



дуктами и одеждой. Это приходится не по вкусу колониальным властям. Финансируемые Бланшоном газеты объявляют Латура агентом коммунистов. Более того, власти становятся на путь прямых провокаций. С горькой иронией описывает Льюис, как накануне прибытия Латура в одну из деревень на нее «по ошибке» сбросили несколько бомб.

Миссия проваливается, и Латур с точностью предсказывает дальнейший ход событий: «Террор, аресты и еще раз террор. Отныне при виде приближающихся солдат крестьяне будут обращаться в бегство. А это послужит оправданием для их расстрела как врагов. В конце концов, тысячи людей будут оторваны от родных мест и согнаны в лагеря... Для страны это будет равносильно смерти». Поняв, что помогать алжирцам надо как-то иначе, Латур накануне своего отъезда из Алжира содействует уничтожению Бланшона.

Англичанин Стивен Лейверс, от лица которого ведется повествование, имеет горький опыт жизни в колонии и прекрасно разбирается в характере «тяжелого бремени» колонизаторов. Вначале он заявляет о своей «непричастности» к происходящему, но постепенно начинает понимать несостоятельность такой позиции. И в решающий момент, когда фашистские молодчики нападают на лагерь нефтяников, он сражается против погромщиков. Сознательно принимает он участие в убийстве Бланшона.

«Если она (имеется в виду «Организация». — *В. С.*) и будет побеждена, то не с помощью деятельности хрупких подвижников христианства, а... разбуженным и готовым к бою самосознанием алжирского народа, восстающего сейчас от долгого сна»,— таков итог размышлений Лейверса.

Так же как и Латур, Стивен Лейверс, в силу происхождения, воспитания, известных предрассудков, не решается принять участие в борьбе алжирцев; он ограничивается осуществлением «индивидуального правосудия». Вместе с тем и оставаться в качестве стороннего наблюдателя он равным образом не может. Вот почему Лейверс собирается уехать обратно в Англию. Однако он сознает, что этот отъезд не что иное, как бегство. Бегство из тьмы, но все же бегство.

Человеком, идущим в своем прозрении дальше всех, является третий герой романа — араб Кобтан, служащий муниципалитета. Не случайно именно в его уста вкладывает Льюис свое понимание формулы «грязная война»: «Война здесь, в Алжире, идет не между расами, но между простым народом и горсткой людей «наверху», которые являются нашими общими врагами»,— говорит араб Лейверсу. Занимая первоначально, как и Лейверс, позицию невмешательства, Кобтан после событий в Эль-Милии и налета на лагерь нефтяников уходит в горы к партизанам Фронта Национального Освобождения.

Честные люди, независимо от национальности и религиозной принадлежности, находясь в Алжире, не могут, не имеют права оставаться непричастными к происходящему, они должны стать на сторону алжирского народа — такова главная мысль романа Нормана Льюиса «Зримая тьма».

В. Скороденко

Жизнь, отданная детям...

Януш Корчак. Когда я снова стану маленьким. Повести. Перевод с польского Кинги Сенкевич. Под редакцией А. Исаевой. Предисловие Веры Смирновой. Москва, Детгиз, 1961. 253 стр.

Все наши дети, а также каждый из тех, кто растит и воспитывает их, непременно должны знать об этом человеке и прочесть созданную им глубоко поэтичную, проникновенно мудрую книгу. До сих пор только одна его сказка, изданная в Польше на русском языке, стала достоянием наших маленьких читателей. Между тем еще Надежда Константиновна Крупская писала в предисловии к его педагогической книге, переведенной в Советском Союзе в 1924 году:

«Я думаю, что каждому педагогу надо прочитать книжку «Как любить детей». Книга эта способна заставить задуматься над очень многими вопросами, заставить внимательней присмотреться к очень многим явлениям в жизни детских домов, повнимательней отнестись к психике живущих в них ребят».

В Польше жизнь и имя этого чудесного человека окружены легендами, в которых, впрочем, нет почти никакого вымысла. Януш Корчак и на самом деле был таким добрым, таким бесстрашно справедливым, таким любимым ребятами чародеем, как об этом повествуют восторженные легенды.

Его звали—Генрик Гольдшмит, но на обложках его повестей, сказок и педагогических трудов стоит имя Януша Корчака. Под этим именем и знают его в Польше все — и стар и млад. Это имя начертано на мемориальной доске бывшего «Дома сирот», созданного им. «Здесь жил и самоотверженно работал воспитатель детей д-р Януш Корчак. Погиб смертью героя, замученный гитлеровскими фашистами...»

Януш Корчак. Так написано и на пестрой обложке книги его повестей, только что выпущенной в свет Детгизом. Теперь тысячи и тысячи советских ребят порадуются ласковым — то веселым, то печальным — повестям, рассказанным доверчивым, но взыскательным и уважительным голосом старшего друга. Те же, кто еще раньше читали знаменитую повесть-сказку «Король Матиуш Первый» (по ней, кстати, поставлен в Польше полный лиризма и юмора фильм), еще раз с радостью вслушаются в добрый, полный каких-то скрытых волшебных интонаций, голос Корчака, который так явственно и сердечно звучит и в повестях «Когда я снова стану маленьким» и «Слава», в небольшой, написанной прозрачными, как бы акварельными тонами повести «Лето в Михалувке».

Произведения эти несколько разнятся друг от друга по авторской манере, но все они, словно лучом прожектора, пронизаны удивительной верой в чистоту и величие детской души. За бережное и требовательное доверие к ребенку, из которого, как убежден автор, должна в соответствующих условиях вырасти полноценная человеческая личность, и ратует каждая строка этой книги.

Не место здесь пересказывать содержание повестей Януша Корчака. Советские читатели — большие и маленькие — сами познакомятся с невеселой жизнью семьи бедняков, мыкавшей горе в прежней Польше, узнают смешные, трогательные и поучительные приключения в летней колонии в Михалувке, поймут, в чем суть основных педагогических воззрений детского доктора, учителя и писателя, которые он образно изложил, рассказав, как сам «снова стал маленьким».

Советская исследовательница литературного и педагогического наследия Корчака Е. Л. Мойтлис поделилась со мной как-то воспоминаниями о встрече с писателем — еще до войны будучи молодой учительницей она слушала его лекции в Польше.

«Скромно одетый, небольшого роста, с добрыми, ясными глазами... Он говорил просто, без пафоса, но очень убедительно,— рассказывала Е. Мойтлис.— Он приводил примеры из разговоров взрослых с детьми. «Кого ты больше любишь — папу или маму?» Этот бессмысленный вопрос обычно задают детям. А почему не спросить ребенка: «Умеешь ты прыгать на левой ноге? Как зовут твою куклу?» Ведь говорить с детьми надо на темы, их интересующие».

И маленький читатель повестей Корчака сразу, с первой же строки, ощутит, что с ним беседует старший друг, хорошо знающий его сокровенные мысли, вместе с ним интересующийся и искусством прыганья на левой ноге, и игрой в куклы и мяч, знающий толк в ребячьей мечте, а если надо — и в драке. Старшему другу и самому интересно разговаривать с маленьким читателем, и читателю трудно оторваться от страниц книги этого «настоящего доброго волшебника из детской сказки», как очень правильно назвала Януша Корчака Вера Смирнова в своем предисловии.

Писатель, наделенный вечно юной фантазией, опытный воспитатель, во многом единомышленник Макаренко, которого он так ценил, Корчак никогда не пытался назойливо влезть в тайники детской души. Нет, он постигал полностью их секреты потому, что умел разделять все радости и невзгоды своих питомцев, был неизменно и во всем честен с ними, питал такое же, как и они, отвращение к любым компромиссам с совестью. Он хорошо ощущал повелительную силу игры, вымысла, воображения — без

них так пустынно и скучно было бы детство. Понимая, как не терпится ребятам поскорее вырасти большими, он в своей повести «Когда я снова стану маленьким», силой волшебства вернувшись в детство и как бы обретя право говорить о себе уже с позиций сверстника своих читателей, признается: «Знал бы, ни за что бы не хотел стать взрослым. Ребенку во сто раз лучше. Взрослые — несчастные. Неправда, будто они делают что хотят. Нам еще меньше разрешается, чем детям. У нас больше обязанностей, больше огорчений... Мы уже не плачем — это правда. Мы только тяжело вздыхаем...»

И вот для того чтобы жизнь стала лучше и для больших и для маленьких, чтобы она была светлее, радостнее, надо уже и детей воспитывать с малых лет так, чтобы из них получились хорошие, счастливые взрослые.

Его маленький «Король Матиуш», бунтарь с горячим чистым сердцем нормального мальчишки, попытался в своем королевстве провозгласить и утвердить законы элементарной справедливости, отвечающие простой детской логике, порядки наивного добросердечия, столь естественные для представлений любого здорового ребенка, однако так часто и жестоко попираемые в старом мире взрослых. Но у сказки печальный конец. Король Матиуш Первый терпит горькое поражение в неравной борьбе...

Погиб, трагически оставаясь верным своим идеалам, и сам автор «Короля Матиуша Первого» и повестей «Когда я снова стану маленьким», «Лето в Михалувке», «Слава» и многих других умных книг.

История героической смерти Януша Корчака известна. Но все же я еще раз напомню о ней, приведя строки из предисловия В. Смирновой: «Детей приказано было приготовить к отъезду, они не понимали, что их ждет, «доктор» сказал им, что они поедут в деревню. «Доктор» дал им спокойно доесть свой последний завтрак... вывел их из дома, построил в пары. «Доктор Гольдшмит, как государственный служащий, может остаться»,— сказали ему в последний момент».

Но он отказался. Вместе с детьми он прошел в последний раз по улицам Варшавы. На вокзале их ожидал поезд, на котором всех питомцев «Дома сирот» отправляли в фашистский лагерь уничтожения — Треблинку. Здесь снова Корчаку дали возможность спастись. Комендант поезда, читавший в детстве Корчака, захотел спасти любимого писателя.

«— А дети? — спросил Корчак.

— Дети поедут...

— Ошибаетесь... Не все негодяи!..— сказал Корчак».

И отправился вместе со своими питомцами на гибель...

Каждый, кто любит детей, солнце и правду, кто понимает ласку матери и радость ребенка, будет читать эту книгу с благодарностью и счастливой улыбкой. И у каждого, в ком есть живое сердце, оно содрогнется от ужаса и обольется кровью от гнева, горечи и боли за убитого фашизмом чудесного человека, полного деятельной веры в подрастающее поколение, полного страстного чувства интернационализма.

«...короткое, незаметное польское слово «смутно» и по-еврейски тоже значит «грустно».

И когда польскому или еврейскому ребенку плохо жить на свете, они думают об этом одинаково, одним и тем же словом «смутно». Так заканчивается одна из глав «Лета в Михалувке».

Всю свою жизнь от первого сознательного дня до смертного часа, все свое творчество от первой до последней строки Януш Корчак отдал тому, чтобы всем детям на земле не было «смутно».

Мне кажется, что даже самый закоренелый мизантроп, если сыщется таковой среди наших читателей, попади ему в руки книжка Януша Корчака, снова поверит и в стойкость доброго человеческого сердца и в силу бесстрашной человеческой совести.

Лев Кассиль

НА ВСЕХ

Венгерское издательство «Европа» подготавливает выпуск нового издания собрания сочинений Горького в двадцати двух томах.

«Чем же интересен Горький для венгерского читателя? — пишет Миклош Иованович в газете «Непсабадшаг».— Прежде всего как первый советский классик, как новатор и революционер в литературе. Ведь именно читая Горького, можно понять развитие русской и советской литературы. Горьким интересуются венгерские писатели, которые учатся у него мастерству отображения подлинной жизни, показа рабочего человека».

□

«Два тома писем Горького,— пишет еженедельник «Литерарни новины» в связи с выпуском в Чехословакии 28 и 29 тома полного собрания сочинений М. Горького,— это встреча с живым Горьким... Его письма не имеют ничего общего с литературной стилизацией. В них — просто он сам, без прикрас, без эффекта, пролетарский самоучка, преданный культуре, горячий и пламенный человек, деликатный по отношению к скромным и простым людям, строгий к несправедливостям, невзирая на личности и пьедесталы...

Два тома писем А. Горького — это такое богатство мыслей, о котором трудно писать. ...Для того, кто любит литературу, эти строки откроют много интересного. Теоретик литературы обнаружит в них аспекты, которые раньше ускользали из его поля зрения. Историк литературы найдет в лапидарных изречениях об отдельных писателях ключ к пониманию их творчества, который не даст ему академическая наука... А каждый, кто хочет понять закономерности нового социалистического искусства,— будь то сами представители искусства или рядовые читатели,— встретит здесь очень многое».

□

«Они сражались за родину» Михаила Шолохова своей драматической насыщенностью раскрывают новые элементы творчества писателя, указывают на интерес его к конкретной жизни, выражают новый прилив симпатии к человеку. Это дальнейшее развитие характерных черт творчества Шолохова»,— так пишет румынский критик Л. Райку в «Газета литерарэ».

«Первые главы этого романа,— по словам Райку,— показывают, что острые и даже страшные ситуации, каких было множество в минувшей войне, можно восстановить без применения «внешних эффектов», без назидательного тона. Звучание книги определяется суммой достоинств содержания... Манера повествования Шолохова вытекает из его глубокой веры, что жизнь нельзя подавить, сколь тяжелыми ни были бы условия, в которых она протекает...

Понимание Шолоховым Великой Отечественной войны обусловлено его пониманием важнейших этапов в жизни Страны Советов: революции, гражданской войны, мирного строительства. Ключ к этому — глубокое знание писателем души простых людей, героев его произведений.

Картины войны в «Они сражались за родину» характерны для шолоховского понимания трагичности и непримиримости, его коммунистического воззрения, его веры в способность человека, воспитанного революцией, побороть огромную разрушительную силу боли и страданий, страха смерти».

□

В связи с выходом в свет в нью-йоркском издательстве «Альфред Кнопф» четвертой части «Поднятой целины» Михаила Шолохова, еженедельник «Лайвли артс энд бук ревью» — приложение к газете «Нью-Йорк геральд трибюн» — опубликовал рецензию, в которой все четыре тома произведения советского писателя называет широко задуманным полотном из жизни донских казаков после Октябрьской революции.

«Повествование,— пишет рецензент,— захватывает. Те, кому понравились первые части, с удовольствием прочтут и эту». Среди достоинств четвертой части критик отмечает «эпическую картину жизни в степях, четкость человеческих образов, реализм, в котором в равной степени присутствуют и трагедийность и комизм, показ подлости и благородства, грубости и самопожертвования, жестокости и нежности».

Признавая жизненность выведенных в произведении образов, автор рецензии все же утверждает, что писатель их, дескать, «переупростил». Вместе с тем рецензент подчеркивает, что все четыре тома «Поднятой целины» «могут считаться самой глубокой и яркой картиной жизни русского села в период грандиознейших социальных перемен, происходивших в наше время».

□

Творчество Владимира Луговского хорошо известно в Чехословакии. Издательство «Млада фронта» выпустило посмертную книгу его стихов «Середина века» в переводе Иржи Шотолы. В послесловии Шотола, подробно рассказав о жизненном и творческом пути Луговского, дал высокую оценку его творчеству.

«Луговской не был абстрактным, книжным, комнатным поэтом,— пишет Шотола.— Он часто писал второпях. Писал и в пути. Его поэмы в некоторых местах скорее описательны. Иногда он скорее работал как поэт-репортер, поэт-документалист. Он подмечает факты, докладывает стихом... Немно-

гие поэты нашего века так предельно конкретны. Немногие поэты с такой широтой и с такой опытной мудростью понимали мир и людей. Луговской писал в стихах о бедности и величии, страхе и героизме, чистоте и грязи этого «зеленого и грешного мира», в который он верил и который воспринимал без истерии и надушенной романтики... Удивляться и восхищаться можно такому поэту: он из тех, кто возвращает поэзии — начиная с мыслей и до ее метафор и словаря — реальность, жизнь. факты. Тем больше следует уважать этого поэта, этого *современного* поэта, поскольку содержание его поэм — это факты и их смысл, переживания людей, события и их атмосфера».

Журнал «Словенске погляди», рецензируя вышедший в Чехословакии сборник стихов «Песнь о ветре», писал, что поэзия Владимира Луговского насыщена красками и запахами жизни. В человеческих судьбах Луговской открывает зародыши новой этики и новой красоты. Перед читателем проходят солдаты революции, рабочие, чекисты, интеллигенты, которых поэт показывает в различных драматических ситуациях. Поэзия Луговского наполнена напряженными событиями революционных лет, конкретными фактами и реалиями. Поэзия его стремится показать мир таким, каков он есть на самом деле. Поэт-новатор, Луговской откликался на многие события современности. От современной поэзии он требовал конкретности, стоял за то, чтобы и в поэзии окружающая действительность представала в своем диалектическом развитии. «Творчество Владимира Луговского — образец честной, идейной поэзии, которая не мирилась с половинчатостью,— пишет журнал,— пример для молодой чехословацкой поэзии».

В начале нынешнего года Издательство художественной литературы в Праге выпустило книгу Владимира Луговского «Синяя весна».

□

Один из последних номеров французского журнала «Эроп» посвящен армянской литературе и культуре. На французском языке такая антология армянской прозы и поэзии появляется впервые. Большое место уделено произведениям советских армянских писателей, в том числе Акопа Акопяна, Аветика Исаакяна, Егише Чаренца, Наири Зарьяна, Сильвы Капутикян, Геворка Эмина, Рачии Ованесяна, Александра Ширванзаде, Дереника Демирчяна, Стефана Зорьяна.

В этом номере «Эроп» опубликован также ряд статей об армянской культуре, среди них — статьи о советской армянской драматургии и театре, о музыке, пластическом искусстве и кино советской Армении. Католический писатель Жак Мадоль пишет на страницах журнала: «Сегодня советская Армения — это единственная в мире страна, где армяне живут свободно на земле своих предков».

□

Берлинское издательство «Культур унд фортшритт», как сообщает газета «Нейес Дейчланд», выпустило на немецком языке повесть Чингиза Айтматова «Джамиля».

Почему в романе В. Кочетова «Братья Ершовы» все, что связано с производством. привлекает особое внимание литераторов? Этот вопрос задает в журнале «Вяца ромыняскэ» писатель Ремус Лука. «Ведь здесь,— отмечает он,— производству уделяется много места, да и сам конфликт непосредственно связан с деятельностью крупного предприятия. Причина в том, что вопросы производства — это жизненные вопросы главных героев, труд определяет здесь человека

Кочетов, естественно, не описывает технологический процесс, зато его занимают мысли людей, их внутренний мир. Роман Кочетова интересен развитием его персонажей, живым и полным неожиданностей повествованием».

□

Сообщая о выходе в свет романа «Мужество» Веры Кетлинской, берлинская газета «Юнге вельт» (ГДР) подчеркивает ее значение в деле воспитания молодого человека нового общества.

□

Польское издательство Министерства национальной обороны выпустило сборник рассказов Бориса Лавренева. Среди четырнадцати включенных в сборник рассказов — «Марина», «Сорок первый», «Сателлит», «Комендант Пушкин», «Встреча». Книга дает возможность читателю широко ознакомиться с творчеством советского писателя.

Большинство этих рассказов Лавренева посвящено военно-революционной тематике, отмечает журнал «Нове ксенжки», и всем им присуща революционная романтика; теплота и лиризм — отличительные черты творческой манеры писателя. Лавренев — писатель-экспериментатор, необыкновенно интересный стилист, писатель-искатель. Весь сборник — увлекательная книга; ее поймет каждый, кто чувствует красоту и прелесть хорошей прозы.

□

«Маленький человек в большом мире» — под таким названием вышла на немецком языке повесть Веры Пановой «Сережа» в берлинском издательстве «Культур унд фортшритт».

«Русская литература — это классическая литература рассказов о детях»,— пишет газета «Нейес Дейчланд». Перечисляя произведения о детях Л. Толстого, Аксакова, Горького, газета приходит к выводу, что Панова продолжает ту же линию в советской литературе. По мнению газеты, «история маленького Сережи рассказана с большим мастерством».

□

Итальянское издательство Фельтринелли сообщает в газете «Паэзе сера» о выходе перевода повести Григория Бакланова «Пядь земли».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АНГЛИЯ

НА ЭКРАНЕ — ЖИЗНЬ РАБОЧИХ

Весьма много споров вызвал в Англии фильм, поставленный по роману молодого писателя Алана Силлитоу «Субботний вечер и воскресное утро».

Действие фильма происходит на велосипедном заводе Ралэй, поэтому редакция газеты «Дейли уоркер» обратилась к одному из рабочих этого завода с предложением поделиться с читателями своими впечатлениями от фильма.

По мнению рабочего завода Ралэй, написавшего письмо в газету, главный герой фильма — молодой рабочий Артур Ситон «полон энергии, хотя несколько самоуверен». То, что Ситон стал бунтарем, продолжает автор письма, понятно, жизнь у него тяжелая. Артур Ситон осознал, что для улучшения жизни и условий труда рабочих необходимо бороться, поэтому он выступает против тех, кто безоговорочно подчиняются хозяевам; он не боится открыто защищать свои права.

«Алан Силлитоу,— продолжает автор письма,— сам когда-то был рабочим нашего завода, и его книга и фильм являются серьезным разоблачением условий, в которых мы работаем. Он привлекает внимание зрителей к нашим проблемам, и это очень хорошо. Нет сомнения, что рабочий люд увидит в этом фильме свою собственную жизнь. Что же касается личной жизни героя и его связи с замужней женщиной, то это, вероятно, встретит порицание со стороны большинства из нас. Но недостатки Артура Ситона отнюдь не являются типичными для среднего молодого рабочего».

С точки зрения рабочего завода Ралэй, самое главное в облике героя и что вызывает восхищение — это «его смелость и целеустремленность в повседневной борьбе за лучшую жизнь для рабочих».

Кадр из фильма «Субботний вечер и воскресное утро». В центре — герой картины Артур Ситон.

(Газета «Дейли уоркер»)

ПРОТИВ РЕЛИГИОЗНОГО МРАКОБЕСИЯ

Впервые за последние восемьдесят два года шекспировский Мемориальный театр показал спектакль, не имеющий никакого отношения к Шекспиру.

Поставленная лондонским филиалом театра пьеса «Дьяволы» написана драматургом Джоном Уайтингом по мотивам книги Олдоса Хаксли «Дьяволы Лудёна». В основу книги и пьесы, направленных против мракобесия, положен исторический факт, пример религиозного изуверства и доведенных до предела суеверий. В 1617 году некий молодой монах Урбан Грандье был назначен пастырем в один из парижских приходов. Его слава проповедника и сердцееда дошла до психически ненормальной настоятельницы монастыря урсулинок — сестры Жанны, которая заочно влюбилась в него и стала утверждать, что она-де одержима дьяволом, околдовавшим ее, и что Урбан якобы обольстил ее с помощью дьявола. Начался судебный процесс: молодого монаха, никогда не видавшего Жанну, признали виновным в колдовстве, зверски пытали и наконец сожгли на костре.

Несмотря на то что действие пьесы происходит в XVII веке, «Дьяволы» воспринимаются как современный спектакль большой силы. Причины столь острого восприятия раскрывает газе-

та «Дейли телеграф энд морнинг пост»: «В спектакле дана потрясающая картина того, до каких пределов безумия доходит человек, если он суеверен, если он во власти нездоровой эротики, да и к тому же когда жестокость прикрывается маской правосудия».

Еженедельник «Трибюн» пишет: «Мы видим театральное событие первостепенного значения, веху в истории театрального искусства». По мнению еженедельника «Санди таймс», «редко в театре встретишь насыщенный столь глубоким драматизмом и тонким умом спектакль».

Роль сестры Жанны исполняет известная советскому зрителю по гастролям в Москве молодая актриса Мемориального театра Дороти Тьютин.

БРИТАНСКАЯ ЦЕНЗУРА ПЕЧЕТСЯ О... ГИТЛЕРОВЦАХ

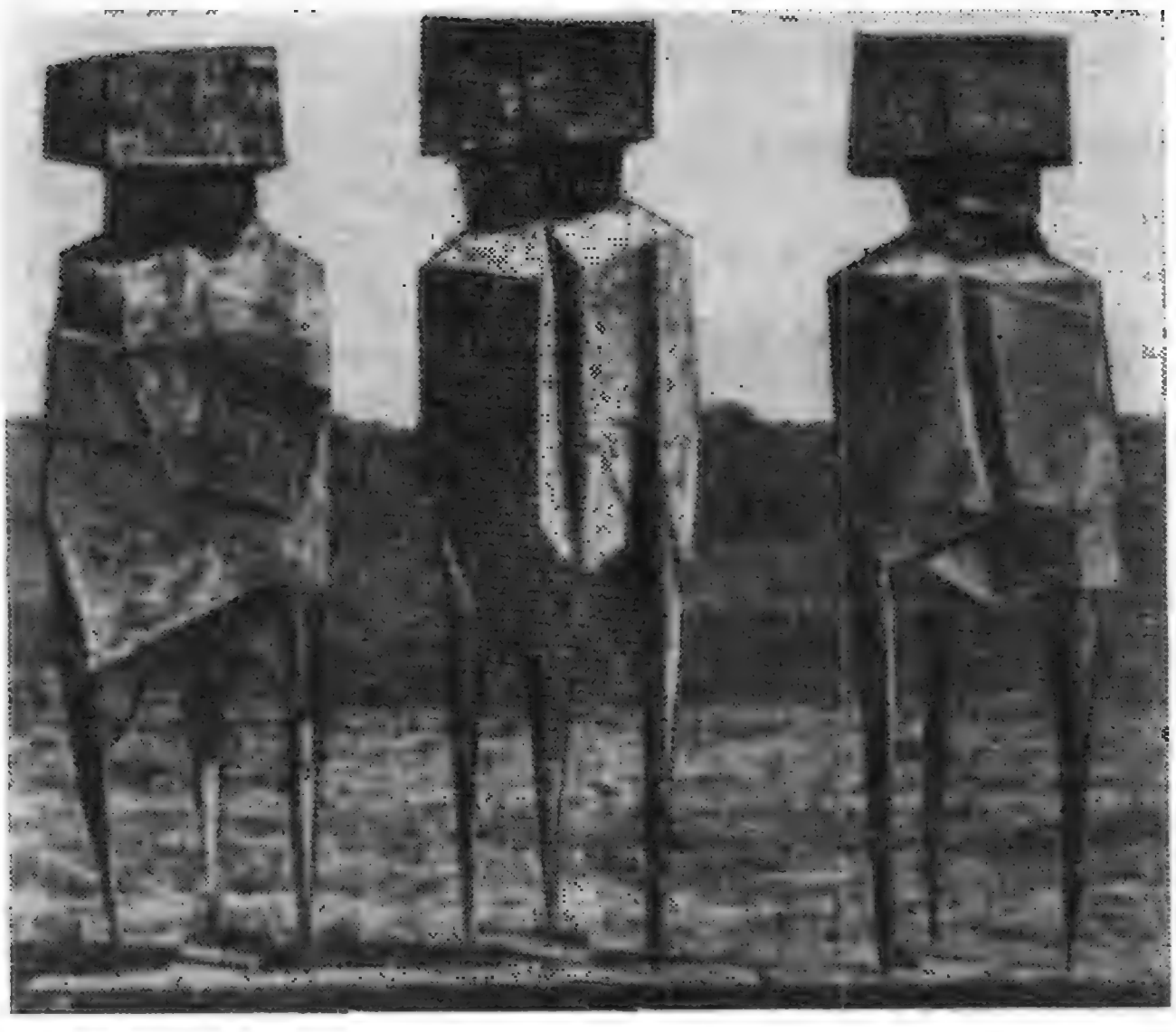
В письме из Лондона, опубликованном парижским еженедельником «Франс обсерватёр», Дерек Хилл сообщает о том, что в Англии учащаются случаи показа фильмов, воспевающих гитлерозцев.

В одной кинокартине прославляются «ратные подвиги» майора Бернгардта Рогге, ныне служащего НАТО, герой другого фильма — изобретатель сеявших смерть и разрушения в Англии снарядов «Фау-2» Вернер фон Браун, работающий теперь в США. Один из английских продюсеров поручил гитлеровской кинопропагандистке Лени Рифеншталь постановку нового варианта ее старого фильма «Голубой свет», который она сделала еще в 1932 году и в котором играла главную роль.

Весьма поощрительно относясь к «вторжению» бывших нацистов на экраны английских кинотеатров, британская цензура, естественно, стремится обезопасить их от возмущения всех, кто помнит, какое зло причинили гитлеровцы английскому народу во время минувшей войны. Цензура стремится не допускать никаких аналогий, никаких намеков. Поэтому, по словам автора письма, запрещается демонстрация фильма о варшавском гетто, а также документальных кинокартин, поставленных в ГДР, в которых говорится о «зверствах нацистов и о военных преступниках, теперь занимающих важные посты в ФРГ и НАТО».

На этом снимке показаны «произведения» английского скульптора Линна Чэдуика, принадлежащего к одной из формалистских групп в изобразительном искусстве. «Сторожа» — так называются эти три уродливых чудовища высотой в восемь футов, которые Чэдуик создал на страх жителям Британских островов. «Вполне можно было бы обойтись без таких отвратительных уродов»,— справедливо пишет критик Эмили Генауэр, посетившая выставку творений Линна Чэдуика.

(Газета «Нью-Йорк геральд трибюн»)



БОЛГАРИЯ

ФИЛЬМ О ДИМИТРОВЕ

На экранах Болгарии идет новый документальный фильм «Георгий Димитров — страницы одной большой жизни».

«Сценарист Камен Калчев и режиссер Йордан Величков внимательно изучали жизнь и разностороннюю деятельность Димитрова,— пишет еженедельник «Народна култура».— Заботливо подобраны ценные оригинальные снимки, хранившиеся в Болгарском киноархиве и в фондах СССР и ГДР. В фильме использованы подлинные документы Лейпцигского процесса, речь Анри Барбюса в защиту Димитрова, съемки приезда Георгия Димитрова в Советский Союз».

ТВОРЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Союз болгарских писателей организует в этом году творческие конференции.

Еженедельник «Литературен фронт» сообщает о проведении такой конференции, посвященной вопросам художественного мастерства. С докладом выступил Богомил Райнов.

«Как подготовка, так и проведение этой теоретической конференции по вопросам художественного мастерства — свидетельство возросшей активности в нашей писательской среде. Все это несомненно окажет положительное влияние на творчество наших писателей»,— заявил секретарь Союза писателей Болгарии Георгий Димитров-Гошкин.

«Сборщицы яблок» — работа Ив. Гонгалова, представленная на выставке молодых художников и скульпторов Болгарии.

(Еженедельник «Народна култура»)

ГЕРОЙ ТРУДА — ГЛАВНАЯ ТЕМА ХУДОЖНИКОВ

В Софии была устроена выставка молодых болгарских художников и скульпторов. Из присланных 4000 работ выставочный зал смог вместить лишь десятую долю.

«Преобладающая часть экспонированных работ, — пишет еженедельник «Литературен фронт»,— отражает тему современности, раскрывает стремления и чувства нашего современника. Работы эти — плод вдохновения подвигами наших прекрасных героев труда: шахтеров и трактористов, рабочих заводов и строителей, людей моря и сельского труда».

Еженедельник «Народна култура» считает обращение молодых художников к теме современности «самым важным показателем того, что молодые дарования нашли правильный путь».

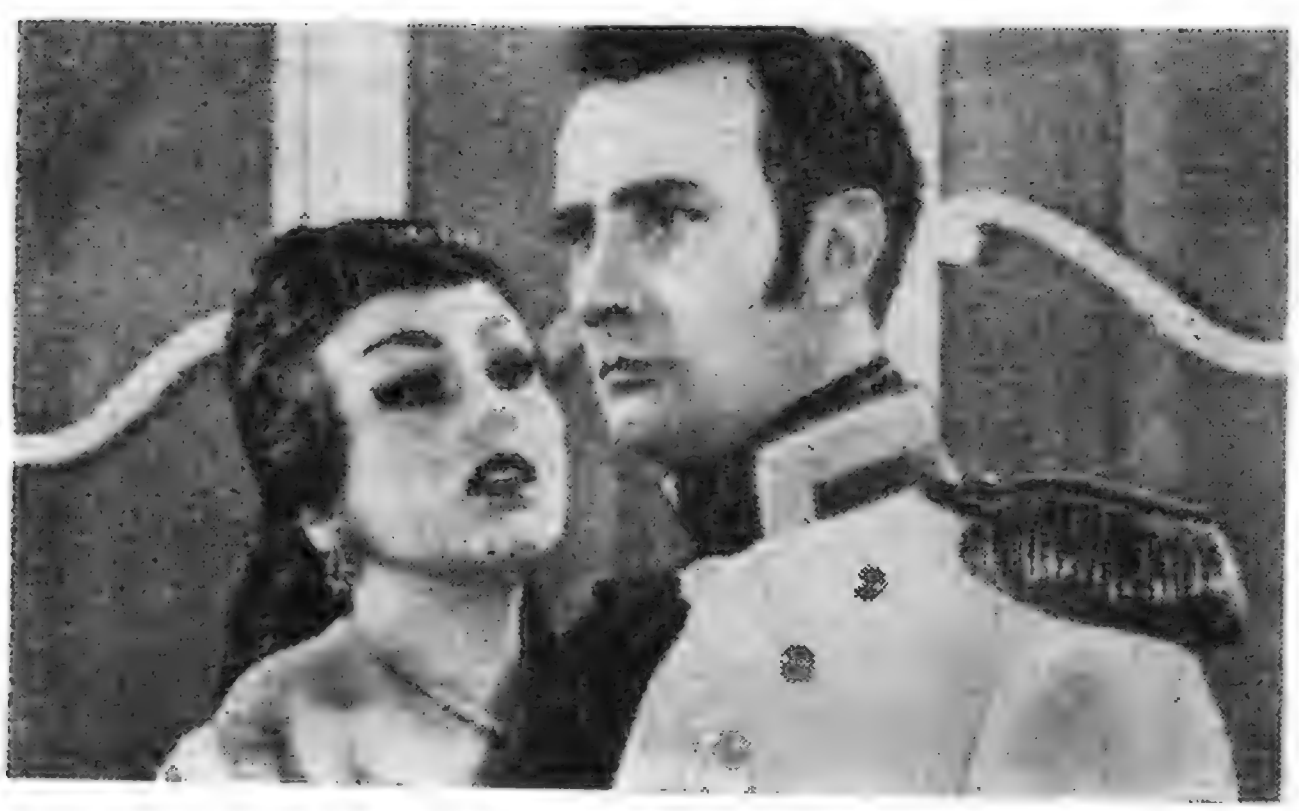
ВЕНГРИЯ

ЭПИЗОДЫ БОРЬБЫ ЗА СВОБОДУ

В 1959 году советский читатель смог познакомиться с романом известного венгерского писателя Мора Йокаи «Сыновья человека с каменным сердцем», воспроизводящим героические эпизоды борьбы венгерского народа за свободу — революционные события 1848 года.

Недавно в Бекешчабском театре режиссером Дьёрдем Варади была поставлена пьеса, написанная по мотивам этого романа.

Большой успех спектакля отмечает будапештский журнал «Филм-синхаз-мюжика».



Сцена из спектакля «Сыновья человека с каменным сердцем». В роли Альфонсины артистка Юдит Реваи, роль Отто Палвица исполняет артист Миклош Петехази.

(Журнал «Филм-синхаз-мюжика»)

ГАНА

ВОЗРОЖДЕНИЕ АФРИКАНСКОГО ТЕАТРА

Африканский традиционный театр — это одновременно рассказ, песня и танец. Тесно связанный с традициями народного фольклора, он был обречен в условиях колониализма на упадок и гибель.

Ныне, после образования независимых государств, возник вопрос о воссоздании национального театра. Произведения национальных драматургов, по мнению печати, должны не только обновить традиционный театр, но и развивать его дальше. Задача театра — отражать насущные проблемы народов Африки.

В последнее время, как сообщают издающиеся в Аккре газеты «Дейли грэфик» и «Ивнинг ньюс», в Гане сделаны попытки возрождения национального африканского театра. Ассоциация народных зрелищ Ганы и недавно основанное Африканское драматическое общество, а также исполнительный комитет Совета искусств Ганы ведут работу по созданию первого драматического театра. Кстати, по случаю основания Африканского драматического общества в Аккре была поставлена пьеса нигерийского драматурга Джеймса Хэншоу.

НОВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГИМН

Министр информации Ганы, как сообщает газета «Ганэниен таймс», объявил конкурс на создание нового национального гимна республики. Текст нового гимна должен быть написан по-английски, а затем его переведут на основные местные языки.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

«ЭТО НАЧАЛОСЬ ЛЕТОМ»

«Это началось летом» — так Пауль Шмидт-Эльгерс назвал свой роман, рассказывающий о социалистических преобразованиях на одном из крупнейших металлургических заводов республики.

По мнению демократической прессы, основная заслуга автора состоит в том, что он показал в романе возникновение, жизнь и работу бригады социалистического труда.

Сюжет романа несложен. За девушкой, секретарем заводоуправления, ухаживают двое — сталевар и прибывший на производственную практику студент. Оба они — члены бригады, оба обязались по-социалистически работать, учиться и жить. Выполняя эти обязательства, они помогают друг другу — на рабочем месте, во время учебы, в личной жизни.

Студент решил не мешать счастью сталевара и уезжает осенью, дав обещание вернуться на следующее лето в бригаду. Сталевар и девушка любят друг друга, и время у них еще есть, чтобы окончательно решить вопрос о совместной жизни.

Фабула взята автором из действительности. Все это произошло на заводе «Макс Хютте», на котором он сам длительное время работал.

Газета «Нейес Дейчланд» пишет, что, хотя роман не лишен недостатков — несколько схематичны образы других членов бригады, рабочих завода, слабо показана их жизнь вне завода, их культурные интересы,— автор все же удачно решил задачу. По словам газеты, автор в увлекательной форме развил такую важную и интересную тему, как становление бригады социалистического труда, познакомил читателя с жизнью металлургов, с их борьбой за выполнение производственного плана в интересах социалистического строительства республики.

История трудной любви инженера Ганса Шрамма и Франки Хюбенталь легла в основу фильма ДЕФА «Сентябрьская любовь», поставленного лауреатом Национальной премии Куртом Метцигом. Сложные препятствия, стоящие на пути молодых людей, преодолеваются благодаря сильной и мужественной натуре Франки. В нелегкую для Шрамма минуту, когда запутанный западной агентурой, он проявляет малодушие и хочет покинуть ГДР, Франка помогает ему найти правильный путь. Критика назвала этот фильм, кадр из которого здесь помещен, «интимным, психологическим произведением о современности».

(Газета «Нейес Дейчланд»)

ДВА РОМАНА ГЕРБЕРТА НАХБАРА

Жизни тружеников моря — рыбакам посвящены романы молодого талантливого писателя Герберта Нахбара «Светлый венец вокруг луны» и «Свадьба в Леннекене».

Действие первого произведения, вышедшего пять лет назад, относится к концу прошлого века, однако, по мнению еженедельника «Вохенпост», роман затрагивает многие проблемы, имеющие большое значение для трудового народа современной Германии. Книга убедительно показывает истинных защитников и друзей рыбацкой бедноты, говорит, за кем должна идти беднота, чтобы претворять в жизнь мечту о классовой справедливости.

Недавно вышедший в свет новый роман Герберта Нахбара «Свадьба в Леннекене» знакомит с жизнью рыбаков в Германской Демократической Республике. Раскрывая конфликт между старым и новым, автор подчеркивает неотвратимость победы нового.

«Вохенпост» считает, что «Свадьба в Леннекене» ставит автора на одно из первых мест в современной немецкой литературе.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ПОЭТА КУБЫ

Издательство «Хинсторфф-ферлаг» недавно выпустило в свет собрание сочинений лауреата Национальной премии поэта Кубы.

В издание вошли все наиболее значительные произведения поэта с начала творческой деятельности в тридцатых годах и до наших дней. «Это первое и наиболее полное издание произведений Кубы»,— пишет газета «Дер морген».

«ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ»

Внимание печати привлек телевизионный фильм, поставленный берлинской студией телевидения (ГДР) по новелле западногерманского писателя Яна Рейншпергера.

Место действия фильма — камера смертника, куда заключен порвавший с фашизмом солдат гитлеровской армии. Приговоренный к смерти молодой солдат беседует с дивизионным священником в последнюю ночь перед казнью. Зрители слышат слова солдата о преступлениях гитлеровского фашизма, о необходимости наказания военных преступников. Слышны и ответы молодого священника, который хотя и верит в невиновность солдата, но остается слугой своих господ. В последние часы приговоренный, предоставленный самому себе, приходит к выводу, что он все же виновен: вместо того, чтобы принять решение бороться с фашизмом, он долго колебался...

Телевизионный фильм «Последняя ночь», как пишет демократическая печать,— большой успех берлинской студии.

Эпизод из телевизионного фильма «Последняя ночь».
(Газета «Берлинер цейтунг»)

Мало кому известно, что Генрих Манн, выдающийся немецкий писатель и публицист, был способным художником. «Лесная идиллия» — так назвал писатель этот рисунок пером, ныне хранящийся в архиве Генриха Манна Академии искусств ГДР.
(Газета «Берлинер цейтунг»)

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ТЕАТР ИЗ ГДР ПОКАЗЫВАЕТ ПЬЕСУ ГОРЬКОГО

Берлинский «Дейчес театер» с огромным успехом гастролировал в западногерманском городе Швейнфурте по приглашению местного Общества культурных связей. Здесь театром была показана пьеса А. М. Горького «Мещане». Как сообщает печать, публика встретила артистов ГДР бурей аплодисментов. В газетах появились восторженные отзывы об игре артистов театра и постановке спектакля.

«Это — коллективное творчество, незнающее холостого хода и слабых мест,— пишет католическая газета «Швейнфуртер цейтунг».— В конце спектакля так часто занавес не поднимался уже давно».

Руководитель отдела театров и концертов швейнфуртского Общества культурных связей доктор Гюнтер Фурман отметил, что «Дейчес театер» — это первая труппа артистов ГДР, которая посетила Швейнфурт. «Сделано начало, и мы надеемся, что такие гастроли станут постоянными,— заявил он.— Культурный обмен между двумя немецкими государствами должен обязательно усиливаться».

По словам доктора Фурмана, «Мещане» Горького в исполнении «Дейчес театер» принадлежат к «вершинам театрального искусства». Успех, завоеванный театральным ансамблем в Швейнфурте, побудил Общество культурных связей пригласить «Дейчес театер» и в следующем году.

ТРЕВОГИ ГЕРРА ГАЙТАНИДЕСА

Книгой раздумий над временем, над судьбами общества и литературы является выпущенный издательством «Ферлаг Пауль Лист» сборник «Я живу в Федеративной Республике».

В книге собраны высказывания пятнадцати западно-

германских писателей, представляющих старшее поколение. Много горечи накопилось у тех, кому довелось пережить и кайзеровскую Германию, и Веймарскую республику, и гитлеровский рейх, а теперь — вкусить плоды боннской «демократии». Писатель Вольфганг Кёппен, автор романа «Смерть в Риме», с грустной иронией пишет, что ему живется в Федеративной Республике «легко и беззаботно» и он не испытывает никакого страха лишь только потому, что «эсэсовцы не носят больше мертвой головы на шапке, а чиновники вежливы». Ганс Вернер Рихтер, неустанно выступающий против милитаризации, спрашивает: «Не живу ли я уже снова в преддверии новой диктатуры? Крадущейся и зловещей диктатуры, которая от имени свободы предает свободу, от имени права подрывает право и от имени демократии ликвидирует демократию...»

Есть в этом сборнике и статья некоего Иоганнеса Гайтанидеса. По словам журнала «Монат», выбравшего для публикации из всей книги именно статью Гайтанидеса, автор «является комментатором Баварского радио и зарекомендовал себя как политический писатель высокого ранга».

Сочинение малоизвестного западногерманского литератора под заголовком «О бессилии нашей литературы», может быть, и не стоило упоминания, если бы автор дал выход лишь своим чувствам.

Беспокоит Гайтанидеса отнюдь не плодовитость авторов «окопной литературы», отравляющих молодежь милитаристской «романтикой». Нет, об этом он молчит.

Заявив о своих верноподданнических чувствах к Бонну, Гайтанидес спохватился, как бы не отпугнуть грубым ура-патриотизмом коллег по перу, познавших прелести аденауэровского режима, и стал кокетливо заигрывать с «упрямыми антибоннцами». «С надменным самомнением мы затушевываем размер своей вины» за положение литературы, вещает он. Гайтанидес даже пробует несмело говорить о кое-каких грешках западногерманской действительности, хотя и останавливается на полуслове: «...я не сомневаюсь, что другие разрисуют пышный свод пороков Федеративной Республики подробнее, красочнее и во всех нюансах, а потому позволю себе воздержаться от их перечисления».

Основная цель Гайтанидеса — поучать «антибоннских писателей». Он старается доказать, что весь этот разговор затеян им всего лишь из желания наставить заблудших собратьев по перу на путь истинный. Он перечисляет наиболее распространенные «заблуждения», не делающие, по его мнению, чести литераторам, и прежде всего призывает не увлекаться критикой. По его убеждению, книги, возбуждающие недовольство и «провоцирующие беспокойство», наносят ущерб «моральному здоровью нации», расшатывают нервы немцев. Наша литература ослабла, пишет он, обессилела из-за увлечения «терапией беспокойства». Литературе следует «отказаться от самоизнурения». Отсутствие порядка в литературе, утверждает Гайтанидес, довело до того, что «всю вину за скверное положение вещей она сваливает на... начальство, на правительство, на время, на НАТО, на атомную бомбу, на черта и дьявола, только не на саму себя...» Итак, корень зла — сама же литература.

Неизвестно, чем еще прославилось перо Иоганнеса Гайтанидеса. Во всяком случае, в стремлении провести чистку «инакомыслящих» писателей Западной Германии он преуспевает...

ИНДИЯ

РОМАН СУНИЛА ГХОША

Если роман на бенгали и не уходит своими корнями в античность, он все же по праву может гордиться богатыми традициями, пишет литературный критик индийской газеты «Нью эйдж» Дж. Б. Мойтра.

Бенгальский романист Сунил Гхош принадлежит, несомненно, к группе писателей, успешно наследующих эти традиции. Роман Гхоша «Иные взгляды», опубликованный издательством «Нэшнл паблишерз» (Калькутта), по словам критики, свидетельствует о «более глубоком проникновении писателя в жизнь, чем это наблюдалось в его ранних работах. Кругозор его стал значительно шире».

Этот роман показывает жизнь современного капиталистического общества с присущими ему коррупцией и спекуляцией, взяточничеством и эксплуатацией, деспотизмом, маскирующимся под личиной демократии. Всему этому писатель противопоставил борьбу народа, выступившего на защиту своих интересов. Огромное полотно написано автором живо, убедительно и с большим мастерством, отмечает Дж. Мойтра.

В связи со столетием со дня рождения Рабиндраната Тагора в Нью-Йорке была поставлена его пьеса «Король темной комнаты». По словам Рабиндраната Тагора, «цель пьесы — показать, какую опасность таит для человечества «организованная алчность» западных держав, которая угрожает уничтожением всего наилучшего, что имеется в мире». На снимке: Индийские артистки Суриа Кумари (в роли королевы) и Рахилла (в роли ее служанки).

(Газета «Нью-Йорк геральд трибюн»)

Простые люди с их горем и радостями, отчаянием и надеждами непрестанно находятся в центре внимания писателя. По мнению рецензента, основная заслуга Гхоша состоит в том, что лирическая тема не стоит у него особняком, «писателю удалось органически переплести эту тему с беспощадной критикой социально-политических условий».

«Роман «Иные взгляды»,— пишет критик, — значительное явление, ценный вклад в дело изучения и освещения трудного времени, в котором мы живем».

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ ГАНДИ

За большие заслуги в области литературы удостоен литературной премии имени Ганди писатель Шеорей, автор восьми романов, многих рассказов и очерков.

Его произведения, посвященные борьбе индийского народа за свободу и независимость, а также сегодняшнему дню страны, публиковались на различных языках народов Индии.

В период борьбы за свободу писатель три года провел в тюрьме.

«Являясь по своим взглядам гуманистом, писатель,— отмечает журнал «Индиэн ПЕН»,— глубоко привязан к индийской культуре, и в своих произведениях он стремится отразить дух новой Индии».

ИСПАНИЯ

ГЛАЗАМИ ДЕ СУНСУНЕГИ

«Сколь ужасна старость писателя в Испании!» — восклицает драматург дон Андрес, герой недавно вышедшего в свет романа одного из крупнейших современных испанских писателей Хуана Антонио де Сунсунеги — «Мир следует далее».

Автор уже известной советскому читателю книги «Бег в темноте» показывает в своем новом романе семью мелких разорившихся буржуа, которые живут в Мадриде 40-х годов. Перед читателем, как сообщает мадридский журнал «Инсула», развертывается картина жизни города через восприятие людей, выбитых из колеи активной жизни. Мадрид этого периода — гнездо торжествующей реакции, город новых богачей и безработных бедняков, город, где столица уживается с провинцией, а современный комфорт — с бытом прошлого века. В этом городе, где задушена всякая мысль, рекламируется дутая «светская жизнь», поощряется ажиотаж вокруг футбола и лотерей.

Находящаяся под строжайшей цензурой, пресса половину страниц посвящает спорту — давать читателям другую, более насущную духовную пищу, по цензурным соображениям, невозможно. Сделать из футболиста национального героя — мечта каждого редактора газеты.

Дон Андрес не может мириться с лицемерием, которое составляет основу фашистского государства. Ему осточертел продажный, прогнивший мир, где плуты выживают, а честные погибают.

«До каких пор будет разыгрываться фарс в обществе, которое называется христианским?» — этот вопрос его с особой остротой звучит в современной фашистской Испании.

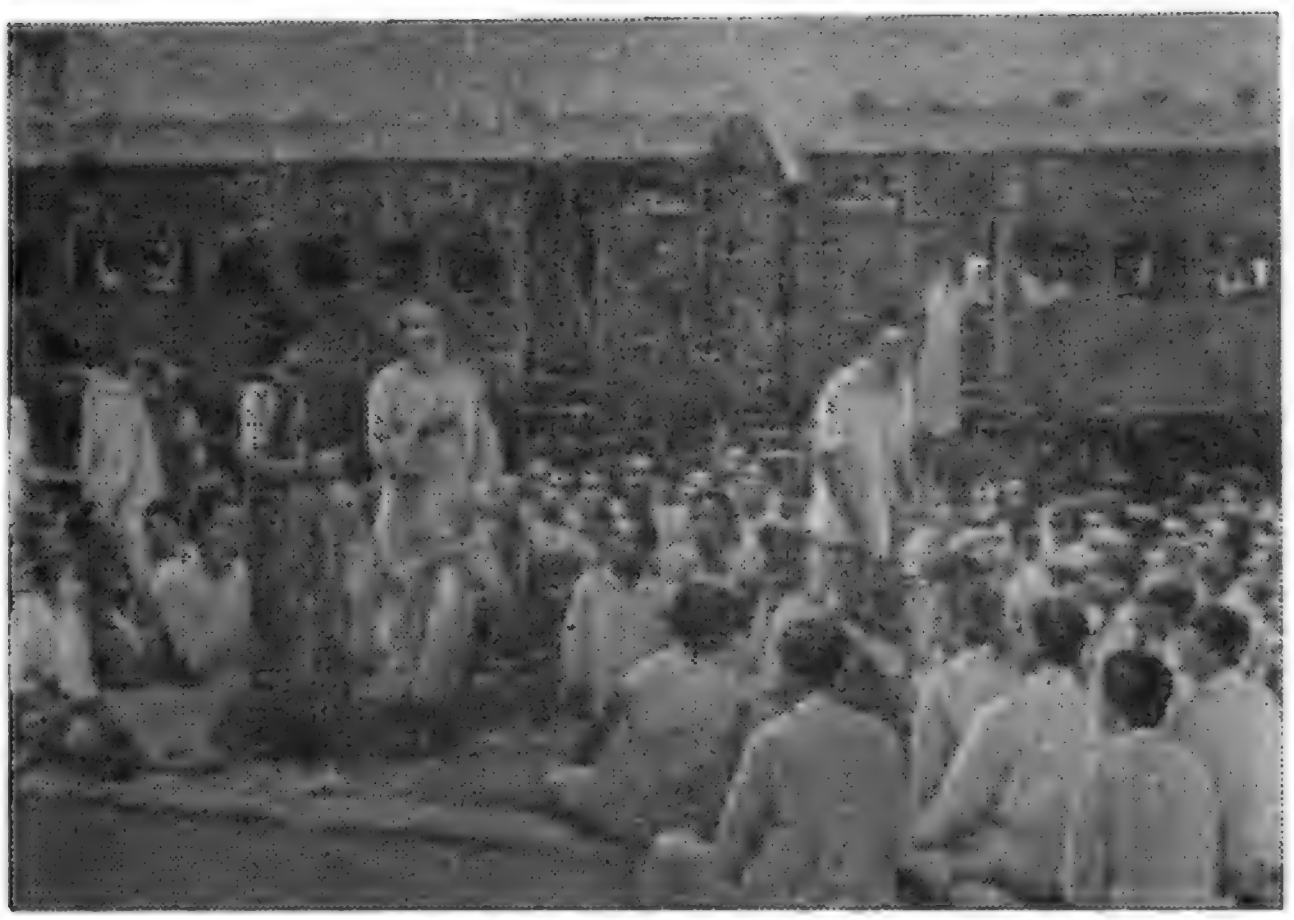
«МЕНИНЫ» ВЕЛАСКЕСА... НА СЦЕНЕ

Большой интерес мадридских зрителей вызвала постановка пьесы Антонио Буэро Вальехо «Менины» на сцене мадридского драматического театра — Театро эспаньоль. Название пьесы не случайно совпадает с названием картины Диего де Сильвы Веласкеса: постановка комедии приурочена к чествованию великого художника.

Веласкес — главное действующее лицо пьесы.

...Пятьсот индийцев отправились в туристскую поездку по родной стране. И по мере того как поезд «Обозрение Индии», в котором они едут, движется вперед, люди лучше узнают свою родину, свой народ. Трехмесячное совместное путешествие сближает еще совсем недавно чужих друг другу людей, открывает им глаза на многое... Таково вкратце содержание нового бенгальского фильма «Вечный спутник», поставленного режиссером Сачинанда Сен Маджумдаром. По словам индийской газеты «Нью эйдж», творческий коллектив не пошел по избитому пути создания развлекательных фильмов, «а, осуществляя смелый эксперимент, показал подлинную жизнь, без прикрас». Здесь помещен кадр из фильма: во время остановки участник поездки, старый профессор Бепин Бабу, исполняет народную песню «О, дорогая земля моей матери-родины».

(Газета «Нью эйдж»)



«Менины» — картина Веласкеса, хранящаяся в мадридском музее Прадо (слева), и заключительная сцена спектакля «Менины» в Театро эспаньоль.

(Газета «Кларин»)

По отзывам критики, зритель забывает, что перед ним давно ушедшая историческая эпоха. В пьесе он видит своего современника, слышит его страстный голос, хотя и принадлежащий другому поколению.

На сцене — мятежный, непокорный художник. Зрительный зал, как сообщает печать, буквально содрогается от аплодисментов — еще бы, Веласкес в метких выражениях критикует испанскую цензуру, выступает в защиту свободы художника и его творчества! И это во франкистской Испании 1961 года!..

Сила пьесы «Менины», ее актуальность оказались настолько впечатляющими, что реакционные круги разразились яростными нападками на пьесу, на постановщика, на актеров.

Внимание зрителей привлекло также оформление спектакля. Действие развертывается на фоне «света и полутеней» Испании тех времен, когда творил бессмертный Веласкес. Режиссер Тамайо, по словам корреспондента аргентинской газеты «Кларин», сумел в своей работе над постановкой пьесы «превзойти фантазию кинематографа».

Декорации созданы по картинам Веласкеса. И все герои пьесы будто сошли с его полотен. А финальную сцену спектакля даже трудно отличить от знаменитой картины художника.

СПУСТЯ 250 ЛЕТ

В архиве, принадлежавшем в свое время чешскому графу Куэнборгу, как сообщает печать, обнаружена рукопись неизвестной пьесы Кальдерона «Великий герцог Гандийский». По данным экспертизы, найденная рукопись относится к последнему, наиболее яркому периоду творчества выдающегося испанского драматурга. Пьеса написана в 1671 году.

О существовании этой пьесы ранее было известно только литературоведам-испанистам. Рукопись была утеряна при неизвестных обстоятельствах и найдена лишь спустя 250 лет.

ИТАЛИЯ

«КЛОП» В ВЕНЕЦИИ

Постоянная группа университетского театра «Ка' Фоскари» в Венеции — один из выдающихся молодежных театральных коллективов Италии — поставила пьесу В. Маяковского «Клоп». Критика и зрители тепло приняли острый и интересный спектакль, изобретательно показанный руководителем театра режиссером Джованни Поли.

Известный литературный и театральный критик-коммунист Джулио Тревизани пишет в газете «Унита», что эта постановка является «новым вкладом в искусство, который, на наш взгляд, далеко выходит за рамки эксперимента». Тревизани подчеркивает, что Поли и руководимый им театр поставили «Клопа» Маяковского впервые на итальянской сцене. «Острая сатира советского поэта, — пишет Тревизани,— была целиком и полностью передана в этом спектакле, поставленном талантливой венецианской университетской труппой в соответствии с принципами новаторского русского театра».

СТИХИ ПАРТИЗАНА

Издательство Гуанда выпустило сборник стихов поэта-партизана Бини «Партизанские стихи». Предисловие принадлежит перу двух авторов — одного из виднейших итальянских литературоведов Франческо Флора и советского поэта Бориса Слуцкого.

Поэт и публицист Бини (Дж. Сербандини) в годы Сопротивления был одним из прославленных партизанских командиров, руководивших борьбой против гитлеровцев и фашистских предателей в области Лигурия, а после Освобождения много лет редактировал генуэзское издание газеты «Унита». Литературную и журналистскую деятельность Бини сочетал с активной работой в рядах Итальянской коммунистической партии и изучением истории итальянского Сопротивления.

«ПУСТЫЕ РУКИ»

Так называется новый роман молодого писателя Саверио Стратти, получивший положительную оценку прогрессивной критики. Это уже четвертая книга писателя.

Новый роман Стратти в известной мере автобиографичен; во всяком случае, в нем широко использован богатый личный опыт, накопленный автором во время скитаний по Югу Италии в поисках заработка. Повествование ведется от первого лица, и весь роман носит форму «исповеди», характерную для современной итальянской литературы. Герой — Эмилио, сын умершего в бедности мелкого помещика. Эмилио в сущности ничем не отличается от других крестьянских юношей, которых голод гонит из родных деревень Калабрии. Он работает с детства — сначала пастухом, потом батраком у богатого крестьянина, затем лесорубом и угольщиком. Но где бы ни трудился Эмилио, везде он остается с пустыми руками (отсюда и название романа): обманом и хитростью хозяева обирают его, и он по-прежнему нищ и голоден. Повсюду юноша видит несправедливость, становится свидетелем многих беззаконий и преступлений.

Критик газеты «Унита» Микеле Раго отмечает, что формирование характера и мировоззрения Эмилио происходит под непосредственным воздействием условий реальной жизни и труда, а не неких абстрактных рассуждений. По сравнению с предыдущей книгой Стратти «Тиби и Таша», вышедшей два года назад, его новый роман — шаг вперед также и в отношении формы, стиля. Роман глубоко реалистичен, проникнут стремлением к социальному и моральному обновлению. Некоторые страницы книги, по словам Раго, заставляют вспомнить лучшие образцы итальянской литературы.

Ныне Стратти проживает в Швейцарии, куда судьба его забросила в поисках работы.

ПРОТИВ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕНЗУРЫ

В клубе римской прогрессивной интеллигенции — «Кружке имени Пьеро Гобетти» состоялся открытый диспут на тему «Цензура и свобода», в котором приняли активное участие много представителей интеллигенции, рабочие, студенты, артисты и ученые. Открывший диспут писатель Пьер Паоло Пазолини сообщил о новых преследованиях, которым католическая цензура и органы, ведающие зрелищными предприятиями, подвергают итальянских кинорежиссеров, актеров и писателей.

Один из выступавших рассказал об анекдотическом случае, происшедшем при конфискации книги писателя Иори: когда литератор, протестуя, заявил карабинерам, что его книга признана всей итальянской критикой высоко моральным произведением искусства, карабинеры очень удивились, ибо были уверены, что произведения искусства — только картины и статуи, и не пожелали слушать доводов писателя.

Выступивший в заключение диспута литературовед-коммунист Марио Аликата сказал:

«Я не могу согласиться с тем, что действия цензуры направлены в защиту морали. Если это так, то непонятно, почему некоторые буквально непристойные фильмы и издания не встречают никаких препятствий, не подпадают под действие законов о порнографии... Нет, дело тут совсем в другом: мы являемся свидетелями определенной кампании, направленной к тому, чтобы запугать итальянскую интеллигенцию...»

КИТАЙ

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ В МАЛЕНЬКОЙ ДЕРЕВНЕ

«Это произведение с большой буквы, произведение талантливое и значительное в китайской литературе»,—

На экранах Китая с большим успехом демонстрируется новый цветной художественный фильм «Семья революционеров», выпущенный Пекинской киностудией. Это картина, кадр из которой печатаем, о славных сынах и дочерях китайского народа, ради счастья будущих поколений шедших на подвиг. Герой фильма — коммунист Цзян Мэй-цин, вернувшись в Чанша после завершения Северного похода, руководил здесь борьбой. Под его влиянием приняли активное участие в революционной деятельности жена и дети.

(Газета «Гуанмин жибао»)

так пишет литературовед Си Янь в журнале «Вэньи бао» о романе писателя Чжоу Либо «Перемены в горной волости», вторая часть которого недавно опубликована в Китае.

По словам Си Яня, «Перемены в горной волости» — это широкое полотно, показывающее жизнь китайской деревни на этапе развития от мелкого индивидуального крестьянского хозяйства к крупному коллективному. Действие романа происходит в провинции Хунань, в маленькой горной деревушке Цинси. Автор показал, как под руководством Коммунистической партии Китая труженики китайской деревни стали на путь кооперирования.

Чжоу Ли-бо в своем произведении, пишет Си Янь, запечатлел целую переломную эпоху, которая коренным образом повлияла на судьбы людей, изменила привычки, устоявшиеся нравы и весь жизненный уклад.

Анализируя вторую часть романа, Си Янь большое внимание уделяет образу коммуниста Лю Юй-шэна — руководителя бригады взаимопомощи. Немногословный, принципиальный, иногда, правда, невыдержанный и вспыльчивый, но честный и бесконечно преданный партии, он готов драться с врагами насмерть. Он знает, что в него верят люди, за ним идут, его поддерживают. В поддержке масс Лю Юй-шэн черпает силы.

СТИХИ СУНСКИХ ПОЭТОВ

Издательство «Чжунхуа шуцзюй» выпустило «Сборник стихов сунских поэтов», в котором помещено 139 произведений шестнадцати поэтов эпохи сунских династий (960—1279 гг.)

В истории Китая время правления Сунских династий (особенно южносунской) характерно сильными общенациональными и классовыми потрясениями. Тема борьбы против иноземных захватчиков, с одной стороны, и против господствующих классов — с другой, нашла свое отражение в произведениях, отобранных для сборника.

Обилие жанров, направлений, многообразие содержания и художественной формы, характерное для сунской поэзии и представляющее поныне большой интерес, по отзыву журнала «Вэньи бао», довольно полно представлено в издании.

КИНОКАРТИНА О ЛУ СИНЕ

На шанхайской киностудии «Небесный конь» снимается цветной полнометражный фильм «Жизнь Лу Синя».

Фильм, основанный на фактах, документах, воссоздает жизненный и творческий путь Лу Синя — «великого кормчего культурной революции» в Китае. Создатели фильма побывали в тех местах, где жил Лу Синь, беседовали с его близкими и друзьями, изучили множество документов и воспоминаний о писателе.

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

«РЕКА ТУМАНГАН»

Работниками кино КНДР недавно был создан большой художественный фильм по первой части трилогии Ли Ги Ена «Река Туманган». В этой части рассказывается о событиях в Корее на рубеже нашего века, когда империалистическая Япония, опутавшая Корею сетью кабальных договоров, стремилась прибрать к рукам ее естественные богатства, подготавливая окончательный захват страны.

В истории главного героя — крестьянина Пак Ком Сона отразились страдания корейского народа, находившегося под гнетом японских колонизаторов. Принадлежащий ему клочок земли отбирает помещик, а самого Пак Ком Сона насильно мобилизуют на строительство железной дороги, прокладываемой японцами. За участие в бунте против жестокости надсмотрщиков Пак Ком Сона на долгие годы бросают в тюрьму. Выйдя на свободу, он вместе с женой и сыном вновь пытается расчистить в горах небольшой участок. Но и это ему не удается — по новым законам вся земля в Корее принадлежит феодалам и японским колонизаторам. Вскоре вспыхивает народное восстание, подготовленное патриотически настроенными офицерами корейской армии. Пак Ком Сон присоединяется к восставшим. Однако силы оказываются слишком неравными, и после подавления

Кадр из кинофильма «Река Туманган».

японцами восстания семья Пак Ком Сона, как и многие другие крестьянские семьи, вынуждена покинуть родные края в поисках лучшей доли. После долгого и трудного пути беглецы достигают берегов реки Туманган, отделяющей Корею от Маньчжурии; Пак Ком Сон бросает последний взгляд назад — стонущая под иноземным игом родина ждет их возвращения.

Фильм «Река Туманган», как сообщает газета «Пхеньян синмун», получил высокую оценку в корейской печати и тепло встречен общественностью республики. Автор книги, послужившей основой сценария, Ли Ги Ен с похвалой отозвался об экранизации своего произведения. Главное достоинство нового фильма, отмечает «Пхеньян синмун» заключается в том, что он убедительно показывает нелегкий путь, пройденный корейским народом в борьбе за свое национальное освобождение.

МАЛИ

ПЕРВАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ

Писатель Сидики Дембеле, как сообщает газета «Франс-Даомэй», получил первую большую литературную премию за роман «Не приносящие пользы».

С. Дембеле родился во Французском Судане в 1921 году. После окончания школы работал в почтово-телеграфном ведомстве, затем служил в армии. В 1948 году избран генеральным секретарем Почтовой федерации Французской Западной Африки и Того. После провозглашения независимости Республики Мали он стал работать в министерстве общественных работ, труда и социального обеспечения. С. Дембеле — редактор журналов «Ревей» и «Африк нуар». Ему принадлежит пьеса «Песня Мадхи», которая ставилась в Дакаре, Париже и Ибадане.

В романе «Не приносящие пользы» автор рассказывает о судьбе молодого африканского интеллигента. Герой романа, не выдержав выпавших на его долю испытаний, покидает родину и уезжает в Париж.

Автор книги резко осуждает позорное бегство героя, раскрывая эгоизм человека, который неспособен принести какой-либо пользы своей родине.

МЕКСИКА

ПОБЕДИТ СВЕТ

«Одно из самых примечательных произведений, вышедших за последнее время в Мексике»,— так отзывается критика о романе молодого мексиканского писателя Карлоса Фуэнтеса «Там, где воздух прозрачен».

В романе нарисована широкая картина мексиканской жизни, начиная со второй половины XIX века до наших дней. Перед читателем как в калейдоскопе проходят многочисленные персонажи: аристократы, изгнанные из страны буржуазной революцией 1854 года, «новые богачи», рожденные той же революцией, рабочие, бедняки, интеллигенты. Подлинная история страны и авторский вымысел тесно переплетаются в романе. Композиционно роман представляет собой отдельные зарисовки, которые в целом, как отмечает еженедельник «Мехико эн ла культура», дают читателю впечатление об эпохе.

В Мехико была устроена выставка работ известного мексиканского художника Рауля Ангиано. Ангиано не только прогрессивный художник-реалист, но и активный сторонник укрепления дружбы между народами. «Настоящий художник, если он желает отразить кризис, переживаемый современным миром, делает это через искусство, доступное народу, посредством активной живописи,— заявил Рауль Ангиано на открытии выставки.— Надо разоблачать угрозу атомного разрушения человечества и разоблачать потенциальных виновников этого. Вместе с тем необходимо вселять в сердца людей доверие и любовь к жизни. Поступать иначе — значит предательски дезертировать...» Именно к дезертирам Ангиано и относит большинство американских художников-абстракционистов. Мы публикуем фотоснимок художника в его студии, а также репродукцию картины Ангиано «Яалалтека» (женщина-индианка).

(Журнал «Тьемпо»)

НИГЕРИЯ

ПИСАТЕЛИ У МИКРОФОНА

В целях популяризации литературных произведений местных авторов нигерийское радио начало проводить передачи, в которых писатели рассказывают о своих книгах. Эти передачи вызвали большой интерес в стране.

В рецензии и многочисленных откликах читателей, опубликованных в газете «Нигериен трибюн», сообщается, какое большое впечатление произвела на слушателей первая передача для йоруба — одного из крупнейших народов Нигерии, посвященная творчеству местного писателя Д. О. Фагунвы.

«Все более и более широкие массы народа йоруба,— отмечает газета,— начинают интересоваться своей литературой, и это побудило нигерийское радио найти новую форму передач, которые учат, как понимать и любить книгу. Такие передачи должны проводиться и впредь. После обзора всех произведений Д. О. Фагунвы должны быть организованы радиопередачи о других литературных произведениях, принадлежащих перу видных йорубских писателей».

СИМПОЗИУМ ПО АФРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В Ибадане состоялся симпозиум по африканской культуре. С докладом выступил бывший руководитель музыкального колледжа в Кумаси, крупный ганский композитор и музыковед — Эфраим Аму. Он подверг критике тех, кто отрицает африканскую народную музыку. По его мнению, сообщает местная печать, африканская музыка является по существу народной музыкой и в своем дальнейшем развитии может принять современные формы.

НОВАЯ ГВИНЕЯ

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Рост национального самосознания народов Азии и Африки в борьбе против колониализма характерен и для жителей Новой Гвинеи. Об этом свидетельствует, в частности, стремление новогвинейцев создать свою собственную литературу, основанную на народных традициях.

Одним из первых удачных опытов в этой области газета «Саут пэсифик пост» считает пока еще не напечатанное произведение местного писателя Аллана Натачи «История народа мекео» о строительстве первой деревни на острове, о возникновении народных обычаев, о справедливых отношениях между людьми в далеком прошлом.

По словам газеты, «легенда написана образным, безупречным языком. Она может послужить примером для других произведений, которые будут строиться на основе народных традиций, и тем самым проложить путь к созданию новогвинейской литературы».

Зарождающаяся новогвинейская литература встречает большие трудности. Ни «История народа мекео», несмотря на ее высокую оценку местной газетой, ни другие произведения Аллана Натачи до сих пор не изданы.

Читателям известны лишь несколько стихотворений Аллана Натачи, в свое время помещенных в австралийском журнале «Оушиэниа».

НОРВЕГИЯ

ПЕРВЫЙ И ЛУЧШИЙ

В конкурсе на лучший роман из жизни норвежских рабочих, объявленном издательством «Тиден норск форлаг» и Объединением профсоюзов Норвегии, участвовали многие писатели-профессионалы. И большой неожиданностью для всех явилось присуждение премии сотруднице газеты «Фрихетен» Юханне Бюгге Ульсен за роман «Тине».

В беседе с корреспондентом «Фрихетен» Бюгге Ульсен заявила, что «Тине» — это ее первое произведение, но материал для этой книги она собирала в течение многих лет и длительное время обдумывала роман, писала же его всего три месяца. Героиня книги — девушка Тине, родилась она в многодетной семье рыбака, живущей все время под угрозой голода. Тине покидает семью и отправляется в поисках заработка в город, но и там ее ожидает безработица.

С большим реализмом Бюгге Ульсен рисует положение молодежи в городе, ее отчаянную борьбу за получение работы, постепенное пробуждение у Тине классового сознания и чувства солидарности с рабочим классом. В конце концов Тине становится мужественным борцом профсоюзного движения. В этой борьбе Тине находит свое большое счастье.

На вопрос корреспондента «Фрихетен» о дальнейших творческих планах Юханна Бюгге Ульсен заявила, что, если у нее будет время и возможности, она напишет продолжение романа «Тине».

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИСК К ПИСАТЕЛЮ

Известный норвежский писатель Йенс Бьёрнебу, чье имя, по словам газеты «Фрихетен», «стоит сегодня в центре литературных и общественных споров в Норвегии», недавно был привлечен к суду в связи с выходом в свет его нового романа «Дурной пастырь».

Судебный иск против писателя возбужден норвежскими полицейскими властями. Их «возмутил» один из эпизодов книги, где описывается жестокое обращение

полиции с арестованным. Бьёрнебу отказался ответить на вопрос, имел ли данный случай место в действительности, ибо сосредоточивать внимание на этом, как заявил он, значит представлять такой эпизод в качестве единичного факта. Автор, по его словам, хотел проиллюстрировать обычные нормы поведения полиции. Действительно, как пишет «Фрихетен», ценность романа в том и состоит, что автор «нападает не на исключения, не на частные случаи, а на всю систему».

Судя по письму, направленному писателем полицейским властям, он намерен использовать судебное разбирательство для разоблачения нравов норвежской полиции.

ПОЛЬША

«НАСТУПАЕТ ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»

Писательница Северина Шмаглевская, автор книги «Дымы над Биркенау» о гитлеровском концлагере Освенциме, вернулась к этой же теме в новой повести «Наступает прекрасный день». Герои повести — две польки и одна француженка, которые бежали из Освенцима в январе 1945 года, когда при подходе частей Советской Армии гитлеровцы начали эвакуировать лагерь. Железнодорожный транспорт уже не работал, и фашисты гнали и в стужу и в метель больных, истощенных женщин пешком.

Действие повести развертывается преимущественно в последние часы существования лагеря смерти. В прифронтовой полосе уже не действовал ни административный, ни полицейский аппарат гитлеровской Германии, и только отдельные воинские части в силу отданного когда-то приказа по инерции продолжали охотиться за бежавшими узниками. Разные встречаются трем женщинам люди, но в конце концов бывшие узницы попадают к друзьям, видят наступающий прекрасный день освобождения.

Как сообщает печать, новая повесть Северины Шмаглевской легла в основу киносценария, по которому режиссер Ванда Якубовская намеревается поставить художественный фильм под тем же названием.

О том, как сражались польские солдаты в последние дни минувшей войны, рассказывает новый фильм режиссера Витольда Лесевича «Апрель», снятый по одноименной повести Юзефа Хена, получившей премию на конкурсе издательства министерства национальной обороны на лучшее произведение о национально-освободительной войне. Фильм, как и повесть, посвящается истории боев 10-й дивизии Войска Польского, которая в последние дни апреля 1945 года форсировала реку Нисе. Здесь помещен кадр из фильма.

(Журнал «Экран»)

РУМЫНИЯ

ВЫДАЮЩИЕСЯ ТРУДЫ УЧЕНЫХ И ПИСАТЕЛЕЙ

На своей весенней сессии Академия Румынской Народной Республики присудила премии за выдающиеся труды в различных областях науки, литературы и искусства.

Примечательно, что в области литературы большинство премированных работ принадлежит перу молодых писателей, сформировавшихся после освобождения Румынии.

Среди отмеченных премиями—роман Алеку И. Гилии «Сваты» о переменах в жизни румынского села, Теодора Мазилу «Застава» о борьбе румынских рабочих против фашизма и сборник очерков и рассказов «Профили» Николае Цика.

В области поэзии премии присуждены главному редактору клужского журнала «Стяуа» Аурелу Рэу за сборник «Священные огни» и Иону Брада за сборник «С моим временем».

Академия РНР отметила премией и литературоведческий труд Думитру Мику «Современный румынский роман». Еженедельник «Контемпоранул» отмечает заслуги Мику, обогатившего литературоведение ценными монографиями о значительных прозаиках современности.

ЗРИТЕЛЕЙ ЖДЕТ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО

Писатель Франчиск Мунтяну, успешно выступающий в кинорежиссуре, закончил работу над кинофильмом «Солдаты без формы». Положительно оценивая этот кинофильм, еженедельник «Контемпоранул» пишет, что литератор избрал средства кино, чтобы поделиться своими художественными эмоциями.

Заслуга фильма, по словам кинорежиссера В. Илиу, заключается в том, что здесь нет лишней жестикуляции, ненужного пафоса, декларативности. Свидетелями изображенных событий и мест

Кадр из фильма «Солдаты без формы».
(Журнал «Флакэра»)

были миллионы людей, безымянные герои, солдаты без формы.

Действие фильма Ф. Мунтяну развертывается в последние дни войны в Румынии после народного восстания 23 августа 1944 года.

Новый кинофильм «Доброе утро, весна!» режиссера Мирчи Сэукана воскрешает один из важнейших моментов в жизни социалистической Румынии — национализацию помещичьей земли, первые политические выступления освобожденного крестьянства.

В кинофильме «Ближе к солнцу», созданном по сценарию П. Ангела и С. Штиопула, рассказывается о молодом крестьянине, ставшем в условиях индустриализации Румынии передовым сталеваром. Почти все кадры сняты на крупнейшем металлургическом заводе в Хунедоаре.

Талантливый художник и кинорежиссер И. Попеску-Гопо работает над фильмом «Была украдена бомба». По словам режиссера, это будет сложный кинорассказ, герои которого не произносят на протяжении 90 минут ни одного слова, сюжет раскрывается действием. Попеску-Гопо затрагивает насущные вопросы современности. Средствами острой сатиры он бичует безразличие человека к судьбе мира. Наряду с живыми героями включены и рисованные кадры.

На выставке изобразительного искусства в Бухаресте была экспонирована эта скульптура Думитру Дему «За жизнь».

(Еженедельник «Газета литерарэ»)

США

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЖЕКЕ ЛОНДОНЕ

Друг Джека Лондона и его соавтор по роману «Письма Кемптона и Уэйса» Анна Струнская опубликовала в газете «Гринич Вилидж лантерн» (Нью-Йорк) воспоминания о Джеке Лондоне.

Воспоминания Струнской проникнуты большой любовью к выдающемуся писателю.

«Разве может,— пишет она,— тот, кто знал Джека Лондона, забыть его, и разве может жизнь забыть о том, кто был неотделимой ее частью! Он был сама молодость, само приключение, роман. Он был поэтом и мыслителем. Он был верным другом и умел любить великой любовью...

Он вышел из той самой бездны, которая поглотила миллионы молодых людей его поколения и поколений ему предшествующих... Чувствительный и эмоциональный по натуре, он заставил себя твердо держаться избранного пути. Он жил строго по распорядку. Его нормой была тысяча слов в день, отредактированных и перепечатанных. Позволял он себе только четыре с половиной часа сна и принимался за работу регулярно с рассветом.

Вечера посвящались чтению научных трудов, работ по истории и социологии. Он называл это созданием научной базы... В часы отдыха он занимался боксом, фехтованием, плаванием — он был великолепным пловцом. Лондон ходил под парусом и немало часов проводил, пуская змея,— у него их имелся большой выбор.

Подобно Золя, он начал с поэзии. И, конечно, в этом заключается тайна мильто-

новской красоты его прозы, которая стала признанным образцом английского языка и стиля в университетах нашей страны и в Сорбонне. Лондон был одержим желанием писать стихи, но, как известно, поэты обречены умирать с голоду, если у них нет другого заработка. Поэтому поэзия была им отложена до благоприятного времени, когда будут добыты слава и богатство.

Слава и богатство к нему пришли, и, однако, поэзия вновь была отложена, а смерть наступила раньше, чем он вспомнил о данном себе обещании...»

«Как сейчас вижу его,— продолжает А. Струнская,— одной рукой он держит за руль велосипед, а в другой сжимает огромный букет желтых роз, который только что нарвал в своем саду; шапка сдвинута назад, на густые каштановые волосы; большие синие глаза с длинными ресницами смотрят на мир, как звезды. Необычайно мужественный и красивый мальчик, доброта и мудрость его взгляда не вяжутся с его молодостью...

Вижу его лежащим в маках,— продолжает Струнская,— он следит за змеем, парящим над секвойями и нежно им любимыми эвкалиптами—высоко в лазурном калифорнийском небе...

Я вижу его сидящим за работой. Ночь почти на исходе, и кажется мне, что заря приветствует и обнимает его... Я вижу его майским утром опершимся на перила веранды, увитой жимолостью. Он наблюдает за двумя щебечущими пичужками. Он был пленником красоты — красоты птиц и цветов, моря и неба, холодных пустынь Арктики. Никто не мог бы повторить с бо́льшим основанием: «О, я жил!..»

Он жил не только на широких просторах земли, под тропическим солнцем и в ее скованном морозами краю белого безмолвия, с ее счастливыми детьми и ее обездоленными. Нет, всегда он жил с мыслью о жизни и смерти, он жил великой борьбой за справедливость, за все человечество».

Марк Твен на эстраде — рисунок художника Кэплера.
(Еженедельник «Нью-Йорк геральд трибюн бук ревью»)

МАРК ТВЕН ВЫСТУПАЕТ...

Огромное количество книг написано о Марке Твене. К ним недавно прибавилась еще одна, посвященная деятельности замечательного американского сатирика в роли лектора-чтеца. Незаурядный артистический талант Твена снискал ему шумочайшую популярность. Во время гастрольных поездок Твена по стране билеты на его публичные выступления всюду заранее распродавались.

В своей книге «Марк Твен, чтец-лектор в гастрольных поездках» Пол Фэтаут постарался восстановить образ писателя.

Никаких записей голоса Твена не существует, поэтому в процессе работы над книгой Фэтауту пришлось проделать огромную исследовательскую работу по изучению рецензий, описаний выступлений Твена. Поработав в европейских и американских архивах, Фэтаут раскопал сотни статей в газетах всего мира и по ним создал, как пишет «Нью-Йорк геральд трибюн бук ревью», документированный рассказ о сценической лекционной карьере писателя.

Фактически Фэтаут превратил в историческую хронику то, что до сих пор было легендой, утверждает знаток творчества Твена Генри Нэш Смит, рецензировавший книгу. Трудность работы автора книги заключалась также и в том, что сами лекции-выступления Твена не сохранились в виде текстов, поскольку они были почти целиком импровизированными. До нашего времени дошли только те отрывки, которые воспроизведены в газетах, печатавших отзывы на его выступления.

Юмористические рассказы и анекдоты, с которыми Марк Твен выступал на эстраде, всегда рассказывались как бы от лица одного из персонажей, например, Гекльберри Финна и других. Этот прием позволял Твену не только приблизить образ к восприятию слушателей, но и помогал внедрению разговорной речи в литературу, что и явилось впоследствии столь характерным для американской прозы XX века.

Судя по материалам книги Фэтаута, набитый публикой зал был неиссякаемым источником наслаждения для писателя, и гастрольные поездки имели для него постоянную притягательную силу. Как истинный артист, он черпал вдохновение и удовлетворение, когда видел обращенные к нему благодарные смеющиеся лица слушателей. Именно такой момент и запечатлел современный Твену карикатурист Кэплер на воспроизведенном здесь рисунке.

ТРАГЕДИЯ АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕССЫ

Карл Линдстрем, бывший редактор газеты «Хартфорд таймс», а ныне профессор журналистики в Мичиганском университете, выпустил книгу под названием «Увядающая американская газета». Он находит, что американские газеты утеряли свою остроту, оперативность, а следовательно, и свое влияние.

По мнению автора книги, владельцы и редакторы газет слишком мало считаются с читателем, с его интересами, вкусами и устремлениями, «читателя рассматривают лишь как единицу, имею-

щую значение в качестве подписчика, и как потенциального покупателя тех предметов, которые широко рекламируются множеством фирм в каждой газете». (Как известно, основным источником доходов любой буржуазной газеты являются рекламные объявления крупных компаний.)

Что же касается американской печати и положения, занимаемого ею в современной Америке, пишет еженедельник «Нью рипаблик», то оно, судя по книге, достаточно мрачно. «Нью рипаблик» приводит введение автора книги, в котором дается оценка нынешних американских газет.

«Для того чтобы в наше время быть хорошо информированным, совершенно нет необходимости читать ежедневную газету. К тому же ни одна из наших газет, за немногими (двумя или тремя) исключениями, не даст культурному человеку никаких необходимых полезных сведений о его родном городе, о его родной стране и о положении в мире вообще».

Падение качества американских газет, отмечает Линдстрем, объясняется тем, что ныне все предопределяется коммерческими целями «бизнеса». В погоне «за дешевизной производства» многие газетные концерны «приобретают» того или иного обозревателя и потом продают его статьи в целый ряд газет. Так, разумеется, выходит дешевле, чем оплачивать собственных обозревателей, но газета лишается своего лица, политического веса и влияния. В свою очередь, обозреватель должен в статье учитывать, что он пишет не для одной газеты с тем или иным направлением, а для целого треста газет. В итоге — нивелированные статьи, отсутствие творческой мысли.

Труд Линдстрема, пишет «Нью рипаблик», отличается острой и беспощадной критикой американской печати, сделанной человеком, который хорошо знает прессу США.

ФИНЛЯНДИЯ

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ С ВЕНГРИЕЙ

«После возобновления соглашения об установлении культурных взаимосвязей между Финляндией и Венгрией культурный обмен между нашими странами заметно усилился»,— заявил секретарь финского Литературного общества доктор Тойво Вуорела в беседе с корреспондентом газеты «Кансан уутисет». Значительным этапом в сближении деятелей культуры обеих стран явилось участие делегации финских ученых в финно-угорской конференции в Будапеште.

«Сознание принадлежности к одной языковой семье обеих стран — импульс для широчайшего развития культурного сотрудничества»,— отметил Тойво Вуорела.

Учащается обмен визитами между финскими и венгерскими деятелями искусства и литературы. Все больше издается венгерской литературы в Финляндии и финской — в Венгрии.

Венгерскими лингвистами при участии финских языковедов подготавливаются к изданию новые учебники, хрестоматии и словари — в помощь изучающим венгерский язык в Финляндии.

«Прекрасный и пленительный «Каменный цветок» расцветает на хельсинкской сцене»,— так начинает свою рецензию критик газеты «Кансан уутисет». Недавно в Финской национальной опере состоялась премьера балета С. Прокофьева «Каменный цветок», поставленного советским балетмейстером Л. Лавровским. По словам критика, «балетного представления, столь квалифицированного и обладающего таким биением жизни, финский балет еще не показывал своим зрителям. Высокой похвалы достойны как талантливый постановщик, так и финская балетная труппа, превосходно продемонстрировавшая в этом спектакле свои возможности». На снимке: Хозяйка Медной горы — артистка Дорис Лайне; в роли Кати — артистка Май-Лис Раяла.

(Газета «Кансан уутисет»)

ФРАНЦИЯ

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

Известный французский философ Роже Гароди выступил с интерпелляцией к премьер-министру, в которой обращает внимание последнего на непрекращающиеся преследования деятелей французской культуры. В отношении некоторых артистов театра, киноработников, писателей были применены санкции, однако им не предъявлялось какое-либо обвинение и, следовательно, не выносилось приговора. Эти действия властей противоречат французской конституции, заявил далее Гароди. Существующее ныне положение создает атмосферу подозрительности и дискриминации и мешает свободному развитию французского театра, кино, радио и телевидения.

В заключение Гароди, как сообщает газета «Юманите», запрашивает, какие меры предполагает принять правительство, чтобы в корне изменить положение, которое наносит ущерб престижу французской культуры.

ЖОРЖ АРНО О СВОЕМ ПРОЦЕССЕ

Недавно издательство «Эдисьон де минюи» выпустило новую книгу Жоржа Арно «Мой процесс». Как известно, в июне прошлого года писатель Арно был привлечен к суду за отказ сообщить полиции о местонахождении профессора Жансона, которого власти разыскивали как соучастника алжирских патриотов (см. «Иностранную литературу» № 9, 1960 г.). Об этом суде и сопутствовавших ему событиях рассказано в книге «Мой процесс». Автор приводит речи прокурора, адвокатов, свидетелей, комментирует происходившее.

Жоржу Арно в его работе над книгой помогали адвокаты и свидетели; в числе последних — писатели Жан-Поль Сартр и Патрик Кессель.

В ФАШИСТСКОМ КОНЦЛАГЕРЕ

Французский писатель и журналист Арман Гатти закончил недавно работу над фильмом «Одиночная камера», в котором показаны эпизоды тех времен, когда фашистский сапог топтал землю многих европейских стран.

В фильме два героя: Карл — старый немецкий коммунист, стоящий во главе политической организации заключенных в концлагере. и Давид, еврей, часовщик из Бельвиля, скромный и незаметный человек. Комендант лагеря помещает Давида в камеру, где сидит в одиночном заключении Карл, «доверительно» сообщив часовщику, что немец якобы собирается его, Давида, убить. Комендант советует Давиду самому убить Карла и обещает за это освобождение. Давид не убил Карла. Поговорив в течение нескольких часов со старым революционером, Давид многое понял, хотя уже слишком поздно... Спокойно, с высоко поднятой головой садится Давид в машину, которая доставит его к газовой камере...

В фильме участвуют артисты разных стран. Снят фильм в Югославии по сценарию Армана Гатти и Пьера Жоффруа.

«Одиночная камера»— это одно из крупнейших гуманистических произведений нашего времени,— пишет газета «Юманите».— Этот фильм заставит людей задуматься, предупреждая о все еще грозящей опасности».

ФАЛЬСИФИКАТОРЫ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

Под заголовком «Прекратите барабанный бой... и мистификации» еженедельник «Авангард» поместил статью, разоблачающую неблаговидную роль постановщиков кинофильмов, фальсифицирующих исторические события.

Так, некоторое время назад, пишет «Авангард», на экраны вышел фильм Андре Каятта «Переход через Рейн», в котором извращенно показано движение Сопротивления. Каятт пытался доказать, отмечает «Авангард», что сторонники выжидательной политики и непротивления оказались более разумными, чем герои, отдавшие жизнь в борьбе за свободу Франции.

Каятт не остался одинок; у него появился последователь в лице Жоржа Лотнера, поставившего фильм «Прекратите барабанный бой». Это история очень доброго по натуре человека, доктора Лепру, мэра деревушки, оккупированной немцами. Его доброту и великодушие не могут понять те, кто борется против оккупантов. «Подумали ли Лотнер и Каятт о том, насколько уместны их выпады? —

Кадр из фильма «Одиночная камера».
(Газета «Либерасьон»)

пишет в заключение «Авангард».— Ведь сейчас, чтобы реабилитировать реваншистскую германскую армию, нас стараются заставить забыть дух Сопротивления».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ЖИВЫЕ НЕ МОЛЧАТ»

За первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян на фронтах гражданской войны сражались десять тысяч чехословацких красноармейцев (среди них, как известно, был и Ярослав Гашек). Не так давно в Чехословакии возникла идея собрать воспоминания ныне живущих бывших чехословацких красноармейцев и издать отдельной книгой. На поиски таких людей во все концы страны выехали многие литераторы.

Так родился сборник «Живые не молчат», где собраны воспоминания более трехсот бывших красноармейцев. С первых строк читателю становится ясно, пишет журнал «Пламен», что выход этой книги — событие в литературной жизни Чехословакии.

Любопытно, что воспоминания бывших красноармейцев ложатся в основу самостоятельных литературных произведений. Так, сюжет рассказа Гинтера «Мы от Киквидзе» использован в создании пьесы для театра, по «Шилу» Бруна написано либретто телевизионной оперы, а рассказ Рудольфа Черного «Дайте им свинца, братья!», впервые напечатанный в «Пламен», получил премию на конкурсе в честь 15-летия Республики.

О СПУТНИКАХ И АСТРОНАВТАХ

Необыкновенно быстрое и успешное развитие космических полетов в наши дни и особенно большие достижения в этой области советской науки и техники нашли свое отражение в чешской литературе. Грубин, Микулашек и многочисленные молодые поэты создали новую, «космическую» поэзию, у которой уже есть свои традиции. Развивается также и научно-фантастическая литература — вышли рассказы Йозефа Несвадбы, Честмира Вейдьелека, а недавно увидела свет книга маститого чешского писателя Яна Вейса — «Спутники и астронавты», в которой собраны его научно-фантастические рассказы последних лет (в «Иностранной литературе» № 5 за 1958 год печатались отрывки из книги Яна Вейса «Страна внуков», а в № 5 за 1959 год — рассказ из нового сборника «Звезды в небе Африки»). В сборник включен рассказ «Тот, который...», посвященный будущему советскому астронавту.

Как отмечает журнал «Хост до дому», у Вейса, в отличие от других писателей-фантастов, техника будущего никогда не заслоняет человека, рассказы его глубоко психологичны.

ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ

ДРАМА КИНГ-КОНГА

Приезд в Лондон на гастроли негритянского музыкального ансамбля из Южно-Африканского Союза с постановкой «джаз-оперы» (как ее называют сами африканцы) «Кинг-Конг» явился событием театральной жизни британской столицы.

Фабула «Кинг-Конга» взята из действительности: боксер-тяжеловес Эзекайл Дхламини, по прозвищу Кинг-Конг, в свое время

Сцена из спектакля «Кинг-Конг».
(Еженедельник «Обзёрвер»)

пользовался широкой известностью в южной Африке. Деревенский парень, прибывший в большой город в поисках заработка, отличался огромным ростом и большой физической силой. Решив во что бы то ни стало пробиться в жизни, он даже стал знаменитым боксером, чемпионом страны, но, однажды потерпев поражение на ринге, он потерпел крушение и в жизни, скатился на дно.

Даже такая отнюдь не левая газета, как «Обзёрвер», признает, что история Эзекайла Дхламини — результат социальных и политических условий в стране расизма и апартеида.

Постановщики спектакля о Кинг-Конге заявили представителям английской печати, что по их замыслу пьеса призвана показать как бы «отрывок из живой жизни» Южно-Африканского Союза.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Ярослав Ивашкевич — Jarosław Iwaszkiewicz (род. в 1894 г.) — польский писатель — поэт, прозаик, драматург и общественный деятель, член Всемирного Совета Мира. Его перу принадлежат сборники рассказов «Новая любовь» («Nowa miłość», 1946), «Итальянские новеллы» («Nowele włoskie», 1947), «Рассказы» («Opowiadania», 1954), «Услышанные рассказы» («Opowieści zasłyszane», 1955), роман «Честь и слава» («Sława u Chwała», 1956), комедия «Лето в Ноане» («Lato w Nohante», 1956), сборники стихов, статьи. Его повесть «Девушка и голуби» («Dziewczyna i gołębie») была напечатана в «Иностранной литературе» № 1 за 1961 г. Публикуемое стихотворение получено в рукописи.

Сухийн Доржпалам (род. в 1921 г.) — монгольский поэт, автор двух поэтических сборников, переводчик Мусы Джалиля. Публикуемые стихи получены в рукописи.

Хуан Гойтисоло — Juan Goitisolo (род. в 1931 г.) — один из крупнейших представителей поколения молодых испанских литераторов, оппозиционно настроенных к режиму Франко, автор широко известных романов «Озорные игры» («Juegos de manos», 1951), «Траур в раю» («El duelo en el paraíso», 1955), «Праздники» («Fiestas», 1958) и публикуемого романа «Прибой» («La resaca», 1958).

Эйвин Болстад — Øivind Bolstad (род. в 1905 г.) — норвежский писатель. Автор романов «Вторжение» («Invasion», 1940), «Золотые цепи» («De gylne lenker», 1945), «Спекулянт» («Profitøren», 1947), «Красная бегония» («Den røde begonia», 1947) и др., а также сборника «Насмешник с острова Тоска» («Spøkefuglen på Toska», 1955), рассказ из которого печатался в «Иностранной литературе» № 10 за 1957 г.

Феликс Пита Родригес — Félix Pita Rodríguez (род. в 1909 г.) — кубинский поэт, автор нескольких сборников стихов и поэм. Публикуемое стихотворение напечатано в гаванском журнале «Боэмиа».

Андре Стиль — André Stil (род. в 1921 г.) — французский писатель — романист, новеллист, публицист. (См. «Иностранную литературу» № 4 за 1961 г.).

Публикуемая статья взята из газеты «Юманите».

Марьян Юркович — югославский критик. Статья получена в рукописи.

Бэзил Дэвидсон — Basil Davidson — известный английский писатель и публицист. Автор публицистических книг «Отчет о Южной Африке» («Report of Southern Africa», 1952), «Вновь открытая старая Африка» («Old Africa rediscovered», 1960), «Африка пробуждается» («The Africa awakening», 1955) и других антиколониальных произведений, в том числе опубликованного в СССР романа «Речные пороги» («The rapids», 1955) и романа «Линди» («Lindy», 1958).

Публикуемая статья написана для нашего журнала.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов,
В. И. Верховский (ответственный секретарь), **Б. Г. Гафуров,**
С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора),
Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин,
М. И. Рудомино, В. П. Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефон: В 3-51-47.

Художеств. редактор *М. М. Милославский* Технический редактор *В. Л. Шачнев*

А 03336. Сдано в производство 7/IV 1961 г. Подписано к печати 2/VI 1961 г.
Бумага 70 × 108¹/₁₆ = 9 бум. л.; печ. л. 24,66 + 1 вкл. Зак. 697

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.